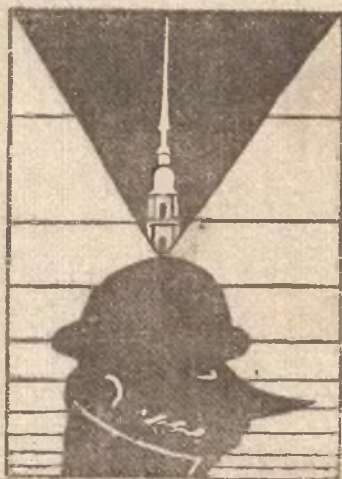
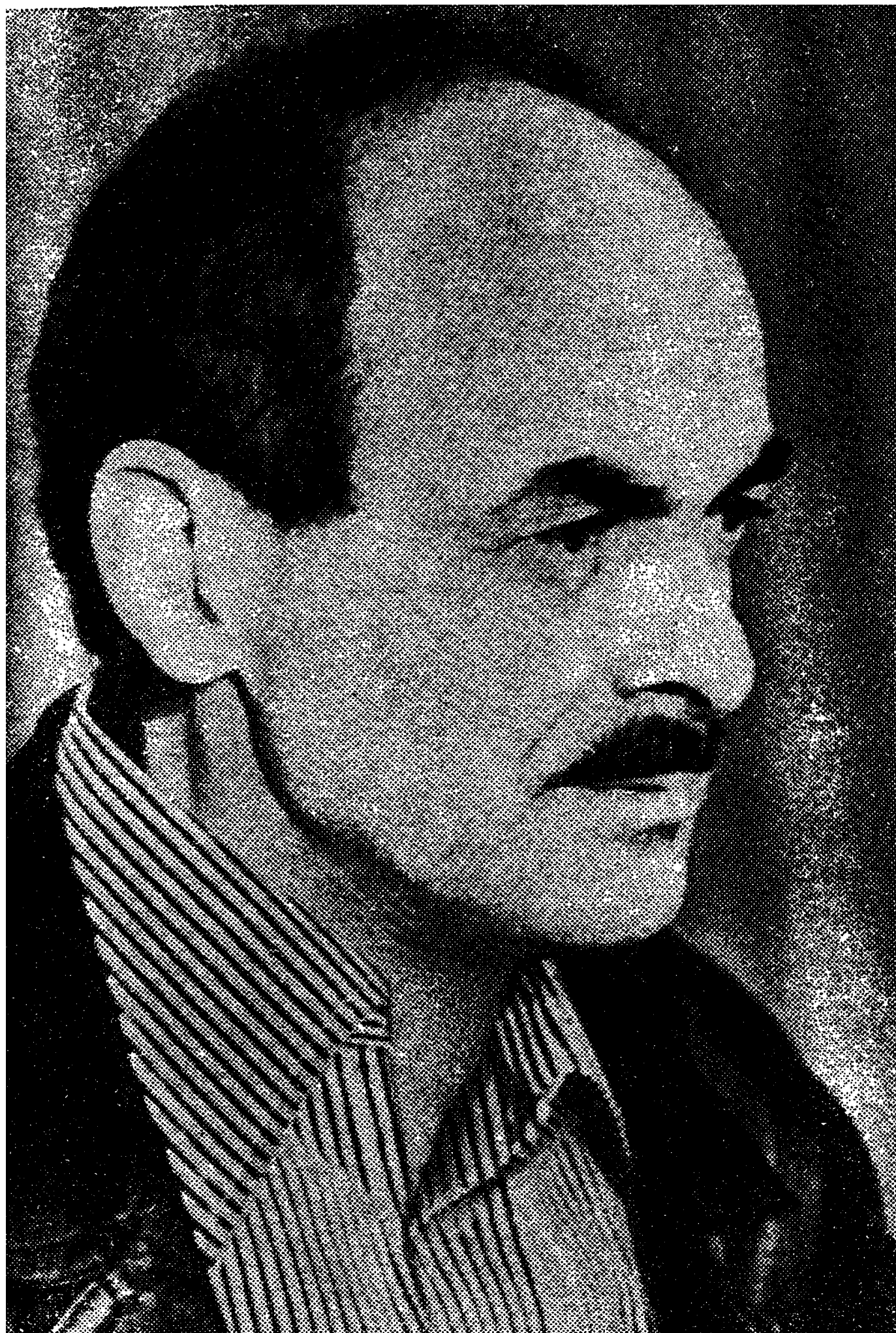


БУЛАГ
ОКУДЖАВА



избранная проза

БИБЛИОТЕКА
ДНН
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»



БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

БУЛАТ
ОКУДЖАВА

избранная проза

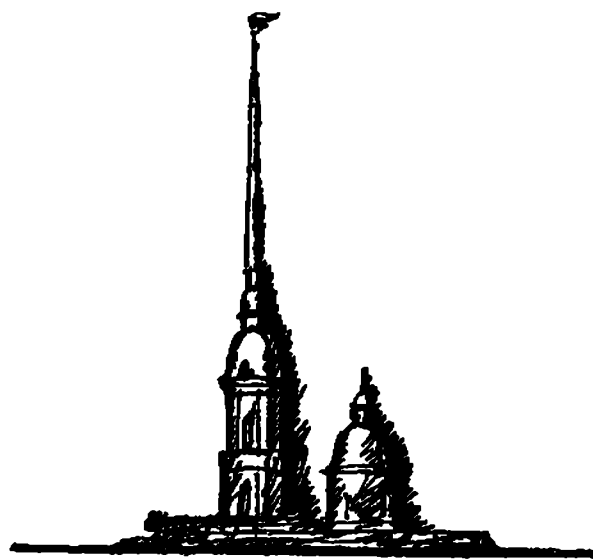


ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1979

P 2
O 52

Художник Л. ЛАММ

○ $\frac{70302-004}{074(02)-79}$ 310—79 подписное



бедный авросимов

РОМАН



● —————

*Зурабу Казбеку-Казиеву,
Филиппу Тер-Микаэлянцу,
Владимиру Мосткову*

Иван Евдокимович Авросимов, молодой рослый розовощекий человек с синими глазами, широко посаженными, отчего выражение его лица было всегда удивленным и даже восторженным, не успел пронумеровать и половины объемистой тетради, как затылком ощутил, что в комнате появились люди.

Они вошли неслышно, чем немало смутили нашего героя и даже повергли его в трепет.

И действительно, шутка ли сказать, но как бы вы, милостивый государь, не вздрогнули и не сжались бы, когда в комнату, где вы приспособились быть один со своим занятием, вдруг пожаловали бы столь знатные особы, рядом с которыми вы ничто?

И не то чтобы один из них заглянул в дверь мимоходом, случайно (и то страху не оберешься), а просто весь Высочайше учрежденный Комитет при всех орденах и регалиях изволил пожаловать к длинному своему столу, словно на торжественное пиршество.

У Авросимова, как он ни перепугался, все же мелькнул этот не совсем, может быть, удачный образ относительно пиршественного стола, ибо со времени известного и ужасного предприятия на Сенатской площади прошло около месяца и первоначальный ужас начал зарастать корочкой.

Иван Авросимов, будучи провинциалом, никогда не предполагал, что фортуна так смиростивится над ним и уже в молодые лета вознесет его в место, которое раньше и сниться-то ему не могло и где будет решаться судьба предприятия, наделавшего в государстве столько шума.

И хотя наш герой сидел от главного стола на почти-тельном расстоянии, за своим маленьким столиком, в углу, и не должен был слова молвить, он, однако, несколько не чувствовал себя обойденным. И вот уж действительно не было ни гроша, да вдруг алтын, ибо не приди его дядя, отставной штабс-капитан Артамон Михайлович Авросимов, в то знаменательное утро на площадь просто так, полюбопытствовать, как солдаты выстраиваются вокруг Петрова монумента, и не увидь он молодого императора Николая Павловича, который на всякий народ, на кучеров да на мастеровых, топал ногами в ботфортах и кричал: «Вот я вас!..», и не бросься Артамон Михайлович с обнаженной шпагой на эту толпу с яростью, помутившей его взор, что царю не подчинились, и не осади толпа, не было бы у нашего героя нынешнего взлета.

Однако все произошло именно так, и его величество изволил обратить внимание на Артамона Михайловича и на его верноподданное старание и на ярость, и даже сказал при этом: «Молодец, я тебя не забуду...»

И ведь не забыл, ибо к Артамону Михайловичу, прикнувшему к царской когорте, несмотря на его преклонные годы, уже через какой-нибудь час подскочил адъютант генерала или полковник какой-то, а может быть, и не тот и не другой, а сам генерал, и повлек старого Авросимова за собой, и граф Чернышев или Милорадович, со щекою в крови, протянул ему руку в белой перчатке...

Что там в этой перчатке было, дядя не рассказывал, но стоило Артамону Михайловичу потом заикнуться о своем племяннике, как тотчас племянник этим графом был вознесен и усажен на стул — писать быстро и разборчиво все, что говорится в Комитете, где эти гордые и недосыгаемые государственные деятели спрашивают у бунтовщиков по всей строгости, как, мол, они даже в мыслях могли иметь такое, а не то что на площадь выходить с оружием.

Вот уже почти неделю Иван Авросимов восседал на

своем стуле, вот уже почти неделю по утрам входил он во двор Петропавловской крепости, однако привыкнуть никак не мог, и всякий раз вздрагивал, как перед ним взлетала полосатая палка шлагбаума.

И пока он торопливо семенил по двору, махнув рукой на достоинство и походку, выработанную в своей провинции, то есть умение ходить медленно, задрав голову, чтобы не подумали, что он там что-нибудь такое, а он как-никак все-таки Авросимов и владелец двухсот душ, и вот пока он семенил таким образом, его одолевали всякие страшные мысли под влиянием темных крепостных стен и окон казематов, за которыми гибли живые души.

И нынче утром, как всегда, пробежал он двор, торопясь на свой стул чудесный, и вдруг в отличие от прошлых разов, когда только страх и ужас леденили его, почувствовал, как вдруг что-то облегчило душу, и он понял, что это от мысли о том, что он не принадлежит к числу тех, кем так плотно нынче забиты казематы.

Наверно, музыка играла, когда они, преследуя Бонапарта, проходили Европой, и родина, уже перекроенная на сей европейский манер, виделась им издалека. Каково же было их огорчение, когда, вернувшись, застали они свою землю пребывающей в прежнем виде; каковы же были их гнев и неистовство при мысли об сем, и, уже ослепленные, ринулись они в безумное свое предприятие так, что цепи зазвенели. Да и кому из их противников была охота привычным своим поступиться?.. И двери крепости широко раскрылись перед ними.

Господи, как это прекрасно придумано, что человеку непричастному можно дышать свободно, что есть судья, который все видит, все знает, и ни в чем его не собьешь. Ведь могло бы случиться так, что он, Иван Авросимов, ходил бы, влача цепи на ногах... Ан не случилось.

И это был первый день, когда наш герой смог по-настоящему вздохнуть свободно. И он вздохнул, с благодарностью оценивая все выгоды своего положения. И словно в подтверждение его мыслей, перед ним возникло печальное шествие, которое состояло из преступника и из двух солдат с офицером во главе. Куда вели злодея, Авросимов не понял, да это было и неважно, но он еще раз радостно вздохнул, будто только что сам вырвался на свободу, да к тому же перестал семенить

и голову вскинул, чтобы уж никак не было сходства, чтобы лишний раз для самого себя хотя бы почувствовать пропасть меж собой и им...

А злодей шел на него, и место попало такое, что нельзя было Авросимову свернуть, и он даже остановился, чтобы вдруг ненароком не задеть злодея, не коснуться его. И так он стоял, видя его приближение, вознеся голову и стараясь придать лицу выражение полного презрения, хотя сквозь все усилия все-таки пробивалась краска испуга и губы мелко подрагивали.

А злодей все приближался. Был он коренаст. Дорогая шинель была наброшена на плечи. Ноги его ступали в снег неуверенно. Из-под серой нанковой шапки вылезал на лоб светлый чубчик, довольно-таки реденький. Ах, знаком был этот облик, знаком! И молодой Авросимов решительно глянул злодею в глаза. Но глаз его он не увидел. Глаз не было. Был белый блин. Авросимов вгляделся, недоумевая, и вдруг понял: батюшки, тряпка! Глаза преступника были завязаны, и конвоиры шли к нему вплотную, чтобы он не потерял направления.

Зачем же ему завязали глаза? Этой меры наш герой никак осознать не мог. А знал ли этот коренастый, как плачевно кончится его предприятие, когда полный сил и здоровья скликал солдат и распространял хулу на его императорское величество? А знал ли он, что его вот так поведут с завязанными глазами через крепостной двор и он, Авросимов, будет глядеть на него с чистой совестью? Знал ли он? Нет, он не знал. И, снедаемый гордостью и честолюбием, наверное, злорадно смеялся и руки потирал, представляя себе, как будет униженно просить его о помиловании сам государь император, ибо не мог же он замышлять свое черное дело без того, чтобы не надеяться на это. И ведь дядя Артамон Михайлович не так чтобы ни с того ни с сего вдруг кинулся, обнажив шпагу, на толпу, которую хлебом не корми, а только дай ей позлодействовать. И эти высокие сановные люди ведь неспроста же собираются каждодневно в комнате, где и Авросимову выпала честь пребывать, собираются, чтобы решать, как государству очиститься от мрака бунтов и тоски хаоса.

Так с достоинством и твердостью размышлял наш герой, пока печальное шествие не скрылось за углом здания.

Явившись в Комитет значительно раньше положенного времени, он намеревался в тишине и одиночестве тщательно подготовиться к работе, но высокие чины незамедлительно пожаловали следом, словно не решились оставить молодого Авросимова наедине с собою. Они вошли один за другим, блистая эполетами, вошли бесшумно, словно не касаясь пола, и пестрая, недобрая их вереница потекла, огибая длинный, покрытый синим сукном стол.

Авросимов встретил их стоя, вытянув руки по швам и вперив глаза в их лица, хотя ничего перед собою не видел, а только какое-то шевеление, мелькание и легкую суету; и, лишь когда все уселись на свои стулья с высокими спинками, зрение его слегка прояснилось и он смог как бы в тумане различить наконец отдельных представителей этого ослепительного воинства.

Когда матушка Ариадна Семеновна провожала его и напутствовала в дорогу, Авросимов никак не мог понять ее слез и страхов, ибо вознесение его хотя и было внезапным и стремительным, но ведь за что-то оно ему да выпало, ведь счастливые встречи Артамона Михайловича с царем и срочное письмо и прочее — ведь это был знак судьбы, тайных движений которой никто не умеет объяснить покуда.

Но взгляните-ка вокруг, вдумайтесь-ка. Много разных людей околачивалось в то утро на площади, много племянников и сыновей ждало милости судьбы по медвежьим-то углам, не видя перед собою с детства с самого ничего такого, отчего можно было бы вздрогнуть, ахнуть, получить сердцебиение, так надо же, чтобы именно Артамон Михайлович обнажил шпагу, чтобы племяннику своему письмо написал, мол, немедленно выезжай... Спроста ли это?

И вы, матушка, напрасно льете слезы, уподобляясь дворовым бабам вашим, отдающим сыновей своих в рекруты. Шуточное ли дело оказаться вдруг в Санкт-Петербурге, в самом что ни на есть его сердце, неподалеку от молодого государя и, может быть, даже его самого сподобиться лицезреть и приветствовать низким поклоном, полным благоговения и любви... Господи, да и варений, и солений, и копчений ваших у меня будет вдоволь, я ведь не к шведам отправляюсь! И с лица мне спадать

не от чего, и Ерофеич присмотрит. А что до почерка, то в грамоте я не хуже иных-многих, как ведомо вам, и буйством не отличаюсь, даже на рождество, и уж если и пригублю, так самую малость, да и то с вашего же благословения, так что мне столичные разгулы эти и ни к чему, вздор это. А которые прокучивают свои состояния оттого, что им много позволено, они потом и устраивают в горячке разные противозаконные предприятия... А я отправляюсь на царскую службу с ясным разумом, чистым сердцем и спокойною душою.

И когда кибитка выехала наконец с господского двора и, вздымая снег, заскользила по укатанной дороге, и сельцо уже скрылось за леском — все стало затухать помаленьку: и матушкины слезы позабылись почти, и лица приживалок, и жалобы, и жалостные слова, все... Только тревога какая-то осталась в душе молодого Авросимова, от которой он не мог избавиться, и она саднила где-то там, в глубине, и пощипывала, и нашептывала, и отдавала холодком.

Размышляя вдруг об всем этом, он и не заметил, как ввели очередного злодея, а уж когда заметил, тому с лица конвоиры молча срывали повязку, чтобы мог оглядеться.

Вот и огляделся. И Авросимов наш с удовольствием представил, как этот злодей видит все вокруг себя, как у него синие круги перед глазами пробегают, как он трепещет да притворяется, что страху у него нет, — еще раз судьбу испытывает.

И наш герой глянул исподлобья в глаза злодею, тот ответил, так нехотя, так равнодушно своим отрешенным взглядом и отворотился, и Авросимов его узнал! Он вспомнил двор крепости и его, коренастого, идущего под конвоем...

Наступила тишина. Слышно было, как снег за окошком падает и в стекло попадает. И злодей, молодой еще, полковник, слегка кивнул сидящим за столом, вот именно, кивнул, и прикрыл глаза. Любопытно. Ему на колени, наверное, не мешало бы стать...

Авросимов изготовил перо и прицелился, не совсем, однако, представляя себе, о чем еще можно спрашивать такого вот с круглым лицом и маленькими глазами, в которых ни мольбы, ни покаяния... И вдруг он обратил внимание на руки полковника, которые мелко тряслись,

выдавая страх перед лицом важных особ, глядевших на злодея молча и с гневом.

Снег шуршал о стекла. Конвойные офицеры переминались едва заметно. Ну пора, пора, начинайте же! Как вчера, как третьего дня: кто таков, род и звание, кто вовлек в преступный заговор и когда, как решился и почему, и прочее, и прочее, и прочее, чтобы и этот, как те его соумышленники, отвечал с дрожью в голосе и печально, потому что теперь уже ничего не оставалось другого, как отвечать, каяться и рыдать, не стесняясь, в голос. И, напрягая сознание, наш герой видел, как шевелятся губы сиятельного графа, сидящего во главе стола, а глаза при этом устремлены на злодея, а тот весь наклонился вперед, словно изготовился целовать графу руки, старческие и жилистые.

Значит, можно его спросить обо всем, пока он еще не грянулся об пол бездыханным от слабости и страха, спросить, чтобы уж до конца развязать все узлы и чтобы у других желания снова их завязывать не появилось...

Ведь плакал же третьего дня тот князь! Не стесняясь, плакал, размазывая слезы по щекам ладонью. В голове уместиться не могло: как это он, князь, решился на такой позор? Воистину, чем больше у тебя есть, тем большего желаешь. Потому-то и твердили ему, Авросимову, с детства: не заносись, мол, не гордись, не зарься на чужое. Ах, не зря была матушка опытом умудрена, сумела разглядеть прах, в который не то что ступить, а и плюнуть позорно. И ведь он все это усвоил. А князь? Что же это он?

Но тут молодой Авросимов увидел склонившегося над собой самого секретаря Комитета Александра Дмитриевича Боровкова, который разглядывал нашего героя, раздувая желтые ноздри, отчего у Авросимова похолодел затылок и руки стали липкими, скользкими, так что перо поползло из пальцев прочь. И в продолжающейся тишине раздался шепот секретаря, словно гром небесный, или Авросимову в страхе померещилось это:

— Вы что, сударь? Ай спите?..

И секретарь взмахнул кистью руки, и тотчас в уши ворвался звук, который исходил из того конца комнаты, где стоял злодей, непривычно горбясь. И Авросимов, зажмурившись на мгновение и упрятав свой страх, ткнул пером в бумагу и застрочил, застрочил с тщанием и от-

менной скоростью, стараясь наверстать упущенные звуки, слова, полные чрезвычайного смысла. То есть это ему показалось, что он застрочил, а на самом деле рука была по-прежнему неподвижна, и какая-то странная слабость охватила его тело, и он почувствовал, как кровь, хлынув к голове, ожгла щеки, и без того далекие от благородной бледности. А получилось так не потому, что Боровков склонился над ним, хотя это и само по себе было ужасно, а потому, что сверх всякого ожидания коренастому злодею любезно подвинули кресло и предложили сесть, вместо того чтобы толкнуть его на колени, как он и заслуживал.

Так, может быть, он вовсе и не преступник, а напротив — князь? Но третьего дня тоже был князь, а царевубийством не гнушался. Значит, преступник он, ибо это его вели с завязанными глазами, хотя причуд и тайн у вельмож предостаточно (мало ли что глаза завязанные), вон и кресло предложили... И опять что-то очень знакомое показалось Авросимову во всем облике допрашиваемого злодея, а что — понять он не мог.

Имя и звание свое преступник выдохнул едва слышно, так, что Авросимов почти и не расслышал, и перо его оставалось неподвижным, пока подскочивший и склонившийся над ним Боровков не шепнул огорченно: «Да Пестель же, сударь!..»

И Авросимов вывел аккуратно странное это имя и даже не позабыл снабдить прописную букву приличествующими завитушками, после чего Боровков удалился наконец к своему стулу за главным столом.

Дальше все пошло уже попроще, ибо помогла привычка, которая появилась в течение тех семи дней, что Авросимов высиживал за своим столиком попеременно с другими столичными грамотеями.

Перо скользило по бумаге легко, как сани, привезшие его, Авросимова, в Санкт-Петербург, и стремительно, как его собственный жизненный взлет, и ему даже казалось иногда, что члены Комитета посматривают в его сторону, удовлетворяясь его прилежанием, и он старался как мог, почти не вникая в смысл беседы... И лишь тогда, когда преступнику дали время на обдумывание следующего вопроса и он поднес вопросный лист к глазам, Авросимов, вернувшись из лихой своей скачки, поднял голову.

Злодей неторопливо просматривал вопросы, адресованные ему, а члены Комитета переговаривались вполголоса, нисколько не удивляясь, что преступник-то сидит тоже в кресле, словно это он сейчас начнет задавать вопросы. Авросимову снова стало не по себе от этой мысли, а красивый такой кавалергард, стоящий возле дверей, тонкорукий и кудрявый, взглянул на нашего героя и вдруг усмехнулся одними губами и тотчас руку приложил ко рту, словно прикрыл зевоту, и это движение отозвалось в памяти Авросимова, напомнив ему совершенно невероятный случай, происшедший с ним нынче утром, когда он выбегал, запахивая шубу, из ворот дома, где снимал квартиру, чтобы торопиться в крепость. И вот в тот момент, как он выбежал из ворот, он почти столкнулся с молодой дамой ослепительной наружности, которая едва успела отскочить в сторону, а в ответ на его извинения быстро приложила пальцы к губам и, оглядев нашего героя любопытным и даже зовущим взглядом, кинулась прочь к ожидавшему ее роскошному выезду.

Авросимов долго еще стоял на одном месте, хотя сани давно скрылись, увозя прекрасную незнакомку, и утренняя метель успела засыпать следы полозьев. Это все произошло слишком стремительно, но наш герой, жадный до всего необычного, успел все-таки разглядеть ее лицо, полные губы, и жар в глазах, и ровный, аккуратный, чуть розоватый носик. Кто была она? Вполне возможно, что и купеческая дочь, хотя это легко опровергалось ее благородной грациозностью и выездом, который купцам и не снился. Но если она, благородная дама, решила искать встречи с ним, с Авросимовым, значит, на то были у нее основания. А уж то, что она искала с ним встречи, а не так просто столкнулась у ворот, было ясно как божий день. Но какая тайна скрывалась за ее легкой усмешкой?

Молодой Авросимов не относился к числу людей, страдающих неуважительным к себе отношением, и скромность в поведении вовсе не отвергала надежд на яркий случай, которого он был достоин, как всякий человек.

Он оглядел все близлежащее пространство, надеясь увидеть маленькую записку на розовой четвертушке. Записки не было. И след незнакомки простыл.

Несколько удрученный, он, однако, заторопился в крепость, чтобы не опоздать к назначенному часу.

И вот теперь, глядя на кавалергарда и его усмешку, вдруг подумал, что этот изысканный офицер вполне мог оказаться ее братом и, восхищаясь взлетом и удачливостью Авросимова, мог, натурально, нашептывать сестре такое, что она представила себе нашего героя в самом лучшем виде...

Тут Авросимов снова глянул на кавалергарда попристальнее и снова заметил усмешку на его губах.

Но приятные и обольстительные воспоминания об утре тотчас вылетели из головы, едва злодей Пестель начал говорить своим ровным глуховатым голосом, отвечая на следующий вопрос, которого Авросимов не слышал. И перо нашего героя стремительно кинулось к бумаге, поспешая за словами... «никогда ничего никому не говорил ни такового...» и даже разбрызгивая иногда чернила... «ниже малейше подобного сему...».

Авросимову фраза понравилась, когда в паузу он оглядел ее всю сверху донизу опытным глазом. Но если «никогда, ничего и никому», то зачем же он здесь? Пестель... Лютеранского вероисповедания... Немец... Дорого ли ему соврать? «Никогда и нигде не был членом никакого такового злодейского тайного общества...» Авросимов и не заметил, как под шумок и собственное словцо вкатил, а именно — «злодейского», — так понесло перо, что и не остановишь.

— Нет, нет, нет, — сказал Пестель, — об этом я и не слыхивал...

Будучи человеком прилежным, наш герой первоначально намеревался в точности, то есть троекратно, воспроизвести на бумаге услышанное отрицание, но, глянув оцепенело на круглое, с маленькими глазками лицо Пестеля, весь возмутился от неприязни к этому лицу и решительно оставил отрицание в единственном числе.

«Нет никогда ничего такового не рассказывал ибо никогда подобных мыслей не держал в преступной своей голове...» — записал Авросимов, и ему захотелось крикнуть что-нибудь оскорбительное в ответ на эту заведомую ложь, но он сдержал себя усилием воли и еще ниже пригнулся к листу, хотя сомнения, вспыхнувшие в нем после того, как Пестеля усадили в кресло, не утикли, а напротив, возгорелись сильнее и жарче.

«...что же касается до денег займы то я неоднократно разным своим знакомым таковыя давал и ничего в том не щитаю дурного...»

И впрямь, чего ж дурного? Прошлым летом Авросимов сам давал займы соседу Кириллову триста рублей ассигнациями до рождества, хотя матушка и обижалась, а он все же дал, памятуя о доброте соседа и о его выручках, что по нынешним временам большая редкость. И как вы, матушка, этого не понимаете!

«...но чтобы я давал на прогоны для курьера общества, то сего никогда ни бывало, ибо ни к какому такому обществу не принадлежал...»

Боровков не подходил, значит, был доволен. Да и сам Авросимов был доволен собой, скача пером по бумаге и ощущая себя приобщенным к важному делу, хотя в темечке все что-то ныло едва-едва, словно бы кто сзади стоял молча. Скорее всего это из памяти не выходила прекрасная незнакомка, которая, вот ей-богу, не могла исчезнуть навсегда со своим призывным взглядом... А к тому же еще этот Пестель покачивался перед глазами, стоило только голову поднять, и тихое его «никогда, ничего, никому, нигде», тупое и монотонное, раздражало понемногу. А ведь скажи он «да» да поплачь, покайся — все бы уже кончилось. Как эти вчерашние да третьевешие, что друг на друга валили торопливо, хотя перед правым судом правду молвить — не позор, а честь... «...Тайных бумаг я никаких никагда нигде не прятал...» Ну вот, ну вот... «В генваре сего года я ездею в Киев не с членами тайнаго общества а са свайми друзьями...» Друзей имел! А они-то, друзья... И вдруг он вспомнил отчетливо, что это о Пестеле все дни разговор шел! А как же? Эти все, что на улице грозны были, а здесь слезы лили, ведь они Пестеля называли! Он, Авросимов, все думал: фамилия-то не русская какая-то, прости господи! Он ведь все никак записать ее не мог, нервничал... Теперь вспомнил. Они все как сговорились, его поминали да торопились эдак-то, Авросимов даже подумал: «Чего это они немца какого-то поминают все? Нашли, разбойники, козла...» А вышло, что немец-то — вот он! Пестель. Павел Иванович. Да ко всему и не очень-то виноватый. Вон ему кресло подкатили...

И в этот момент наш герой вздрогнул, потому что

Пестель произнес несколько в повышенном тоне и даже раздраженно:

— Я еще раз повторяю, что ни к какому тайному обществу не принадлежал и ничего не знаю... Не знаю.

И, сказав это, он слегка повернулся в сторону нашего героя и неожиданно увидел его за маленьким столиком, в углу, полусогбенным над тетрадью; увидел его глаза, удивленные и полные ненависти, и подумал: «Какой, однако, волчий взгляд» — и снова сел ровно, как и сидел.

«Нет,— подумал Авросимов,— я тебе не поддамся, выдюжу».

И выдюжил, и очень обрадовался, что может с чистой совестью смотреть в лицо цареубийце, не моргая и ничего не боясь, хотя как бы оно там вышло, попади Авросимов в полк к сему злодею, а не сиди он в комнате, где все — противу одного... Выдюжил бы? А вот ей-богу! Все равно... Крикнул бы разбойнику...

Авросимов поднял глаза. Члены Комитета переговаривались о чем-то между собой. Пестель снова неотрывно смотрел в глаза Авросимову. Ах, знакомые черты у злодея!

«Молодой человек,— подумал Пестель.— Что он понимает? По крайней мере, сочувствия — ни на грош. Как страшно... Возьми мы верх (и он усмехнулся горько), каково ему было бы?..»

Авросимову мгновенная усмешка на лице Пестеля не понравилась никак.

«Слава богу, что они почти ничего не знают,— подумал в этот миг Пестель.— Судя по вопросам, они только еще ищут веревочку. Да вряд ли им это удастся... Ах, только бы не размякнуть! Только бы это кресло не принять за проявление истинных чувств...»

Он думал так и разглядывал членов Комитета с тоской и отвращением. У графа Татищева — обрюзгшее лицо и меланхолия в каждом жесте, но он умеет изворачиваться, ибо понимает, что от его председательского умения зависит успех следствия, от которого, в свою очередь, зависит и его собственная судьба, хотя, впрочем, это общеизвестно с давних времен... Генерал Левашов очень старается, не очень задумываясь — для чего. Генерал Чернышев — старый знакомец — открыт, рас-



пахнут весь. Ему бы волю — он бы и до пыток додумался...

Комитет был весь как на ладони перед Павлом Ивановичем. Почтенные мужи, кабы не пустые лица. Воистину — машина, способная вопрошать, вопрошать, вопрошать!.. И, развивая это представление, он вдруг поджался весь, и бледность покрыла его щеки, и обреченность внезапная овладела его душой и телом.

«Доищутся! — вдруг понял он, поверил в это, не в силах отвести взора от их белых, покрытых морщинами масок.— Докопаются. Не упустят. Не упустят».

Губы графа Татищева дрогнули, расползлись, и военный министр, не глядя на Пестеля, неохотно спросил:

— Кто из офицеров вашего полка был принят в члены общества собственно вами?

Пестель откинулся в кресле, лицо его выразило муку.

— Я уже утверждал,— выдавил он хрипло,— что не принадлежал ни к какому тайному обществу, а следовательно, не мог никого в оное принимать...

«Никого никуда никогда не принимал,— торопливо привычно проскользило перо Авросимова по листу,— ибо сам не был членом никакого общества».

— Я уверен,— сказал Пестель, вглядываясь в лицо председателя,— что никто из этих офицеров не сможет по совести меня опровергнуть...

Члены Комитета оставались неподвижны.

«Им не за что ухватиться!» — с сомнением подумал Пестель.

«Дурак! — чуть было не крикнул Авросимов из-за своего столика.— Не твои ли офицеры, разбойник, все эти дни тебя честят? Ай-яй-яй, не лги, не лги... Все ведь известно. И их сиятельство все ведь знают, да хотят в смысле снисхождения услышать ответ по правде. Он тебе участь облегчает, злодею. А ты заладил свое: никогда, ничего, нигде, никому...»

Пестель живо поворотился к Авросимову, словно услышал течение его мыслей, и настороженное что-то в лице молодого писца поразило его.

«Как он преобразился,— подумал Павел Иванович в волнении.— У него хоть щеки розовые, не в пример этим. На него хоть смотреть можно... Ах, не слабею ли я? Не к жалости ли обращаюсь?.. Или он мне сигнал подает?»

«Отворотись ты от меня, враг! — воскликнул про себя Авросимов.— Мутишь ты меня всего...»

Генерал Левашов на аккуратном листке, заранее приготовленном, нацарапал торопливо: «Не пора ли объявить очную ставку, дабы ускорить ход дела?»

Военный министр на таком же листке вывел ленивую строку: «Поспешность в сем деле вредна. Должно утвердить преступника в полном нашем неведении. Зато раскрытие карт повергнет его в такое отчаяние, что хоть веревки вяжи».

Генерал Левашов кивнул удовлетворенно, не снимая белой морщинистой маски.

Авросимов почистил перо о рыжие свои кудри и подумал, что высокие чины могли бы вполне Пестеля загнать в угол, и тем более их неторопливость вызывала недоумение, хотя наш герой робел даже мысленно представить себе пусть самое легкое противоречие меж собою и Комитетом.

Долгий день начал томить его, и он с каждым часом со все большим удовольствием и тревогой предвкушал окончание работы, и как он пойдет через мост, колеблемый волной, и как, облачившись в мягкий сюртук, накинет шубу и пойдет прохаживаться возле ворот с независимым видом, но с тайной надеждой повстречать ту самую, утрешнюю. Не женское это дело самой подбиваться — так богом устроено, а уж коли подбивается, значит, подкатило, и надобно усилия дамы облегчить. Ведь не каждый день подобные выезды привозят к вашим воротам, милостивый государь, такую красоту, и это надо уметь ценить. А как же? Тем более, что вся эта история страсть как интригует, и покуда не дознаешься, до той поры покоя не будет. И в молодые лета это не позор.

«Какой он ни злодей, а все ж таки человек, — вдруг подумал Авросимов, глянув, как Пестель, в волнении наверно, обкусывает ногти.— И против Бонапарта воевал. И даже сам князь Кутузов пожаловал ему золотую шпагу «за храбрость» на поле сражения! Ах, злодей, злодей!»

Но вот робкий, как мираж, облик незнакомки вспыхнул в его сознании с новой силой, словно озарился, и Авросимов удивительно отчетливо представил себе, как он стремительно подсаживает ее в карету и как уже на

ходу впрыгивает сам, так лихо, изящно, что она вскрикивает и всплескивает руками от страха за него и «Ах!..». Но он смеется и усаживается рядом, а серые в яблоках несут, несут... Дальше-то что? Он рассказывает ей, глядя в ее полные ужаса глаза, как его дядя, отставной штабс-капитан Артамон Михайлович, выхватил шпагу на глазах у государя и этой самой шпагой по толпе, по сборищу! Какие они?.. Носы сизые, как у Ерофеича, взгляд тусклый, щетина зверская через все лицо, а он, дядя, шпагой, шпагой... По лицам, по лицам... У Пестеля лицо кругловатое, белое, чистое, щетины нет... А дай ему шпагу — этот тонкорукий кавалергард ведь первым кинется прочь... А он, Авросимов? Когда дома бычок годовалый, проломив забор, ворвался в сад и затанцевал среди яблоневых стволов, повергнув в страх и смятение матушку и родственниц дальних, которые отмахивались чепцами, визжа, он скатился с ветки, где восседал лениво, скатился почти на спину бычку и ухватил его за рог и подчинил себе...

Пестель, словно ища отдохновения, снова глянул на Авросимова и увидел, что тот разглядывает его самого с неприкрытым любопытством, и подумал: «Странный, однако, молодец. Все чувства на физиономии... И какой рыжий! Должно — провинциал».

«Если он подойдет, — подумал наш герой, — и маленькими своими глазами упрется, ведь страшно. Ведь как подумаешь, что на руках — кровь, в душе — дьявол... Но смел, злодей! Не побоялся, что не выдюжит, не побоялся! Только как он плясать будет, когда узнает, что козни-то его известны все? Вот ужю...»

«Волк, истинно волк», — мелькнуло в голове у Павла Ивановича.

Сидящие за столом снова пришли в легкое движение, почти незаметное со стороны, хотя Пестель научился уже угадывать за этим обязательный вопрос. И действительно, граф Татищев пожевал губами, спрашивая:

— Истинная цель сего общества направлена ли была к разрушению существующего в России порядка вещей?

Авросимов похолодел, так страшен показался ему вопрос, ибо порядок вещей был он сам, Авросимов, и его кровь, и его душа, и его судьба. И как же не вздрогнуть,

когда в лицо вам бросают такое, о чем даже помыслить невозможно?

— Не принадлежа к здесь упоминаемому обществу, — с твердым упрямством сказал Пестель, — и ничего не зная о его существовании, не могу сказать и о целях его...

«Ну погоди, враг, — подумал Авросимов, ненавидя. — Покаешься на каторге». А перо его тем временем делало свое дело, как бы и не завися от него самого.

«Никогда не к какому преступному обществу не принадлежал и тем еще менее могу сказать какова истенная цель онаго».

Павел Иванович глянул на лица знатных мужей. Лицо Татищева было в маске, и Левашов словно аршин проглотил, да вот генерал-адъютант Чернышев сидел с разинутым ртом, подавшись вперед, на Пестеля...

«Знают! — содрогнулся Пестель. — Все знают. Притворяются».

Снег за окнами повалил гуще. Январские сумерки быстро накатили, и Авросимов ощутил тяжесть в правой руке и согнутых ногах.

Теперь ему все хитросплетения следствия становились понятнее, и то, что Пестель попался, как муха на мед, не вызывало сомнений. Он еще сидел в своем жалком кресле, как последний калиф перед крушением царства, но кресло уже было не его, и царство рассыпалось, а вокруг уже толпилось возмездие. И нашему герою, полному предвкушения справедливой расправы, не терпелось увидеть ее воочию, ибо мы всегда любим получать наличными в собственные руки за свои труды. И он чувствовал себя счастливым, сознавая, что все это пройдет перед ним и лишней раз утвердит его правоту в этой жизни. Даже усталость не снижала этих счастливых чувств. И когда Пестеля наконец отпустили и он выходил, сопровождаемый дежурными офицерами, наш герой не мог отказать себе в удовольствии еще раз взглянуть на него пристально и с осуждением. Но широкая спина Пестеля качнулась и исчезла в дверях. Он не обернулся.

Уже выходя из комендантского дома, Авросимов увидел, как военный министр медленно, по-медвежьи карабкается в карету, но, занеся одну только ногу, он обернулся и поманил Авросимова, на что тот ответил стремительным скачком и остановился перед графом с бьющимся сердцем.

— Экий великан,— сказал Татищев, прищелкнув языком.— Рука-то не устала скрести? Небось, отсидел мягкие-то места, а?.. Злодея боишься?

— Нет, не боюсь,— выдавил Авросимов, не понимая направления беседы.— Я, ваше сиятельство, рад послужить государю.

— Вот как? — удивился граф, продолжая стоять на одной ноге и улыбаясь доброжелательно.— Это похвально, сударь ты мой, похвально. А не произвел ли на тебя Пестель симпатии? Он ведь человек весьма умный... А? — граф засмеялся, видя смятение в нашем герое.— Он ведь многих умников соблазнил, не тебе чета. А?.. Каков он тебе показался?

Авросимову смех военного министра разрывал душу своей неопределенностью. Намекает ли на что? Или недоволен чем?..

— Жалко Пестеля,— вдруг сказал граф, перестав улыбаться.— Хороший был командир. Что же его с толку сбило, как думаешь?

— Не знаю, ваше сиятельство,— пробормотал Авросимов,— должно, бес его обуял...

— Бес? — рассердился граф.— А небось, встреться он с тобой месяц назад, да посули он тебе рай земной, так ты за ним кинулся бы, небось, с радостью. А?

— Нет, ваше сиятельство,— сказал Авросимов, тайно мучаясь,— мне его посулы — пустое место. Я свой долг знаю. Мне его посулы...

— Ладно, ступай,— проворчал Татищев и ввалился в карету.

Авросимов вышел за ворота крепости, и Петербург померк. На Неве громоздился лед.

«Не зря матушка слезы лила,— удрученно подумал наш герой, прикрываясь от пронзительного морозного ветра,— что-то все вокруг меня совершается, а понять нельзя. Беда какая».

И в самом деле, милостивый государь, посудите сами: когда на вас, баловня тишины уездной и благорасположения окружающих, не обремененного государственными заботами и в простоте душевной помышляющего о маленьком своем счастье без всякого там тщеславия и прочих иных чудачеств, вдруг сваливается тяжесть, недоступная вашему разуму и душе; когда на протяжении целой недели вы погружаетесь в разгул чужих страстей,

намеков, недомолвок, тонкостей таких, что не приведи господь; когда сам военный министр, а не какой-нибудь уездный дворянский предводитель, вам вопросы задает и нагоняет тумана; когда на ваших глазах цареубийце кресло предлагают — ну как вам с вашим-то ясным взором и простотой, и неискушенностью не ужаснуться да не впасть в меланхолию?

И так-то вот мучаясь, начинаете вы понимать, каково это быть у государственного кормила, чувствуя в сердце одно, а совершая другое, хотя все ради пользы отечества. И так это все тонко, хитро и недоступно, что греховными, а не просто смешными кажутся вам уездные ваши мечтания: мол, мне бы министром, я бы уж все поворотил наилучшим образом. Где уж там! И не зря, не зря ваша матушка слезы лила, предчувствуя — каково это в Петербурге не сладко в чинах ходить, коли нет на то божьего изволения.

Так в расстроенных чувствах, в тревоге и в смятении шествовал наш герой по Васильевскому острову, но едва дошел до места, где Большой проспект смыкается с Первою линией, как словно из-под земли, из крутящегося снега и мрака вдруг вырвалась карета шестеркой и остановилась, перегородив Авросимову дальнейший путь; и не успел он, как говорится, охнуть, — из кареты показалось знакомое обрюзгшее лицо графа Татищева, и военный министр сказал, улыбнувшись одними губами:

— Что это, сударь мой, пешком топаешь, ровно мужик? Так и замерзнуть недолго. Ишь разыгралась, — и он поглядел на черное небо. — А? Что скажешь?

— Не замерзну, ваше сиятельство, — широко разевая от страха рот, сказал Авросимов. — Я мороза не боюсь.

— Молодой ты какой да рыжий, да ничего не боишься, — сказал граф непонятно к чему. — У тебя друзья-то тоже, небось, молодые? Тоже, небось, всё на свой лад переверотить намереваются? А?

— У меня здесь и друзей-то нету, — не в себе промолвил Авросимов, — упаси бог...

— Что ж так? — усмехнулся военный министр. — Без друзей и не решить ничего... Вот Пестель с друзьями новые законы вздумал издать, крестьян освободить. Резонно? Что скажешь?..

— Нельзя этого делать, — выдавил Авросимов, пере-

ставая хоть что-нибудь понимать.— Нельзя... Так уж определено, что нельзя.

— Глуп ты однако,— рассердился граф.— В государственных вопросах должно рассуждать исходя из блага отечества, а для сего голову надо иметь... А у Пестеля государственная голова! — почти крикнул он.— И ты, сударь, пошел бы за ним, помани он тебя...

— Да нет же, ваше сиятельство,— почти плача, возразил наш герой.— Вот уж нет...

Тут граф засмеялся.

— Эк тебя трясет. Уж не к девице какой пробирался? А?

— От внезапности встречи, ваше сиятельство...

— Врешь,— хмыкнул граф,— в женском обществе покоя ищешь... А к Пестелю я замечаю у тебя симпатии... Размышляешь, что да как... Да?

— Никак нет,— выдохнул Авросимов с ужасом.

— А отчего же нет? Это даже странно. Вот ежели бы ты сказал, что, мол, симпатию имею, но подавляю, мол, я бы тебе поверил.

— Я государю привержен,— заплакал Авросимов.

— Государю,— передразнил граф.— Государь есть идея. А в сердце у тебя что?

— Государь...

— Государь,— снова передразнил Татищев.— А сам к женщине спешишь.

— Никак нет,— заторопился Авросимов,— но подумал: «Да как же это нет, когда именно да?» — и вспомнил давешнюю незнакомку.

— Ну ладно, ступай,— сказал граф сердито и полез в карету, захлопнул дверцу, но тут же высунулся, протянул Авросимову руку.

— Возьми-ка вот.

— Что это? — не понял наш герой.

— Возьми, возьми,— сказал граф по-простецки, но в то же время несколько таинственно, и что-то скользкое шлепнулось в подставленную Авросимовым ладонь.

— Благодарю покорно, ваше сиятельство,— пролетел он, а сам подумал: «Уж не орден ли?»

Граф засмеялся. Кучер взмахнул кнутом. Экипаж скрылся.

Авросимов кинулся к ближайшему фонарю и раскрыл ладонь. Маленький красный бесенок с черными

рожками стоял подбоченясь и глядел на него голубыми пронзительными глазами. Затем он вытянул вперед свою красную ручку и сказал, обращаясь неведомо к кому:

— Господа, не сочтите меня чрезмерно привередливым, но этакого подвоха от их сиятельства я никак не ждал-с...

Наш герой в ужасе тряхнул ладонь, сгреб снегу и потер руки. Наваждение исчезло.

Впрочем, и это бы ничего, но дома Ерофеич поведал, что в его, Авросимова, отсутствие навевалась дама, барина спрашивала, ожидать отказалась, назвалась непонятно.

— Какая еще дама? — простонал Авросимов, валясь в чем был на кровать.

— Знатная, — сказал Ерофеич. — Два жеребца на месте не стоят.

Но образ прекрасной незнакомки померк в сознании Авросимова под тяжестью иных событий, померк, наподобие сумеречного Петербурга. Вертя на подушке голову, он пытался унять дрожь в челюстях и причитал:

— Цареубийца проклятый, сатана! Каторга по тебе плачет! Беда какая... Зачем, зачем это мне, господи!..

Ерофеич, видя, как дитя страдает, кинулся в кухню стремглав.

А наш герой был, что называется, при последнем издыхании от страха и сумбура в голове, но на его счастье Ерофеич внес в комнату и поставил на стол дымящуюся тарелку шей с бараниной, и сытный аромат заставил Авросимова вздрогнуть и открыть глаза, ибо, хотя и был он натурой чувствительной и по тем временам тонкой, однако молодость и здоровье делали свое дело, а пустой желудок отказывался ждать.

Кое-как переодевшись с помощью Ерофеича, Авросимов уселся к столу, испытывая естественное нетерпение, а тут еще, как сквозь туман, различил пузатую рюмку с крепкой домашней наливкой и, заткнув за воротник салфетку, опрокинул наливку одним махом.

— Может, огурчиков солененьких? — спросил Ерофеич.

— Давай, давай, — сказал наш герой, обжигаясь щами.

Ел он торопливо, но пища пока не производила своего благотворного влияния, и Авросимов не ощущал при-

ятной расслабленности в теле, а, напротив, с каким-то ожесточением представлял себя рядом с военным министром, и как он, Авросимов, стоит, вытянув руки по швам, и как говорит жалкие слова, вместо того чтобы толково все разъяснить о себе и свое мнение относительно графского любопытства; то вдруг круглое лицо Пестеля, бледное и напряженное, появилось перед ним, словно из пара, вьющегося над щами, и Авросимов попытался увязать его злодейство с тем, что граф Татищев понимает об этом.

И ведь как не помянуть матушку добрым словом, хотя с другой стороны все надо пройти самому и все понять. Вот, к примеру, надо, собравшись с мыслями, определить, как Пестель на злодейство решился.

— Ерофеич,— сказал Авросимов,— в крепостных ходить тяжело, небось?

— А что это вы, батюшка, щи-то отставили? — спросил Ерофеич, пряча глаза, как будто и не его спрашивали.

— В крепостных тяжело, да ведь сие от бога,— продолжал наш герой, откинувшись на стуле.— Или государь сам не знает, чего да как? — тут Авросимову почудилась на лице старика улыбка...— А может, это козни всё? — сказал он неуверенно.

— Щи-то остынут,— мягко сказал старик.

Лицо его было гладко и сурово, и уж не то что улыбки, а и малейшего просветления не было заметно. Авросимов заработал ложкой, доел щи, отставил тарелку и спросил:

— Или вот скажи мне, как бы тебе, к примеру, если бы вольную тебе? Что бы ты тогда?..

— Я, батюшка, господину своему рад послужить,— выдавил Ерофеич, не понимая направления беседы.

— Это похвально, сударь мой,— сказал Авросимов, доброжелательно улыбаясь.— А если тебе злодей вольную посулит — не произведет ли на тебя это симпатии? — и наш герой засмеялся, видя смятение в душе Ерофеича.— Он ведь многих умников соблазнил, не тебе чета. А? Каков он тебе?

— Я его сроду не видывал,— пробубнил Ерофеич.

— Не видывал? — рассердился Авросимов.— А небось, встретиться он с тобой месяц назад да посули он тебе рай земной, так ты бы за ним пошел с радостью. А?.. И меня бы — вилами...

— Нет, не пошел бы,— мигая и тайно мучаясь, сказал Ерофеич.— Вот я вам каши сейчас...— и он кинулся на кухню, переступая ватными ногами.

«Кашки...— подумал наш герой осовело.— А каково ему-то там, злодею этому? Вот я сейчас поем, оденусь в лучшее и пойду... Кликну ваньку, съезжу на Невский, пойду до Фонтанной до самой пройду, к дяде, Артамо-ну Михайловичу зайду, спрошу его обо всем... А этому-то каково? Он хлебушка пожевал, водой запил и на досточки улегся... Ах, да зачем же он все это затеял?! Чего ему пехорошо было? Или не виноват он? Да нет, соумышленники на него указывают почему зря...»

Отказавшись от каши, Авросимов улегся на постель и закрыл глаза. Организму его не пришлось долго со сном бороться, тем более, что привычка деревенская была покуда сильна в нем, а именно — ранний сон и вставание на заре с петухами. И он вскоре захрапел, отдавшись этому приятному занятию, словно спасаясь от выпавших на его долю огорчений и забот, в которые был вовлечен не по собственному расчету. Но жизнь человеческая в руках божьих, и уж если тебе назначено нести бремя, то от назначения этого с легкостью не уйдешь, как бы ни изворачивался, как бы ни притворялся. И едва наш герой прикрыл глаза и перестал слышать пошаркивание Ерофеича и его шуршание, как тотчас увидел перед собой лицо военного министра, который, не то что во сне бывает — искаженно как-нибудь изображается или вдруг залает (мало ли чего...) — а совершенно как живой уставился на Авросимова и спросил:

— Где, когда, для чего, с кем?

И Авросимов, оказалось, сидел перед ним в пестелевом кресле с голубыми протертыми подлокотниками и никак не мог решить, на какой вопрос отвечать сперва: «С кем?» или «Для чего?»

И в тот самый миг, когда он, обливаясь потом, полный ужаса, решил все же — на первый, какой-то бес его обуял вдруг, и он выговорил одним духом:

— Нигде, никогда, ни с кем, никуда...

Татищев засмеялся и, вытянув руку, тронул его за плечо...

Авросимов открыл глаза и сквозь сонную пелену увидел Ерофеича, который словно отползал от него.

«Зарезать хотел!» — подумал наш герой и вскочил с постели. Ерофеич стоял рядом, будил его.

— Чего ты?!

— Кричите, ровно душит вас кто, — сказал Ерофеич. — Ложились бы по-божески. Ночь ведь.

— Ночь? — задумчиво, как не в себе промолвил Авросимов и вдруг, уставившись в детские глаза Ерофеича, спросил:

— А ты, небось, тоже с дружками-то со своими все на свой лад переверотить замышляешь? А? Говори...

— Какие у меня дружки, батюшка, — опасливо протянул Ерофеич. — Упаси бог...

— Глуп ты! — рассердился наш герой. — Для государственных дел нужно голову иметь! Вот у Пестеля — голова. Небось, кликни он тебя, ты бы рысью за ним побежал...

— Да нет же, батюшка! — почти плача, простонал Ерофеич, — вот уж нет!.. Да тьфу мне на него!..

— А тебе не жаль его? Хороший ведь командир был, — сказал Авросимов, продолжая казнить Ерофеича взглядом.

— Да помилуйте, батюшка! — заплакал Ерофеич, не понимая сути. — Чего мне его жалеть, нешто он мой барин?

Меланхолия все-таки сотворила свое черное дело, и Авросимов опустил руки, не испытывая уже желаний мучать Ерофеича да и себя самого вопросами, которые он, по сути, себе самому и задавал, находясь в душевном смятении. Что знает человек, сей ничтожный, о себе самом? Пожалуй, лишь то, что он ничтожен перед лицом высших сил, и стоит ему об этом задуматься, как тотчас ничтожество его прет наружу, словно ребра у худого коня. Но если он и впрямь таков, откуда это у него сила взялась на государя руку поднять? На божество? На первого в сословии? Стало быть, либо государь не велик, что противоестественно, либо злодей велик, что тоже противоестественно, хотя, может, и от сатаны все. Ну а бог-то что же? А вот он и покарал. Тогда для чего же целый сонм судей, да адъютантов, да фельдъегерей, да всяких прочих, таких, как Авросимов сам? Почему они все божеское предписание исполняют, а те, другие, противоборствуют? В чем же истина? Велик государь? (А надо бы тебе, сударь ты мой, принять казнь за таковые сомнения.) А если

велик, как же у того разбойника достало силы духа вынашивать черные свои планы об убийстве? Как он замахнуться-то осмелился? Вот ведь что ужасно! Какое оно, начало всему было? Ведь не мог же он просто так: жил, жил, как все, вдруг решил — убью. Не мог. Значит, исподволь все копилось. А начало где? А нет ли этого начала и в нем самом, в Авросимове?

2

А дело, видать, приближалось к полночи. Ерофеич похрапывал в прихожей. Свеча оплыла. Авросимов и сам потом объяснить не мог, какая сила его подняла с места, заставила одеться, не раздумывая. Даже галстух повязал он так, словно целый час вертелся перед зеркалом, хотя к зеркалу и не подходил, занятый своими мыслями, а так всё на ощупь. Накинул шубу и — вон из постылого дома к людям, туда, где шум

И тут же за углом — ванька. И поехали — только полозья скрипят.

Мимо проплывали темные окна, кое-где свет пробивался, знаменуя, что жизнь идет своим чередом, снисходя к людям и давая им отдышаться.

На углу горел масляный фонарь, и вокруг него кружилась снег. Авросимов отпустил ваньку и пошел вдоль Мойки, мимо спящих домов.

Но не успел он сделать и сотни шагов, как мимо него пронеслась с шумом и гоготом вереница саней, переполненных какими-то людьми, остановилась как раз перед ним, и сидевшие в санях посыпались на снег против ворот темного двора. Авросимов услышал женский смех и визг и с любопытством провинциала шагнул поближе, чтобы позабавиться на редкую картину.

И вдруг он увидел, как два офицера тянут из сугроба молодую даму, а она визжит и сопротивляется. Тут эти офицеры заметили Авросимова и, очевидно, приняв его в темноте за своего, кликнули помочь им. Он с охотою кинулся исполнить их желание, ухватил даму за плечи и стал тянуть, но она не поддавалась, хохотала, выворачивалась, и Авросимов ощутил легкий винный аромат, исходящий от шалуньи. Голова у него слегка закружилась, то ли от этого, то ли от того, что он щекой невзначай

прикоснулся к ее щеке и как бы ожегся, а она обернулась к нему и мягко ткнулась горячими губами в его шею.

Наконец они вытащили ее из сугроба и с криком и шутками повели в ворота, куда направилась и остальная компания, и тогда Авросимов выпустил из рук ее плечи и собрался было идти своей дорогой, но дама заметила это его намерение и крикнула:

— А вы куда же?

— Мне идти надо,— сказал Авросимов не очень радостно.— Я не ваш.

— Да мы все не наши,— засмеялась дама, и офицеры вторили ей.

— Пошли, пошли! — крикнул один из них, и Авросимов не заставил себя долго упрашивать.

Они прошли ворота и устремились к небольшому флигелю с освещенными окнами, стоявшему в глубине двора.

Они скинули шубы в маленькой прихожей, озаренной пламенем единственной свечи, и ринулись в залу, где тоже царил полумрак и сразу было не разобрать, что она собой представляет.

Единственное, что успел заметить на первых порах наш герой, это что все приехавшие были люди молодые и, вероятно, холостые, судя по тому, как вольно они держались с молодыми дамами.

Сей же момент кто-то ловко занавесил окна, привычная дворня набежала, расставила на большом вытертом ковре, расстеленном прямо на полу, бутылки да флаконы, тарелки с огурцами, с кровяной колбасой, с сыром, побросала в беспорядке серебряные кубки и бокалы зеленоватого стекла и исчезла, будто ее и не было.

Авросимов, ворвавшись в залу с толпой, устроился на низком диване, еще не очень хорошо соображая что к чему и для чего он здесь, однако веселье, непринужденность остальных сделали свое дело и позволили нашему герою быстро освоиться в незнакомой среде.

И вот, несколько поостыв, он уже стал обозревать со своего дивана новых знакомых, с которыми так внезапно и прихотливо свела его судьба, и понял, что они все, действительно, почти ровесники ему, а стало быть, можно и не чиниться.

В противоположном конце залы, на другом диване, в золотом полумраке, раскинув руки, разметав светлые пряди волос, полулежала та самая молодая дама, кото-

рую Авросимов помогал тащить из сугроба. Она была в голубом платье, из-под которого выглядывала красная остроносая туфелька. Дама эта кричала что-то неразборчивое, а молодой человек в сером мятом сюртуке склонился над ней с бокалом и умолял ее пригубить. Сердце у нашего героя затрепетало блаженно, и он снова ощутил на шее прикосновение горячих губ.

Некоторые молодые люди развалились прямо на ковре и ели, и пили, громко переговариваясь. В углу за круглым столиком началась игра. Из соседней комнаты доносился визг, да такой, что пламя свечей вздрагивало, от чего лица принимали нелепые формы.

Недалеко от себя Авросимов, медленно вращая головой, увидел другую молодую даму, в розовом платье, черноволосую. Она держала в одной руке кубок, а другой гладила по щеке лежащего перед ней офицера, а сама между тем поглядывала на нашего героя, и ему показалось, что она моргает ему, хотя это можно было отнести за счет дрожания пламени.

Авросимов потянулся было к вину, чтобы не отставать от компании и выпить за эту прекрасную молодую даму, как вдруг она легче пушинки кинулась к нему со странной улыбкой и протянула ему свой кубок. И не успел он воспротивиться из учтивости, как она тотчас скользнула на пол, налила себе и, устроившись возле его ног, откинула голову и, смеясь, предложила выпить.

Старинное серебро зазвенело, сладкое вино легко пролилось внутрь, молодая дама обхватила колени нашего героя, приникла к ним горячим телом и, осушив свой кубок, швырнула его на ковер.

Авросимов склонился к ней, хохоча напропалую без всякой видимой причины, обнял ее за шею и утонул лицом в душных завиточках ее волос. А она и не вырывалась на манер деревенских девок или уездных барышень, когда, бывало, наш герой пытался со свойственной ему скромностью не то что обнять их, а лишь коснуться...

Откуда-то снизу, сквозь пелену волос, рук, пальцев она спросила:

— Вас как звать-то? А?..

Авросимов, наслаждаясь, проговорил свое имя и потянулся к ее губам.

Губы у нее были горячие, влажные, они шевелились словно живые существа, прилипали — не отлепишь. Ав-

росимов даже застонал, все более сползая к ней, на ковер, со своего дивана, все крепче обхватывая ее шею, плечи, задыхаясь... Вдруг она оттолкнула его этак лениво, скинула с себя его руки, проговорила капризно:

— Да ну вас, измяли всю... Что это вы, Ваня, как медведь... Ну вас...

А наш герой сидел рядом с ней на ковре, широко разинув рот, жадно дыша, в каком-то безумном отчаянии протягивая к ней руки.

— Да не лезьте вы, не лезьте,— сказала она, оправляя платье,— я к Сереженьке хочу.

— Как вас зовут? — выдавил Авросимов, пытаясь остановить ее, ухватив за подол, но она легко, несмотря на некоторую полноту, упорхнула от него и в миг была уже возле прежнего своего офицера.

И тут до Авросимова снова стал доноситься шум веселья, словно слух вернулся к нему. Трещали поленья в камине, кем-то подожженные.

— Ба! А вы здесь откуда?! — услышал наш герой и, подняв голову, увидел знакомого тонкорукого кавалергарда, который с бокалом остановился над ним. Авросимов тотчас вскочил и поклонился со всей возможной учтивостью.

— Вот уж незачем церемонии,— засмеялся кавалергард.— А вы с нами? Это прелестно. Нравится?

— Нравится,— сказал Авросимов потерянно, поглядывая на прекрасную свою незнакомку, прильнувшую к другому.

— А, эта?..— засмеялся кавалергард.— Дельфиния... Да ну ее к черту...

— Дельфиния? — удивился наш герой.

— А черт знает, как ее на самом-то деле зовут,— сказал кавалергард, усаживаясь на диван.— Меж нас она — Дельфиния... В сене нашли,— и увидев, как вскинулись брови у нашего героя, сказал: — А это и хорошо, ведь верно? Вольно так... Иногда ведь это прелестно — ото всего уйти к черту. Настоишься там, насмотришься за день... — и он кивнул куда-то, но Авросимов понял, что тот имеет в виду.— Отчего ж вы не пьете? Я вот смотрю на вас там — вы там очень переживаете, это заметно. А меня зовут Бутурлин Павел... А если вы с Дельфинией пошалить хотите... Хотите?

— Да ну ее,— сказал Авросимов, глотая слюну и стараясь не видеть, как она обвиняет своего офицера.

— Это ведь просто,— усмехнулся Бутурлин.— Я могу сказать...

— Да нет, сударь. Пустое все это,— ответствовал наш герой, тая надежду.

Они выпили. Авросимов снова краем глаза глянул на Дельфинию, но ее не было, и офицера не было. Вместо них на диване сидел нога на ногу черноусый гренадерский поручик и медленно раскачивался.

— Этот уже готов,— засмеялся Бутурлин, кивая на поручика.— А ведь он может пять бутылок один осушить... Да, верно, перебрал, перебрал...

Они выпили еще, и Авросимов непослушными губами прикоснулся к сыру, но есть не стал.

— А я вот вижу, что вы там переживаете,— снова заговорил Бутурлин,— страшно вам смотреть, как следствие идет?

— Страшно,— признался Авросимов, трезвея.— Первый раз царубийцу вижу... Я-то думал: с бородой он...

Бутурлин расхохотался очень располагающе.

— Воистину,— сказал Авросимов,— дивлюсь я, как можно долго так, да так учтиво со злодеем?

— А ведь я с Пестелем знаком,— вдруг сказал Бутурлин, наполняя вином кубки.— Он человек с головой, да. Но и с закидонами... А я не люблю крайностей...

— Хитрый он,— вставил Авросимов.— Да не перехитрил!

— А вот и нет! — захохотал Бутурлин непонятно о чем.— Вы мне нравитесь, ей-богу...

И он опрокинул кубок свой с жадностью и кинулся прочь. Авросимов попытался было бежать за ним, но не смог подняться с дивана.

А пиршество тем часом продолжалось. Поленья в камине трещали с новой силою. Лица у всех были медного блеска, отчего у нашего героя дух захватывало.

«Веселье-то какое! — думал он, смеясь просто так, в самом собой.— Ах, Дельфиния! Где ты есть?.. Откликнись!»

Он все-таки поднялся и с трудом зашагал через развалившихся на ковре молодых людей и дам, подобных Дельфиний, а они пели, кричали и хватали его за ноги,

скалясь и гримасничая. Он добрался до двери и вышел в прихожую.

С блуждающей счастливой улыбкой пробирался наш герой куда-то вперед, не отдавая себе отчета, пока кто-то, взявши его за плечо, не остановил. Авросимов увидел давешнего гренадерского поручика, видимо несколько протрезвевшего.

— Где Дельфиния, а? — спросил наш герой.

— А крови не боишься? — засмеялся поручик и стал жать Авросимова за плечи, пригибая его к земле.

— Да что вы, сударь? — возмутился Авросимов. — Сударь... Да знаете... Пустите плечо...

— Врешь, — сказал гренадер, — и не таких ломал.

И он стал жать с новой силой, но тут наш герой пришел в себя, и либо отчаяние его было велико, либо деревенская жизнь, здоровая и вольная, в нем сказалась, но он сжал руку гренадера, закрутил ее и отшвырнул обидчика прочь. Поручик вскрикнул и стал на колени.

— Стреляться! — сказал он. — Рыжий черт.

— Я вам не черт, — обиделся Авросимов. — Вы, сударь, шли бы спать...

И тут глаза у поручика потухли, тело расслабилось, он приткнулся на шубах и блаженно улыбнулся.

Авросимов кинулся подальше от этого происшествия и заглянул в одну из комнат. Какой-то штатский с оттопыренными красными ушами стоял на коленях, молитвенно сложив руки, перед молодой дамой, которой Авросимов еще не видал.

Наш герой поспешил затворить дверь.

— Дельфиния, — слабо позвал он, спотыкаясь во мраке о какие-то тела и предметы, — Дельфиния... Дюшечка, откликнись!.. Дельфиния...

И тут словно чудо произошло. Распахнулась темная дверь, и, лениво потягиваясь, зевая и стараясь прибрать поаккуратнее свои черные волосы, прекрасная Дельфиния выплыла в прихожую под желтый свет единственной свечи.

— Ах, — лениво произнесла она, увидев Авросимова, — Ванюша, рыбонька, вы ли это?

— Дельфиния, — сказал наш герой, воспрянув, — я обыскался вас... А вы всё спите?

Они, спотыкаясь, пробирались по прихожей навстречу хохоту, визгу и треску поленьев в камине и наконец во-

шли в залу, где от синего трубочного дыма лица были почти не видны, и аромат вина и колбасы, и тел, почти осязаемый, витал меж ними. И сквозь эту плотную завесу наш герой, счастливый от того, что Дельфиния рядом с ним, увидел своих случайных сотоварищей, предающихся веселью, словно в мире уже ничего не было, кроме этого флигеля во дворе.

— Ах, и Милодорочка уже здесь! — воскликнула Дельфиния радостно и кивнула на молодую даму в белых чулках, которая, залиvisto хохоча, брызгала вином в Бутурлина, пытавшегося чмокнуть ее в щечку.

— Какие у вас всё имена удивительные, — восхитился Авросимов, готовый восхищаться всем.

— Чего ж удивительного, — сказала Дельфиния. — Как у нимфов настоящих... Вы бы мне, Ванечка, — кавалер мой алмазный, вина бы принесли, — и плюхнулась на ковер.

Авросимов стремительно кинулся выполнять ее желание, чувствуя, как снова нарастает в нем возбуждение, как руки дрожат, словно в лихорадке. Он схватил целую бутылку и бокалы, и потащил к Дельфинии, и уселся рядом.

— Ах, неучтиво-то как, — засмеялась она. — Кавалер-то стоя должен даме наливать...

Авросимов выпил свой бокал лихо, по-гусарски, отшвырнул его и наклонился — поцеловать ручку Дельфинии. Она уже протягивала ее, белую, с короткими пальцами, с синей жилкой, похожей на крестик, мягкую, пахнущую негой...

— Вы прямо как влюблены в меня, — засмеялась Дельфиния.

В голове у Авросимова был сумбур от хмеля, любви и полумрака.

— Целую вас в ваши рыжие кудри! — снова засмеялась шалунья и поцеловала, от чего он совсем возгорелся и обхватил ее поудобнее, словно намеревался остаться так навеки.

— Я люблю вас, — прошептал он, сжимая ее все крепче, — едемте ко мне в деревню... к матушке... венчаться... У меня — двести душ!..

И тут она стала вырываться, и, несмотря на немалую силу и неувменность нашего героя, это ей удалось, хотя, оттолкнув его, она являла собой зрелище жалкое

в помятом платье и с растрепанными волосами и, оставив его на ковре, пошла прочь к дивану, где сидела Милодора с бокалом в руке.

— Дель...фи...ния...— позвал он едва слышно, но напрасно.

Милодора хохотала, слушая рассказ подруги.

— Что это с вами? — сказал Бутурлин, подойдя к Авросимову.— Разве это в правилах? Она на вас сердчает за насмешку...

— Да какая же насмешка? — едва не плача, спросил наш герой.— Я по чести... Вот крест святой...

— Да бросьте вы, ей-богу,— рассмеялся Бутурлин.— Зачем же надсмехаться? У нас это не принято... Она ведь и так пойдет... Чудак вы, право.

За карточным столом разгорался спор, даже стекло зазвенело, и черные лохматые тени заметались по стенам, и наш герой вдруг почувствовал, что сознание снова возвращается к нему. И тогда его поманило в деревенскую тишину, в покой первозданный, к печеньям, соленьям, где всё как говорится, так и пишется, и уже стремительный взлет не казался чудесным таким и не грел, а, напротив, виделся как испытание и искушение судьбы, и он сказал Бутурлину, располагавшему к откровенности:

— Ах, скорее бы уж это кончилось!.. Чего тянуть?

Бутурлин тотчас понял, что имеет в виду наш герой.

— Да вы все это к сердцу-то не кладите,— сказал он.— Я вот тоже смотрю, как они друг друга, к примеру, терзают, то есть меня воротить начинает... Но я мимо смотрю, в окно, на снег; думаю, как там вечером нынче...

И Авросимов тоже понял, что имеет в виду Бутурлин, о чем он говорит.

— Никто ничего об другом не думает,— сказал Бутурлин, усмехаясь грустно,— каждый думает об себе...

«Никто, нигде, никого, никогда...» — с ужасом вспомнил Авросимов и тайно перекрестился.

— А государь? — шепотом спросил он.

— А что государь? — шепотом же отвечивал Бутурлин.— Каждый живет, как может... Я так, а государь — этак...

— Да как вы можете такое? — поразился Авросимов.

— Ах, какой вы...— засмеялся Бутурлин.— Вот мы эскадроном в тот день на Московский полк скакали, нестройно так... Сблизились. Я крикнул Бестужеву: «Не

вели солдатам своим стрелять. Мы вас только постра- щаем немножко!..» Ну зачем бы я его рубить стал?

— А коли узнали бы! А коли велели бы... рубить?! — захлебнулся Авросимов.

— Ну рубил бы,— пожал плечами Бутурлин.— Ска- зал бы ему: «Прости, брат»,— и рубил бы. Да и он бы меня не помиловал, право... А тут обошлось. А вы по не- опытности очень это всерьез принимаете...

— На государя руку подняли! — крикнул Авросимов.

— А государь-то что, бог? — захохотал Бутурлин.— Он ведь тоже о двух ногах, об одной голове... Да вы ус- покойтесь, мы его в обиду не дадим...— и захохотал пуще.— Прелестный у нас с вами спор вышел!

— Какие уж тут шутки, сударь,— с трудом смеясь, проговорил Авросимов.— Не пойму я вас, однако.

Тут Бутурлин, желая рассеять неприятное впечатле- ние, произведенное на нашего героя его словами, пома- нил Милодору, и она тотчас опустилась на ковер возле них. Авросимов глянул было: где же Дельфиния? Но ее снова не было в зале. Милодора обняла его за плечи, шепнула ему:

— Ах вы рыженький шалун, а Милодора вам уж и не любя?

— Господа,— крикнул Бутурлин.— Пьем за Мило- дору!

— А вот они меня любят,— шептала меж тем Мило- дора нашему герою, кивая на Бутурлина,— а вы так со- всем нет... Нет чтобы на руки меня поднять... Можете?

— Могу,— сказал Авросимов и, обхватив ее поудоб- нее, поднял с пола.

— Ура! — крикнул Бутурлин, расплескивая вино.

А чудесные превращения тем не менее продолжались. Казалось, будто из табачного тумана сами по себе воз- никают призрачные картины, чтобы тревожить нашего героя. Не успел он опустить Милодору на ковер и смах- нуть капельки пота со своего лба, не успела она, изнемог- шая от визга, глотнуть прохладного кислого вина (а ведь это, заметьте, на виду у Авросимова), как тотчас всё смешалось, затуманилось, а когда проявилось, то ника- кой Милодоры не было и в помине, Бутурлин резво ви- стовал в дальнем углу, словно никогда и не вставал из-за карт, а на ковре возлежала, подложив руки под голову, та самая молодая дама, которую Авросимов помогал

вытягивать из сугроба. Голубое платье ее раскинулось и казалось на темном ковре лесным озерцом. Она лежала и разглядывала нашего героя неподвижными серыми глазами.

— Господи,— прошептал Авросимов,— эту-то еще как зовут?

— Мерсинда,— тотчас отозвалась дама и капризно пожаловалась: — Меня в вине утопить хотели... Нахлестали в лохань вина...

— Мерсинда,— сказал он, уже ничему не дивясь,— а где же Милодора? Кого я на руках держал?

Но она смотрела на него неотрывно и молчала.

— Мерсинда,— продолжал наш герой,— неужто вас в вашем платье в лохань окунали?

— Вот горе мое,— засмеялась Мерсинда на эти слова,— вот горе мое... Да как же в платье, когда я голая была! — и в глазах ее вдруг промелькнул живой интерес к стоящему над нею молодому человеку, чьего имени она не знала.

Голос у нее был хрипловатый, улыбка яркая, подобная цветку. Авросимов опустился рядом с ней на ковер и услышал, как она сказала, словно и не ему, а самой себе:

— Весна придет, почки раскроются... А меня, нимфу молодую чудесную, повезут на белой колеснице по дороге столбовой... А вы грустите чего-то, да?

— Почему же это, прекрасная Мерсинда,— спросил наш герой,— ваши подружки отказывают мне в любви, когда другим все позволяют? Вот и вас другие даже в лохань окунали — и ничего...

— А потому,— ответствовала Мерсинда,— что на это комнаты имеются, где никто вас не видит... А в зале можно ручки целовать да комплименты говорить, да смеяться.

В это время в залу вошел гренадерский поручик, красивый и трезвый.

— Вот он, соблазнитель мой,— засмеялась Мерсинда с томностью.— А уж силен, силен!

— Да я его одной рукой свалил,— сказал Авросимов.

— Силен, спасу нет... Он меня на руки взял и в лохань...— она засмеялась.— Всю прямо в калачик свернул...

— Да я ж его запросто свалил,— сказал Авросимов.

— Силища у него ужас, спаси Христос! — сказала она, вспоминая.

— А я сильнее, — сказал Авросимов. — Хотите, я вас к потолку подниму? — и он напруг мышцы, готовясь по первому ее знаку совершить геройство.

— Вот он силач мой, — засмеялась Мерсинда, не обращая внимания на нашего героя. — Ох и силен!

Авросимов почувствовал, что не может теперь отступить, не может, что готов схватить ее в охапку и бежать с ней в комнаты, ото всех подальше, но трезвое ее наставление уже руководило им, и он сказал, надеясь:

— Пойдемте со мной, прекрасная Мерсинда... Я вас в лохани топить не буду.

— Пойдемте уж, — согласилась она, словно только и ждала его предложения, и поднялась с ковра.

Теперь уже с Мерсиндой пробирался наш герой на своих дрожащих ногах по шубам, наваленным в прихожей, теперь уже Мерсинду держал он за руку, все больше поражаясь легкости, с которой она согласилась ответить на его любовь.

И они вошли в ту самую комнату, из которой еще совсем недавно возникла встрепанная Дельфиния, и Мерсинда, привычно и деловито сняв нагар со свечки, уселась на красную кушетку и с легкой усмешкой выжидательно уставилась на нашего героя, который, опустившись на стул, застыл.

Так они молчали несколько минут. Потом Мерсинда, теряя терпение, спросила:

— Ну, что же мы с вами делать будем?

Наш герой только слюну проглотил, а выговорить ничего не смог. Тогда она похлопала по кушетке.

— Хоть рядом сядьте, горе вы мое...

— Где... рядом? — выдавил Авросимов, теряясь окончательно.

— Горе мне с вами! — засмеялась она одними губами. — Идите, вина выпейте... Ступайте же!

Он встал и вышел и, уже не разбирая дороги, ринулся в залу. Дельфиния встретила его, но он оттолкнул ее.

— Ванюша, рыбонька, неучтивый какой! — проговорила она вслед.

Он выпил вина прямо из бутылки. Пил, пока не почувствовал, что ноги уже не держат. Бутылка выскользнула из рук. Вино пролилось. Покачиваясь, он направил-

ся обратно, не слыша, как за карточным столом снова возгорается спор.

«А я,— подумал он, торопясь к заветной кушетке,— я вас могу до потолка поднять... Гренадер-то мне не чета...»

Он вломился в комнату и, не запирая двери, кинулся к кушетке, где ждала его Мерсинда.

— Ну вот, как хорошо-то,— успела шепнуть она, прижимаясь к нему.— Ну, ну... Ну, ложитесь рядышком...

Но Авросимов, напрягшись весь, медленно поднял ее над головой, отчего она страшно взвизгнула, стала выгибаться вся, и, видимо, пальцы его ослабли, разжались, и она со всей этой немалой высоты рухнула на пол.

— Ой! — закричала она.— Убил! Убил!..

Наш герой махнул рукой и вразвалку направился прочь. «Убил!» несло следом, но никто не бежал на помощь к Мерсинде, что, может быть, было и кстати, ибо никто не помешал Авросимову упасть на чью-то шубу и провалиться в небытие.

...Авросимов проснулся вскоре, как от толчка. Он вскочил на ноги, чувствуя глухую боль в голове и слыша, как в зале, перебивая друг друга, нехорошо так бранятся его сотоварищи.

О чем они?

Нет, милостивый государь, вы бы лучше не вопрошали так по-пустому, а поставили бы себя на место нашего героя, раздираемого любовью и всякой чертовщиной, которая со вчерашнего дня сушит ему голову. Когда на месте мирно веселящихся фигур вы застаете ожесточение и желание какого-то оправдания, неизвестно перед кем, каково-то вам, милостивый государь? И здесь вы встречаете суд, и здесь, изволите ли видеть, вам задают вопросы с гневом, пристрастием и насмешкой. А вы всё утверждаете себя, хоть и тщетны ваши усилия, как тот злодей — перед лицом Комитета.

Вот как вошел в залу Авросимов, глядя с недоумением на своих недавних друзей, стоящих друг перед другом с видом молодых петухов, утверждающих свои права.

— Оставьте меня, господа,— сказал гренадерский поручик совершенно трезво.— Здесь не место и не время обсуждать мое поведение. Тем более, что и у вас рыльца в пушку...

— Потрудитесь выбирать выражения, сударь! — при-

крикнул молодой человек с оттопыренными красными ушами.

— О чем они? — спросил Авросимов у Бутурлина, но кавалергард отмахнулся от него.

— Господа, — миролюбиво сказал он товарищам, — о какой смелости идет речь? Я забочусь о собственной чести. Мое — это мое. Мы же прелестно веселились. Оставьте поручика...

— Фу, позор какой! — засмеялся офицер, который миловался в начале вечера с Дельфинией, а именно — Сереженька. — Вы, Бутурлин, напрасно им все это объясняете... Они же притворяются... Я — так палил, например, в самую гущу... А что? Или вот, когда мы князя Щепина вязали на площади, даже он меня оправдал... Он мне сказал: «Вот я бы, к примеру, тебя вязать не стал бы... Я бы тебя — саблей... А ты великодушен, черт!» ...Сроду не забуду, как он это сказал. Ведь промеж нас — одно рыцарство должно быть, понятия чести...

— Ну, пошел выворачиваться! — засмеялся со злостью гренадерский поручик.

— Какие ж такие планы у него, — спросил Бутурлина Авросимов, — что он муки-то за них принимать должен?

Бутурлин сразу понял, кого имеет в виду наш герой, поморщился, что его отрывают от спора, потом засмеялся и сказал:

— Ах, да что там за планы? Тщеславие одно... А ради чужого тщеславия кому умирать охота? Даже государю...

— Не касайтесь государя! — крикнул молодой человек с красными ушами.

— Когда государь был великим князем, — спокойно, с легкой улыбкой на устах сказал гренадерский поручик, — мне довелось в охоте его сопровождать...

Авросимов побледнел ввиду такой новости, губы у него пересохли, ему даже показалось, что он видит перед собой государя, шагающего по высокой траве, в кожаном камзоле, высоких ботфортах, с мушкетом в руках.

— ...Подстрелив кабана, — продолжал поручик неторопливо, — и будучи в расположении, он, смеясь, заметил окружающим его, что разница между положением царя дичи и царя человеческого лишь в том, что за этим бегать надо, а тот сидит и дожидается, когда его прикончат...

— Не верю! — захохотал Сереженька.

Все зашумели. Поручик махнул рукой и выпил вина.

Авросимов, ступая как по иглам, приблизился к нему и спросил тихо:

— Сударь, как это вы об государе говорите?

— А что? — скривился поручик. — Или я не волен говорить, что мне заблагорассудится? — и снова выпил.

— Да перестаньте, господа, — сказал Сереженька.

— Господа, — сказал Бутурлин, — карты ждут.

Вист продолжался. У нашего героя шумело в ушах и пальцы дрожали. Он опустился на ковер и стал пить, как вдруг гренадерский поручик, уже изрядно хмельной, неожиданно приблизился и спросил, теребя усики:

— Кто вы такой, чтоб меня судить?

— Да это не я, — сказал Авросимов. — Это они вас за то, что вы к бунтовщикам симпатии высказывали...

— Я? — скривил губы поручик. — А знаете ли вы, что я семь суток Пестеля в Петербург конвоировал, имея, представьте, указание — стрелять, коли что... Ага... Вот так сидел с ним... — и он опустился рядом с Авросимовым и прижался плечом к его плечу. — Вот так сидел...

— А он ничего?.. — спросил наш герой с присущим ему любопытством. — Не намеревался чего?..

Он заглянул в стеклянные глаза поручика, и они показались ему выразительными как никогда.

— Два жандарма сидели в санях напротив, — сказал поручик. — Я — рядом, а они — напротив. Я ему сказал: «Эта картина изображает нас с вами как единомышленников». Он засмеялся. «Вас это пугает?» — спросил он. «Нисколько, — ответил я. — Даже поучительно весьма, не будучи виновным, ощутить себя в таковой роли». Он снова засмеялся, потом сказал: «Один бог знает истинную нашу вину, ибо в житейском смысле мы всегда виноваты друг перед другом...» «Однако везут в а с, а не меня», — возразил я. «Один бог знает истинную вину, — задумчиво повторил он. — Склонность служить общественному благу — не есть вина». «Вы-то чем служили, позвольте спросить?» — удивился я.

— Чем это он служил? — спросил Авросимов с негодованием и растерянностью.

«Чем же это вы служили?» — спросил я. Он стал кутаться в шубу, усмехнулся и ответствовал: «Мой полк был лучшим на царском смотре. Это ли не служба?» Тут я заметил, что спящие дотол жандармы бодрствуют, и один из них косится в мою сторону.

— Непонятно, непонятно,— удивился Авросимов.

— Чего же непонятного? — рассердился вдруг поручик.— Ничего вы, любезный, не можете знать да и не должны... Кто вы такой?

— Я российский дворянин,— сказал Авросимов с вызовом неожиданным.— У меня двести душ... Я государю служу... А вы кто такой?..

— Да пейте, пейте,— пробормотал поручик, погаснув.— Пейте...

Они снова выпили, затем — еще... И наш герой вдруг почувствовал себя легко и уверенно, и как бы сквозь туман различал теперь лица, которые все были милы и доброжелательны и словно повернуты в его сторону, делясь с ним какими-то таинственными приятными сигналами.

Дышалось легко, вольно. Руки эдак плавно вздымались наподобие крыл и, задевая плотный густой воздух, повисали в нем, медленно колыхаясь.

Это наступал знакомый покой деревенского утра, лета; речной запах поднимался с поля, освежая мысли; тревоги как не было; золотистая соломинка плавала в бокале с вином, изображая юную купальщицу.

Вдруг в залу вползла, медленно перебирая руками по полу, плачущая Милодора. Из-под измятого ее платья проглядывали белые чулки. Туфельек на ногах не было. Она тоненько подвывала, отчего можно было и напугаться, да еще, видя ее белое лицо с остановившимся взором. И тотчас в прихожей слышался крик, глухой, странный, а чей — было не понять.

Авросимов поглядел на играющих, но за столом никого не было, а все устремились прочь из залы, и даже Бутурлина не было на диване, и гренадерский поручик исчез странным образом, только он, Авросимов, да Милодора, все еще стоящая на четвереньках с диким выражением на лице, не поддались общему стремлению.

— Что же это, Милодорочка? — спросил Авросимов, но она не слышала его вопроса, ибо он уже бежал на непослушных ногах по прихожей в комнату, куда устремились гости.

Когда он, распахивая всех, пробился наконец в эту комнату, в которой еще не бывал, перед ним возникла в неясном озарении свечи спина молодого человека с красными ушами, стоящего нелепо на четвереньках перед лоханью, полною вина.

Все молчали. И Авросимов вгляделся попристальнее в распахнувшуюся перед его взором картину и увидел: молодой человек стоял на карачках, неподвижно, уткнув лицо в лохань. Лоб, рот, нос, подбородок — все было скрыто. Только красные уши, как осенние листья, лежали на поверхности винного пруда.

Стояла тишина. И в этой тишине покачивались на стенах кособокие силуэты застывших молодых людей.

Черноволосая Дельфиния склонялась откуда-то с потолка, опираясь каким-то образом на плечи Бутурлина; Мерсинда голубым пятном тонула в углу во мраке; Сереженька, оставив ножку, тянул лицо, шевелил губами, словно разговаривал с богом; гренадерский поручик сжимал собственное горло, стараясь не дать вырваться страшному крику, который распирает его грудь; остальные напоминали изваяния, разбросанные там и сям вдоль стен.

А время шло. Молодой человек над лоханью не менял позы.

— Ах,— выговорил вдруг Сереженька шепотом,— все пьет, пьет, никак не напьется...

— Господа,— сказал Бутурлин тоненьким срывающимся голоском,— может, помочь ему? Может, он дышит еще?

«Дышит, как же»,— подумал Авросимов с содроганием.

Но тут Милодора, откуда-то появившаяся, притиснулась к нашему герою, обхватила его за шею и повисла на нем, тяжело дыша ему в ухо.

— Господа,— сказал Бутурлин,— я предупреждаю, что промедление смерти подобно.

Но никто не пошевелился.

— Да ну его,— сказал наконец Сереженька бледными губами и тихонько на носках пошел прочь из комнаты.

Все потянулись за ним.

Милодора продолжала висеть на нашем герое, отрезвляя его своей тяжестью, и он с трудом волочился по прихожей в залу, когда мимо них, по направлению к зловещей комнате, пронесся, словно тень, старик в бакенбардах, в ливрее и в шлепанцах на босу ногу, а за ним — вереница заспанной челяди, все серые, как мыши.

В каминё снова трещали поленья, распространяя



благотворное тепло. За карточным столом шла игра, как ни в чем не бывало. Прекрасная Дельфиния, раскинувшись на диване, шалила с Бутурлиным, подставляя ему губки, да не давая их поцеловать. Прекрасная Мерсинда восседала на ковре между Сереженькой и гренадерским поручиком...

И Авросимов медленно опустил на ковер Милодору, и сам уселся рядом.

— Непонятно, непонятно,— засмеялся он, как бы играя со своим страхом, как бы дразня его.— Вот он выберется из лохани да поглядит на себя самого — позор. А выберется ли?.. Он уж с час, как покойник!..— и он потускнел и почти крикнул в отчаянии: — Зачем же так-то помирать, господи! Уж лучше бы от злодейской пули... И то лучше...

И он погладил притихшую Милодору по волосам, словно надеясь услышать от нее ответ на свое восклицание, и она, всхлипывая, сказала:

— Я им сказывала: не пейте с лохани-то, вы же не волк какой-нибудь... А они мне: нет, волк... И так-то на карачках, на карачках... Меня с собой звали: идите, говорят, волчица... Да нешто можно с лохани? В нее ж Мерсинду окунали!..

— Как же это, Милодорочка,— спросил наш герой,— так он и пил по-волчьи-то?

— Так и пил,— сказала молодая дама.— Я заснула на кушетке, а он пил, да пил...

— И сейчас пьет? — растравляя рану, любопытствовал Авросимов.

— Сейчас его тело, небось, уж домой отвезли...

— А у него нешто есть дом, прекрасная Милодорочка?

— Да ну вас,— отмахнулась она.

И они снова стали пить бокал за бокалом, все больше чувствуя тепло друг от друга.

И вот, когда уже в который раз погасли поленья в камине и последние свечи оплыли окончательно, распространяя душный, хорошо вам знакомый аромат, а в озарении одного или двух догорающих, почти тлеющих огарков игра не вязалась, а желания заново осветить залу уже не было, тогда молодые люди, вполне пришедшие в себя, встали один за другим и молча направились в прихожую, оставив в зале все как было: бутылки, ку-

ски недоеденных яств, кучки пепла от трубок по углам и нашего героя с его дамой.

Пока они одевались в прихожей, молчаливые и строгие, как судьи, по залу засновали безликие и нагловатые тени, набежавшие из пробудившейся людской. Их было много, и они были бесшумны и деловиты, приводя в порядок помещение, придавая ему жилой и благополучный вид после долгого и отчаянного сумасбродства.

Никто и не заметил, как они, почти с такой же легкостью и грацией, как бутылки и пепел, подхватили нашего героя и, одев его в шубу, посадили в кресло в прихожей, пока один из них побежал кликнуть ваньку.

Наш герой спал, блаженно причмокивая губами, не видя и не слыша ничего, а привычная челядь тем временем с тихим смехом, подмаргиваниями и ужимками готовила ему сюрприз.

Вы бы ахнули, милостивый государь мой, когда бы смогли представить на минуту, до чего додумались эти бездельники: они вынесли из залы спящую Милодору и, вместо того, чтобы отправить ее в девичью вслед за ее подружками, накинули на нее овчинный тулуп, выволокли остороженько из дома вместе с нашим молодым героем и, погрузив обоих в сани, шепнули кучеру, чтобы возил их по городу, покуда не прошибет морозцем, чтобы кавалер смог наконец сообщить, куда его везти.

Ванька тронулся. Дворня исчезла. Утренний снежок занес следы. Авросимов сладко спал, прижимая к себе спящую Милодору. Должно было минут около часа, чтобы разыгравшийся морозец дал себя наконец почувствовать. Щеки у Авросимова запунцовели, дыхание выровнялось, и он открыл глаза.

Над собой он увидел низкое серое рассветное небо, из которого сыпался редкий снежок, и долго не мог понять, где он находится, пока не разглядел скрюченную спину кучера и проплывающие мимо них молчаливые здания.

Он стал припоминать, что с ним произошло, но хмель в нем был еще силен, и вспомнить толком он ничего не смог, даже когда, приподняв край овчинного тулупа, обнаружил под ним спящую Милодору.

Заметив, что барин проснулся, кучер любопытствовал, куда везти и, разобравшись в не очень твердом описании дороги, прищелкнул кнутом. Авросимов заснул снова.

Разбудил его уже Ерофеич. Молча, по своему обыкновению, он дал Авросимову прийти в себя и стал помогать вылезти, ибо, как оказалось, наш герой не был еще в состоянии без посторонней помощи совершать поступки.

Но, вылезая из саней, Авросимов задел тулуп, покрывавший Милодору, и она предстала перед похолодевшим Ерофеичем во всей своей красе. Старик развел руками, а наш герой, почувствовав ответственность за судьбу молодой дамы, несколько даже отрезвел и сам вылез из саней, и тоном, не допускающим возражений, велел Ерофеичу брать Милодору за ноги, а сам ухватил под мышки, чтобы нести ее спящую в дом.

Ерофеич начал было спорить и сопротивляться, но Авросимов прикрикнул на него, и они понесли.

Все это наш герой проделал с лихим видом, как это бывает обычно у сильно выпившего человека перед лицом женщины, но, как выяснилось позже, при полном отсутствии сознания, машинально, ибо, проснувшись в полдень во всем вечернем облачении и увидав на подушке рядом с собою женское лицо, он чуть было не закричал от ужаса.

Ерофеича не было. Тогда уже трезвым взглядом Авросимов снова внимательно, напряженно, хотя и с некоторым замешательством оглядел ее.

Она была уже не первой молодости. Круглое лицо ее, обращенное к нему, носило следы неумеренности, особенно — лоснящиеся дрябловатые щеки, а горестная складка на лбу не придавала лицу значительности, а делала его жалким. Свалявшиеся волосы неопределенного цвета были особенно непривлекательны на белой подушке, а исходящий от нее запах винного перегара и пота вызывал отвращение. На измятом дешевеньком платье, сшитом с восхитительной претенциозностью, расплзлось и засохло большое винное пятно...

Наш герой нашел в себе силы встать и, выйдя в прихожую, кликнуть Ерофеича. Старик тотчас же явился и принялся было пенять молодому барину, но Авросимов шепотом повелел выпроводить ужасную гостью и, пообещав впоследствии все толком разъяснить, сам спрятался в чулан, чтобы не дай бог она его не заметила и не стала бы кричать или там размахивать руками, что у подобных девиц в ходу.

Слава богу, она не голосила. Авросимов слышал из своего укрытия сопение и приглушенные голоса, затем раздались шаги в прихожей, тяжелые и расхлябанные. Дверь захлопнулась.

— Черт знает, откуда она взялась,— сказал Авросимов, вылезая из чулана и не глядя на Ерофеича.

— К вам утресь давешняя барыня приезжали,— спокойно сказал старик.

Авросимов даже вздрогнул, представив на мгновение, как не будь Ерофеича, эта прекрасная незнакомка очень просто могла войти и, ах, застать его лежащим на постели рядом с помятой девкой!

— Не наказывала ли передать чего? — спросил он, стыдясь себя самого.

— Отказались,— сообщил Ерофеич, придав этой странной истории еще больший ореол таинственности.

3

Слава богу, что в крепости нынче все начиналось ввечеру, что страшная ночь минула, и он остался цел, хотя почему-то нет спокойствия в душе, и снова — тревога и неопределенность какие-то во всем.

И вот минувшая ночь внезапно начала проявляться со всеми разговорами, передвижениями, вином... Батюшки! Человек в вине утонул! Молодой, с красными ушами... Или это приснилось? Вполне ведь он сам, Авросимов, мог так-то вот подкатиться к лохани и на виду у Милодоры... Господи, хорошо, что незнакомка в комнаты не заглянула!.. А этот, этот... Ах, страшно! И на помощь ведь не позвать: рот в вине...

Он привычно спешил к крепости, а мысли, одна путаннее другой, стрекотали в голове, подобно сверчкам, сталкиваясь, перехлестываясь, отскакивая в разные стороны.

В большой дежурной зале, расположенной как раз перед комнатой, в которой заседал Высочайше учрежденный Комитет и куда торопился наш герой, былолюдно, суетливо, но не шумно. И куда их столько было — фельдъегерей, дежурных офицеров, адъютантов? Какое множество их сновало из дверей — в двери, из угла — в угол, и все ради одного, очередного, приведенного на допрос преступника, да и то укрытого ширмой от возбуж-

денных глаз окружающих. А сколько писарей... А уж о высоких чинах и говорить нечего. И все это вертелось, кружилось, радовалось, негодовало, спрашивало... Все это хотело есть, пить, спать, веселиться и благодарить бога, что не им за ширмой сидеть в ожидании решения собственной участи. Ах, страшно вообразить себя даже на мгновение закованным в железа!

Авросимов осторожно, краем глаза глянул за ширму. Высокий с залысинами лоб Пестеля обреченно качнулся перед ним. И Пестель поднял глаза. И они посмотрели друг на друга. И Павел Иванович, вернувшись к действительности из раздумий, в которые дотоле был погружен, узнал это лицо, этот удивленный настороженный взгляд и внутренне усмехнулся.

Лицо Авросимова тут же исчезло, а Павел Иванович подумал, что все-таки что-то да есть в этом рыжем писаришке располагающее, хотя, не дай бог, наверное, оказаться под его шомполами, ибо молодые люди с такими глазами, полными тоски непонимания, неискушенные, могут забить насмерть, коли этому их научили. И Павел Иванович зябко поежился. Уж тут хоть на колени встань... Однако что-то в нем есть, что-то в нем есть...

В зале приглушенно ворковали люди, гордые сознанием собственной праведности, особенно подчеркнутой присутствием за ширмой преступника.

— Пожалуйте, вас просят, — услышал над собой Пестель и встал.

Ему вновь предложили голубое кресло с вытертыми подлокотниками.

«Не знают, не знают!» — с радостью и надеждой подумал он и торопливо, мельком глянул в дальний угол, туда, где за маленьким столом уже сидел, изготовившись над листами, розовощекий писарь с удивленными глазами. И созерцание этого человека вдруг принесло Пестелю успокоение.

Нет, он не обольщался, ибо взгляд нашего героя не выражал в ту минуту ничего, пожалуй, кроме неприязни, смешанной с недоумением, но он подумал, что все-таки лучше искренняя неприязнь неискушенного юнца, чем холодная вежливость старых циников, сидящих напротив и поступающих с неумолимостью по привычному расчету.

И словно разгадав его невеселые мысли, все, сидя-

щие за длинным столом, тотчас надели свои маски, и следствие началось.

Авросимов надеялся, что вот сейчас-то и последует главный удар. Сколько же можно томиться?

Но ничего подобного не произошло, представьте. А просто граф Татищев буднично так и как бы нехотя, голосом утомленного жизнью человека, не подымая глаз от листа, прочел, обращаясь к Пестелю:

— Знали ли вы о намерении тайного общества покуситься на жизнь блаженной памяти государя императора и каким способом вознамеревались осуществить сие?

Из рук Авросимова выпало перо. Он метнулся за ним с ловкостью лисы, ощущая на спине осуждающий взгляд Боровкова.

Белые маски покачивались перед Павлом Ивановичем. Он не был в отчаянии, оно пришло позже, но и ничего путного что-то не мог подыскать для ответа...

— Я уже имел честь...— начал он тихо и по возможности твердо,— имел честь докладывать вам...

Но не успел он договорить, как граф Татищев, взмахнув своею белою пухлою рукой, которая словно крылом покачивала исписанным листом бумаги, поднес этот лист к глазам Пестеля с просьбой не торопиться с ответом, а ознакомиться с некоторыми, может быть, не очень приятными для него, Пестеля, откровениями неизвестного ему господина...

И видя, как Пестель с опаской потянулся к листу, словно тот мог взорваться при прикосновении, наш герой рассмеялся в душе. Да и как было не рассмеяться, если тревога и волнение предшествующих дней, и сумбур, и негодование — всё, что скопилось и жгло, вдруг рассеялось мгновенно от одного только вида трясущихся рук злоумышленника, которые он с такой опаской тянул к листу.

И наш герой, продолжая внимательно наблюдать за поведением Пестеля, чтобы, не дай бог, не пропустить ни малейшего жеста или даже шевеления губами, чтобы видеть воочию, как добро все-таки пересиливает злонамеренность, вдруг поймал себя на том, что глядит на растерянный жалкий профиль пленного полковника с некоторым даже участием, что он бы, Авросимов, будь он на месте военного министра, не стал бы этого пленника

дольше томить в зловещей тишине. Ну что его томить? Да разве что изменится — скажет он истину или скроет ее? Да просто велеть бы ему отсечь голову за злонамерения его, и тело зарыть неизвестно где. И всё тут.

А видеть, как поверженный злодей мечется, изворачивается — это даже неприятно... И даже хочется спросить у графа, смутив его: «А что, ваше сиятельство, кабы вы встретили на поле брани врага своего, смертельно раненного, истекающего кровью, глядящего на вас потухающим взглядом, вы бы его, ваше сиятельство, продолжали бы шпагой колоть, чтобы доставить ему лишние мучения, и кололи бы до тех пор, пока не стал бы он бездыханным, или как?»

«Отнюдь, — мог бы ответить на это граф, — но есть упоение в бою... и есть тайная власть, которой мы противустоять не можем».

«Мне это непонятно, — сказал бы Авросимов со свойственным ему недоумением. — Вы же, ваше сиятельство, восстаете против беззакония именем государя, а государь-то — именем всевышнего, стало быть и вы как бы именем всевышнего через государя... А почему же, ваше сиятельство, я не могу в движении ваших чувств узреть бога?»

На это граф вполне резонно мог бы ответить, что всё — именем бога и государя, но, дабы не могла в сердцах неискушенных молодых невежд вспыхнуть даже малая искорка сомнений или, что еще вреднее, сочувствия к вознамерившимся на злодейство, следует, чтобы сии преступники разоблачали бы себя сами, покарвав тем самым себя самое и свои планы...

«Какие планы-то? — снова удивился бы Авросимов. — Злодейство и все тут... А если вы, ваше сиятельство, и вы, господа члены, так долго и с таким тщанием изучаете их злонамерения, уж не есть ли это знак того, что дарованное богом и государем может вызвать сомнение?.. А ведь вон и государя Павла Петровича извели... И ничего...»

Тут Авросимов понял, что зашел слишком далеко в своем возбуждении и стал отмахиваться в душе от назойливых мыслей, которые мешали ему сосредоточиться на созерцании Пестеля.

Вдруг он увидел, как и без того бледные щеки пленного полковника стали белее мела. Голова его качнулась

вперед резко так, словно он решил клюнуть дрожащий перед ним лист.

Дежурный прапорщик из преображенцев, стоящий возле дверей на месте Бутурлина, кинулся было к нему, но Пестель выпрямился и властно отстранил прапорщика.

— Господин полковник Пестель,— медленно произнес генерал Чернышев, явно наслаждаясь замешательством пленника,— теперь, после признания вашего бывшего подчиненного, вы, надеюсь, ответите по всей чистой совести на вопросы, вам поставленные?

Что прочел на листе Пестель, для нашего героя оставалось загадкой, а в тоне военного министра и генерала Чернышева ему послышались знакомые интонации, которые можно было бы назвать даже располагающими, когда бы они не были так зловещи. Вот и судите о людях, когда они наедине с вами будто бы даже симпатию выражают, а перед множеством подобных утверждают совсем противоположное.

Опять же — желание убить царя! Это ли не злодейство! Однако все высокие чины даже не вздрогнули при упоминании об этом; и минувшей ночью молодые господа очень свободно об этом произносили, словно и не о царе, не о государе императоре, а так, о дядюшке двоюродном да смертном...

И тут Авросимов в полном расстройстве чувств и в тревоге, которая снова на него накатила, вдруг отчетливо так, словно наяву, увидел государя императора в кожаном камзоле, в охотничьих сапогах — ботфортах и в шляпе с пером. Грустно поникнув головою, царь вышел из угла и двинулся вдоль комнаты. Он был мал ростом, настолько мал, что, подойдя к столу, за которым сидели высокие чины, не обошел его, а вошел под него, даже не пригнув головы, и пошел, пошел, обходя ноги генералов, показался с другого конца, ступил еще несколько шагов и исчез...

«Да,— подумал Авросимов с грустью и ужасом,— а что он может, маленький такой? Очень просто можно его и прихлопнуть...»

Он стал сильно трясти головой, чтобы избавиться от подобных размышлений, и тут же услышал шепот Боровкова, как бы издалека:

— Что с вами, сударь?

Тогда Авросимов ткнул перо в бумагу, чтобы оно было готово бежать по ней, живописуя для потомков страдания человеческой души.

Пестель откинулся в кресле, словно переводя дух, и уже по привычке слегка поворотил голову, чтобы поглядеть, а как там этот рыжий? Глаза их встретились...

«А может, я смешон в своем упорстве? — подумал Павел Иванович.— Что же угрожает мне? Покуда северяне действовали, я предавался сомнениям, да и схвачен был накануне событий, с этой точки зрения моя невиновность полная. Ну что? Отстранят от полка?.. О, это было бы счастливым исходом... Но ведь могут разжаловать, каналы,— вот что будет ужасно!»

И все-таки, представьте себе, даже в минуту полного отчаяния, когда последняя маленькая надежда покидает вас, нет-нет да и обернется какая-нибудь мысль своею шутливою стороною, придав вам толику бодрости, пусть даже на единственное мгновение.

Вот так и Павел Иванович, подумав о том, что ничего доброго нельзя ожидать от сего общества, которое видит в вас своего разрушителя и ниспровергателя и, пряча страх свой под масками, должно карать ради собственного спокойствия, внутренне усмехнулся, понимая, что удайся его предприятие, он бы с друзьями непременно судил этих людей за то, что они, верша закон якобы на пользу народа, на самом-то деле старались для себя, именуя рабство божьим определением (большего невежества нельзя себе было представить!). И тогда все поворотилось бы обратным порядком, и он с друзьями выглядел бы в глазах этих людей так, наверное, непреклонно, что они тоже теряли бы надежду...

Авросимов, весь поджавшись, нацелив перо в бумагу, ждал его первых слов, потому что вот оно и пришло то, от чего Пестель так ловко уходил. А может, это Пестелю самому казалось, что ловко. Теперь-то его приперли, злодея... Но, думая так, Авросимов не ощущал большого торжества и даже догадался, что бумага, показанная Пестелю графом, была выпиской из того, что о нем, о злодее, рассказывали его соумышленники, и посетовал на промах графа, на его медлительность, ибо возьми он сразу да вели привести всех скопом, да заставь их повторить ранее написанное, все бы давно уж закончилось!

«Интересно,— успел подумать наш герой, глянув на Татищева,— а кабы государя и впрямь извели, их сиятельство куда бы делись?»

Павел Иванович, хотя и понимал, что бой проигран, втайне все-таки надеялся на чудо, и это подогревало его. Ах, милостивый государь, человек тем и знаменит, что он до последней минуты надеется, а когда не все до конца ясно — тем более. Вы бы сами так себя повели, коли были бы в подобном положении. Да что ж теперь гадать, когда это не к вам относится, а к человеку, сказавшему накануне ареста, что, мол, не беспокойтесь за меня, ничего не открою, хотя бы меня в клочки разорвали... И это он повторял затем в каземате, надеясь, что и они, друзья, ни слова. Но ведь знаете, как оно бывает: одно за другое, и весь ты уже как на ладони...

Военный министр глядел на Пестеля, как бы говоря: «Все уж теперь, батюшка. Я понимаю ваш пафос, но теперь это — все вздор... И вы не упорствуйте, как бывало ча в Тульчине, где все ваши были, свои. Здесь своих нет. Да и вы государевы».

«Зачем они вообще на цареубийство решились, если уж о пользе отечества пеклись? — подумал наш герой.— Ведь получается, что никакой разницы в мыслях: им — отечество и царю — отечество... Чего убивать-то?..»

Затем все пошло быстрее. Видно, и граф начал терять терпение, придерживаясь привычных правил, и решил ускорить ход событий, да и белые маски на лицах членов Комитета как бы покривились несколько, как бы слиняли. И когда Авросимов после первого удара по Пестелю, от которого и его прошибло, опомнился, ему даже смеяться захотелось, глядя на нелепые эти маски, но он сдерживался и нацеливал свой интерес на то, как будут разворачиваться события дальше.

Павел Иванович, будучи в смятении чувств и утирая лоб несвежим платочком, вдруг почему-то вспомнил душевное тульчинское лето, свой домик с белыми прохладными стенами, низкое крыльцо, ранний вечер. Пахло пылью и укропом. Подполковник Ентальцев уезжал в Каменку. Павел Иванович вышел проводить гостя. Бричка стояла на самой дороге. Ноги лошади утопали в пыли. На загорелом жестком лице Ентальцева удивительно нежными и молодыми казались голубые глаза.

— Просились бы вы в Киев,— засмеялся Ентальцев.— Здесь у вас путем и общества нет...

— Передайте письмо Волконскому тотчас же,— попросил Пестель.— Вы имеете в виду женщин?

— Я человек семейный,— снова засмеялся Ентальцев.

И бричка тронулась. Бесшумно. Словно поплыла.

Пестель понимал, что не всем дано оставаться самими собою под ударами судьбы, а лишь немногим, в ком сила духа и прочность воззрений слиты с давнего времени и как бы вошли в кровь. Но что делать? Кабы этих господ хоть в малой степени интересовали мысли о благе страны, они должны были бы перешагнуть через страх цареубийства и вслушаться в его, Пестеля, выстраданные мнения... Да разве в цареубийстве дело? Господи, да и при чем тут царь?..

...Тут жестокая судьба позволила Павлу Ивановичу снова заглянуть в не столь давнее прошлое, и он увидел прелестную картину, то есть себя самого и князя Трубецкого, в Петербурге, в комнате, окна которой выходили на Неву. Нева была весенняя, еще не вполне избавившаяся ото льда. Князь глядел настороженно, даже как будто ужас мелькал в его больших детских глазах, крупный нос грустно нависал над губой, темные кудри были взъерошены.

— Значит, от разговоров о нравственном совершенстве мы пришли к цареубийству? Вот к чему мы пришли? — спросил он шепотом у гостя.

— Почему же вы так решаете? — удивился Павел Иванович.— Вопрос стоит о коренных преобразованиях, это первое... Ну а убийство ли, высылка, изоляция или любовный договор,— он засмеялся.— Монархия и республика несовместимы...

— А вы уверены,— опять шепотом спросил князь,— а вы уверены, уверены вы, что возможно изменить природу власти? Вы чувствуете в себе это право?..

Павел Иванович снова рассмеялся, но тут же погас и сказал жестко:

— Князь, я вам удивляюсь. Вы хотите, чтобы мы, преисполнившись благонамерения, оставили всё как есть? Тогда для чего же все эти годы? Моральный бунт нам не помощник... Вы хотите... Вы просто боитесь?..

Тут князь густо покраснел. О каком страхе можно говорить с ним, героем Бородина?

— Я вижу ваши намерения,— сказал Трубецкой глухо и решительно.— Мы этого не приемлем. Мы, северяне, этого не приемлем. Вы это должны хорошо понять...

...Пестель скрестил привычно руки на груди, словно забыв, что он — пленник.

«А кабы он стал государем?» — подумал наш герой, исподтишка разглядывая Пестеля, и вздрогнул: Павел Иванович смотрел на него тяжелым взглядом, напомним Бонапарта с известной литографии.

«Эва, как они переглядываются,— заметил про себя граф Татищев.— Юнец глядит на Пестеля, как кролик — на удава. Не будь меня — кинулся бы в пасть к нему, я знаю...»

Но тут Пестель перевел взгляд на графа, и военный министр отворотился с раздражением.

«Объявись я царем,— подумал Пестель,— ты бы мне присягнул. Да только тебе ведомо, что я царем не буду... Что же во мне проку-то для тебя, сударь? Нешто идеи мои?»

«Не тебя, не тебя я сужу,— живо откликнулся граф, вперив в стол по-собачьи тоскливые свои глаза,— а образ мыслей, которые ты возвращаешь. Тебя мне жаль...»

«Вознесся я, вознесся,— мелькнула в голове нашего героя нерадостная мысль.— Как бы не упасть...»

Боровков подманил Авросимова, и наш герой ринулся к начальнику получить от него новую тетрадь, затем низко поклонился и снова поспешил к своему стулу, и подумал: «Чего это я спешу?.. Со стороны, как поглядеть, смех один!..» — и глянул на Пестеля. Павел Иванович ну как нарочно рассматривал его своими раскосыми глазами, и была в них боль.

«Злодей! — воскликнул наш герой про себя.— Как смеешь ты укоры мне делать!»

— Вы бы уж не запирались, господин полковник,— вдруг сказал граф эдак расслабленно, по-домашнему.— Охота вам со смертью шутить? Его величество обо всем знает. Жалеет вас... Не упорствуйте.

— Дело ведь не во мне, ваше сиятельство,— глухо и обреченно выговорил Пестель,— а в образе мыслей, ко-

торый вам не совсем ясен, а потому и представляется преступным...

— Вот именно,— обрадовался граф и провел пухлыми пальцами по щекам.

«Дурак! — забубнил про себя наш герой, вспомнив свой вчерашний диалог с военным министром.— Не верь ему — лисе! Ах, дурак ты, полковник».

Дверь со стуком распахнулась, словно шарахнулась под гневным взглядом военного министра, и дотоле неизвестный офицер, неестественно улыбаясь, в чистом мундире, словно только что от обеда, почти вбежал в следственную, кивнул Павлу Ивановичу, сверкнув черными огромными глазами.

«Теперь все равно»,— вяло подумал Пестель, даже не удивляясь не совсем привычному в этих местах виду своего вчерашнего единове́рца.

— Теперь все равно,— торопливо выпалил офицер, когда ему задали тот же вопрос, касаясь цареубийства.— Все уже известно, так что все равно... И не моими стараниями известно... Я тут пас. Вы же, Павел Иванович, сами... Да вот полковник Пестель сам говорил мне... Вы же говорили мне, Павел Иванович, что прежде чем начать возмутительные действия, следует истребить... вы же говорили? Это относительно императорской фамилии. Еще с вами Муравьев не согласился. Вы же готовили других для свершения удара? — пальцы его тряслись вразнобой, словно он играл на флейте что-нибудь ухарское.— Я, к стыду моему, по легкомыслию подпал под обольстительный характер полковника Пестеля... Вы, Павел Иванович, увлекли меня, и в этом вы человек великий, как вы обольщать умеете... И как мы с вами на пальцах считали, уж это вы помните, чтобы счет жертвам был точный. Мы вот так по пальцам считали,— обратился он к графу, протягивая ему свою развернутую пятерню,— и всех перечисляли, начиная от государя... И вы, Павел Иванович, желая показать, что я бесчеловечен, сказали мне, мол, знаю ли я, как это все ужасно? Помните?.. Не сочтите этого,— снова обратился он к военному министру,— что я, мол, не делал, а, мол, Пестель. Нет, нет... Мы тогда вместе... Я не скрываю этого обстоятельства, ибо тогда мы вместе... теперь все равно...

Пламя свечой металось от ветра, производимого руками офицера. Члены Комитета вполголоса переговари-

вались, устав, очевидно, вторично выслушивать чисто-сердечную исповедь его. Пестель словно дремал, опустив голову, и только пальцы, вцепившиеся в край скатертного сукна, выдавали его чувства.

Нашему герою, скачущему пером по бумаге, отвратительными казались речи пестелева единове́рца, и не потому, что офицер, будучи в порыве раскаяния, чисто-сердечным признанием намеревался облегчить участь себе и своему недавнему предводителю, а потому, что и вы, милостивый государь мой, даже вы, при всем вашем горячем патриотизме и приверженности государю, что всем хорошо известно, даже вы возмутились бы, слушая эти речи, ибо дело тут вовсе и не в политическом их смысле, а в простой порядочности, в благородстве простом, которые даже нашему герою, не искушенному еще в вопросах морали, были свойственны.

«Ах,— думал он, негодуя со всем своим искренним пылом,— как же он мог ему доверять?! Я бы в жизни вот так не прыгал, хоть ты меня задави!..»

И тут он был по-своему прав, не вдаваясь в суть, а возмущаясь самим фактом.

— А сами вы? — вдруг спросил у офицера Левашов, и Авросимов впервые услышал его вкрадчивый бас, словно вовсе и не генералу принадлежащий.

— Что сам? — не понял офицер.

— А сами вы что утверждали?

— Сам я?.. А я разве себя чем покрываю?.. Я ведь уже все рассказал по чистой совести... Павел Иванович, я все рассказал... Я спервоначала упорствовал, но какой смысл? Посудите сами, ведь все известно...

— А что Бошняк? — снова спросил Левашов.

— А что Бошняк? — снова не понял офицер, но тут же заиграл на своей флейте и почти закричал, захлебываясь: — Я не предлагал господину Бошняку ничего противозаконного... Посудите сами, он для побуждения меня начать действовать сам говорил, что все уже, мол, открыто, что единственный способ ко спасению — поднятие оружия и возмущение полков... Я ему объяснял противное, но, посудите сами, зачем я ему все это объяснял — понять не могу... Возмущение полков... Какие сии полки? Где они? Зачем вымышлять на несчастного и такие нелепости!..

«Он будет кричать без конца,— зажмурился Пестель.— Что они его не остановят?»

— ...Не довольно ли я кажусь господину Бошняку,— продолжал офицер,— кажусь господину Бошняку виновным, чтобы совсем меня погубить?.. Я полковнику Пестелю об этом сказывал... Я вам, Павел Иванович, еще в Линцах летом сказывал... что, мол, Бошняк просится в общество... И Павел Иванович остановил сие вот, все сие обстоятельство...

В этот момент военный министр, подпирая щеку пухлым своим кулаком, не то чтобы улыбался, но едва заметно шевелил губами, что в некотором смысле даже могло означать и улыбку.

«Золотая шпага выглядела бы здесь игрушкой,— подумал Павел Иванович с горечью,— а юнцы счастливы...— и вспомнил себя самого, принимающего этот почетный дар.— Но ведь железка... И этот еще кричит...— и шумно вздохнул.— Однако России еще далеко до грядущих блаженств... с этим... вот с такими...— и сокрушенно:— Каковы ее дети!.. Это нервический припадок...»

— Ваше сиятельство,— сказал Пестель,— распорядитесь препроводить меня обратно в каземат. Нынче я отвечать не способен.

Злодея увели. Он шел быстро, словно торопился поскорее скрыться от позора.

Когда дверь за ним затворилась, наш герой вздохнул облегченно, с шумом, что тотчас было отмечено Боровковым с неодобрением. Но где уж тут было размышлять о добронравии, когда груз пережитого за день был так велик!

В голове Авросимова все уже перепуталось в достаточной мере, так что он, едва Комитет закончил деятельность, вылетел вон, хотя это говорится для красного словца, ибо он с почтением и подобострастием, как обычно, просеменил мимо высоких чинов, лишь изнутри раздираемый непонятной тоской.

Поздний морозец придал ему несколько бодрости, одиночество помогло собраться с мыслями и вернуло походке его твердость.

Не успел он добраться до дому, не успел перешагнуть чрез порог и предстать перед заспанным Ерофеичем, как последний, не говоря ни слова, подал ему вчетверо

сложенный лист. Авросимов развернул его дрогнувшей рукой:

«Милостивый государь!

Не имея чести быть с Вами знакомой, но понуждаемая многими чрезвычайными обстоятельствами, осмеливаюсь покорнейше просить Вашего участия в деле, о котором сообщу изустно при встрече. Письмо сие сожгите по прочтении неукоснительно.

Искать меня надлежит по Загородному проспекту, в доме господина Тычинкина, в любое время дня или ночи. В воротах встретит Вас мой человек.

Уповая на Ваше великодушие и благородство, с нетерпением жду встречи...»

— Она? — спросил наш герой шепотом, снова возбуждаясь.

— Приезжали-с, — также шепотом откликнулся Ерофеич.

— Здесь писала? — выдохнул Авросимов, замечая в письме многочисленные помарки и прочерки.

Ерофеич кивнул.

4

Что было делать? Часы показывали полночь. Сомнения были свойственны нашему герою, как всякому на этом свете, но возраст его был таков, а возбуждение и интерес были накалены до такой степени, что раздумья и прочие предосторожности не могли его смутить.

Это мы с вами, сударь вы мой, всего хлебнув и изведав, и не раз ожегшись, склонны к сомнениям, покуда и надобность-то в нашем вмешательстве не отпадет. Даже провинциальная робость в нашем герое оказалась в такую минуту слабым подспорьем в благоразумии.

Он тут же выскочил вон. Ерофеич едва успел крикнуть вслед слабым голосом, что, мол, опомнитесь, батюшка, да лишь руками развел, куда там! Старик только успел услышать несколько отчаянных ударов каблук о ступени, и все стихло.

Если бы наш герой знал наперед, что ждет его в неведомом ему доме, он, может быть, и остановился; если бы знал, как обернется его жизнь в дальнейшем, может быть, не торопился по заснеженным улицам в поисках ваньки, а когда нашел наконец какого-то заспанного и

ввалился на сиденье, может быть, не кричал бы истощенно: «Гони! Гони!..»

Но все происходило именно так: и сани летели, повизгивая полозьями, и лохматая их тень вспыхивала на стенах домов, когда какой-нибудь редкий фонарь помаргивал желтым языком.

Авросимов, откинувшись на сиденье, испытывал нетерпение и страх, почему-то лицо кавалергарда Бутурлина возникало перед ним, искаженное усмешечкой.

Как доехали до нужного места, Авросимов не заметил. Расплатившись с ванькой и отпустив его, он нарочито медленно обогнул приземистую церквушку и, обжигаемый морозом, направился к темному двухэтажному дому, где окна первого этажа напоминали своими малыми размерами бойницы в монастырских башнях, а окна второго, напротив, поражали величиной и великолепием и венецианским своим видом.

У ворот его действительно ждали. Он словно в глубоком сне шагал за приземистым человеком в овчинном полушубке и малахае, надвинутом на самые глаза. Затем скрипнула дверь. В лицо ударило теплом, ароматом имбиря, сладкого теста и сушеной вишни. Закружилась перед глазами винтовая лестница с полированными временем перилами, и вдруг распахнулась широкая прихожая, ярко освещенная, с потолком, уходящим куда-то к небесам.

Как он скинул свою шубу, этого Авросимов тоже не заметил. Очнулся он уже в просторной гостиной, в мягком кресле и, очнувшись, подумал, что вот и добрался наконец до заветного места и что сейчас и произойдет что-то такое, отчего все изменится в его судьбе. И уже все полетело прочь: и военный министр, и память о флигеле и Милодоре, и даже лицо Пестеля потускнело и виделось как сквозь дымку. Он попытался вспомнить лицо прекрасной незнакомки, но не смог, как вдруг открылась дверь и вошла она, именно она, об этом нельзя было не догадаться.

Она была в черном глухом платье, словно только что схоронила близкого человека, но печать грусти и озабоченности, рассеянная во всем ее облике, еще более красила ее в глазах нашего героя. Тогда, при первой встрече, она показалась ему значительно более высокой, а тут Авросимов понял, что он со своими ручищами и ростом

под потолок как раз и создан, чтобы утешать ее в печали и возвышать, и отводить от нее всякие житейские невзгоды.

И тут словно что-то новое, дотоле неведомое открылось в нем. Он встал со своего кресла, спокойно и с достоинством поклонился и спросил не прежним голосом рыжеволосого юнца, но голосом мужа:

— Сударыня, в толк не могу взять, что вынудило вас с такой настойчивостью искать меня и желать увидеть. Но, поскольку я перед вами, отваживаюсь заметить, что вы, по всей вероятности, ошиблись, приняв меня за лицо высокопоставленное, хотя я — дворянин, владелец двухсот душ...

Она уселась в кресло напротив, жестом предложив ему сделать то же самое, и засмеялась, хотя глаза ее сохраняли при этом прежнее печальное выражение, что усугублялось синевой страдания, обрамляющей эти удивительные, как ему казалось, глаза.

Вам, наверное, не так уж трудно вообразить себе эту сцену, ибо в вашей жизни, я уверен, бывало подобное, когда вы тоже торопились к предмету вашего благоговения и, наконец, встречались с ним, и дух у вас захватывало. Но тут — фраза за фразой, часто многозначительные, но по сути всякие пустяки, и, конечно, вы были скованы робостью и чувствовали себя неловко, покуда присматривались, приговаривались друг к другу, еще больше восхищаясь и сдерживая безумство.

Но что касается нашего героя, вы, наверно, заметили, как он сказал свою первую фразу в манере нам непривычной, и это следовало бы отметить, оценить в нем и не считать бестактностью или, пуще того, наглостью.

Он смотрел на нее открыто, не дерзко, со счастливой грустью взрослого человека, капитана, открывшего к концу жизни свой остров в безмерном океане.

Не знаю, что обуревало ее в этот момент, но она сказала просто и не чинясь, как старшая сестра:

— Я вижу, что вы достойный человек. Мы с вами не дети. Давайте отбросим светские условности. Будем говорить прямодушно, как давние добрые друзья.

Он слегка наклонил голову в знак согласия, и она продолжала:

— Поверьте, что желание видеть вас — не каприз плохо воспитанной дамы. О, нет, нет!.. Мне стоило большо-

го труда пренебречь положением, предрассудками моих родных и знакомых, преследуя вас (она засмеялась), ставя и вас, быть может, в неловкое положение (она помолчала, словно давала ему возможность опровергнуть ее), интригуя вас и вашего слугу своими молчаливыми визитами... Пусть навсегда останется тайной причина, побудившая меня домогаться встречи именно с вами... (брови у Авросимова взлетели). Почему я выбрала вас... (он вздрогнул) ах, не все ли равно. Я хочу знать только одно: расположены вы меня выслушать со вниманием, готовы ли быть мне другом...

Тут она замолчала, вглядываясь в лицо нашего героя, искаженное муками. Звуки ее речи, первоначально показавшейся ему пленительнейшей музыкой, постепенно привели его в состояние крайней возбужденности, так что он даже и половины смысла уже не мог уловить, а весь напрягся, как перед прыжком через пропасть.

Навряд ли были тому виной некоторые высокопарность и неопределенность, с которыми она к нему обращалась: он этого и не замечал вовсе. Но, подобравшись весь, жаждал, как воздуха, продолжения ее речи, о чем бы она ни говорила.

— Мне показалось, что вы чем-то взволнованы,— сказала она,— неужели слова мои привели вас в такое состояние? Уж лучше бы я говорила с вами о чем-нибудь другом...

— Да нет же,— выдохнул он с усилием,— вы говорите, приказывайте... Я на все готов.

— Зачем же приказывать,— засмеялась она.— Я просить вас должна, то есть я просить могу, и не больше... Но прежде чем просить, я хочу спросить вас... Не жалее-те ли, что посетили меня?

Он посмотрел на нее с восторгом и тут впервые увидел родинку на ее щеке, и к тому же весьма приметную. «Ангел! Ангел!» — вздумалось крикнуть ему, но сдержался.

Она снова засмеялась, удивленная его пылом. Встала. Срезала нагар со свечи. Накинула на плечи платок.

Авросимов следил за каждым ее движением неотступно.

— Чем же вы там у себя занимаетесь? — неожиданно спросила она.

— Пишу-с и только,— с охотой доложил он.

— И не трудно?

— Да отчего же? Вот только успевай...

— Это же заставляет страдать,— сказала она.— Все эти разговоры несчастных людей...

Ее сочувствие к злодеям не возмутило его.

— Натурально, человека жалеешь...

— А безвинные-то как же? — спросила она.— Разве вид их не вызывает сострадания еще большего?

— А безвинных нет,— вздохнул он.— Все виновные. То есть они стараются представить себя безвинными, но разве это возможно, когда все на ладони и все доказательства к тому...

— И они рассказывают что да как? — спросила она со страхом.— Где бывали, что делали, с кем встречались?..

Ему стало жалко ее.

— Кто как,— пояснил он.— Одни рассказывают, другие молчат... Да ведь разве утаишь?

— Молчат? — удивилась она.— И такие есть?.. Кто же? Кто?

— Да вот полковник Пестель, например,— сказал Авросимов хмуро, но прежнего ожесточения не ощутил.

— Пестель! — вскрикнула она и всплеснула руками, но тут же спохватилась, засмеялась вкрадчиво.— Интересно, ну и как же он? Молчит?.. И ничего?

— Да стоит ли об этом? — начал было наш герой, видя, как она переживает при упоминании всех этих несчастных, всей этой истории...

— А вы в деньгах не нуждаетесь? — вдруг спросила она.

Он не знал, что и отвечать на подобный вопрос. Он посмотрел на нее: она покраснела и старалась ладонями прикрыть щеки. Затем снова потянулась к свече, хотя и нагара-то никакого не было.

Авросимов находился в прежнем напряжении. Нелегкое это занятие в молодые годы — восторгаться дамой, сидящей напротив. Особенно, когда родинка, как живая, при каждом слове вздрагивает у нее на щеке и от этого мельтешит перед глазами, а время идет, но ты никак не можешь вникнуть в суть разговора и все робеешь и думаешь, какие у тебя рыжие не попад космы и пунцовые юные щеки, и как это все не совпадает с твоей душой, переполненной восторгом, благоговением и тревогой.

«Не могу я сидеть безмятежно,— подумал наш герой.— Хоть в ноги бросься».

— Как мы всегда, люди, не умеем быть благодарны природе,— вдруг услышал он.— Почему нам всегда всего мало? Я вижу и на вашем лице борьбу страстей. Вы тоже себя вопросами мучаете... А насколько я смогла уловить, вы ведь откуда-то издалека?.. Так у вас ведь там об этом и не рассуждают. Ведь так?

— О чем? — спросил он хрипло.

— Ну обо всем, об этом, о чем мы с вами пытаемся разговаривать: как устроен мир, и почему так, а не эдак... И сами себя все казним, раним...

— Поверьте, сударыня,— ничего не понимая, но встав во весь рост, торжественно сказал наш герой,— я готов сделать, что вы прикажете, лишь бы вам не казниться...

Она тихо засмеялась и продолжала, словно его и не было:

— А спустя время, глядишь — и нет уж нас прежних, с благородством былым, с фантазиями чудными... Ведь так?

— Так точно,— по-военному вдруг произнес он.

— Представьте себе, друг мой, прекрасного молодого человека, ну вот хоть себя самого. Совершается это ужасное дело, и вашего брата изобличают, как злоумышленника, и над вами повисает проклятие. А вы, конечно, никогда не подозревали, что это несчастье могло случиться, и с братом почти и не встречались, занятые собственной службой, семьей... И его опасные порывы были вам чужды, и вы их не разделяли, но так уж случилось. И вот вам, друг мой, в самую такую минуту, когда перед вами забрезжил наконец свет вашего счастья и свершения ваших надежд, вдруг в самую такую минуту перед вами ставят выбор: брат или государь...

И тут наш герой подумал вдруг о том, что если бы она могла согласиться, то есть даже просто подать едва заметный сигнал, он, ни минуты не колеблясь, увез бы ее в свое имение на радость себе и матушке, ибо все молодые соседки, что были в уезде наперечет, не шли ни в какое сравнение с этой дамой. И они бы поселились в старом флигеле, чтобы не докучать матушке своим образом жизни, и не было бы там никого, кроме их самих; не было бы там ничего, что нынче угнетает, хоть кричи, хоть головой бейся об стену.

— Теперь я буду рассказывать вам, как бы вы сами поступили, — продолжала она, прерывая его мечтания, — а вы только отвечайте: права я или нет... Вы любите своего несчастного брата и желаете ему добра, но выбор пал, и уже трубы зазвучали седлать коней и браться за оружие...

— Чем же государь ему не угодил? — любопытно спросил наш герой.

Но она замахала руками.

— Вы слушайте, слушайте... Сможете вы брату своему помочь в такую минуту? Ну что вы сможете, когда многие даже генералы не смогли ничего. И вот вы садитесь на коня и с полком своим служите государю. Ведь так?

— Так, — сказал наш герой, думая о матушке, как бы пришлось ему делить себя меж государем и ею, хотя это, может быть, и смешно вообразить себе на трезвую голову.

— Ну вот видите, — сказала она, — вы, конечно, на подозрении, на вас пятно, ваш брат злоумышленник... Можно ведь подозревать вас? Да?

— Да, — подтвердил Авросимов.

— Значит, следует вам держать противную брату сторону, чтобы очиститься, чтобы никто пальцем в вас не тыкал... И это все ведь жалея брата, несчастного человека, благородного... Ведь он ничего о других не рассказывает? Ведь так?

— Так, — сказал Авросимов и подумал, что надо самому предложить ей уехать в деревню: там — воздух чист, покой... Зачем это ей казнь такая? За что?

— У меня матушка в деревне, — проговорил он, — дом с флигелем... Там можно и успокоиться и о возвышенном подумать... Вам бы матушка моя понравилась...

— Да вы слушайте, — почти закричала она, — слушайте меня, сударь... И вот вы служите государю во всем этом несчастье, но сердце у вас за брата обливается кровью... И вы себя даже виноватым считаете, хотя на вас вины нет! — крикнула она. — Ведь так?.. И вы вспоминаете, как, бывало, раньше по молодости вы какие-то там идеи с братом своим несчастным обсуждали и даже не возражали ему... Ну, а как это раскроется? Значит, все праком? Но тут вы понимаете, что ваш брат, полный прежнего благородства, и не думает об вас вспоминать... Вам ведь это важно знать? Ведь так?

— Так,— подтвердил наш герой без энтузиазма и представил себе Павла Ивановича в сыром каземате, с завязанными глазами перед тем, как идти в следственную. И ему захотелось снова покоя и тишины для себя и для нее; а уж злодею страдать в каземате: он-то знал, куда шел, знал, чего хотел, тем более что помочь ему невозможно. Он бы, Авросимов, злодейства себе не выбирал, а Пестель коли выбрал, значит — бог ему судья. Ну, а она-то, она-то как?

— Нет, вы не подумайте,— продолжала она,— что я благородства Павла Ивановича не вижу... Мы его всегда любили и плачем об нем. Но почему же другим-то страдать за его порывы? Ведь так? Ведь вы не можете не согласиться?

— Не могу,— признался Авросимов.— Мне больно глядеть, как вы мучаетесь, как он, злодей, вас мучает! Он сам себе наказание придумал, а вы-то причем? Это я могу вот так ночей не спать, метаться. Я здоровый, а вам-то за что?

Пламя свечи вздрогнуло, пошло плясать.

В доме не было слышно ни звука, словно они разговаривали высоко в небесах.

— Вот так и брат Павла Ивановича,— сказала она издалека, глухо,— полный страдания за Павла Ивановича и отчаяния за собственную судьбу, не умея себя поддержать, а только проклиная жалкий свой жребий, злой рок, вынудивший его взяться за оружие и палить по друзьям Павла Ивановича, и теперь он гаснет в сомнениях и угрызениях...

— Не понимаю,— хрипло выкрикнул наш герой,— он мучается, что против мятежников вышел или что с ними не пошел?

— Какой вы, право,— засмеялась она и платочком провела по щекам,— как у вас все просто: за мятежников, против мятежников...

Вдруг в окно постучали. Она обернулась. Кто мог стучать в окно второго этажа? И все-таки стук был. А может, это снегирь в дом просился или веточку ветром оторвало и понесло...

— Утомила я вас,— сказала она, размышляя о каких-то своих заботах, кутаясь в платок. Сердце у Авросимова дрогнуло.



— Я рад буду угодить вам,— тихо сказал он.— Вы приказывайте.

— Да я не смею приказывать,— едва слышно и рассеянно отозвалась она.— Я только просить вас могу... Просить, да и только... Униженно просить.

— Нет, вы приказывайте,— потребовал наш герой, ощущая слабость и головокружение...— Зачем же просить?

Она поднялась с кресла.

— Вы же и так все поняли, сударь... Уж коли Павел Иванович не намерен ни об ком ничего рассказывать, нам с вами будто и не к лицу старые тряпки ворошить...

Теперь она казалась нашему герою очень высокой и еще более недоступной, чем мгновенье назад. Он тоже встал, но продолжал смотреть на нее как бы снизу. В комнате царило молчание. Платочек в ее руках застыл, выставив белое крылышко.

Прощание было коротким, почти холодным.

— Сударыня,— сказал Авросимов мужественно и с грустью,— хотя мне и не к лицу печься о семейных делах государственного преступника, да и противу долга это, но жалость к вам может меня подвигнуть на это, особливо, что брат Пестеля и ваш супруг — одно лицо, а вы можете не сомневаться в моем благородстве.

Да, да, именно так все это и происходило на самом деле, и вам не следует по этому поводу сокрушаться, потому что суть всех этих кажущихся нелепостей слишком проста и очевидна.

Это ведь мы с вами, всего в жизни хлебнув, обо всем имея твердое мнение, можем, когда это нужно, и в сторону отойти, и от лишнего отказаться, и ведь знаем, что — лишнее! Когда чаша наших душ бывает не переполнена, но полна, мы ведь ее от струи тотчас и отстраняем: хватит. Вот так живем, и это нас поддерживает и сохраняет и придает мудрости и остроты зрения на дальнейшее. И снова падает в чашу эту капля за каплей, все, что нам определено, но как до краев докатило — да пропади оно все пропадом! — и мы чашу сию — в сторону. Вы скажете: мудрость? Не знаю. Может быть.

Хотя, с другой стороны, вы возьмите, к примеру, землю. Идет, представьте себе, дождь на нее, а она его впитывает, впитывает, и уже она влажная, и все равно — земля. Но вот потоп начался, и ей впитывать воду неку-

да уже, и становится она уже не земля, а, скажем, болото или даже океан.

Вот и герой наш. Тут есть чему удивиться. Как это он за каких-то два дня умудрился такое перенести, получить, вобрат, и уж тут не то что полна — переполнена чаша, расплескивается, дальше некуда, а он все не оставит ее, не догадается, даже больше того — будто он нарочно всякие превратности выискивает, назло кому-то, будто не может без них.

Вы посмотрите только, как он все это несет на себе, как только спина его не переломится под грузом разных событий, приключений, мук и неожиданностей, сомнений и тоски! И кто знает, уж если судьбой его так определено, то не в назидание ли нам? Не для острастки ли?

Вполне возможно и такое объяснение, потому что как еще объяснишь? Разве мы с вами умеем с чужой колокольни-то смотреть? Так что давайте уж со своей.

И в ту минуту, когда, обуреваемый бедой, беспомощностью, наш герой вывалился на улицу, в ночь, он тотчас заметил возле подъезда экипаж, и незнакомый офицер, путаясь в замерзших ногах, кинулся к нему.

— Их сиятельство велели вам быть у них незамедлительно! Пожалуйте в сани...

— Да зачем же ночью-то ехать? — попробовал сопротивляться Авросимов, но офицер втолкнул его в экипаж.

— Мы вас по всему Петербургу обыскались, — сообщил он, когда кони понесли. — Там нет, тут нет... — и добавил как бы про себя: — Граф не в расположении.

Еще вечером наш герой от этих слов мог прийти в ужас, но тут, то ли усталость его сломила, то ли что-то в нем надорвалось, но он махнул рукой и подумал: «Да теперь мне хоть как».

И он спокойно совсем вошел в графский дом и, сопровождаемый суетливым офицером, прошел по веренице комнат, коридоров и очутился в небольшой зале, в полумраке, и увидел сразу же перед собой в глубоком кресле графа, закутавшегося в шубу. Граф сидел перед камином, в котором пылали дрова. Лицо его было красным и лоснилось от пота, но он продолжал зябко кутаться. На маленьком столике перед ним возвышался графин с водкой. В нем было уже меньше половины.

— Ну что? — спросил военный министр, глядя мимо Авросимова.

— Ничего, — ответил наш герой вполне нагло. — Явился, как вы велели.

— Жив-здоров? — спросил граф, видимо, не узнавая Авросимова. — Ну, ступай с богом... — и опрокинул рюмку.

Как Авросимов добрался до дома, невозможно было понять. Но у парадной двери навстречу ему кинулся уже новый офицер.

— Их сиятельство велели вам незамедлительно к ним явиться... — выдавил он замерзшими губами. — Я уже четыре часа вас здесь ожидаю. Извольте.

И тут Авросимов увидел во мраке карету, его ожидавшуюся.

— Извольте, сударь, — сказал офицер.

— Да я же только что от их сиятельства! — взбунтовался наш герой.

— Ничего не знаю, — сказал офицер. — Велено доставить, — и открыл дверцу.

— Мы вас совсем обыскались, — проговорил он, отогревая руки дыханием. — Там нет, тут нет...

В доме военного министра стояла тишина. Их сиятельство, как оказалось, крепко спали. Недоразумение быстро выяснилось, и Авросимову позволили удалиться. Но лошадей ему не дали: не хотели или забыли.

— Матушка, — проговорил он горячо и вполголоса, добравшись наконец до дому, — зачем мне все это?.. Господи, снизойди ко мне, не достойному твоих милостей...

Но сон оборвал его молитву.

5

Утро вечера мудреней. Даже отчаявшемуся приносит оно некоторое успокоение и проблеск надежды.

Вот и в это утро по январскому морозцу в мутноватой дымке спешили люди, отбросив вечерние страхи и сомнения; и другие, покачиваясь в санях, настраивали себя на новый утренний лад; и третьи, находясь в заточении, утренним взором заново оглядывали стены своих темниц и убеждались со вздохом облегчения, что это все же — просто стены, а не что-то мистическое, роковое и даже одушевленное, как казалось вечером при свече.

Утром все вставало на свои места, успокаивалось. И наш герой, приподняв над подушкой голову, почувствовал облегчение и, наскоро собравшись, заторопился

нанести визит дядюшке своему и благодетелю Артамону Михайловичу, отставному штабс-капитану.

Так благотворно разливалось свой свет утро. И только Амалия Петровна, жена Владимира Ивановича Пестеля, после ночного визита Авросимова так и не смогла заснуть, и утро застало ее стоящей у окна, и прекрасное лицо ее выглядело изможденным.

Должен вам заметить, милостивый государь, что судьба Владимира Ивановича была абсолютно вне опасности, ибо решительные его действия во время мятежа на стороне государевой были соответственно отмечены и поощрены, а брат за брата, как говорится, не ответчик, хотя брат все-таки есть брат, и тут в силу вступают некоторые иные законы — законы нравственные, законы крови, если вам угодно. И хотя сам Владимир Иванович, преуспевая на кавалергардском поприще и целиком отдавая себя исправной службе, этих законов не ощущал, зато Амалия Петровна вся как бы горела, будучи и пронизательней и чувствительней супруга.

Однако оставим ее пока наедине со своими муками, у окна, а сами устремимся за нашим героем, который в этот момент как раз и появился в прихожей у Артамона Михайловича.

Бравый старик, словно помолодевший после событий на Сенатской площади, встретил племянника с распростертыми объятиями и тотчас повлек его в гостиную, успев шепнуть:

— А у меня герой в гостях. Чудо, как хорош!

Когда они вошли, навстречу им поднялся армейский капитан, молодой, подтянутый, смуглолицый, с черными, на запорожский лад свисающими усами и с цыганским блеском в больших слегка раскосых глазах.

— А вот, Аркадий Иванович-батюшка, племянник мой Ваня, — сказал старик, подталкивая нашего героя. — Ваня, это Аркадий Иванович.

Тут Артамон Михайлович захлопал в ладоши, закричал распоряжения. И тотчас забегали, засуетились мальчишки, и не успели наш герой и Аркадий Иванович, усевшись, обменяться несколькими фразами, как уже на столе поблескивал графин с рюмочками и пестрела различная снедь.

— Чудо, как хороша! — воскликнул Артамон Михайлович, отхлебнув из рюмочки и похрустев капустой.

Авросимов чокнулся с Аркадием Ивановичем и уловил на себе его быстрый и открытый взгляд.

— Это смородинная? — сказал капитан. — А у нас все больше пьют чистую, житную.

Он говорил в едва заметной малороссийской манере; что придавало его речи мягкость и даже вкрадчивость. Это понравилось нашему герою, да и весь облик Аркадия Ивановича вызывал симпатию, а чем — сразу и не скажешь: то ли цыганскими глазами, то ли улыбкой, внезапной, ослепительной, но какой-то несколько детской, то ли еще чем-то.

Пилось легко, радостно. Закусывалось и того приятнее: капустой, гусиным паштетом, аккуратными пирожками, теплыми и мягкими, совсем живыми.

За окном показалось зимнее солнце. Снег заискрился, засверкал. Чудилось: вот-вот грянет музыка.

— Чудо, как хорошо! — сказал Артамон Михайлович. — Это, Аркадий Иванович, в вашу честь красота.

— А в чем же героизм ваш? — почтительно спросил Авросимов. — Вот дядюшка говорит, а я и не знаю.

Аркадий Иванович стрельнул взглядом, улыбнулся, но промолчал.

Зато Артамон Михайлович не удержался.

— Видишь ли, Ваня, — сказал он, обнимая капитана за плечи, — Аркадий Иванович пережил большие бури житейские. Много перемучился, перестрадал. Однако, Ваня, как мы служим долгу, так и он нам платит...

Авросимов слушал с любопытством, а Аркадий Иванович улыбался мягко и смущенно, и на смуглых щеках его проступал едва заметный румянец.

— ...Были в древние времена полководцы, — продолжал Артамон Михайлович, — имена которых мы чтим за их подвиги. Вот и Аркадий Иваныч будет за свой подвиг потомками почитаться. И давайте за ваше здоровье... Спаси вас Христос, Аркадий Иваныч.

Капитан опрокинул рюмку и зажмурился, и долго не открывал глаз, словно наслаждался, смакуя настойку, однако Авросимов заметил, как в позе капитана проглянуло что-то расслабленное.

— В чем же подвиг? — спросил Авросимов, все более и более разогреваемый любопытством.

— А вот в том, — сказал Артамон Михайлович. — Верно ведь, Аркадий Иваныч?

— А отчего ж нет? — ответил капитан, заглядывая в окно.— Уж вы бы, Артамон Михайлыч, не возносили мою персону.

— Вот, Ваня, как оно,— сказал дядюшка.— Мне Аркадий Иваныч кое-чего порассказал.— И вдруг засуетился: — Ай не по нраву вам, капитан, российская снедь? Вот пирожки, вот грибки-рыжики... А скоро и уху подавать велю...

После третьей рюмки в душе нашего героя случилось замешательство. С одной стороны, упрямое любопытство разбирало и мучало его: какая тайна кроется в словах капитана? С другой стороны, нежная шейка Амалии Петровны закачалась перед ним, и почти юное ее лицо померещилось, на котором горели вовсе и не юные глаза, полные отчаяния и тревоги... И тут, казалось бы, вовсе и ни к чему он подумал о Милодоре и стал даже жалеть, что выпроводил ее так бессовестно: Ерофеича постеснялся.

— Вижу, приятные мысли у вас,— вдруг сказал Аркадий Иванович.

Наш герой смутился несколько и, видно, по этой причине подмигнул капитану.

— Чудо, как хороши! — воскликнул Артамон Михайлович, отправляя в рот последний рыжик...

— А что может быть приятного в наших мыслях? — сказал капитан, подмигнув в ответ.— Воспоминания о предмете нежном, да?

Авросимов покраснел.

— Аркадий Иваныч всегда мой гость,— сказал Артамон Михайлович.— Как приезжает в Петербург — так мой гость... В начале осени приезжал. Помните, как вы, Аркадий Иваныч, в это вот кресло упали? И представляешь, Ваня, я его тормошу, а он молчит. Помните? Тот... Кто же вас от тоски да от страха спас тогда? А? Кто вам руку протянул? Кто в душу вам заглянул?..

И тут наш герой заметил, что капитан зажмурился.

— Ну не буду, не буду,— засмеялся дядюшка и хлопнул в ладоши.

Испуганные мальчики в засаленных ярких поддевках подали уху.

— А ведь наш Ваня тоже не лыком шит,— сказал дядюшка капитану, поглядывая на нашего героя с любовью.— Он ведь теперь знаете где?

— Знаю, знаю,— со свойственной ему мягкостью проговорил капитан.— Знаю.

— Он теперь наше дело продолжает,— сказал Артамон Михайлович, разливая по рюмкам.— Мы начали, Аркадий Иванович, а он продолжает... Все мы одно дело делаем ради нашего государя.

— Вот и чудесно,— улыбнулся капитан.

И тут Авросимов не выдержал и снова спросил:

— А в чем же все-таки ваш героизм, господин капитан?

Но капитан сидел зажмурившись, откинув голову.

— Да в чем же? — чуть было не вскричал Авросимов.

— Дядюшка ваш слишком добр ко мне,— улыбнулся капитан, не поднимая от смущения своих цыганских глаз.— Какие там действия, помилуйте? Я это себе все иначе мыслю... Хотя понимаю, какую историю они в виду имеют. Да я ее и объяснить-то не умею, ей-богу. Это, видите ли, господин Ваня, такая история, что даже и невозможно знать, откуда ее начало, если и решиться рассказывать... Тут, видите ли, все очень запутано... А как вам, господин Ваня, кажется мой бывший полковой командир?

— Я его не знаю,— сказал наш герой.

— Вот как? — не поверил капитан.

— Да откуда же я его знать могу?

Теперь капитан сидел в кресле прямо, и его благородное лицо было обращено к нашему герою, и все оно, такое открытое, ждало ответа. Симпатия к этому человеку росла в Авросимове, и чем больше было недосказанного, тем она становилась глубже, серьезнее. Вот он — истинный человек, появившийся в этом гранитном мире, приехавший откуда-то издалека, из степи, со своей детской улыбкой, простодушной и мужественной. Как нам иногда нужно время, чтобы загореться к человеку симпатией, а при отсутствии времени мы, бывает, и мимо проскакиваем, а зря. Ведь это же богатство души, когда возгорается новая симпатия. Конечно, очень может быть, что и ошибается человеческий глаз, сердце... Но давайте же рисковать в наших с вами поисках и открытиях.

— Господин Ваня,— сказал капитан мягко и с некоторым даже укором,— не трэба так торопиться с выводами. Это вы в Петербурге пожили, а Петербург суетлив...— он опять улыбнулся с полной откровенностью и расположением к Авросимову, так что нашему герою даже нелов-

ко стало, но как он ни напрягался, не мог все-таки понять, о ком идет речь.

Артамон Михайлович глубоко вздохнул, похоже даже всхлипнул и выпил одну за другой пару рюмочек, отчего нос его сразу налился, стал сизым и потным, а в глазах загулял сквознячок.

— И что же вы такого совершили? — спросил Авросимов, желая получше открыть для себя капитана.

— Да что ж вам сказать, — ответил Аркадий Иванович, — ежели вы моего бывшего полковника не вспомните. Уж коли вы его не знаете, так чего мне огород-то городить, а коли знаете, да не вспомните, то уж тем паче — незачем, а может быть, вы нарочно это?.. Ну чтобы, скажем, подразнить меня?.. Да я в это не верю, — и он засмеялся ласково. — Всю жизнь мечтал быть широкоплечим, как вы вот, да не дал господь.

В комнате было тихо. Добрый старик спал, откинувшись в своем кресле. Аркадий Иванович поднялся и поманил за собой Авросимова. Он шел легко, прямо, лишь слегка взмахивал рукой, словно поддерживал равновесие.

Они прошли в комнату, предназначенную, очевидно, капитану, потому что на красной тахте валялась шинель, а на полу — сабля, и небольшой сундук стоял прямо посередине, и из него, словно разварившаяся каша из котла, лезла военная амуниция. В углу, в небольшом ящике, повизгивали и суетились борзые сосунки, и Аркадий Иванович, указав на них, произнес с видимым удовольствием:

— Мои. Еле довез... А вот этого лохмача я Артамону Михалычу в презент... Какой псина будет — цены нет! Сука. Можно даже Дианой назвать... Не опозорит. Хорош?

— Хорош, — подтвердил наш герой, испытывая теплое чувство к капитану.

— Хотите, и вам подарю?

— Да мне не за что, — смутился наш герой. — Я в этом не понимаю ничего.

Капитан позвал тихо, и в комнате появился молодой солдат и, произведя руками немислимый кульбит (словно одновременно и честь отдавал, и по шерсти гладил, и на скрипке играл), застыл, уставившись на капитана.

Аркадий Иванович рассмеялся по-своему.

— Боишься меня, Павлычко?

— А то як же, — сказал Павлычко.

— А не выдашь? — спросил капитан.

— Ни, — хрипло выдавил солдат.

— Не выдаст он меня, — удовлетворенно сказал капитан. — Ну, Павлычко, що мы господину Ване презентуем?

Павлычко задумался на минуту, кинулся к сундучку, вытащил длинный кривой нож в чехле из козьей шкуры.

Аркадий Иванович взмахнул рукой, лезвие сверкнуло, бледный зайчик метнулся по вишневым обоям.

— Да что вы, — сказал Авросимов, млея перед такой красотой, — зачем он мне? Мне и девать его некуда.

— Возьмите, возьмите, — потребовал капитан. — В жизни всякое бывает. Пригодится.

— Нет, нет, — сказал наш герой. — Покорно благодарю.

— Павлычко, — тихо приказал капитан.

Солдат тотчас нырнул в сундучок, извлек старинную курительную трубку, почерневшую от табака, жара и времени.

— Да я не курю, — сказал наш герой решительно, и в сознании его возникла вдруг большая полутемная зала в том самой флигеле, и сизый табачный дым из множества трубок, и потухающий огонь в камине, и из полумрака — улыбка Милодоры, смех Мерсинды, задыхающийся шепот Дельфинии. «Ах, какая ночька была прелестная! — подумал он. — И зачем это я тогда Милодорочку так грубо выставил?»

— Возьмите, — сказал Аркадий Иванович. — Я с ума сойду, ежели угодить вам не смогу. Возьмите. Вы очень мне симпатичны, — глаза его были полны просьбой. В ящике повизгивали щенки. — Вы не можете покинуть меня, не взяв подарка. Так не бывает. Возьмите...

— Ну ладно, — сказал наш герой, — покорно благодарю, — и потянулся было к трубке, но Аркадий Иванович мягко отвел его руку.

— Нет, — сказал он, вглядываясь в глаза Авросимова, — вы без охоты берете, без сердца... Це не дило... Вам этот презент не по душе... Павлычко!

Солдат, молча наблюдавший всю эту сцену, стремительно кинулся к подоконнику и подал нашему герою небольшой пистолет.

— Покорно благодарю, — сказал Авросимов.

— Английский. Самая совершенная модель, — радостно сообщил капитан.

— Покорно благодарю.

— Заряжен.

— Покорно благодарю.

— Полсотни шагов для него — не расстояние, — сказал Аркадий Иванович. — Целиться умеете?.. Це гарно. Павлычко, горилки!

Солдат подал им по рюмке. Они стоя выпили.

— А он вас впрямь боится? — спросил Авросимов.

— А як же, — удивился капитан. — Зато, что я ни скажи... А ведь если он бояться не будет, господин Ваня, что же выйдет? Он так и дурному влиянию поддастся... Это уже не солдат будет, а злодей... Верно ведь? В каждом из нас сидит злодей, господин Ваня, но мы должны его изгонять, воли ему не давать, — и засмеялся.

Наш герой подумал, что это так и есть, хотя, может, сильно сказано, но есть, и у солдата — не боязнь, не страх какой-нибудь, а почитание, тем более если слышать, как капитан смеется, играя своими глазами.

— А вы не хотите меня отблагодарить? — вдруг в упор спросил капитан так, что наш герой даже растерялся. А Аркадий Иванович продолжал глядеть на него неотрывно, с улыбкой.

— Нет ли у вас на примете нежного предмета? — спросил капитан. — И с ямочками на щеках? Ежели есть, то ведите меня. Или я не достоин, вы считаете?

— Отчего же, — сказал Авросимов, размышляя над внезапной просьбой.

— Так ведите меня, ведите, ну... — шутливо потребовал Аркадий Иванович.

Наш герой сунул пистолет за пазуху, накинул шубу. Павлычки уже не было. Дядюшка, верно, спал. Аркадий Иванович оделся тоже, и они вышли.

— Ну, куда же вы меня поведете? — спросил капитан. — Где ваш нежный предмет пребывать изволит?

6

Они медленно двигались по пустой мостовой, обходя синие сугробы, и наш герой мучительно раздумывал над сложившимися обстоятельствами.

Действительно, посудите сами, как было ему не мучиться, когда он и сам-то в Петербурге — без году неделя, да и не таков, чтобы сразу суметь угодить симпатич-

ному, но настойчивому капитану в его щекотливом предприятии, да и, кроме того, само знакомство с Аркадием Ивановичем было несколько стремительно, и после всяких высокопарных и таинственных намеков на какие-то его заслуги, в чем Авросимов и разобратся-то толком не успел, вот вам, пожалуйста, подайте ему нежный предмет, то есть просто капитану желательно женское общество, а где оно?

Пистолет подрагивал на широкой груди Авросимова и охлаждал ее. День перевалил на вторую свою половину, и потянуло туманом и синевою. Красное зимнее солнышко потонуло в Неве, где-то за Адмиралтейством. Едва сумерки надвинутся, можно будет в знакомый флигель постучать...

Хмель постепенно проходил, и на душе у нашего героя снова становилось гадко. Казалось, что из-за поворота вот-вот вывернутся сани его сиятельства военного министра, и снова придется вести унылый разговор неизвестно о чем.

— В Петербурге у меня есть знакомая,— сказал Аркадий Иванович,— Амалия Петровна Пестель. Дама молодая и прелестная. Как она супруга своего любит! Вы бы только поглядели, господин Ваня. Когда я смотрю на них, мне за себя больно становится. Почему я один на белом свете? Вот не дал господь. А я вам должен признаться, что женщину считаю в нашей жизни главным, и это не в том смысле, в каком я вас только что попросил, а в самом высшем, в философском... Я и у нас в полку, бывало, рассказывал свои убеждения, но некоторые,— сказал он с грустью,— некоторые молодые офицеры, как это говорится, из хороших фамилий, меня на смех пытались поднимать...— он покрутил головой,— да разве можно на них за то серчать? Они по воспитанию такие, я ведь понимаю. Я для них — кто? Провинциал, скука...

— Да, да,— подтвердил Авросимов.

— Но они это не по злобе, не по природе, господин Ваня, а когда тебя узнают, так и вовсе проникаются симпатией... Верно, верно... Уж я знаю. Поэтому и серчать на них за то нельзя. Да, предмет нежный... Это, так сказать, в житейском смысле. Но поверите ли, я, господин Ваня, ради этого самого могу даже преступление совершить или, скажем,— подвиг. А вы куда же меня ведете?

— Есть один дом, сударь,— сказал Авросимов,— в котором тепло и приятно. Уж вы жалеть не будете.

— Дай-то бог,— засмеялся капитан.

Аркадий Иванович умолк, и наш герой, воспользовавшись паузой, погрузился в мечты о предполагаемом визите во флигель. Что мог встретить он там? Опять эти крики веселья и шепот любви, и полную непринужденность, когда тело словно разделено на части, и каждая часть живет своей особой жизнью. Полное забвение, и никаких следственных и никаких военных министров, и только горячее дыхание Милодорочки или Дельфинии, и бесшумная челядь, которая все что-то несет, несет, уносит... и, наконец, добрый и прекрасный Бутурлин, который успокоить может, который так легко тонкой рукой поведет, и тотчас все вокруг станет бранным, расплывчатым... О чем сожалеть?

— В жизни я всегда отличался большим любопытством,— вдруг сказал Аркадий Иванович.

— А что же вы все никак о своем геройстве мне не скажете? — напомнил ему Авросимов.

— А далеко ли нам идти, господин Ваня? — спросил в свою очередь капитан.— Я очень вам верю, что вы меня приведете к земле обетованной... Только вы меня в общество все же не ведите. А знаете, у меня в Линцах была одна Анюта, господин Ваня. Вдова исправника... Вот истинный ангел, господин Ваня. Да вы и сами понимать должны...

— Я в этом не очень,— признался наш герой.

Капитан нежно взял его за локоть.

— Что ж так?

— Я молод еще, сударь...

— С вашими-то плечищами,— сказал капитан с улыбкой,— можно любую даму с ума свести... А к чему я вам про любопытство свое начал?.. Ага... Знаете, господин Ваня, мой полковник был человек незаурядный, вот я о чем...— и вздохнул.— Скажу вам, не хвастаясь, я в особенных людях толк знаю, я их тотчас же на глаз беру, хотя я ведь тоже по-своему хорош, как я умею с людьми быть утончен и покладист. Я, бывало, выйду в Линцах перед строем, и пока там унтера суетятся, эдак вот рукой только качну, и строй тотчас — ровная линия, а иначе я вас, сукины дети!.. Вы не подумайте, господин Ваня, что это от страха. Нет, нет, от глубокой симпатии... Так вот,

но в полковнике моем эта тонкость все-таки меня поразила. Ну что там? Ну, я вам скажу, рост. Это главное. И не то, чтобы малый рост привлек внимание к нему; а знакомый облик... Эге, говорю я себе, где это мы встречались? И вдруг я понимаю: это же Бонапарт стоит передо мною! Он самый, господин Ваня! Рост... Но кроме того — лицо, осанка, взгляд... Волосы! Все, все... Потом уже я понял, что и духа полное соответствие. А я, господин Ваня, сам — кремень. Кремень, значит, на кремень. Это вы поняли? Тут вы следите, как самая ниточка завязывается, как она начало берет, следите, что очень занятно. Так вот, он указывает мне на марширующую роту и говорит:

— Как вам нравится, господин капитан, эта толпа лентяев и оборванцев?

Я, признаться, господин Ваня, оторопел.

— Чем же они лентяи, господин полковник? Они строя не знают, но на то мы и призваны их учить, господин полковник. Авось выучим, лицом в грязь не ударим... Постараемся...

Он искривился весь, словно от смеха, но смолчал. Однако голубые его глаза глядят зорко, с пристрелочкой, и весь вид его располагает. Я, признаться, у него — новый офицер, еще не знаю, что да как.

— В других полках, господин полковник, и того хуже...

— Другие полки, господин капитан, не образец для нас, — сказал он холодно. — Я просил вашего назначения сюда, зная о вашем высоком мастерстве в строевой науке...

Ну, как он меня холодом облил! Как мне было поступить, господин Ваня? Однако я смотрю на него с любопытством. Ладно, сударь, извольте...

Так рассуждал Аркадий Иванович, словно бы и ни о чем, а между тем наш герой, преисполненный необъяснимой тревоги, вышагивал рядом, видя перед собой Павла Ивановича с завязанными глазами и не умея представить себе его же, стоящим на ветру перед марширующей ротой. Да как это он там стоял? Видел ли он свое скорое будущее? И, замахиваясь на самого государя, предвидел ли молнии и гром?

— Э, кабы можно было предвидеть хоть сотую долю того, что потом стало, — вздохнул Аркадий Иванович. — А вот, господин Ваня, посудите сами, мое положение: он

стоит передо мной, как Бонапарт, и я ничего сказать не смю. Каково? А ведь все мы — люди. Ну, скажем, водку он пьет? В карты... прекрасный пол... Ну как все... Но он меня подавляет своими глазами, господи ты боже мой! Это не просто, думаю я, это личность... Это не просто аристократ, баловень, пренебрегатель... Ну хоть бы он меня понял, кивнул бы, пригласил бы к себе; мол, новый офицер, как дела и прочее... Нет, господин Ваня, одни лишь глаза в упор. Я терпелив. Я жду. Я в кампаниях против французского узурпатора не участвовал, а он — да. Препоклоняюсь перед героями, даже завидую... А вам разве не хотелось бы ради отечества? Не хотелось бы? Ведь хочется, а? Ну знаю, это же не просто слово... А вы вникайте, вникайте, тут-то самое и начинается.

— Мне поторопились передать, господин капитан, всякие слухи относительно вашего прошлого.

— Позвольте, господин полковник, что вы имеете в виду? Я поклонник правил, но честь свою в обиду...

— Ну, например, история в Московском полку, когда вы...

— Виноват, господин полковник, но это навет...

— Нет, нет, я не придаю этому значения. Вы первоклассный строевик, а мне вот как нужны такие офицеры... Остальное — вздор.

— Это самая крайняя мера завистников, господин полковник...

— Пустое. Я не считаюсь. Для меня какой вы есть...

— Для меня отечество прежде всего. Его польза...

— Отечество? А что, господин капитан, известно вам об этом предмете?

— Я бы сказал, господин полковник, да мысль, что и до вас дошли грязные обо мне слухи, ужасна...

— Давайте договоримся, господин капитан, раз и навсегда. Я вас ценю за фронт. Остальное — не мое дело.

Вы поняли, господин Ваня, какая тут тонкость?

Наш герой живо представил себе этот диалог, отчего волнение его даже усугубилось, ибо, зная уже отчетливо внешние черты злодея полковника, он ощутил его холодность и словно увидел пронзительные его глаза. Но чего-то все-таки Аркадий Иванович, видимо, не договаривал, и призрак висел в пустом воздухе, как карась на крючке, вне своей родной водной стихии.

Уж ежели рассуждать с пристрастием: и дался же ему

этот Павел Иванович, возомнивший о себе, великий нравственный прелюбодей! Что в нем, казалось бы? Да, видно, такова природа молодости и неусталой, непотроженной души, что все хочется знать наверняка, до конца, а иначе такие мучения подступают, такая тайна мерщится, что и не приведи господь.

Авросимов и переживал это все, шагая рядом с героем, да так переживал, что и Амалия Петровна выскочила из мыслей, и военный министр не представлялся, и прохожих словно и не было вокруг, и позабылся флигель вождеденный...

Как вдруг Аркадий Иванович подступил с вопросом: — А что, господин Ваня, близко ли нам идти? Не видать ли уж огонька обетованной земли?

— Я вас приведу, приведу, — сказал наш герой в нетерпении, ощущая, как шевелится на груди холодный пистолет. — Вы рассказывайте.

Аркадий Иванович на это вздохнул, засмеялся:

— Интересует вас это?.. А может, я вру вам все? Вот такой болтун несусветный вам попался, а вы и верите, а?

Тут наш герой заметил, что вечер опустился. Идти до флигеля было еще порядочно, и можно было послушать рассказчика вволю.

— И зачем я вам все это рассказываю? — проговорил Аркадий Иванович. — Теперь полковник мой схвачен, роковая опасность миновала. Другие, стало быть, спохватились... Государь — новый, молодой... Эх, господин Ваня, вздор это всё.

— Нет, не вздор, — вдруг несколько даже наставительно сказал Авросимов. — Отчего же вздор, когда — истина? Зачем вам врать? Я же вижу, как вы с волнением рассказываете...

— Ну ладно, — сказал капитан миролюбиво, — только уж вы следите, не пропускайте ничего, хотя я не знаю, зачем я вам все это рассказываю... А может, так прогуляемся, помолчим? Не утомил ли я вас? — но так как Авросимов ничего на это не ответил, а лицо его выражало нетерпение со всей свойственной его возрасту непосредственностью и открытостью, Аркадий Иванович продолжал свой рассказ. — Представьте себе, господин Ваня, каково человеку, который цену себе знает, которому пальца в рот не клади, а тут холодные глаза, в го-

лосе — железо, и противу вас — стена? Ну что вы будете делать? Решение мое смириться было горьким. Я человек гордый. И вот однажды летом, мы тогда всем полком лагерь держали, пошел я к моему полковнику поздним вечером, в неурочное время, дабы испросить у него разрешения отправить в госпиталь унтера моего, внезапно заболевшего. А надо вам знать, господин Ваня, хотя к полковнику была от полка симпатия, дистанция меж им и нами, офицерами, держалась непреложно. Куда там! И не вздумайте в неурочное время беспокоить. Беда. А я иду. В окне — свет. На шторках тени. Песен не поют, не слышно, но, думаю, веселье идет тихим чередом... В нашей жизни лагерной без этого разве можно? И не бражничанье меня насторожило впоследствии, нет... Впрочем, что вы сами поймете... И тут, господин Ваня, с темного крыльца скатывается прямо на меня белая фигура и словно привидение, как кикимора лесная, раскачивается передо мной и спрашивает:

— Как прикажете доложить?

А это, значит, лопухий пес Савенко, денщик моего полковника, скотина, мордастый такой и наглый.

— Пошел вон!

Будто он меня не знает! И ведь если бы я, скажем, был князь или генерал, он бы в ногах моих валялся, а мне, значит, теперь надо и через это перешагнуть? И это проглотить? Я не намерен...

Речь Аркадия Ивановича постепенно приобретала плавность, словно он уже который раз повторяет свою историю, тем самым вырабатывая манеру повествования в духе известного господина Бестужева-Марлинского, тоже, кстати, замешанного в бунте, но пока не успевшего потерять для читающей публики своего обаяния.

— Но не успел я всего этого для себя осознать, — продолжал капитан, — как сам полковник появился на крыльце. Белая рубаха его с широким воротником была видна хорошо. За шторкой чья-то кучерявая голова застыла неподвижно. Что-то здесь неладное происходит, подумал я, какая-то во всем этом тайна... Тут я шагнул ему навстречу.

— А, это вы, — сказал полковник, но с крыльца не сошел.

— Господин полковник, дело чрезвычайной важности побудило меня беспокоить вас в неурочное время...

— Господин капитан, — сказал он сухо, — я уже имел честь предупредить, что по вечерам...

— Господин полковник, унтер Дергач тяжело занемог и криком своим переполошил лагерь...

— Я не люблю дважды говорить об одном и том же, господин капитан.

— Если он к утру кончится...

— Господин капитан, не принуждайте меня к крайним мерам.

И тут его белая рубаха качнулась и растаяла в дверях. Кучерявая голова на шторках зашевелилась снова, а из хаты появился лопухий Савенко и сел на ступеньку.

Что было делать? Я повернулся и, подавляя в себе гнев, отправился восвояси, но стоило мне сделать несколько шагов, как я услышал за спиною скрип и, оглянувшись, увидел, что Савенко, крадучись, сошел со ступенек.

Была ночь, господин Ваня. Луна стояла неполная. Кузнечики кричали. И я шагал мрачно по сырой траве, мимо спящих хат. И в душе моей творилось черт знает что... Вы следите, следите за каждой мелочью, не упускайте... «Что же это происходит? — думал я. — За что же это я так наказан в то время, как кто-то с полковником моим бражничают!»... Вы понимаете, какое дело? А унтер — бедняга, на которого махнули рукой? Оскорбление, мне нанесенное? И ведь все это от человека не простого, не подлого, насколько я успел разузнать... Бражничают... И тут страшная догадка посетила меня. А если они не бражничают?! А если я столкнулся лицом к лицу с искрой дьявольского предприятия, слухи о котором носились в армейском воздухе уже давно?.. Бражничают? А с чего же этот пес лопухий караулит у крыльца? Любопытство мое, подогретое оскорблением, разгорелось пуще. Я проделал уже полпути к лагерю, как вдруг вспомнил о деншике, ринувшемся за мной, и оглянулся стремительно. Серая фигура Савенки кинулась в тень забора. Я не из робкого десятка, господин Ваня, но сердце мое дрогнуло. Однако я справился с первым смущением и продолжал свой путь, положив про себя проучить дерзкого холопа. Пройдя еще порядочное расстояние и чувствуя, что лопухий продолжает следовать за мной, я воспользовался резким поворотом тропы, обнаружил пролом в заборе и, юркнув туда, затаился в

густой листве. Я был совершенно скрыт от проходящих, но сам видел дорогу отлично. И вот, господин Ваня, едва отдрожали последние листочки на кустах, потревоженных мною, как долговязая фигура проклятого пса вынырнула из-за поворота и остановилась в недоумении. Он меня потерял!.. «Ищи! Ищи!» — хотелось крикнуть мне, но я молчал и с жаром ждал продолжения истории, надеясь, что пес кинется за мной в кусты и уж тут я смогу наконец заплатить ему сполна за унижение... Савенко нелепо топтался на месте, пробегал вперед по тропе, возвращался, и мне даже почудилось, что он приюхивается. Истинный пес, прости господи! Так минут пять, а может, и более того топтался он в близости от меня, пока наконец не понял бесплодности своего предприятия и не отправился обратно, чему я даже обрадовался, так как ноги мои затекли, а в нос набилась пыльца от цветов и душила меня.

Прошло время, господин Ваня. Дальше — больше. Каково мне было все это понимать?

— Да, да,— пробормотал наш герой, позабыв совершенно о цели своего путешествия, чувствуя, как дух у него захватывает, словно провалился в глубокую и густую тайну.

— В последующие дни,— сказал Аркадий Иванович,— Савенко, встречаясь со мной, делал вид, что ничего не произошло, да и я не поминал ему ни о чем, чувствуя душой какую-то тайну, которую от меня скрывали. И тут, господин Ваня, то ли душа моя такова, то ли это была воля самого господа нашего, но я уже не мог вести прежний образ жизни, а что-то во мне клокотало и понуждало действовать. Скажу вам, не хвастаясь, что природная сметливость помогла мне в этом. Я решил скрывать свои истинные чувства до поры до времени, справедливо считая, что это поможет мне раскрыть тайну, ежели она есть. И я не ошибся... Спустя неделю счастливый случай свел нас с полковником снова. На сей раз он был в расположении и даже несколько раз его жесткое лицо украсила мимолетная улыбка... Я не поминал о недавнем происшествии, он словно и не помнил. Шел обычный деловой разговор о полковых заботах. Вдруг он спросил:

— Как думаете, господин капитан, любят ли вас в роту?

Я задумался и не знал сразу, что ответить. Это ему, видимо, пришлось по душе.

— Природная скромность не всегда у офицеров в чести, но вы ею не пренебрегайте,— сказал он, незло усмехаясь.— Кстати, об офицерах. Успели ли вы приобрести себе друзей по симпатии?

— Я, господин полковник, так много занят строем, что и не думал об этом, ибо стараюсь о блеске вверенной мне роты...

Разговор как разговор, и все-таки что-то меня насторожило, ведь та полночь и лопоухий Савенко, крадущийся за мной, не выходили из моей головы. Господи, подумал я, помоги мне!

— Стараетесь о блеске? — задумчиво переспросил он.— А ведь от воли государя зависят счастье и блеск всей армии,— и добавил тихо,— хотя эта воля в последние годы проявляет себя противоборствующей здравому смыслу...

Я вздрогнул. Сердце мое затрепетало. Он глядел в меня пристально, насквозь. Я кивнул ему согласно. Эти преступные мысли не были для меня новостью, мне многое подобное приходилось слышать из разных уст за последнее время. Спокойно, сказал я самому себе, не спугни глухаря, дай ему потоковать...

— Как же он вам вдруг доверился?! — прохрипел наш герой с отчаянием и тоской.— А вы-то что?..

— Я испугался, господин Ваня,— сказал капитан шепотом.— А вы бы разве не испугались? Я понял, что это все неспроста, его слова, что мне должно их слушать и соглашаться, чтобы он легко говорил, не стесняясь. Я вообще, господин Ваня, манеру взял с людьми не спорить. Зачем? У каждого своя голова, свои привязанности. Но, заметьте, стоит человеку поддакнуть, представиться ему единомышленником, как он тотчас словно освобождается весь, и легко ему с вами и просто... И вот тогда вы будто окунулись в его образ мыслей... А эти спорщики всякие, петушки эти, они не по мне, господин Ваня. Так вот, значит, он произнес свою ужасную фразу, от которой сердце у меня похолодело...

— Это справедливо,— сказал я в ответ.— Я сам думал об этом. Но наша власть мала, и нам остается надеяться на божье провиденье.

— Да,— сказал он,— вы правы. Все оно так и было бы, когда б не особый случай.

— Какой же, господин полковник?

Он долго молчал, внимательно разглядывая меня, словно я не человек, не офицер, а так — предмет неодушевленный, и это мне было, поверьте, крайне оскорбительно, и рука, как говорится, искала рукояти, но я крепился, ибо разворачивалось внезапно такое, во имя чего стоило гордыней пренебречь. Моя счастливая звезда сияла мне ослепительно.

— Я совершаю преступление перед совестью и кругом своих друзей, исповедуясь перед вами откровенно,— сказал он, окончательно прожигая меня взглядом,— но что-то подсказывает мне, что на вас можно положиться.

— Господин полковник! — воскликнул я, стараясь окончательно расположить его.— Нет, нет, вы не ошиблись. Слово дворянина!

Глаза его вдруг сверкнули.

— Я верю вам,— сказал он шепотом.— Здесь не место для откровенности... Вечером у меня, если вам будет угодно...

И он пошел, невысокий и коренастый.

Волнению моему не было предела, и хотя тайна оставалась по-прежнему за завесой, но я верил, что край этой завесы я приподыму, и очень скоро.

Человек не бедный и знатный, мой полковник жил скромно, по-походному. Я очень удивился, господин Ваня, когда, оказавшись в его комнатке, увидел деревянный топчан, покрытый серым солдатским одеялом. Правда, множество книг да исписанных листов бумаги покрывали единственный в комнате стол. Разговор сначала не завязывался, потому что он ко мне присматривался, а я был в волнении, предвкушая раскрытие тайны. Но постепенно тема нашлась, а именно — минувшая война. Нет, вы не думайте, господин Ваня, что так вот сразу он весь и раскрылся, все свои чудовищные планы и прочее... Разговор у нас был обычный, и я бы так и остался в недоумении, как вдруг он сказал, не помню уже продолжая какую мысль:

— Всякое единоличное правление приводит к деспотии, а это значит, что в собственных глазах деспот всегда прав и непогрешим, а так как даже деспот смертен,

а смертные не могут быть абсолютно непогрешимы, следовательно, за некоторые грехи его расплачивается народ, государство, мы...

— Надо ему подсказать об этом, — сказал я с робостью.

Он засмеялся.

— Такое в истории бывало, но заканчивалось плачевно...

— Теперь, слава богу, пора деспотов миновала, — сказал я со страхом, понимая, куда он гнет, — государи и правители теперь просвещенные...

Он засмеялся снова.

— Знаете ли вы математику, господин капитан?

— Нет, — сказал я.

— Если бы вы знали ее, — продолжал он, — я бы доказал вам все мгновенно.

Я молчал, не в силах побороть волнение, а он продолжал: — Возьмите Древний Рим. Покуда там было республиканское правление — он процветал, стоило утвердиться монархии — возникла деспотия, и процветание страны и народа кончилось... Это математически непреложно...

О чем мы говорили далее, я уже плохо помню, но и этих двух фраз было достаточно, господин Ваня, чтобы понять, как это все неспроста... Скажу вам не хвастаясь, я с детства был воспитан в правилах чести и любви к государю. И вдруг услышать такое! Каково же было мне по веревочке ходить и не упасть? Да видите ли в чем суть: все друзья у полковника по другим частям находились, а в своем полку был он одинок. Я так это понимаю. Впрочем, может, что и другое...

Между тем встречи наши учащались. Беседы становились откровеннее раз от разу. Я был настороже и в то же время продолжал любоваться моим полковником! Вот ведь как бывает... Все в нем мне нравилось: и походка его, как он ходил уверенно и твердо, и вместе с тем легко, даже с грацией какой-то; и твердость духа, и выдержка, и в то же время — что-то мягкое и обаятельное в лице, несмотря на внешнюю суровость; и даже запах ароматного мыла, исходивший от него постоянно, странного мыла, пахнувшего больше свежей весной, нежели всяким искусственным снадобьем, доставлял мне истинное наслаждение. Однако, думал я, не следует оболь-

щаться, надо быть готовым ко всему, ибо первые шаги уже доказали мне близость страшной пучины, таящейся где-то неподалеку. Что же делать? Как предотвратить несчастье, которое грозит нам всем и нашему отечеству?..

Еще в детстве положил я себе за правило не опережать событий, чтобы не допустить ненароком ошибки. Главное, думал я, сохранять свою верность государю и быть чистым в душе, а уж все это и время помогут мне вскрыть нарыв и избавить невинных людей от заблуждений.

Однажды, господин Ваня, мой полковник призвал меня к себе. Сам он сидел за столом, а мне указал на табурет. В доме было тихо. Савенко за занавеской не шевелился — то ли спал, то ли подслушивал.

Вдруг полковник сказал:

— А вы очень хороши в роте, вы мне нравитесь... Думается, что на смотре солдаты ваши проявят себя отменно.

Мне было приятно слышать похвалу из уст этого сурового человека и, ах, кабы не смятение в моей душе, посеянное им! Я даже растерялся и не знал, что отвечать, как услышал его тихий смех.

— Я смеюсь оттого, — сказал он, видя мое недоумение, — что очень отчетливо представляю себе эту будущую радужную картину: вы вышагиваете с вашей ротой и достаиваетесь высшей похвалы (да, с той самой ротой, которой предстоит в недалеком будущем участвовать в предприятии...) — он заметил мое смятение, которое я безуспешно пытался скрыть. — Ничего, ничего, — продолжал он, — мне ведь тоже когда-то казалось это сверхъестественным, однако трезвые наблюдения позволили мне убедиться в крайней пользе этого акта, даже в необходимости его, даже в неизбежности... В общем, мы с вами — пылинки в игре природы... Представьте себе, когда мы устраним монархию и все связанные с нею учреждения, — сказал он так просто, словно приглашал меня на прогулку, — когда освободим народ, тогда это предприятие с высоты уже достигнутого не будет казаться нам противоестественным... Надо только отрешиться от мысли, что самодержавие — единственная форма правления...

— Позвольте, — сказал я, — как мыслите вы устра-

нить монархию? Значит ли это, что вы собираетесь лишиться царя престола, вынудить его отречься?

— Нет, мы убьем его,— сказал он просто.— Это вызвано необходимостью... Мы убьем его. Вся царская фамилия должна быть устранена...

Верите ли, я чуть было не упал при этих словах, но опять сдержался. Нельзя было вызвать ни малейшего подозрения с его стороны. Мой полковник меж тем продолжал:

— Мы предадим суду сенаторов...

— Вы очень откровенны,— сказал я, едва скрывая ужас.— А не может ли кто-нибудь... Не боитесь ли вы, что кто-нибудь... Вдруг какой-нибудь мнимый ваш единомышленник...

Он долго и внимательно меня разглядывал. Я выдержал его взгляд. Он сказал тихо:

— Теперь уже поздно. Теперь это вряд ли может иметь значение. Наши идеи охватили почти всю армию. Она сработает быстрее, чем канцелярская машина...

— Да,— сказал я на это,— вы хорошо все продумали...— а тем временем ужас мой все усиливался и усиливался и достиг предела; я вдруг понял, что мой полковник слеп, что он движется на ощупь.— Господин полковник,— сказал я,— а ну как просчет в ваших планах?

— Вы боитесь? — усмехнулся он, но лицо его было бледно.

— Я не боюсь,— сказал я,— но поспешность никогда не была людям добрым помощником.

Он поднялся из-за стола:

— Соберите между прочим своих унтеров, главных целей раскрывать не нужно, но приуготовляйте их постепенно к мысли о необходимости перемен. Вас что-нибудь останавливает?..

— Никак нет,— ответил я,— постараемся,— и направился к дверям, едва переставляя деревянные ноги.

— Нет, я не дам тебе погибнуть! — восклицал я, направляясь к своему дому.

Целую неделю, или больше, меня, господин Ваня, лихорадило. Я метался, словно загнанный зверь, и не находил выхода. Обстановка тем временем накалялась. Верите ли, уже я знал, что многие полки, в большом числе раскиданные по Малороссии, заражены той же страшной болезнью. Не буду перечислять всех офицеров, причаст-

ных к сему, ибо вам это все равно что пустой звук; но они приезжали, господин Ваня, все такие богатые, умные, надменные аристократы, прости их господи, вы, наверное, и не видали таких-то в вашей глуши... Как быть? Как быть, я вас спрашиваю? На меня обрушилось несчастье! Они все, обезумевшие от своих замыслов, подогреваемые друг другом, уже не могли опомниться, остановиться... «Нет, я не дам вам погибнуть,— твердил я непрестанно.— Не дам вам в ослеплении вашем погубить отечество!» Тем не менее я решил не действовать, прежде чем не выясню всех обстоятельств, прежде чем не распутаю этого страшного клубка. Рука моя, верите ли, беспрестанно тянулась к бумаге, а разум противился. Она тянулась, а он противился...

В этот момент Авросимов явственно увидел перед собою Павла Ивановича. Полковник держал перед глазами лист, и руки его вздрагивали.

— А кто знает, чья вина, а чья правда? — вымолвил Авросимов слабым шепотом.

Но Аркадий Иванович услышал даже этот шепот.

— А бог-то на что? — сказал он и засмеялся.— Да вы-то уж будьте покойны. Вы уж лучше слушайте, слушайте... А вот когда все услышите, тогда вы и сами все решите. Розумиете? Так вот, а тут случай вышел, маленькое происшествие, ну пустяк один.

Пребывал я как-то поздним вечером в доме своем. Денщик мой, вы его уже видели, спал в сенях. Свеча моя подходила к концу, но у меня не было сил крикнуть, велеть заменить. Ах, подумал я, пусть она сгорит. А было мне, господин Ваня, худо непонятно от чего. Руки мои, словно плети, лежали на коленях... Наверно, страдания мои тому виною, думал я. Вы только представьте себе, что я должен был выносить все эти дни, месяцы, сознавая, что в моих руках — судьба государства и государя, вот в этих самых руках, что беспомощно лежат на моих коленях. Под влиянием всего пережитого охватила меня неясная тоска, и легкий летний ветерок, влетающий в распахнутое окно, не успокаивал, а, напротив, усиливал тревогу, доносил какие-то смутные звуки, то вдруг видел я явственно большого петуха, как он поводит своей головкой, уставя в меня маленькие красные глазки с вопросом, то рог коровий покачивается и исчезнет, то звезды вдруг все враз погаснут... В общем, господин Ваня, да что вам

об том рассказывать? И тут я почувствовал, как бы вам это лучше объяснить, томление какое-то. И я поднял голову. В дверях, на самом пороге, стоял проклятый пес, Савенко!

С минуту мы молча глядели друг на друга. Озноб сотрясал меня.

— Тебе чего? — спросил я, и голос мой, словно в бочке пустой прогудел.

— Окно у вас раскрыто, — усмехнулся он, — со двора видать все...

— Уноси ноги! — приказал я и попытался подняться, чтобы вздуть его.

— Так точно, — сказал он, не двигаясь с места, а голова его, как петушиная, вертелась на шее; а глаза зыркали по сторонам, верите ли?

— Сгинь! — крикнул я, но вместо крика шипение какое-то, прости господи, вырвалось из души моей, да и тело словно приросло к стулу. Но стоило мне снова поднять глаза, как я не увидел в комнате никого. Бред, подумалось мне, но под окном зашуршала трава. Из последних сил рванулся я со стула и грудью рухнул на подоконник. Круглая морда Савенки, словно блин, отлетела прочь.

— Ваше благородие, — сказал он из кустов, — господин полковник за вами прислал. К себе кличут.

Трава зашуршала, и все стихло. Я захлопнул окно. Руки мои тряслись. Накинул мундир и вышел. Ночная прохлада несколько меня поуспокоила. Стояла полночная девственная тишина. Вдруг я услышал за собою шаги. Я резко обернулся: белый расплывчатый силуэт Савенки покачивался на тропе. Неужели полковник велел ему следить за мной?!

— Савенко, — сказал я, — берегись, Савенко, я шуток не люблю.

Но он не отозвался, и силуэт его растворился во тьме.

Полковник встретил меня на пороге и провел в дом. В комнате сидели офицеры. Каждый из них был мне уже знаком, хотя и отдаленно. Это был, судя по всему, самый кулак ужасного заговора. Все молча глядели на меня. Я поклонился.

Надо было вам видеть, господин Ваня, их лица, как они на меня глядели. Чужой я им был, господин Ваня, черная косточка. Но тогда уже стал я все понимать от-

лично: затянуть меня в предприятие свое, а уж после и руки не подавать. «Какой я вам товарищ? — подумал я с грустью, хотя вид при этом сохранял самый достойный, — вам лишь цели своей добиться, а там вы и узнавать перестанете». Верите ли, так я об этом горько думал, что даже лихорадка моя угасать стала, потому что трезвость размышления всегда способствует успокоению. И только видел я одно, какая выпала мне в жизни тягостная и высокая честь, и уже видел я глаза государя, с благодарностью и гордостью взирающие на меня, а ведь государь наш, господин Ваня, он ведь истинный отец наш, да?.. Тут после легкого любопытства и проявления всякого ко мне недружелюбия они все отворотились, словно чтобы не мешать нам с моим полковником заниматься всякими полковыми делами, для которых я, кстати, и был зван. А должен вам заметить, что находился там среди прочих и мой батальонный командир господин Лорер, майор, который, появившись в полку нашем, принялся распространять всякие ужасные сведения обо мне, будто я, служа еще в Петербурге, допускал всякие там денежные злоупотребления, чего за мной, верите ли, и не водилось сроду... И вы, небось, слышали?

— Ни об чем таком не знаю, — сказал наш герой.

— Вот уж, право, чушь одна, верите ли? Чужой я для них был, господин Ваня, и поэтому... Ну вот, сесть мне не предложили, как равному. Я и это стерпел. Я всякие слабости умею прощать. Люди ведь в том не виноваты. Ах, не буду посвящать вас в подробности. Короче говоря, получил я приказ следовать в Москву по полковым делам и положил в карман солидную пачку казенных ассигнаций. Вместе с ассигнациями вручил мне полковник письмо одному лицу, в котором заключена, как он выразился, наша общая судьба. А должен вам сказать, что я хоть и бедный человек, но очень честный, и не стоило бы об том говорить, когда б не вышла тут история, изменившая многое.

Вышел я от полковника как побитый. Обида терзала меня. Но бог меня надоумил, что ли, не смог я сразу идти к себе, а ноги подвели меня к распахнутому окну, из которого доносился приглушенный разговор... Верите ли, сердце мое чуть не остановилось, когда я услышал, как всякая обидная напраслина потекла из уст собравшихся. Они все, все наперебой меня чернили, называя ненадеж-

ным, снова поминая историю петербургскую, так что я готов был вбежать к ним и со всем пылом молодости требовать удовлетворения, но я снова заставил себя сдержаться и только подумал скорбно: «Бог вас простит...»

И тут, господин Ваня, услышал я голос моего полковника, дотоле молчавшего, который один в этом скопище хулителей защищал меня и доверял мне, так что я рыдался, как ребенок, прямо там, под окном. Да, подумал я, вот истинный человек, вот человек достойный, несмотря на все свои страшные заблуждения. И я порешил, отправляясь в дальнюю дорогу, перед отъездом, на заре, подарить ему старинный украинский наш чубук. Подавляя в себе всякие обидные чувства, вызванные услышанным разговором, отправился я к себе домой. За спиной слышались шаги, но я не обернулся.

Не буду описывать вам своих мытарств московских, как я там хлопотал по полковому делу, как вынимали из меня деньги канцелярские писаки, это ведь у нас заведено такое, господин Ваня, как воротился назад, не буду вам этим докучать. Но то, что я застал, воротившись, окончательно выбило меня из седла. Полковник мой, бог ему судья, видимо, поддавшись наговорам, глядел на меня недобро. Недостача в деньгах, да пустячная, черт ее подери, в другое время и мараться бы из-за нее не стоило, вызвала целую бурю. Замаячил суд передо мной. Не удостоившись наград за свою безупречную службу, предстать в молодые годы перед судом! Но я и это снес, господин Ваня...

Наш герой, шагая рядом с чудесным капитаном, ступал осторожно, затаив дыхание, словно крался за дичью. И вдруг какие-то все незнакомые места возникли перед ним, словно и не Петербург это вовсе. Какие-то унылые заборы тянулись один за другим, и лес чернел или роща, и фонарей не было в помине, и тишина стояла... «Что такое? — подумал он с содроганием душевным. — Куда мы забрели?» А место действительно было глухое, пустынное, редкие дома стояли с заколоченными окнами, так что ни одного огонька кругом. Лишь луна выныривала иногда из облачных лохмотьев и бросала слабый свой и недолгий свет на замершую картину, но свет этот не вселял бодрости, а, напротив, был так уныл, что хотелось с головой зарыться в сугроб.

Видимо, недоумение и дрожь нашего героя передалось и славному Аркадию Ивановичу, а может, он сам себя растравил, предаваясь воспоминаниям, во всяком случае, шаги его замедлились, и он остановился. Стал и Авросимов.

— Куда это вы меня завели, господин Ваня? — спросил капитан шепотом. — Вы меня, должно, убить хотите? — и засмеялся.

— Помилуйте, Аркадий Иванович, — ответил Авросимов, переходя на шепот, — ума не приложу...

— И узнать не у кого, — прощелестел капитан, всматриваясь в пустынные места.

Снег вспыхивал под нечастой луной, но тут же погасал.

— А не поворотить ли нам обратно, господин Ваня? Эдак мы и в лес прямехонько забредем...

И тут, внезапно и зловещ, чей-то раскатистый свист потряс безмолвие.

— Бежим! — прошипел капитан и опрометью кинулся по своему же следу. Наш герой торопился за ним, проклиная теплую шубу. Луна как назло не появлялась. Когда они обогнули первое двухэтажное здание с заколоченными окнами, из-за угла ударил стремительный ветер. Сколько времени они бежали, подсчитать было невозможно, наконец где-то впереди мелькнул огонек, за ним — другой, слышался скрип полозьев. Аркадий Иванович, бежавший все время чуть впереди, замедлил движение.

— Стойте, — взмолился наш герой, с трудом переводя дух.

Они остановились у первого освещенного окна. Капитан расхохотался.

— Никогда так не трусил, — проговорил он, — просто даже сердце свело от страха. Вот напасть! Ну идемте же... Может, мы и не в Петербурге вовсе, а?

— Не знаю, — сказал Авросимов мрачно. — Теперь бы извозчика... Я уморился.

— Эх, господин Ваня, — снова засмеялся капитан, — ну я, ну не очень чтобы могучий, да? Но вы-то! Вон вы какой медведь! Вы-то что же, а?

— Кому гибнуть охота? — признался Авросимов, не испытывая стыда.

Они двинулись дальше. Шли молча. Говорить уже не хотелось. Мысли о возможной гибели не давали покоя. И тут наш герой, размышляя об этом, подумал вдруг о государе, которого, оказывается, на каждом шагу подкарауливает насильственная смерть. И не от разбойников, не от волчьих зубов, а от своих же, живущих рядом соплеменников, которым, может быть, руки пожимал, благодеяния оказывал, ордена на шею вешал! И ведь могут: и как Людовика с почетом на плаху, и как свинье — просто нож из-за угла в спину, прости господи... Отчего же он своих погубителей должен в крепости содержать по всем законам, а не бить их собственноручно одного за другим своим мечом или кинжалом в самое сердце? От кого же такая несправедливость?

— Теперь куда? — спросил дотоле молчавший капитан.

Они стояли у Строгановского дома. За углом бежал Невский.

— Теперь уже совсем рядом! — обрадовался наш герой и повел за собой капитана.

...Так за что же тогда все, как сговорившись, бегают взапуски за государем своим, охотятся на него, подкарауливают, отчего он, вобрав голову в плечи, изогнувшись весь, должен жить в страхе?

Но Аркадий Иванович, словно подслушав мысли Авросимова, не стал рассуждать об этом, а лишь засмеялся и сказал бодро:

— А мы-то с вами на что?

«Мы с вами» — это, конечно, да. Но ведь как оно бывает, когда ты, вознамерившись подвиг совершить, стоишь перед тьмой, а тут свист раздастся? И ты бежишь сломя голову! «Мы с вами...» И «мы» и «вы», не разбирая дороги, лишь бы жизнь свою спасти, скорее к свету, к свету, к малым огонькам.

— Вот вы, например, господин Ваня... На вас, например, государь и держится. А как же...

Но не успел наш герой что-либо ответить, как знакомые веселые ворота, похожие на глотку загулявшего ямщика, выросли перед ними.

— Вот они! — воскликнул Авросимов радостно и пошел под темными сводами.

— Ну, господин Ваня, — засмеялся Аркадий Иванович, — бог очень соблюдает наш интерес, — и потер руки.

Они вошли в тот самый двор и повернули к флигелю. Однако флигеля не было. Вместо него в глубине двора громоздился небольшой каретный сарай с сорванной дверью.

Не буду утруждать вас подробным рассказом о том, как два наших молодых человека, поняв наконец, что произошла ошибка, кинулись в соседний двор, затем — в следующий, и везде их ждало разочарование. Словно тени метались они от ворот к воротам, вдоль набережной, странно взмахивая руками, скользя и увязая в сугробах, молча, с раскрасневшимися лицами, так что даже одинокий будочник, загоревшийся любопытством, а может быть, просто хмельной, пытался следовать за ними, но куда там!

Вы, наверное, успели заметить, что весь день носил на себе признаки необычайные, и только наши герои не понимали этого, так как были увлечены воспоминаниями и взаимной симпатией.

Наконец они остановились, тяжело дыша.

— Может, по тому ряду попробовать? — предложил Авросимов, указывая на противоположный берег Мойки. — Хотя, помнится, здесь был флигель проклятый...

— Плюньте, господин Ваня, — грустно сказал капитан, — может, завтра нам с вами повезет, или еще когда. Не будем унывать...

И тут вдруг наш герой точно прозрел, воспоминания о первом посещении прекрасного флигеля вспыхнули в нем с новой силой, и он, крикнув нечто невразумительное, повлек за собой загрустившего было капитана в соседние ворота, возле которых они и топтались, намереваясь отказаться от поисков.

Здесь! Здесь, здесь, в этом вот сугробе топили Мерсиндочку, хохоча и предвкушая счастливую ночь, и отсюда, из этого вот сугроба, тянул он, Авросимов, ее, касаясь губами горячей шейки и задыхаясь от мягкого женского дурмана. Торопитесь, Аркадий Иванович, друг бесценный, торопитесь!

Вот и ворота те самые, которые еще совсем недавно вздрагивали от хохота и громких удалых голосов, они... Вот и двор, вот и флигель заветный с темными окнами, завешенными изнутри тяжелыми малиновыми шторами...

Они летели к флигелю, обгоняя друг друга, спотыкаясь о сугробы, скользя по льду, подавая друг другу руки и хохоча, хотя и приглушенно, в меховые воротники, словно стараясь не растерять тепло радостного возбуждения.

Тяжелая дверь поддалась, распахнулась, старые петли взвизгнули.

В прихожей, все той же, горела толстая оплывшая свеча, и была пустота, и стояло молчание пещеры, но полет молодых людей был так стремителен, что они и не могли заметить того, пока не скинули шубы прямо на пол, ибо принять их было некому, пока не вбежали в залу, где в камине трещали поленья, и от молодого пламени распространялся колеблющийся свет.

Наконец они огляделись.

Это была та самая зала, где недавно кипела жизнь и бушевали страсти, и наш герой никак не мог приспособиться к ее новому качеству, к ее пустынности, и ходил возбужденно по ковру из конца в конец, от карточного стола к тахте, от камина к распахнутой двери, бросив капитана на произвол судьбы.

Вдруг в раскрытых дверях возникла и застыла фигура краснобородого мужика с поблескивающими глазами, так что Авросимов даже вздрогнул, пока не догадался, что на мужике — отсвет каминного огня.

Мужик глядел на молодых людей с дерзким удивлением.

— Никого нет-с, — сказал он тихо, продолжая оставаться неподвижным.

— Что сказывали? — спросил Авросимов.

— Сказывали, мол, будут-с.

— Ээээ, — протянул капитан, — мне это не нравится...

— А Милодорочка где? — спросил наш герой.

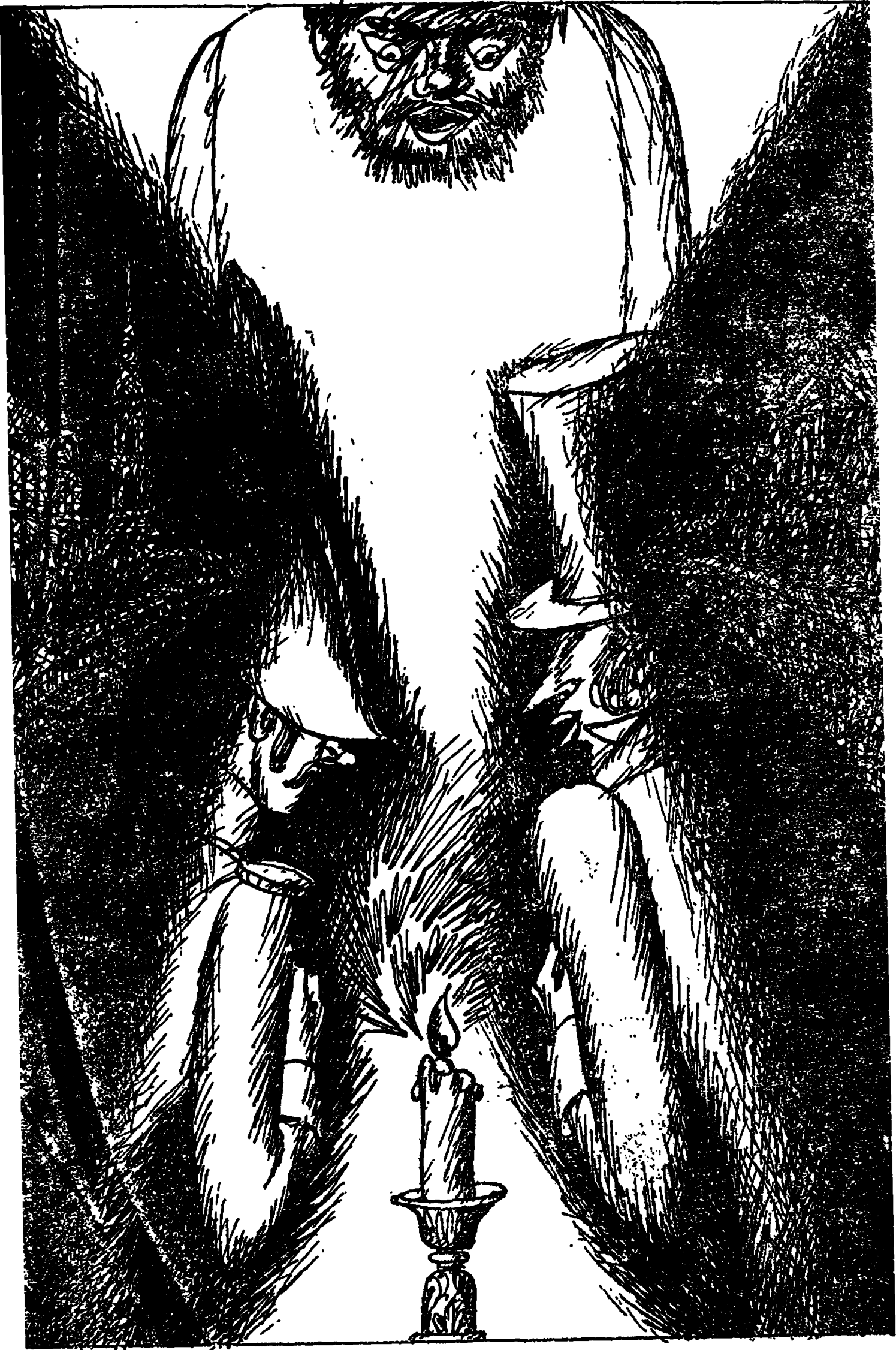
И тут мужик сделал шаг назад и исчез.

Капитан потер руки. Он заслуженно предвкушал.

Наш герой, забыв ужасный рассказ своего нового друга и растворяясь в неге, источаемой камином и всей обстановкой знакомой залы, почувствовал себя свободно и легко, и упал на тахту, раскинув руки, словно — в траву, и всхлипывал от счастья и урчал, как молодой медведь.

— Вот здесь Милодорочка... а вот здесь Дельфиния... а там уж Мерсиндочка! Все перевилося: руки, ноги... ух, ух, ангел мой драгоценный!..

— Ах, ах, потише, господин Ваня, — захохотал капи-



тан,— а то испугаются, не придут, ха-ха... Куда же мы тогда? Куда же мы, бедненькие?! Опять в лес?! Ножки, ножки! Ух!.. Вы мне умастили, господин Ваня! Этого я вам не забуду!..

Авросимов плавно так перекатывался на тахте с боку на бок, словно погружался в теплую медленную реку, и лениво шевелил рукой, отпихивая водоросли, потом выбирался на бережок, на солнышко...

— А Милодорочка... губки у нее мягкие, теплые...

— Ух, ух, господин Ваня, не травите вы меня!

— Не оторвешься от губок-то...

— Шуры-муры, канашечка!

— Или на руки ее взял: на левой руке — спинка, а на правой — что?! А?..

Мужик давешний появился в дверях, постоял, снова с дерзким удивлением оглядел разошедшихся незнакомцев и исчез.

— Однако долго нас морочат,— сказал Аркадий Иванович.— Что за дом такой? Хотя бы шампанского подали... Уж эти мне аристократы столичные!

— Нет, нет, вы послушайте,— захлебнулся наш герой в бурном потоке,— вы послушайте, как она ножкой делает, вот так...

— Господин Ваня, вы меня уморите, я уже чертей вижу. Да где же дамы, черт!

— ...Как она вас за шейку пухлой ручкой... А мы-то с вами ищем, ищем, а он — вот он, флигелек разлюбезный... А еще у Дельфинии плечики вот так опущены, небрежно так, я видел через дверь, как ее по спинке гладили...

— Ой-ой! — хохотал капитан, весь извиваясь, утирая цыганские свои глаза.— Мягкая спинка? Мягкая?.. Шуры-муры!

Мужик заново просунул бороду в дверь. Борода шевелилась, как под ветром.

— Да где же дама? — крикнул капитан.

И вновь мужик исчез.

— Вы не расстраивайтесь,— сказал Авросимов,— не надо...

Лицо у Аркадия Ивановича было грустное, словно он только что и не смеялся. И наш герой почувствовал, что что-то не так на душе, как-то отвратительно, и нет этого

сладкого предвкушения любовных утех, и свет огня в камине печален.

— А сознайтесь, господин Ваня,— вдруг с ожесточением проговорил Аркадий Иванович,— история моя вас сбила с толку, вы даже симпатию к полковнику Пестелю почувствовали... Ах, уж я вижу...

— Да что вы,— сказал наш герой.— С чего это вы? Вот уж нет...

— Вы меня не укоряйте, господин Ваня,— продолжал капитан,— я бы мог моего полковника грязью полить. Тем более, он — государственный преступник. Но я страшусь проявить пристрастие, вот что. Кто мне тогда верить будет? Кто? Да и как за прошлое его теперь казнить? — и посмотрел на Авросимова.— Разве он не волен был относиться к людям по душевному влечению? — и снова внимательно посмотрел.— Вот у меня к вам симпатия, господин Ваня, а ежели бы — наоборот? Разве меня за то корить следовало бы? Я, господин Ваня, очень эту науку понимаю, поверьте...

— А героизм-то ваш в чем? — выдавил наш герой со страстью, изобличающей в нем уже не прежнего юношу.— Во мне симпатии к злодею нету, нету! Но вы никак мне не раскроетесь. Я терпение потерял. Я вашего полковника вот как перед собою вижу. Я его не жалею, а хочу ваше участие в том понять...

— Господин полковник Пестель не может не вызывать симпатии,— уныло сказал капитан.— Люди, сильные своей страстью, даже губительной, всех нас весьма беспокоят и притягивают. И вы этого не стыдитесь, господин Ваня. Да вам бы не этим себя мучать, а найти себе предмет по душе и с ним в обнимочку — к матушке вашей, в деревню...

Словно в чудесной сказке, источаемой жалостливыми цыганскими глазами капитана, белые руки Милодоры обвились вокруг шеи нашего героя, вызвав в нем бурю всяческих горячих чувств. «Матушка,— крикнул он в душе своей,— благословите! Освободите вы меня от муки... С нею, с нею одной, с Милодорочкой милой, хочу в любви коротать свой век. А господин полковник пусть получает по заслугам, что посеял, как он того добивался... А мне-то что?..» Так он призывал, переполненный любовью и отчаянием, ибо в его мощном теле, как видно, таилась душа ранимая и еще не успевшая возмужать.

Вдруг он почувствовал некоторую перемену в обстановке, и ему даже показалось, что в зале появились люди, тихие, как тени, и, погружаясь в медленный поток, он слышал далекий и знакомый голос Аркадия Ивановича: «...серая фигура Савенки кинулась в тень забора. Я не из робкого десятка, господа, но сердце мое дрогнуло, однако я справился с первым смущением и продолжал свой путь, положив про себя проучить дерзкого холопа...» Тут раздался тихий смех, и кто-то будто бы произнес: «Вы говорите, словно читаете...» И снова голос Аркадия Ивановича: «...и вот, едва отдрожали последние листочки на кустах, потревоженных мною, как долговязая фигура проклятого пса вынырнула из-за поворота...» Медленный ленивый поток накрыл нашего героя с головой, и знакомый голос перестал звучать...

Все, что мной говорено, вовсе не означает, что я, преисполнившись сожалений к нашему герою, готов спасти его из цепких рук жизни или, как еще говорят, фортуны. Нет, нет, уж пусть он получает свое, ибо всякое преднамеренное, искусственное смягчение жизненных обстоятельств делает человека искусственным по отношению к окружающему. Так мы, часто сами того не замечая, проповедуем всякие там спасительные рецепты, а спустя некоторое время начинаем трубить отбой, ан поздно.

Но наш герой, слава богу, был пока еще человеком натуральным, и деревенская закваска позволяла ему пока что уберечься от городского мира, полного искусственной прелести и придуманного очарования. И весь он, набитый как свежий холщовый мешок не ассигнациями, а золотыми, был чист и звонок, и здоров духом. И кошмары (а ведь кошмарами ему представлялись обычные картины, которые мы встречаем ежедневно и к которым у нас в душах выработалось завидное спокойствие) не мешали ему хоть внешне-то сохранять свой прежний облик, и щеки его были по-прежнему пунцовы.

И вот он, наконец, словно очнулся и с удивлением обнаружил, что лежит, раскинувшись, на тахте, лицом в ковер, пистолет врезался в бок и причинял боль. Видимо, он все-таки спал, потому что, приоткрыв глаза, застал следующую картину:

В креслах у камина, устроившись поуютнее, с лицами, обращенными к Аркадию Ивановичу, сидели неподвижно давешние знакомые Авросимова: Павел Бутурлин, тонко-

рукий и насмешливый; Сереженька; гренадерский поручик с черными усами; неизвестный толстяк, одетый в халат, из-под которого выглядывал офицерский мундир. Сидели еще какие-то люди, но они были скрыты тенью, были неподвижны и казались призраками.

Несмотря на каминное пламя, лица у всех были серы, словно сидящие разом надели на себя скорбные маски. На столике перед ними стояли бутылки и бокалы. Женщин не было.

— Господа,— тихо произнес капитан, видимо, продолжая свое повествование,— удивлению моему не было предела, когда я вдруг понял, что не ошибался, предполагая самое ужасное. Это был заговор, господа, адское предприятие, все нити которого сходились сюда, к моему полковнику. В первую минуту я было решил разубедить его, отговорить, уберечь от несчастья, но жалкие мои аргументы и слабые растерянные попытки только лишь озлобили его. Идеи, которые он проповедовал, так сильно охватили его, болезнь так поразила всю его душу и так стремительно распространялась на окружающих, что можно было ждать только катастрофы...

Тут Сереженька засмеялся, сохраняя неподвижное выражение лица. Все разом оглянулись.

— Как вы ловко рассказываете,— сказал Сереженька,— как будто читаете.

Но лица вновь поворотились к Аркадию Ивановичу, и он продолжал, полуприкрыв глаза:

— Что было делать мне? Вы знаете, господа, я еще в детстве...

— Нет уж, вы не перескакивайте,— потребовал Бутурлин.

— Хорошо,— улыбаясь на его нетерпение, согласился Аркадий Иванович и отпил из бокала.

Все тотчас отпили следом. Бокалы глухо стукнули о стол. Воцарилось молчание на мгновение. Затем капитан продолжал:

— Мой полковник, господа, нравился мне все больше и больше. И я часами ломал себе голову, пытаюсь отыскать средство, чтобы отвратить от него беду. Мне нравилось в нем все: походка, как он ходил, уверенно и твердо, и вместе с тем легко, с грацией даже какой-то, нравилось, как говорил, не отворачивая лица от вас, медленно и чеканно, словно гвозди вбивал, нравилось, как

спокоен был и слову хозяин, даже запах, исходящий от его тела, свежий, здоровый, словно он не расставался с ароматными мылами, нравился мне... И вот представьте себе весь мой ужас по поводу разверзшейся перед этим человеком пропасти, в которую он сам стремится и пытается увлечь за собой других... Нет, вы не можете себе этого представить... Сердце мое обливалось кровью, когда я думал, что грозит нам всем, если позволить полковнику развивать и дальше свои планы, и прежде всего — ему самому. Нет, нет, вы слушайте, слушайте. Тут-то самое главное и начинается. Я все это так понимаю, господа: видя полную безнаказанность своих планов и предприятий, он уже не мог остановиться, словно кораблик, подгоняемый ветром, бежал он вперед навстречу собственной гибели. Посетовав сначала на бедственное положение народа, пришел он к мысли страшной — о необходимости уничтожения царской фамилии...

В этот момент наш герой, переполненный событиями дня, не успевший еще освободиться от сонного дурмана, в который погрузился он так внезапно, по-молодому, едва не закричал. Только глухой стон вырвался из его души, но, покрываемый звоном бокалов, треском поленьев в камине, ровным, несколько возбужденным голосом Аркадия Ивановича, этот стон тотчас же и угас, едва народившись, так что никто и не заметил.

Что же это такое? При упоминании о возможной насильственной смерти государя ни один из них, из присутствующих здесь, не вскрикнул, не ужаснулся, даже легкая дрожь не поколебала их серых насупленных лиц. А Сереженька, тот уж и вовсе отхлебывал вино мелкими глотками, словно Аркадий Иванович сообщал не страшные сведения, а так, рассказывал утомительную историю своей жизни. Что же это такое? Уж не притворяются ли они? А ведь нельзя, наверное, не переживать и оставаться безучастным, когда Аркадий Иванович такое испытал ради своего отечества... Хотя, впрочем, Пестель ведь тоже ради того же самого беспокойство имел... Что же они не сошлись? Да и государь ради всех старается... Пестель вон ради всех заговор устроил. Эти тоже вот сидят с серыми лицами. Может, тоже заговор? Неужели, кабы я царем был, меня бы тоже устранить? А вот поручик гренадерский выпил бы и устранить, непременно.

Наш герой почувствовал, что лицо его покрылось по-

том, и глянул на поручика. Тот сидел, расстегнув мундир, откинувшись, и помахивал головой, видимо уже крепко был во хмелю.

— Что же он в ней такое проповедовал? — спросил толстяк. — В своей конституции?

— Мне даже говорить об этом страшно, — сказал Аркадий Иванович и одним махом опрокинул бокал. — Посудите сами, как мне об этом говорить, когда я противник...

— Говорите же, черт возьми, — потребовал Бутурлин. — Вот он, например, утверждает, что ничего такого и не было. Это он вчера на допросе утверждал. Что, мол, не было никаких документов, никаких конституций...

— Так ведь я сам видал, — мягко перебил его Аркадий Иванович с доброй своей цыганской улыбкой. — Он мне ее сам листал, читал. Я даже зеленый портфель помню, где она хранилась, а как же... Своими собственными глазами...

— Да что вы заладили все одно: глазами, глазами, — рассердился гренадерский поручик.

Впрочем, те, что находились в полутени, незнакомые нашему герою господа, продолжали сохранять неподвижность и спокойствие, и только неполные бокалы, приподнятые над столом, едва покачивались в их руках.

— Да, — торопливо сказал Бутурлин, — странно получается: он одно говорит, а вы — другое. Почему же у меня к вам вера должна быть?

— Господа, — сказал Сереженька, — дайте же Аркадию Ивановичу рассказать. Он так рассказывает, словно роман читает... Ну не все ли вам равно?

Тут Аркадий Иванович засмеялся, польщенный словами Сереженьки.

— Я, господа, готов вам рассказывать. Мне даже от этого легче, что я среди своих нахожусь, которым выпало, как и мне, совершать справедливость... Мы уж постараемся.

— А что же он в ней такое проповедовал? — снова спросил толстяк.

— Извольте, господа, — согласно кивнул наш добрейший капитан. — Еще до того, как вышла вся эта история с казенными суммами, от которой я лет на пять постарел, полковник мой в доме своем, ведя разговор о разных политических своих прожектах, извлек из шкафа этот зе-

ленный портфель и вытащил пачку листов, аккуратно исписанных.

— Вот здесь, господин Майборода,— сказал он,— таится сгусток многолетних раздумий... О, это не должно попадать к ним в руки! Когда Россия сможет воспринять это к действию, благоденствию ее не будет конца,— и он горько усмехнулся,— хотя в последнее время моя реформаторская деятельность перестала мне казаться столь прельстительной, как вначале,— и он бегло перелистал рукопись,— есть люди, которых слово «республика» приводит в ужас...

Скажу вам по совести, господа, что доверие полковника было мне лестно, но одновременно причиняло боль...

— Каков! — громко сказал толстяк.

— Что? — не понял Аркадий Иванович.

— Да вы пейте, пейте,— налил ему Бутурлин.

— Вы удивительная личность,— промолвил Сереженька с отчаянием.— Вы мне нравитесь, сударь,— и обнял его за шею, и стал чуть не душить, отчего Аркадий Иванович весь побагровел и, продолжая дружелюбно улыбаться, все-таки старался освободиться от любвеобильного молодого человека. Наконец это ему удалось, а может, Сереженька сам ослабил объятия; он отвалился от капитана и сказал: — После наших утомительных занятий хорошо слушать ваши истории...

Бутурлин засмеялся. Аркадий Иванович, оправив мундир, выпил свое вино.

— Как же это вы будто бы полны любви к своему полковнику,— заметил гренадерский поручик,— когда сами же утверждаете, что он холоден, суров и просто маленький Бонапарт?

— Это не я утверждаю,— сказал Аркадий Иванович, быстро и послушно поворачившись к поручику,— это его же друзья утверждали, что у него душа железная. Они о его душе часто толковали.

— А что же он все-таки проповедовал в своей конституции? — спросил толстяк.

— Да не сбивайте вы его вопросами! — потребовал Сереженька.— Интересно ведь как. Ну а дальше-то что? Дальше-то...

— А дальше? — медленно произнес капитан.— Что же дальше? Дальше, верите ли, навис надо мною суд. И по-

нял я, что пощады от моего полковника мне не ждуть...

— А может, он, ваш полковник, догадался о ваших намерениях? — спросил Бутурлин.

— Да не перебивайте же! — взмолился Сереженька.

— Нет, — грустно ответил капитан, — догадаться он никак не мог. Он меня ценил, я ведь чертовски податлив был, ему ведь лестно было слышать мое одобрение. Людям это страсть как нравится, уж я знаю...

— Каков герой! — воскликнул толстяк. — А вы? — обернулся он к остальным. — Вам бы лишь баклуши бить!

— Нет уж, — сказал гренадерский поручик. — Я господина Пестеля до самого Петербурга конвоировал... Нет уж, увольте-с... Я свой долг выполнил. Этого забыть невозможно, как это все было. Да я уж имел честь рассказывать... Уж вы меня увольте...

— А я, а я? — закричал Сереженька. — Как я Щепина на площади вязал!.. Как в атаку ходил!.. Я по-о-омню!

Аркадий Иванович с изумлением поворачивал голову то к одному, то к другому, с жадностью внимая их откровениям.

— А мне и посейчас приходится за стулом военного министра топтаться и видеть все, — сказал Бутурлин. — Все через мои глаза проходит и уши, и на сердце падает, и там лежит... Когда бы я в полку служил, ты бы мог так говорить с укором, а я во всем этом просто варюсь, варюсь — и всё...

— Все молодцы, все! — засмеялся толстяк. — Один я бражник, черт!

— Вот видите, господа, — сказал Аркадий Иванович, — как жизнь всех нас связала, а мы-то и не ведали того... Вот видите? Как мы с вами одинаково ринулись разом для спасения отечества, как грудь свою подставили...

В этот момент нашему герою показалось, что Аркадий Иванович значительно отодвинулся и рассказывает откуда-то издалика, так что и голоса его не слышно, а только видно, как разводит руками и стучит себе в грудь кулаком. Потом он и кулака уже не видел, так все это отодвинулось.

Когда он вновь проснулся, картина перед ним была все та же, все так же сидели вокруг Аркадия Ивановича,

но уже мундиры были расстегнуты у всех, да и словно теснее стал кружок, а может, это выпитое клонило их в одну сторону, поближе к капитану.

— Я знаю, как с Трубецким получилось, — сказал толстяк, — князь был в доме батюшки, comme l'enfant de la maison¹. Он и сам, бедняжка, не опомнился, когда его нашли у тещи его, графини Лаваль, и объявили ему, что он выбран в диктаторы...

— Да я же говорю, — сказал гренадерский поручик, — что это неосмотрительность ихняя, спешка... Я это осуждаю... Не связывались бы они с Трубецким, было бы больше толку...

— А графиня Лаваль, рассказывают, — засмеялся толстяк, — в это время сидела у себя и дошивала знамя свободы... Каково?

— Господа, не надо об этом! — взмолился Сереженька. — Вы пейте себе... Забывайте все... Я не люблю о неприятном... Не надо!

— Ах ты моя дунюшка! — захохотал Бутурлин.

— Нееет, — сказал Аркадий Иванович, — мой полковник — это вам не Трубецкой. Он бы сам себя диктатором нарек, случись что...

— Говорят, — продолжал толстяк, еще за год до этой несчастной вспышки, он часто говаривал: «*Maman, donnez moi de la foi. J'ai besoin de foi*»². Не было ее у него, что ли?

— Матери раньше должно было бы этим заняться, — сказал Аркадий Иванович. — Вот вам и вера. Ах, но я любил полковника моего, да и сейчас люблю, верите ли... Вот крест святой. Ну все ему прощаю...

— Вы ангел, — засмеялся Бутурлин. — Неужто все?

— Все, — сказал капитан.

— А то, что он вас третировал и его друзья? А замыслы его?..

— Все, все...

— Каков! — сказал толстяк с восхищением.

Они все так наперебой восхищались Аркадием Ивановичем, что нашему герою стало даже совестно, словно это ему курили фимиам, его на руках носили. Да, да. И каждый норовил чем-то выделиться из общего-то хора,

¹ как член семьи (фр.)

² Матушка, дайте мне веру. Мне необходима вера (фр.).

какую-нибудь уж такую славу ему загнуть, чтобы все остальное померкло.

— Нет, вы только поглядите,— воскликнул Сереженька,— мы здесь считаем себя виновниками благоденствия, спасителями, а мы, черт возьми, ничтожества рядом с вами, господин Майборода! Вы нам всем нос утерли, утерли!

— Каков гусь! — сказал толстяк, хлопая Аркадия Ивановича по плечу.— Ты мне нравишься, Майборода... Дозволь, я тебя поцелую... Вот так...

— Нет, нет! — закричал Сереженька.— Это я его поцелую! — И он снова обхватил нашего капитана за шею, так что капитан побагровел.

— Я бы на его месте так не сообразил,— сказал Бутурлин,— как он, ловкач, умно действовал, как тонко, bestия!.. Вы пейте, пейте, капитан, чего чиниться?

— Я не чинюсь! — хохотал Аркадий Иванович.— Я пью, господа. Мне с вами тепло... Ах, были бы мы в Линцах, верите ли, я велел бы в музыку ударить.

Пока там, у стола, продолжалось общее ликование и форменный грохот стоял вокруг, и звон, и свист, Сереженька подбежал, качаясь, к Авросимову и подсел к нему на тахту.

— Свет наш Ванюша, радость наша, а он и не спит, подслушивает...

Тут и Бутурлин подскочил, вцепился тонкими холеными руками Авросимову в бок, стал щекотать его, приговаривая:

— А он не спит, не спит, штрафного ему, Ванюше, штрафного!

Принесли большой бокал с шампанским. Авросимов выпил его в два счета и готов был закричать от радости встречи, которая так трудно ему давалась нынче, да все ж таки ее не упустил...

— Откуда вы этого капитана раздобыли? — спросил его Бутурлин шепотом.

— Случай свел,— также шепотом отозвался наш герой, удивляясь серому цвету лица кавалергарда.

Тут ему снова поднесли, и он еще выпил. Теперь и в нем кровь заиграла, потолок улетел неведомо куда, стены распались, ударил ветер, весь синий от трубочного дыма, рыжая голова Авросимова, озаренная каминным пламенем, мельтешила по этому пространству, словно

большая головня выскочила из камина и пошла гулять по свету. Толстяк, задирая полы халата, отплясывал что-то, гренадерский поручик раскачивался у окна как заводной, Сереженька снова душил в своих объятиях Аркадия Ивановича... Все кружилось и исчезало в тумане, и возникало снова. И только остальные господа, что были незнакомы нашему герою, по-прежнему сидели неподвижно, вполоборота к пламени, с недопитыми бокалами в руках.

Тут Сереженька протянул нашему капитану полный бокал.

— Вы меня очень обяжете, коли весь его, до дна...

Аркадий Иванович вяло так посопротивлялся, но выпил и спросил:

— А где же нежный предмет? Мне господин Ваня обещал...

— Бабы, что ли? — сказал Сереженька.

— Хай будэ так.

— Милодорочка?

— Да хоть кто...

Толстяк подплясал к ним.

— А что ты с нею будешь делать, Майборода?

— Канашечки, — сказал капитан. — Под левой рукой — спинка, а под правой — что?.. Постараемся!

— Ах, шалун!

— Эй! — крикнул гренадерский поручик от окна. — Полночь миновала!

Самое удивительное заключалось в том, что в общем этом буйстве и безумстве страстей и чувств, в этой, можно сказать, вакханалии, к которой вы, наверно, успели попривыкнуть уже, ибо я вас пичкаю всем этим отменно, в этом хмелю, к которому они все тянулись, как к освобождению от тягот дня и мрачных раздумий, наш герой ощущал себя бодрым, со свежей головою, словно и не пил, хотя, поддавшись общему разгулу, бил подушкой о тахту и выкрикивал всякие несусветности, напоминая молоденького бычка, сломавшего наконец тесный свой загончик и скачущего от всего сердца по свежей траве да по кузнечикам.

Вдруг совершенно внезапно буйство стихло. Наступила тишина, лишь поленья потрескивали безучастно.

Посреди залы стоял Аркадий Иванович, прикрывая щеку ладонью.

— За что? — спросил он тихо и кротко.

— Милостивый государь, — сказал Бутурлин, опуская свою тонкую руку, — вы только что нанесли мне оскорбление, непристойно отозвавшись о моей даме...

— Да при чем тут дама?! — изумился Сереженька. — Бутурлин, бог с тобой!

— Уймись, — сказал толстяк, — ты ничего не понял, — и отстранил Сереженьку.

— Нет уж, — сказал Сереженька, — ты, Бутурлин, не смеешь эдак... Ты уж, будь добр, все скажи, как есть... Зачем же темнить?

— Ты ничего не понял, — сказал Бутурлин спокойно.

— Ты ничего не понял, — повторил за ним толстяк. — Уймись. Все правильно.

— Ааа, ну да, — спохватился молодой человек. — Как же это можно — даму оскорблять при нас...

Бутурлин сделал шаг к капитану. Наш герой бросился было разнимать их, но остановился. Что-то мешало ему стронуться с места, а что — понять в этом сумбуре было невозможно.

— Ну что же вы! — вдруг крикнул Майбороде Сереженька. — Что же вы так стоите?!

Но милейший Аркадий Иванович, обескураженный немислимым оборотом дела, продолжал стоять, не помышляя о действии, и даже улыбался жалко.

— Нет, ты должен проучить его, Бутурлин, — потребовал толстяк. — В моем доме! Это неслыханно, чтобы в моем доме... о Милодоре... и вообще о нимфах...

— Да ведь я ее не знаю, господа, — сказал Аркадий Иванович, не выпуская руки Бутурлина из виду. — Я ведь предполагал...

— А черт! — сказал гренадерский поручик. — Он предполагал... Это вам не Линцы ваши чертовы!

— Да при чем тут Линцы? — изумился Бутурлин. — О дамах речь, о дамах! Он даму оскорбил, и все тут...

— Он мне отвратителен! — закричал Сереженька. — Он за себя постоять не может!.. Да вы хоть обидьтесь, обидьтесь... Он же оскорбил вас! Он ведь вам по щеке залепил!..

— Господа, — еще тише и еще покорнее ответствовал Майборода. — Я никого не хотел... То есть я никогда... Верите ли, я готов извиниться...

— Да тебе бы лучше просто оставить нас, — сказал

толстяк.— Уйти отсюда... из моего дома. Боюсь, что наш друг вмажет тебе еще раз.

Наш герой увидел, как изящный кавалергард заносит руку, как медленно, не сводя с него глаз, отстраняется беспомощный капитан, но опять не ощутил в себе желания броситься к ним, заступиться за капитана.

И тут кавалергард ударил вновь. Аркадий Иванович охнул и отшатнулся.

— Тут что-то не так! — крикнул он в отчаянии.— Не так!..

— Так, так,— сказал гренадерский поручик.

Майборода медленно пятился к дверям. Остальные на него надвигались. Те, незнакомые офицеры, продолжали сидеть неподвижно, с бокалами в руках.

— Вы не смеете меня бить,— выдохнул Аркадий Иванович.— Это бесчестно...

— Ах, он о чести понимает! — крикнул Сереженька.— Вы бы лучше о чести там понимали, тогда... а не тут...

— Где? — спросил капитан Майборода.— Где?

Но третья пощечина помешала ему. Он круто повернулся и выбежал вон из залы.

— Трус! — вслед ему крикнул Сереженька.

Было слышно, как хлопнула дверь и как в ночной тишине проскрипели шаги под окнами.

В молчании все расселись снова у камина. Незнакомые офицеры исчезли. То ли они удалились вслед за капитаном, то ли их не было вовсе.)

Когда наш герой покинул наконец этот гостеприимный кров, так и не проронив ни слова, он в первую минуту никак не мог определить, куда ему направляться. То ему казалось, что он в Линцах, что он — полковник и его мучают подозрения относительно капитана, то он видел себя тем самым капитаном, торопящимся к своему дому, и тогда он начинал бежать по пустынной мостовой, так что даже будочники удивлялись вслед. Вы, милостивый государь, читаете все это, уютно устроившись в теплой своей комнате, слыша гудение самовара из столовой, вдыхая ароматный запах сдобных плюшек, приготовленных для вас к ужину, вы читаете все это, как счастливый человек, избавленный от страстей того времени, чуждый всяким возмутительным порывам, удивленно вскидывая брови при слове донос, казнь и тому подобное, и вам, наверное, представляется все это: даже выдумкой моей,

фантазией... Нет, нет, все было именно так; хотя я при всем своем желании не берусь да и не смог бы охватить всего, а потому выхватил из этого всего несколько случайных жизней, а уж вы сами там домысливайте остальное, ежели не боитесь, что чай простынет.

8

Утром следующего дня голова у нашего героя не болела, как этого можно было бы ожидать, и никаких тягостных воспоминаний, как молодцы-офицеры били по щекам доброго капитана, не сохранилось. Все словно так и должно было случиться, и это не разум говорил, а, видимо, сердце.

Единственное, уж ежели говорить начистоту, что преследовало нашего героя утром следующего дня, так это мысль о прелестных нимфах, которых он так и не увидел, и об Амалии Петровне с ее многозначительной родинкой, о той самой Амалии Петровне, которая и надежд никаких не подала, и разговор вела престранный и даже, может быть, предосудительный, но маячила перед глазами, не уходила.

Конечно, мы-то с вами отлично понимаем, что не просто и не только вожделение правит юношескими сердцами, что есть еще некая тайная материя, которой и названия не подыщешь и которая все и творит в нас и преобразует, хотя многие склонны с этим не соглашаться: мол, все проще, и люди, мол, проще, поглядите на человека попристальнее: что есть в нем сложного, так это всего лишь одежда, а вообще-то — никакой сложности и тому подобное. Но как же не сложен человек, когда он мечется и путается в своих поступках, одно и то же любит и опровергает одновременно, весь как бы оброс мучительными вопросами, а что касемо до вожделения, так ведь это временно, это природа, и не нам с нею спорить. И вы не верьте, не верьте, будто все просто, и мне не верьте, что наш герой, все начисто отринув, видел перед собой лишь очаровательную и таинственную родинку Амалии Петровны, ибо где-то там, внутри, куда нам с вами проникнуть невозможно, все увиденное ложится и легло уже кирпичик к кирпичику, ровнехонько так; и до самой смерти, до последнего часа будет лежать, и никуда от этого не уйдешь, не избавишься.

Это душа наша имеет способ защищаться от истинных тягот и страданий и временами приглушает их, чтобы нам не обезуметь, а оставляет страдания легкие, мнимые даже, страдания любви, которые натуры слабые принимают иногда за страдания истинные.

Я не буду утруждать вас подробностями относительно того, как наш герой проводил свой день, а начну прямо с вечернего заседания в известном вам Комитете, где Авросимов, уже освоившись, готовился строчить свои протоколы.

Бесшумно, как всегда, гуськом, словно и незнакомы друг с другом, потянулись в залу члены Комитета и заняли свои места.

Бутурлин вырос за креслом Патищева, ожидая распоряжений, изящный и свежий, словно это и не он вчера безумствовал во флигеле напропалую. При виде Авросимова он едва улыбнулся ему уголками губ и кивнул тоже незаметно.

Солнце уже давно зашло, и январские сумерки охватили комендантский дом, крепость, Санкт-Петербург и весь мир.

По белому изразцу печки-голландки ползла синяя муха.

Белые толстые свечи медленно оплывали, и от их неровного пламени рождались неровные ускользающие тени.

Авросимова тянуло ко сну, а работа только началась. А что же дальше-то будет, господи!

Занятый этими невеселыми размышлениями, он и не заметил, как распахнулась дверь, произошло легкое движение, суэта, а когда поднял голову, полковник Пестель уже сидел в своем кресле и глядел на пламя свечи. Лицо его поразило нашего героя. Осунувшееся и землистое, оно вызывало чувство тоски и страха, да и взгляд был болезнен и скользящ. И этот скользящий взгляд, рассеянно и привычно охватив раскинувшуюся перед ним панораму окон, кресел, стен и лиц, остановился на лице нашего героя и замер.

Павлу Ивановичу стало уютнее при виде Авросимова, а почему, он и объяснить бы не смог. Нет, не ждал Павел Иванович от него спасения и в могущество бедного служителя верить не мог. Нет, нет, но, может быть, во мраке, постигшем полковника, голова Авросимова горела как

огонек, и в глазах шевелилось готовое проснуться участие? Ах, становился сентиментальным полковник... Холодный и трезвый, намучившийся во тьме, сырости и безвестности, он стал ценить то, чем раньше пренебрегал... Не потому ли всякий раз, входя в Комитет, взор свой обращал на угол, где томился наш герой? Ибо перспектива, раскрывающаяся перед ним, удручала его все больше и больше, и из сырости каземата, из мучительных бурь, сотрясающих его душу и тело, все более явственно проступал исход, а именно — позорная солдатчина, которой теперь уже не миновать, и сколько она будет продолжаться — год, два, десять, вечно, — никому не известно, а может быть, и в самом деле — вечно.

Нет, не солдатская лямка пугала Павла Ивановича и не позор пленника, а вечность! Та самая вечность искупления греха, в которую толкают его все, все, от курьера до военного министра, от тюремщика до царя... Все вот эти, сидящие и стоящие перед ним.

И наш герой, отворотившись от полковника, тоже подумал, что вот все, все, и он в их числе, навалились на скрученного злодея, а чего ж на него наваливаться, когда он и так готов: вон руки дрожат и взгляд блуждает.

Отворотившись от полковника, он снова увидел всех. Теперь снова все они были представлены вместе, но что-то такое в этой вечерней зале было ново, как-то они все выглядели по-новому, как будто и не на следствии восседали, а перед званым обедом, в гостях.

Военный министр был почти весел, хотя и старался это скрыть, однако не заметить было нельзя; граф Чернышев играл своими пальцами, то разминая их, то собирая в кулак, то по бакенбардам проводил ладонью, и, казалось, вот сейчас соорудит на груди салфетку и потянется к еде; Левашов и Боровков улыбались друг другу, остальные были неподвижны, но на их лицах тоже поигрывали некие расслабленные блики от предвкушения пиршества; адъютанты, фельдъегери, курьеры мелькали, как ночные птицы, проносились на носках, бесшумно, легко и таинственно.

И вообще было так тихо вокруг, так благостно, от свечей распространялись такое сияние и аромат, военный министр был так улыбочиво настроен, что, казалось, все сейчас рассмеются и встанут, с шумом отодвигая кресла, и провинившийся полковник вскинет голову, и

щеки его зальет счастливый румянец. И действительно, подумал наш герой, как это возможно так долго и безысходно мучать друг друга? И это уже входит в привычку, и так будет тянуться теперь вечно, только полковник, насидевшись в сыром-то каземате, сник, и лицо его подернулось печалью. Вот уж и январь на исходе. Ах, но, тем не менее, как много их всех на одного! Как много нас-то на него одного! Даже он, Авросимов, строчит по бумаге, высунув кончик языка, чтобы, не дай бог, слова не пропустить, чтобы правитель всех дел Александр Дмитриевич Боровков не остался недоволен. А злодей тем временем, бледный и изможденный, не Пугачев какой-нибудь, а дворянин, полковник, любимец, здесь, в кресле!

Ну а те, которые с полковником были, которые верили ему, клятвы давали, те, которым он верил, они, что здесь вот распинались и страх свой выплясывали, раскаивались, они-то что же? Господи ты боже мой!..

И тут с громким стуком ударилась о стол чья-то табачница, ускользнув из неловких рук, и Чернышев спросил у Павла Ивановича беззаботно и по-приятельски даже:

— Я бы вас, господин полковник, еще кой о чем спросить бы хотел, да боюсь, вы опять запираетесь станете.

— Спрашивайте, ваше сиятельство, — устало отозвался Пестель, — на то я и пленник, а что касаясь запертательства, так это зависит от моей причастности. Уж ежели я не причастен...

Генерал пожевал губами, поморщился.

— Ну вот, к примеру, зеленый портфель ваш, обнаруженный в доме вашем, в Линцах, оказался совсем пуст... К нему-то вы причастны?

— К портфелю? — удивился Павел Иванович.

Авросимов услышал тихий смех. Кто смеялся — было не понять. А может, это и показалось. Военный министр производил впечатление хмельного, хотя в это и можно было верить, ежели помнить, как давеча, нет, третьего дня, он пил из графинчика наедине с самим собою.

Но Чернышев удивления полковника не заметил, а продолжал:

— А хранили вы в нем установления общества, именуемые Русской Правдой, вами лично написанные...

Полковник закрутил головой быстро-быстро, начисто отрицая сказанное, как тягчайший вымысел.

— В сентябре,— продолжал Чернышев,— выходя из Линец на маневры, кому поручали вы на хранение сей портфель, замкнутый, и для чего?..

Тут наш герой оторвался от своей тетради. Павел Иванович провел ладонью по крутому лбу. Было молчание. Члены Комитета разглядывали его как диковину. Авросимов затаился, предчувствуя недоброе, ибо понимал, что круг сужается, что только упрямство полковника-злодея оттягивает конец...

И тут полковник заговорил, и наш герой пришпорил застоявшееся перо.

«В сем портфели никада ни хранилис никакия законы общества...»

«Никогда? Ах он бес! Как же это он?» — подумал наш герой, вспомнив рассказ Аркадия Ивановича, и как толстяк во флигеле лез с вопросами: что он там проповедовал?

Генерал Чернышев протянул графу листок и усмехнулся вполне заметно. Павел Иванович усмешку заметил и тряхнул головой, словно освобождался от наваждения. И уже не ждал приглашения, а сам обреченно так протянул руку за листком, который, словно белокрылая птица, медленно облетел весь стол и опустился, затрепетав, к нему на ладонь.

«А вдруг в сем листке помилование стоит?» — подумал наш герой с надеждой, но тут же спохватился, да и граф глянул на него быстро и с подозрением, словно запах почуял, черт! Старый черт! Провались ты, сгинь, надоел!

Павел Иванович тем временем бежал взором по бумаге; закончив чтение, с минуту посидел неподвижно, затем сказал еще более устало:

— Я мог, уходя на маневры, дать кому на сбережение этот портфель, в котором хранил драгоценные письма родителей, на случай могущего быть пожара, и считаю, что невинное обстоятельство перетолковано самым несправедливым образом...

Граф Татищев махнул пухлой рукой и нахмурился. И тотчас кинулся Бутурлин к Павлу Ивановичу и зашептал ему на ухо, и полковник пожал плечами, встал с кресла и направился в дальний угол залы, куда ему торопливо подставили другое кресло, усадив его лицом к стене и затылком к происходящему.

Затем распахнулась дверь, и Бутурлин подвел к столу Аркадия Ивановича. Наш герой старался всякими способами обратить на себя внимание капитана, теребил свой вихор, качал головой, ронял перо, но все было безуспешно. Капитан замер у стола, спиной к полковнику, и лицо его изобразило такую смертную муку, что жалость раздирала.

— Ну,— сказал граф,— ответствуйте, господин капитан, обо всем, что вам известно касательно установления, именуемого Русской Правдой...

Аркадий Иванович помолчал, ладное тело его раскачивалось из стороны в сторону, как подвешенное.

«Да неужто можно и сейчас,— подумал Авросимов,— и сейчас бить этого поверженного полковника таким способом?! Да вы покажите ему все допросы, все листки с признаниями! Да не мучайте его и себя!»

— Ну,— сказал граф в ожидании.

Аркадий Иванович увидел Авросимова, и лицо его скривилось.

— Ну,— нахмурился граф, следя за его взглядом.

Аркадий Иванович молчал.

Военный министр шепнул что-то генералу Чернышеву, а сам закрыл глаза, задремал.

— Ну,— сказал генерал Чернышев.

— Я уже имел честь докладывать неоднократно...— выдавил бравый капитан,— имел честь... неоднократно...

— Ну, ну,— подтолкнул его Чернышев.— Сдается мне, были вы решительнее...

— Ваше высокопревосходительство,— сказал Аркадий Иванович,— я постараюсь, ваше высокопревосходительство, постараемся...

— Ну,— сказал граф.

— С того времени, как полковник Пестель принял меня в злоумышленное общество, он был со мной откровенен...

«А чем вы ему, сударь, платите за откровенность?» — подумал наш герой.

— ...и неоднократно читал мне черновые законы Русская Правда...

Пестель был недвижим.

— ...и другие сочинения, рукой его писанные, поясняя словесно все то, что могло ознакомить с целью и планами злонамеренного общества...

«...с целью и планами общества...» — писала рука нашего героя, немея от напряжения.

Так говорил капитан, все более выпрямляясь, переставая раскачиваться, словно собственные слова излечивали его от недомогания, которое минуту назад сгибало его жилистое тело, и уже загорались цыганские глаза, и уже на нашего героя глядел он не вопрошающе, а снисходительно, а может, и с любовью, трудно было понять. Он говорил все громче и громче, и даже правая его рука сорвалась со шва и изогнулась, выдавая темперамент капитана; ах, ему уже было легко, минутный страх улетучился, сгинул, уже ничего не было слышно, только голос Аркадия Ивановича, счастливый и звонкий, словно он пел свои малороссийские песни, и две руки взлетали одна за другой, и вместе, заставляя метаться пламя свечей, отчего тени сидящих метались тоже, словно отплясывали под музыку капитана...

— ...Ежели благоугодно будет вам, господа,— пел капитан,— удостовериться в этой истине, то повелите прибыть кому-либо в сельцо Балабановку, где расквартирована вверенная мне рота, и я укажу место...

Павел Бутурлин впери́л свои стальные глаза в лицо капитану, но Аркадий Иванович, встретив его взгляд, продолжал неудержимо и отчаянно, и в этом было даже что-то восхитительное, потому что редко ведь бывает возможность увидеть человека, раскрывшего свою душу, а тут, на — поди, никакой узды.

— ...Майор Лорер и денщик Савенко,— пел капитан,— по замечанию моему надо мной надсматривали!.. Майор Лорер, преданный Пестелю, много раз приходил ко мне и разными изворотами в разговорах старался узнать мысли мои об обществе... Он говорил, что в Линцах есть от правительства шпион...

Песня Аркадия Ивановича становилась все торопливее и сумбурнее, но на горячем лице было столько вдохновения, что и упрекать его за торопливость было грешно.

— ...Полковник Пестель бумаги свои спрятал в бане, а Лорер сжег сочинения Пушкина...

Это уже была не песня, нет, это была полная вакханалия, ежели вам угодно. Голос Аркадия Ивановича взлетел до предела, он звучал пронзительно, словно серебряная труба кричала тревогу или сбор... Уже невоз-

можно было уловить истинный смысл, а так, отдельные слова, вразнобой, каждое само по себе, вырывались из-под мягких усов капитана и ударялись о стены. Можно было подумать, что по залу начинается ураган — так металось пламя свечей, — что сейчас рухнут стены под давлением этого голоса, жаждущего простора, которого тут не было, ибо откуда ему быть в крепости, простору, откуда? Можно было подумать, что это последний день света наступил внезапно — так дрожало все и колебалось перед взором нашего героя, который и строчил, и глядел, и мнение свое обдумывал, и ужасался, и ликовал вместе с поющим капитаном. Воистину, милостивый государь, и, может быть, впервые в том мрачном убежище отчаяние человеческое звенело с таким невообразимым ликованием. И казалось, что нет у капитана рук, а только — крылья, сильные и стремительные, и они несут его вместе с его ликованием по залу. Свечи горели неизвестным огнем — зеленым, красным, синим, огонь был высок, по светло-коричневым стенам раскинулись розовые фигуры, и то ли под колеблющимся пламенем, то ли сами по себе они шевелились под музыку капитана, изгибались, тянулись друг к другу...

А капитан все пел, захлебываясь от своего счастья, так что белые зубы его посверкивали и цыганские глаза вращались все скорей да скорей; ведь все вокруг были свои, и здесь можно было петь и даже надрываться, потому что ужасы прошлого схлынули, и от песни, от ее чистоты, высоты, звонкости зависело будущее...

Все были свои...

Ах, поглядели бы вы на эту картину глазами нашего героя! Как все кружилось, вертелось, взлетало, замирало и заново вспыхивало, поддавшись этой песне, сперва медленно и враскачку, а после — стремительно понеслось все по залу, задевая столы, опрокидывая свечи! Люди плясали за спиной у неподвижного полковника, нелепо вскидывая руки, полузакрыв глаза, словно подражали розовым фигурам на коричневых стенах, и все перемешивалось: золото эполет и аксельбантов, серебро галунов и подсвечников, черные глаза и красные щеки, малиновые портьеры и белые ладони, все, все.

Вдруг неистовая песня капитана оборвалась, словно ее и не было, и все с грохотом повалились на свои ме-

ста, и наш герой выпустил из потных пальцев скомканное перо, похожее на задушенного птенца.

— Я надеялся,— тихо произнес Аркадий Иванович,— что они, оставив пагубные заблуждения злодейского своего общества и возвратившись к обязанностям верных сынов отечества, конечно, не откажутся подтвердить мое показание.

В этот момент лицо капитана было опять спокойно, глаза его источали грусть.

— Стало быть, вы не могли смириться, наблюдая злодейство изо дня в день? — спросил генерал Чернышев.— Стало быть, вам как истинному сыну отечества была забота раскрыть заговор и тем самым прервать его дальнейший злонамеренный ход?

«Дальнейший хот...» — вывел наш герой.

— Истина,— глухо подтвердил Аркадий Иванович.— Я, ваше сиятельство, еще с детства...

— А что, господин капитан,— оборвал ход его рассуждений генерал Левашов,— что вам показалось в сочинении, именуемом Русской Правдой, составленным вашим бывшим полковым командиром? Действительно ли в нем уделялось место гибели царствующего дома или речь шла только об упразднении существующего порядка вещей?

— Нет, ваше высокопревосходительство,— откликнулся капитан со свойственной ему живостью,— самое что ни на есть убийство, ваше высокопревосходительство, самое что ни на есть злодейское, что и привело меня в трепет и дало мне сил притворствоваться на протяжении года, хотя я притворству обучен не был... Убийство, ваше высокопревосходительство! Стал бы я тревогу-то бить, кабы что другое?..

Бутурлин за креслом графа весь искривился мучительно, и нашему герою даже показалось, что тонкая его рука поднимается ладонью книзу... Он глянул на Авросимова.

«Ну что? — как бы вопрошали его глаза.— Каков, а? Что же теперь?»

«А что же вы деликатные какие были? — взглядом же ответил наш герой.— Разве есть теперь вам прощение?»

«Вы, надеюсь, имеете в виду полковника-злодея?» — горько усмехнулся Бутурлин.

«Эх, Бутурлин, Бутурлин,— едва не заплакал наш герой,— как нас волны-то несут! Куда?»

Покуда шел этот молчаливый, но выразительный диалог, Аркадий Иванович спокойно покинул залу, а Павел Иванович уже сидел в своем кресле у стола, опустив голову...

9

Теперь я позволю себе оставить его в печали и сомнениях, лишенного наконец своей сатанинской силы, и воротиться ненадолго к прелестной Амалии Петровне, которую мы с вами оставили у полночного окна в ее квартире почти двое суток назад. Неужели, спросите вы, она провела у того же окна двое суток, не смея отойти от него и безуспешно борясь с бурей в своей душе? Не знаю, да это меня и не интересует. Возможно, что она и покидала свой печальный пост, предаваясь делам будничным и необходимым, а может быть, и нет. Важно, что застали мы ее на том же месте, где покинул ее наш герой после не совсем вразумительной беседы с нею. Я даже мог бы поверить в то, что она не сомкнула глаз все это время, ибо в лице ее заметно потускнели признаки очаровательной молодости и здоровья, и синие круги под глазами придавали этому лицу вид отчаяния и невыразимой муки.

Но когда бы вы могли заглянуть поглубже, не придавая значения внешнему виду, вы были бы поражены, поняв, какие тайные силы бушуют в этом хрупком и утонченном молодом существе, какие океаны разлились, затопив жалкие повседневные страсти, открыв простор страстям вечным и значительным.

Что я понимаю под этим? А вот взгляните-ка, извольте.

Не успела полночь вступить в свои права, не успел за углом (как любят выражаться в старинных сочинениях) глухо прозвенеть колокол в церкви Ивана Предтечи, как дверь в гостиную, где пребывала Амалия Петровна, тихо растворилась, и человек, лица которого вы бы не смогли рассмотреть в темноте, вошел и, поклонившись ей, остановился.

— Были? — деловито спросила она, едва поворачив к нему голову, словно знала, что он войдет.

— Был, любезная Амалия Петровна,— едва слышно ответил он.

— Ну, что он?

— Боюсь огорчить вас, но худо, любезная Амалия Петровна. У меня так вовсе отчаяние: зачем они так его мучают? Уж сразу бы сделали, чего нужно...

— А что нужно? — холодно спросила она.

— А что им нужно?.. Они его в солдаты разжалуют, не миновать...

— Разжалуют,— печально засмеялась она.— Сдается мне, вы обольщаетесь, не вышло бы хуже...

— Что же может быть хуже, любезная Амалия Петровна?

— Ах, сударь, как вы все наивны! — воскликнула она.— Как вас ничто ничему не учит. Мне кажется, что я одна все вижу, и сердце мое сжимается от боли. С кем, с кем ни говорю, все настроены легко, праздно...

— Какая уж легкость, какая уж легкость, господи боже.

— А что, друг мой,— после продолжительного молчания проговорила она,— не лучше ли ему не запираяться?.. Да вы присядьте.

— Я уж постою... Теперь и впрямь лучше бы ему не запираяться, когда все раскрылось...

— Как же это раскрылось?

Он медленно опустился в кресло и застыл.

— Ну, чего же вы молчите?

— В душе у меня чего-то порвалось, как я на все на-смотрелся, как он им доверял, а они его выдают...

— Кто это они? Что же они так?

— Кто по страху, кто еще по чему...

Она вдруг отошла от окна и, прошуршав платьем, остановилась возле самого его плеча, и коснулась его кончиками пальцев.

— Друг мой, я вижу, как все это причиняет вам боль, как это вас мучает, да мы с вами теперь уже не можем сетовать... Уж так. Теперь нам с вами нужно что-то предпринимать, чтобы добрые имена оградить от страданий. Я слышу, будто кто-то велит мне это.

— Вы о нем говорите? — со страхом спросил он.

Снова тянулось молчание, потом она вдруг сказала:

— Мне стоит большого труда удерживать Владимира Ивановича от безрассудств. Он ночует у себя в полку,

я знаю, как он там убивается и плачет за любимого брата, как он там мечется меж братом и государем...

— Я бы рад помочь вам,— сказал он.— Да вы приказывайте.

— Все ведь от Аркадия Ивановича началось! — вдруг крикнула она.— От капитанишки этого! — и зашептала горячо: — Вот кабы умолить его покаяться, чтоб взял обратно свои слова. Ах, он жестокий человек! Я бы готова была унизиться, кабы верила, что он откажется от своих наветов... Нет, нет, он не откажется...

— Он об государе пекся, любезная Амалия Петровна.

— Дитя вы. Да у него этого понятия и в голове-то нет. Просто злодейство!.. Ну что от него ждать, от капитанишки этого?.. Вот кабы графа уломать... Вы бы его могли уломать? Нет, вы дитя...

— Я его боюсь,— признался он,— графа боюсь. Да он меня и слушать не станет.

— Ну ладно,— сказала она спокойно.— Капитанишка этот, фарисей, у дядюшки вашего остановился, да? Вот вы меня к нему и везите, друг мой, везите...

И она стремительно полетела по темной зале, с ловкостью и грацией огибая кресла и столики, а он, вскочив, кинулся за нею следом, готовый служить беспрекословно.

Сани быстро были поданы. Они уселись рядом, тесно. Кони понесли.

— Я по ночам как еду, все графа встретить боюсь,— сказал он из-под меховой полости,— каждую ночь с ним о том, о сем беседую, весь в поту... Чего ему от меня надо?

— Вы бы лучше возвращались к матушке своей в деревню, чем так переживать... Впрочем, погодите еще немного.

Кони летели во всю прыть. Черное небо несло над ними, не отставая.

Теперь позвольте вас спросить, милостивый государь, известно ли вам, что побуждало прекрасную Амалию Петровну вот так скакать в темени по Санкт-Петербургу? Что касается меня, то я навряд ли смогу вам объяснить это, хотя вижу по вашим глазам, что любопытство ваше поумерилось, ибо все разговоры да разговоры, а где, мол, история сама, где ее развитие? Вы, конечно,

надеялись, что уж ежели я даму упомяну, а молодой человек мучается по ней тайной страстью, то пора бы, кажется, и прояснить их отношения, а не нет, ничего такого не происходит, и кони мчат по ночным улицам, пофыркивая, и все. А мне, скажу вам не таясь, прискорбно это знать, что вы поустали. Я был об вас лучшего мнения. Но ничего не поделаешь, и чтобы слушателя не потерять, пусть даже такого, как вы, я вам подпущу приключение, чтобы огонь в ваших глазах вспыхнул снова. Ах, не думал я, что и вы из тех людей, которые любят, чтобы поскорее свадьба или там гибель чья-нибудь, а уж затем можно и следующую историю. Мне бы, конечно, прервать мой рассказ (да будьте вы неладны), но я, воспитанный в долготерпенье, перебарываю в себе эти слабости и буду рассказывать все как было, только маленькую уловочку себе позволю, хотя знаю, что потом буду раскаиваться.

Так они летели сквозь ночь, она, полная нетерпения, готовая к поединку, вся пылающая от предвкушения борьбы, и он, слабеющий от ужаса перед лицом событий, в которых даже мы с вами, искушенные люди, могли бы запутаться, а о юнце что и говорить.

— Кабы вы согласились поехать в деревню ко мне,— вдруг сказал он,— вы бы там все позабыли, там такая красота и тишина.

— Вы дитя совершенное,— сказала она.— Совсем дитя...

— Сегодня мне Павла Ивановича жаль стало, как они все на него навалились. Потому что я благородства не увидел в том...

— Ах, зачем он всем жизнь испортил! — воскликнула она.— Но я его люблю, оттого и страдаю. Я бы его сама наказала, кабы моя воля, за эгоизм его, что он всех так подвел. Да я ж его люблю, и Владимир Иванович его любит. Владимир Иванович даже говорит, что, мол, зачем ему награды всякие за участие в деле против мятежников, когда брат его любимый в крепости томится!..

— А когда бы Павел Иванович тоже в Петербурге участвовал да на площадь вышел, Владимир бы Иванович тоже против него скакал бы? — спросил он.

— Вы ужасы какие-то рассказываете,— возмутилась она,— не смейте так, не смейте!

В голосе ее слышались слезы, и это больно в нем отозвалось. Вот плачет она. Касается его плеча и плачет, словно его и нет рядом. То есть, они так сидят в тесных санях, что сделай он одно движение, и она тотчас окажется в его объятиях, покуда там призрачный ее супруг дежурит день и ночь в казармах и о брате своем мучается.

— Я бы вам в деревне страдать не давал, любезная Амалия Петровна,— проговорил он вполголоса и слегка отклонился от нее. Но она качнулась в его сторону, и снова они сидели тесно. Сердце его оборвалось. А ведь тесно так, что и не уследишь за ее лицом, прикрытым мехом. Он сделал вид, что устраивается поудобнее, и снова отклонился, но она опять к нему припала тяжелее прежнего.

«Радость моя несравненная! — подумал он.— Как будто ты моя навеки, и всегда была...»

И он выпростал вдруг из-под полости руку и потянулся к ее щеке, полный благоговения, и прикоснулся. Кони несли. Щека ее показалась ему пылающей. Он провел по ней ладонью. Амалия Петровна засмеялась печально или заплакала — было не понять.

— Уедемте отсюда! — с горячностью зашептал он.— Уж как вам будет хорошо! Там — травка шелковая, солнышко...

— В январе травка? — удивилась она.

— Да что там в январе... Какой там январь!.. Я бы все для вас делал, чтобы вам не страдать... Мы бы с вами кофий пили на веранде. Ромашки бы собирали. Смеялись бы вволю...

— Какой он, однако, Павел Иванович,— проговорила она с грустью.— Как он все перепутал. Сидите смирно, друг мой. Я все об этом думаю, а что вы говорите — не слышу,— и качнула головой, отстраняясь от его ладони, затем продолжала: — Несколько лет назад они оба посещали мой дом, оба брата, и оба мне внимание свое выказывали. Скажу вам откровенно — Павел Иванович восхищал меня более, чем брат его... Ума он выдающегося и благородных принципов, и что-то в нем было такое, что судьба моя вот уж должна была решиться, однако я Владимира Ивановича предпочла, ибо семья, друг мой, это — не заговор. Видите, как я не ошиблась? — и вдруг спросила: — А что Аркадий Иванович?

Он что, так и говорил, рассказывал все? Прямо на глазах у Павла Ивановича?

— Так все и рассказывал.

— Ну и что он, плакал при этом? С болью он это все?

— Нет, любезная Амалия Петровна, какие уж тут слезы. Мне прямо крикнуть хотелось, что, мол, как это вы так! Ведь вы же его любили!..

— Ах, если б я могла с бедным моим братом в его каземате сыром повидаться! А вдруг капитанишки дома нет? Поскорее бы!

Плечи ее затряслись, послышались всхлипывания. «Это невыносимо! — подумал он. — Убьет она себя так-то...» И он рванулся к ней снова, чтобы увидеть ее лицо, потянулся губами, чтобы осушить ее слезы, и оттуда, из-под медвежьего меха, из-под полости пахнуло на него теплом, жаром, ароматом любви, расслабленностью женской, безумием.

— Опомнитесь! — вдруг сказала она голосом Милодоры. — Вы же мне чепец порвали! Что это с вами?

— Я люблю вас, — задыхаясь выговорил он.

Она резко к нему повернулась.

— Вы совершенное дитя, потому я вас прощаю.

Вы, милостивый государь, очевидно, уже догадались, что описываемый молодой вздыхатель был не кто иной, как наш герой, который, смею вас уверить, не то чтобы ощущал себя в привычных условиях, оставшись наедине с дамой своего сердца, если судить по его поведению, а, напротив, действовал вовсе не по разуму, и голова его не ведала, что творят руки и что вытворяют уста, произнося бредовые свои речи.

Павел Иванович, бывший предметом их огорчительной беседы, когда бы только мог наблюдать эту сценку, наверное, усмехнулся бы, видя, как наш герой, едва по нем не плача, пытается обхватить свою спутницу, прижаться к ней пожарче, ибо сам Павел Иванович, будучи человеком другого склада и постарше, скорбя о чем-то, не стал бы в тот же момент размениваться на сласти.

— Так мы никогда не доедем! — возмутилась она. — Да вы что же, распорядиться не можете?

— Живо! — крикнул он и ткнул кучера в спину. — А ну давай!.. Сейчас, сейчас, любезная Амалия Петровна, душенька, мигом!.. А ну живей!

Сани остановились у дома Артамона Михайловича,

заспанная челядь отпрянула, пропуская ворвавшегося Авросимова и тараща глаза на надменную молодую даму, следующую за ним. Он оставил ее в сенях, а сам кинулся вверх по лестнице.

В коридоре возле комнаты Аркадия Ивановича встретился нашему герою Павлычко, бледный и трясущийся. Путая русские и малороссийские выражения, он поведал Авросимову, как барин его, воротившись поздно и будучи не в себе, выпил основательно горилки с перцем, взял пистолет, расплакался вдруг и, крепко обняв испуганного денщика, отправился из дому прочь, куда — неизвестно. Авросимов тормошил плачущего Павлычку, умоляя его вспомнить, что говорил барин перед уходом, но все его усилия и мольбы были напрасны.

Однако, когда наш герой, не боясь потревожить дядюшку своего, загрохотал вниз по лестницам, торопясь к своей даме, Павлычко побежал за ним, крича, что он вспомнил, вспомнил ужасный намек, брошенный его баринком на прощанье, что, мол, жизнь ему опостылела, что он должен ее прервать, и он это сделает теперь же на народе.

— Как это на народе? — ужаснулся Авросимов.

— На народи, — заплакал денщик.

Тут наш герой, с трудом объяснив Амалии Петровне ситуацию и вспыхнувшую в нем догадку, растолкал ахающую челядь и вывел свою даму на крыльцо. Кучеру он велел скакать во всю прыть на Мойку, имея про себя в виду злополучный флигель.

Сани неслись. Кони покрылись инеем, и пар клубился над ними, застилая Санкт-Петербург.

— Давай, давай! — вскрикивал наш герой, наклонившись вперед всем телом, как бы для облегчения бега.

— Ах этот Павел Иванович, Павел Иванович! Сколько из-за него всякого безумства!.. Да не гоните так, друг мой, мы же опрокинемся!..

— Ничего не бойтесь, любезная Амалия Петровна! Давай!..

— А капитана бог наказал! — крикнула она.

— Давай! Давай!.. Гони!

— Вы только подумайте, как его бог наказал! — и приблизила к нему горячую свою щеку. — Как он все видит!.. Теперь зачем уж гнать, зачем... Теперь только бы убедиться, что это так!.. Сам себе яму вырыл!..



А тут Авросимов явственно услышал, словно выстрел грянул неподалеку, и раздался истошный крик человека.

— Скорей! — крикнул он снова, и ошалевшие кони через какой-то миг уже остановились возле знакомых ворот.

Он помог ей выйти из саней, и они почти побежали к флигелю, возле которого творилось что-то невообразимое...

К дверям было не пробиться сквозь многочисленную толпу. Какие-то мужчины, которых во тьме и узнать-то было нельзя, прямо в мундирах и в сюртуках, несмотря на мороз, женщины какие-то с распущенными волосами, челядь с жалкими свечками в руках... И все это гудело, стонало, восклицало и переливалось так, что и представить себе было невозможно.

Авросимов пытался, не выпуская руки Амалии Петровны, хоть что-нибудь разузнать о случившемся, да никто его не слушал, и как только он к кому обращался, всяк тотчас же отворачивался и принимался восклицать что-то да размахивать руками. Так бы это и продолжалось, кабы вдруг не узнал наш герой в толпе Павла Бутурлина, который громко распоряжался, указывал кому-то: что, куда, зачем...

Наш герой попытался его окликнуть, да не тут-то было, Бутурлин и не оглянулся, увлеченный распоряжениями.

Постепенно устроился порядок, все заговорили глуше, словно устали, и из дверей вынесли тело несчастного, завернутое в шинель. Откуда ни возьмись возникли сани. Тело бережно уложили. Несколько кавалеров уселись возле, и печальный экипаж отбыл. Все потянулись во флигель.

— Ванюшенька, рыбонька, — услышал он вдруг голос Милодоры, — не след стоять на холоду.

Авросимов огляделся. Амалии Петровны нигде не было. Он кинулся за ворота и увидел, как она легко поднялась в сани, как поправила меховую полость, прикрывая ноги, как махнула ему ручкой на прощанье. Он хотел было окликнуть ее, да кони рванулись, и тотчас все исчезло.

Милодора тем временем подошла к нему и, взяв за рукав его покрепче, повела к флигелю.

Приходу его никто не удивился. Все было как преж-

де, как вчера, как третьего дня, как всегда, наверно. И словно ничего не произошло, словно не отсюда только что выносили бездыханное тело несчастного капитана. Впрочем, кому тут было его жалеть, когда вчера по щекам ему давали вот здесь же.

Голова у нашего героя гудела. Как был в шубе, так и уселся он прямо на ковер в зале. Тут подлетела Миллотора, заставила отхлебнуть из большого бокала, и через минуту Авросимову стало получше, поспокойнее, даже показалось, что он вот так с тех самых пор все и сидит здесь, никуда не выходя, хотя до самого конца уверовать в сие все-таки мешала мысль о недавнем происшествии и время от времени позванивала она, напоминала.

Капитана он не жалел. Может, и в самом деле десница божья до него дотянулась, но в запахе вина и яств, табака и людского пота, в душном и привычном запахе, укоренившемся в этой зале, вился слабый аромат порохового дыма, аромат выстрела вползал в ноздри и в душу. Как же это капитан руку вскидывал с пистолетом? Как выстрел прогрохотал? Как же никто не удержал его, не пресек? Впрочем, зачем пресекать?

Так лениво размышлял наш герой, пригубливая, пригубливая из большого бокала, опустошая его, подставляя его снова неведомо кому и снова к нему припадая. Как же это он руку-то вскидывал?..

Сначала Авросимов намеревался порасспросить ну хоть того же Бутурлина, как все это было, но лень помешала ему подняться. Да и где он, Бутурлин, тоже было не разобрать... Как же это он руку вскидывал с пистолетом? Он нехотя огляделся и увидел Миллотору, она лежала рядом с ним на ковре и молча его разглядывала.

— Как же это он руку-то вскинул с пистолетом, Миллоторочка? — спросил Авросимов без интереса.

— Как вскидывают? — сказала она. — Взял да вскинул. Пока тут шалили, взял да и вскинул.

— Может, его опять обижали, по щекам били?

— Как же его мертвого обидишь? По щекам били, да он не воскрес.

— Говорил он что перед

— Да что вы, Ванюша, ро... дьякон бубните все? — она зевнула, и глаза ее закрылись.

Он догадался, что она спит.

«Взять бы ее да увезти, — подумалось ему. — Она го-

рячая». Но тут он вспомнил Амалию Петровну. Обиды на нее, как вдруг она упорхнула, не было. Бог с ней. Прекрасная, как ангел, пребывала она сейчас где-то в своих недоступных небесах, а Милодорочка зато вот она, горячая и добрая, даже не укорила его, как он ее из дому из своего спровадил, даже не вспомнила. Он тронул Милодору за плечо, она тотчас открыла глаза и улыбнулась.

— Поехали, прекрасная Милодорочка, радость моя...

И вот они вышли на набережную, в обнимку, словно разлука для них была бы смерти подобна. И нашли, наконец, после всяких блужданий, ваньку замороженного, и тронулись в путь.

Время клонилось к утру. Однако Ерофеича будить не пришлось. Дверь была широко распахнута. Несколько уже поостывшая Милодора входила боком, испуганно. Ерофеич стоял у дверей комнаты с безумным лицом. Серые его бакенбарды отваливались.

Наш герой, почуяв недоброе, ринулся в комнату, забыв в кухне прекрасную Милодору. Что же предстало перед ним?

На его кровати высокой, разметав подушки, сидел Аркадий Иванович, живой и невредимый, в одном исподнем, с бокалом в руке, из которого тонкая струйка лилась на шелковое пестрое стеганое одеяло.

— А я в а с жду, господин Ваня! — радостно крикнул капитан при виде нашего героя. — Я вас там дожидался, да они меня снова оскорблять посмели!..

— Это вы? — еле слышно спросил наш герой, хотя сомневаться уже не приходилось.

— А отчего ж не я? — засмеялся капитан, сверкая глазами.

— Там кто-то себя порешил, — сказал Авросимов. — Из дому его на шинели вынесли, да на санях увезли.

В глазах капитана загорелся страх. Бокал он отставил.

— Что это вы такое говорите? — спросил он с ужасом. И вдруг вскочил: — Господи, да неужто Сереженька? Мальчик такой, офицерик... Ага... Он все пистолет показывал, он все говорил, мол, такая штучка, а если нажать, тотчас все мучения... Господь милостивый! Как же это так, господин Ваня? Он меня все задушить хотел своими тонкими ручками, со злобой на меня смотрел... Ах, да я его прощаю! Я и им все прощаю. Я даже им

всем подарочки принес, каждому — по свирельке нашей малороссийской... А они все мои подарочки разбросали, побрезговали... Да неужто Сереженька?! Господин Ваня, мне его жалко... — руки капитана тряслись, глаза блуждали, слезы текли по щекам. — Как же это можно с жизнью расстаться? Уйти, уйти, уйти, черт! Разве это не больно?! Бесстрашный какой, Сереженька... Поплакал, поскулил и бах-бах... Вы бы так смогли, господин Ваня? Я бы не смог. Я бы никогда не смог. Как его припекло то, а?.. Ааааа! — вдруг закричал он, расшвыривая подушки, одеяло. — Для чего живем?! Зачем?.. Зачем?! Зачем?!

Вдруг наш герой услышал в кухне движение какое-то, топот ног, голоса, и мысль об оставленной Милодоре обожгла его. Он торопливо прошел кухню. Милодоры там не было. Ерофеич вопросительно на него поглядывал.

— А я, батюшка, — сказал старик, — памятуя о матушке вашей, велел девице этой безобразной выйти вон.

— Что это ты, дурень старый, в доме моем раскомандовался! — вдруг закричал наш герой, затопал ногами. — Кого на постель мою пустил, сатану смердящего! Что за бесстыдство тут развел! Вот я тебя!..

И, погрозив старику, он бросился вон.

К счастью, Милодора не успела скрыться, и ее расплывчатый силуэт маячил поблизости. Да и ванька, слава богу, дремал рядом, так что они снова уселись в сани, снова переплелись, согревая друг друга телом и дыханием.

Утро январское разливалось по Санкт-Петербургу.

Так удалился наш герой с любезной его сердцу Милодорой, полный негодования к происшествиям ночи и снедаемый жаром страсти. Так молчаливый извозчик колесил по утреннему Санкт-Петербургу, покуда наш герой не сообразил вдруг ткнуть его в спину, чтобы ехать к Вознесенскому проспекту, к самому углу, где возле канала красовалась новая гостиница «Неаполь», привлекающая внимание путников велеречивым объявлением у самого входа, что, мол, гостиница имеет быть для господ, приезжающих в столицу, пристанищем и прибежищем в их

странствиях, где сдаются в лучшем виде отделанные большие и малые квартиры под номерами и где можно получать и кушанья из самых свежих припасов, равно и напитки превосходных доброт за умеренную цену.

Быстро рассчитавшись с ванькой, Авросимов ввалился в гостеприимную дверь, увлекая за собой заспанную, зацелованную и покорную Милодору, и нетерпеливо переминался и откашливался, пока не менее заспанный человек тарашил глаза на молодого рыжего и неукротимого барина, приволокшего с собой сенную девку.

Однако вслух удивляться не приходилось, чтобы не быть битым, хотя гостиничный мальчишка, вертевшийся тут же под ногами, со всею непосредственностью малых своих лет хмыкал, слыша, как здоровенный барин величает сию девку своей супругою.

— Поворачивайся, любезный,— сурово сказал наш герой человеку и отпихнул мальчишку.

Наконец по скрипучей лестнице взобрались они на второй этаж, где в дальнем конце коридора находилась предназначенная для них комната.

Комната была небольшая, с широкой деревянной кроватью, застланной пестрым лоскутным одеялом. За единственным окном, полузанавешенным голубой ситцевой шторой, вставала стена противоположного дома. Постель была не первой свежести, на двух плюшевых стульях лежала глубокая пыль. Однако всего этого молодые люди не замечали.

— Ступай, ступай с богом,— сказал наш герой человеку, видя, как тот топчется на месте,— да ступай же.

— Может, велите завтрак принести, ваше сиятельство? — спросил наконец человек, разглядывая Милодору, как она тяжело уселась на стул, не снимая зипуна своего или там поддевки, или черт его знает чего.

— Ступай, тебе говорят,— надвинулся на него Авросимов, не замечая даже высокого к себе обращения.

Человек скрылся. Дверь захлопнулась. Щеколда стукнула.

— Милодорочка, ангел мой,— сказал наш герой, скидывая шубу,— вот здесь наш дом теперь. Забудем все несчастья.

Она медленно сняла зипун свой, стянула через голову измятое платье.

— Отвернитесь, бесстыдник молодой.

Он отвернулся. И тотчас в голове его, в сумбуре всяком, возник ясный план: тут им предстоит пережить день-другой, а затем бросят все, всю эту столицу с ее безумством, с Пестелем, с судьями, с капитаном чертовым, с самоубийствами всякими, бросят это все, подхватят Ерофеича и помчатся к матушке, и там, только там предадутся наконец утехам любви, радостям деревенским и тишине.

— Да поворотитесь, можно,— сказала Милодора.

...Конечно, Артамон Михайлович первый не одобрит, а может быть, и проклянет, за бесстыдство да за измену посчитав сие бегство, однако пусть он сам хлебнет хоть малость из того, что выпало мне, продолжал размышлять наш герой. Пусть он сам любезного своего капитана милует да берет от него подарочки, пусть он сам кличет его героем, пусть они тут все сами, сами пусть без него...

— Ванюша, рыбонька,— тихо позвала Милодора,— меня в сон ударило. Где же вы?

Тут он вдруг оторвался от своих мыслей и повернулся к ней. На красной подушке белело ее лицо, обрамленное русыми волосами. Под самый подбородок подступало лоскутное одеяло. Там, в пестрой его глубине, Авросимов угадал тело своей возлюбленной, жаркое, ленивое, податливое. Он с трудом удержался, чтобы не закричать.

Под запертой дверью громко, без стеснения хихикал гостиничный мальчик, и легкое облачко пыли медленно подымалось к потолку.

...Опьяненный любовью Авросимов крепко заснул. Прекрасная Милодора последовала его примеру, и в комнате, так странно ставшей им жильем, повисла тишина.

Милодора спала, и две горьких складочки, освещенные встающим утром, явственно проступали возле ее губ.

Ах, милостивый государь, она не была красива, не была! Но разве в нашей власти понять эту странность, когда не красоте мы отдаем свое сердце? С чего бы это? И целый сонм вопросов душит нас, а решать-то ведь не нам, поверьте, и уж лучше и не предаваться этим напрасным попыткам, а просто любить, обожать, благоговеть, куда благоговется...

Итак, Авросимов зевнул, но тут же увидал, как словно некто надвинулся на него и поманил с улыбкою. «Кто вы?» — хотел было спросить наш герой, да не смог вымолвить ни слова, а покорно шагнул за незнакомцем. Так

он шел за ним, стараясь все-таки понять, кто же это, как вдруг сообразил: Пестель! На Павле Ивановиче был новехонький мундир, на груди сверкали ордена и всякие знаки. Поначалу они молча шествовали каким-то неизвестным коридором, и трудно было понять, когда же закончится это путешествие. «Я же сплю,— думал наш герой,— надо проснуться, а не проснусь, так и буду за ним вышагивать...» Но стоило ему хоть на мгновение замешкаться, как Пестель тотчас оборачивался, прелестно улыбался и манил следом. Так они шли да шли. И стояла тишина, даже шагов не было слышно. И от этого страх подступал к сердцу нашего героя. Как вдруг Павел Иванович скользнул в какую-то дверь и скрылся. Авросимов попытался войти следом, да не тут-то было: дверь исчезла. Коридор продолжался и терялся где-то вдали, серый и унылый, и лишь в одном месте на гладкой его стене темнело пятно — то ли от воды, то ли от выплеснутых щей.

«Теперь отсюда я никогда не выберусь»,— подумал Авросимов, и сердце его защемило, и холодный пот проступил на лбу. Он хотел уже закричать, позвать кого-нибудь, как вдруг ощутил в правой руке пистолет. «Сейчас выстрелю,— подумал он с отчаянием.— Пусть-ка они сунутся!»

Неожиданно кто-то спросил свистящим шепотом, невидимый кто-то:

— Лежишь?

«Да разве я лежу? — удивился наш герой.— Я вовсе стою в этом неведомом коридоре».

— Давай, ступай отсюда, — приказал голос все так же шепотом.— Не тревожь барина.

«Какой же барин может быть в этом коридоре? — подумал Авросимов, подымая дуло пистолета.— Пестель — арестант, а не барин... Вот сейчас я выстрелю...»

Но он не выстрелил, а спросил не своим, а как бы женским голосом:

— Куда ж мне идти-то, господи?

— Давай, давай, ну! — распорядился шепот.— Ишь ты...

«А где же Пестель?» — хотел спросить Авросимов, но вместо этого сказал опять женским голосом:

— Да сейчас же, господи... Дверь-то прикройте, бесстыдники какие!

Дверь хлопнула. Наш герой обрадовался, решив, что вот появится Пестель, и все наконец объяснится, но Пестеля не было, а перед ним маячила неясная голая чья-то спина. Он потер глаза — спина была женская. «Милодора!» — сообразил он. Тут он все вспомнил, и от сердца его отлегло. Ясный день заливал комнату. Милодора глядела на него равнодушно, словно и не узнавала.

— Что это ты, Милодорочка?

— Уйти велят, — равнодушно сказала она.

— Кто это велит?

— Хозяин здешний...

Нет, не была она красива, не была. Да вот поди ж ты...

— Как он посмел! — закричал Авросимов гневно.

Он протянул руку и коснулся ее тела. Спина была широкая, под правой лопаткой чернела родинка неправильной формы. Это умилило его.

— Ванюша, рыбонька, — сказала она, — вы не кричите над ухом-то. Я не виноватая.

— Да я не тебя виню! — распался он. — Я его виню!.. Как он смеет! Может, мы отсюда в деревню поедем... — Он стал натягивать на себя одежду. — Вот я его... Вели ему войти, пусть войдет, вот я ему!..

Прекрасная Милодора тем временем одевалась тоже, будто бы и не слыша гневных изречений нашего героя. Одевшись же, она присела на стул, сложила руки на коленях и ждала, что последует.

— А вот я его! — кричал наш герой. — Разбойник! Да как он смеет!

В это время, услышав, очевидно, шум в комнате, давешний человек просунул в дверь голову, желая попытаться о причинах сего шума.

Вы бы очень удивились, кабы сами наблюдали эту сцену, ибо, как вам известно, не в манерах Авросимова были крик да буйство, но тут, видимо, природное здоровье изменило ему, либо он умышленно дал волю накопившимся страданиям, которые давно искали выхода себе, во всяком случае, едва голова человека закачалась в дверях, как что-то громадное, ревущее, загородив свет оконный, бросилось на него, и не отскочи он вовремя, лежал бы на полу в коридоре его хладный труп.

Наш герой, взъерошенный и без галстука, вывалился в дверь и скачками помчался по коридору вдогонку за убегающим паршивцем.

Человек покатился вниз по лестнице, повизгивая на ходу от ужаса, слыша приближающийся грохот рыжего чудовища.

— Караул! — завопил он и нырнул в чулан. Тут бы ему и конец, да задвижка спасла.

Какие-то люди, оказавшиеся в сенях гостиницы, хором принялись увещевать Авросимова, не решаясь, однако, к нему приблизиться. Наступила тишина. Человек за дверью затаился. И это все подействовало на молодого человека благотворно, и он вдруг словно очнулся от кошмара и провел рукой по разгоряченному лицу, и перед ним раскрылись гостиничные сени и какие-то люди благородного вида, толпившиеся в отдалении и с опаской на него взирающие. Тут он стал осознавать, что поступок его постыден, вспомнил об оставленной Милодоре, возвел очи и застыл пораженный: по неширокой лестнице сходил в сени спокойный и трезвый знакомый гренадерский поручик.

Наш герой бросился к нему. Они встретились как старые друзья.

Должен повиниться перед вами, милостивый государь, что в спешке, которая иногда сопутствует моему повествованию, совсем упустил из виду сказать вам фамилию гренадерского поручика, с которым вас сталкивал и с которым еще предстоит встречаться, а посему лучше поздно, чем никогда, так что фамилия ему была Крупников.

Так вот, встретились они как старые друзья, и после соответствующих приветствий Крупников спросил нашего героя:

— Что вы тут делаете, Ваня?

На это Авросимов ответил, что появился в этом доме с целью переночевать и что хозяин оказался человеком непорядочным и он, Авросимов, вознамерился его проучить, хотя теперь уже поостыл.

— Да плюньте, Ваня, на это, — посоветовал Крупников. — Охота вам мараться? — и в свою очередь спросил нашего героя, что его занесло в этот дом ночевать.

— Обстоятельства, — таинственно шепнул наш герой, не желая подробностей.

Крупников засмеялся, подмигнул ему, обнял за плечи и повел к выходу, шепнув на ходу:

— Ну как Милодорочка?

Вопрос поверг нашего героя в замешательство, ибо он никак не мог предположить, что его ночное путешествие может кому-либо быть известно.

— Откуда вы об этом знаете? — ахнул он.

— Знаю, сударь, знаю, — снова засмеялся Крупников. — Мы, гренадеры, все знаем. Нам нельзя не знать, сударь. Так что вы впредь сему не дивитесь...

Слова эти замешательства не рассеяли, и, видя это, Крупников спросил:

— А у вас, я вижу, любовь?.. Я вижу, вижу по вашим глазам.

— Полюбил я Милодору, — признался Авросимов, с умилением представляя, как она сидит там в комнате на стуле, руки сложив на коленях. — Я увезу ее в деревню, и все тут. Жить без нее не могу.

Крупников засмеялся снисходительно.

— Ей-богу, сударь, — сказал Авросимов. — Вы что, не верите? А я утверждаю, что это так... И матушка моя будет рада... Мне эти мучения, сударь, эти муки городские не по плечу... Мы уедем отсюда прочь. Мне и славы этой не нужно, когда здесь все — тайна и мрак, и драка промеж собой.

Поручик снова засмеялся, потерял черные свои усы и сказал:

— Да вам же показалось, что вы любите. Это ночью возьми и покажись. Вы дитя совсем. Да она же простая девка, да к тому же не молодая, да она старая просто... Это друг наш Браницкий, толстый такой, ты его помнишь, это он придумал для шалости, а вы возьми и поверь. Какое безумство в вас! Да вы ступайте, ступайте, в лицо ее взгляните. Я вас представлял себе дитем, но уж не таким, сударь. Вы ступайте, ступайте, полюбуйтесь на свою избранницу... Да у нее и зубов-то половины не хватает... Ступайте...

— Жалкие ничтожные люди! — воскликнул наш герой с негодованием. — Да это вы взгляните на нее, вы все, которые ее осуждаете!

Крупников в сердцах махнул рукой, но, видимо, желание помочь нашему герою все-таки взяло верх, и он, погасив обиду, сказал:

— Ваня, да что же это с вами? Вы человек благородный. Вас прекрасные партии ожидают... Вы лучше велите

ей домой отправляться, а то не миновать ей конюшни... Слышите?

Люди, толпившиеся в сенях, разошлись постепенно кто куда. Испуганный человек выбрался из чулана и упрямо полез на второй этаж. Авросимов его даже не заметил.

«Какие такие партии? — подумал он. — Мне она нужна, да и только. И конюшни я не допущу, вот крест святой... Я этого Браницкого к стеночке-то припру...»

— Вы намекаете, сударь, на то, что она не принадлежит мне? — спросил он у Крупникова. — Да что за печаль? Я выкуплю ее. А за конюшню бог накажет.

— Ваня, — сказал поручик с сожалением, но твердо, — образумьтесь. Что это тебе приспичило? Грязная девка, чужая, дворовая. Да я раз с ней оскоромился, ей-богу, будучи невменяемым, и все они такие же... Черт вас возьми, да что это с тобой?! Ты только представь себе: у вас же ничего общего... Вы, сударь, просто безумец... Ты безумец, Ваня. Да ты к ней трезвый и не прикоснешься...

«Сейчас подымусь наверх, — подумал упрямо наш герой, — дверь затворю, ее раздену, сам разденусь, ляжем с ней и будем так весь день лежать в объятиях, ну их всех к черту...»

— Ну платок ей подарите от щедрости своей или сережки бирюзовые, — сказал Крупников издалека. — Времена нынче не те, чтобы обществу вызов делать.

Тут Авросимов очнулся от своих видений и спросил:

— А отчего, господин поручик, вам, гренадерам, надлежит, как вы изволили высказаться, обо всем знать?

— А может, я не гренадер, — засмеялся Крупников, показывая из-под черных усов большие яркие свои зубы.

— Как то есть?

— А вот и Милодорочка, — сказал Крупников.

Авросимов оглянулся. По лестнице спускалась Милодора в сопровождении того самого гостиничного человека.

В первую минуту наш герой намеревался было броситься к ней, но что-то заставило его сдержаться, затем он оглядел ее всю с ног до головы и ужаснулся своему выбору. Голова у него закружилась в отчаянии. Он перевел просительный взгляд на Крупникова, но тот смотрел в сторону, словно ничего и не происходило.

Тем временем Милодора, не замечая никого из присутствующих, вышла, и дверь за ней захлопнулась. Пос

ле нескольких минут молчания поручик сказал Авросимову:

— Надеюсь, вы хоть дали ей денег на извозчика? Нехорошо ей в таком виде шествовать через город..

Слова эти больно стегнули нашего героя. Он опрометью кинулся из гостиницы, но сколько ни вглядывался в пустынный проспект, Милодоры нигде не было. Так он постоял некоторое время и, удрученный, воротился обратно, но и Крупникова не застал. Человек сказал Авросимову, что господин поручик заторопились по делам и велели извиниться перед молодым барином.

Авросимов шагнул вон, так и позабыв свой добротный столичный галстух в злополучном гостиничном номере. А был он воистину злополучен, ведь надо же было в нем возгореться и в нем же угаснуть высоким чувствам, хотя угаснуть они могли и в будущем — какие против того гарантии? Лично у меня с моим-то опытом, милостивый государь, таковых гарантий ну просто нет, да и все тут, так какие-то крохи, самая ничтожная малость...

Привычно вошел наш герой в ворота крепости и направился по утоптанной дороге через двор к комендантскому дому. В те поры двор крепости представлял собой любопытнейшее зрелище, ибо вы могли наблюдать множество всякого народа, особенно женщин благородного вида, медленно прохаживающихся из конца в конец или стоящих в скорбных позах. Все они были родственниками схваченных мятежников и иногда вот так по целым дням топтались на морозе, чтобы или челобитную изловчиться вручить какому-нибудь важному лицу, или, что было еще важнее, встретиться с самим узником — братом своим, отцом ли, супругом ли, которого проводят медленным печальным шагом под повязкою в комендантский дом на следствие, и перекинуться парой-другою слов, если конвой окажется великодушен.

Надо вам сказать, что уже изрядно дней, входя по своему делу во двор крепости, наш герой встречался с этими несчастными и даже по привычке их видеть, так что, не застань их однажды в обычных положениях, очень, наверное, удивился бы; но среди молчаливого этого сборища он давно уже успел заметить и выделить стройную высокую молодую даму всю в черном, печальный силуэт которой всякий раз вспыхивал перед ним, стоило ему войти в ворота. Заприметил он ее не потому, что

была она как-то уж там особенно сложена, хотя сложению ее многие могли бы позавидовать; и не потому, что лицо ее поражало совершенством, нет... Но стояла она всегда в одном и том же месте у самого угла соборной ограды, всегда в стороне от грустных своих соплеменниц, всегда с лицом, обращенным туда, где тянулись стены Никольской куртины, страша своими мрачными окнами, и всякий раз, стоило войти в ворота, как она оказывалась на виду, — вот что запоминалось. Она, конечно, могла бы показаться даже девочкой-подростком, кабы не туалет дамы и недетская скорбь в лице.

Наш герой, входя во двор, норовил сделать крюк, чтобы пройти от нее поближе, хотя это не всегда было возможно, так как явное приближение и бесцеремонное разглядывание легко могло сойти за наглость, к чему Авросимов приучен не был. Но когда это оказывалось возможным, он видел мельком ее лицо, полуприкрытое черной кисеею, и легкое таинственное ожесточение возгоралось в нем и как бы вливалось в него новые силы.

Прекрасно, милостивый государь, ожесточиться при виде скорби, однако так, чтобы рук при этом не опустить, а почувствовать себя человеком...

Вот и на этот раз, войдя, он тотчас же ее и узрел. Слегка прислонясь спиной к ограде, она стояла на своем месте неподвижная как изваяние. И снова он, сам того не желая, бессознательно как-то, чуть свернул со своего прямого пути, как вдруг она заволновалась, отклонилась от ограды, протянула вперед руки, и Авросимову даже почудился легкий стон, выпорхнувший из ее груди.

Он глянул вслед за ней. Через крепостной двор, мимо собора, по утоптанной многими ногами снежной тропе, медленно двигалась печальная процессия. Конвойные солдаты лениво несли ружья, уже привыкнув к своей роли, и зимнее солнце неровно играло на штыках. Высокий худой юноша шел впереди. Из-под фуражки выбивалась черная прядь, похожая на распостертое крыло раненой птицы. На сей раз, что было удивительно, платка на лице не было.

Наш герой узнал молодого человека, ибо сталкивался с ним в Комитете в начале следствия. Фамилия ему была Заикин, это помнилось весьма, ибо имелось известное противоречие между утонченными и благородными чертами офицера и его фамилией, как бы из простых.

Господи, но как же он переменялся с тех недавних пор! Теперь это был изможденный и даже несколько сутулый арестант, и плохо выбритое желтое его лицо с ввалившимися щеками даже отвращало, да и весь его вид, помятый и несвежий, сразу напоминал о сырости каземата, о преступлении, о казни, о том, что все перевернулось, и это не дурной сон, который можно развеять.

Еще совсем недавно при первой встрече в Комитете наш герой при виде молодого статного подпоручика с дерзкими глазами испытывал гнев, да и как было не гневаться, когда перед вами возник злодей с бледным от волнения лицом, но неукротимый в своем упрямстве? Однако теперь, словно майское облачко, рассеялся этот первоначальный гнев, потому что сколько ж можно гневаться на прибитого и уничтоженного врага? Да и враг ли? Ах, сколько соблазнов нас подкарауливает на пути нашем! И мы только тем и отличаемся один от другого: поддались или не успели. Уж коли поддались, так те, которые еще не поддались, нас судят и здраво так об сем рассуждают, не замечая, как и к ним исподволь подступает соблазн и хватает их за сердце, и тогда уж мы камни в них мечем и улюлюкаем, и анафеме предаем. Ведь предаем? И всем, всем это грозит, всех соблазны подстерегают... А императора?.. На сей вопрос Бутурлин бы рассмеялся, хотя это печально. Печально, что все ведь это — игра, в которую от скуки играют. И все генералы играют, потому что, как только кончат играть, так тотчас же от всего их генеральства одни мундиры да эполеты останутся. И конвоиры эти играют, а иначе их запорют, если они скажут, что это все, мол, игра, а чего в нее играть, коли пахать надо. Все, все играют, кто пока от соблазна свободен, судят соблазненных, казнят их...

Эта мысль и другие ей подобные мелькнули в голове нашего героя с быстротою молнии, за тот краткий промежуток, когда пленный подпоручик Заикин не успел и трех шагов проделать.

И тут снова словно глубокий стон вырвался из груди молодой дамы, и она пошла к нему навстречу.

Узник остановился пораженный, и подобие улыбки озарило его черты. Конвоиры смешались. Авросимов, неведомо как, очутился рядом с ними в тот самый момент, когда молодой человек и дама сблизились. На

груди у Авросимова под шубой шевельнулся английский пистолет. Да что пистолет? У вас бы сердце шевельнулось, когда бы вы там очутились хоть на мгновение.

Что они успели сказать друг другу и успели ли, Авросимов не заметил, но тут же один из конвойных, опамятавшись, шагнул меж ними, и наш герой увидел ее лицо, полное тоски и отчаяния. Он было бросился к ней, чтобы проучить бедного конвоира, но было поздно. Заикина уже вели к комендантскому дому, и он только и мог, что шею выворачивал, оглядываясь на свою возлюбленную, и кивал ей, кивал... Она же снова стояла неподвижна.

— Не плачьте, сударыня,— сказал наш герой как можно ласковее.

Тут она взглянула на него своими круглыми глазами, в которых не было ни слез, ни скорби, а гордый вызов, один лишь гордый вызов.

— А вы-то кто, чтобы меня утешать? — сказала она. — С чего вы взяли, будто я плачу? — и снова стала глядеть вослед подпоручику, который уже входил в здание.

— Я помогу вам,— сказал он упрямо.

— Мой брат не нуждается в вашем участии.

— Вы прикажите только,— и он стянул шапку с головы.— Вы только прикажите... Как у меня сердце горит, чтобы помочь вам! — и рыжие его космы вспыхнули вдруг, приведя ее в некоторое изумление.

Он вдруг увидел себя в ее глазах. Он стоял в них, большой, без шапки, румяный от молодости и мороза.

Она качнула головой и пошла к воротам крепости.

— Сударыня,— тихо позвал он,— смилуйтесь, сударыня... Я не обманщик.

Она уходила. Тогда наш герой, боясь потерять ее, шагнул следом, но она, видимо, услышала, как скрипнул снег под его ногами, и заторопилась.

Тут-то его, недоумевающего, и застал Павел Бутурлин и потащил в комендантский дом, журуя за медлительность, ибо там судьба его, быть может, складывается наимпрелестнейшим образом...

— Каким же это? — не понял наш герой.

— А ты иди, иди, Ванюша,— загадочно усмехнулся Бутурлин.— Лови момент, лови момент... Чем это ты угодить-то смог?

В скором времени все это выяснилось, как только ввалился наш герой в комнату, служившую временным кабинетом правителю дел господину Боровкову.

— Ну-с, вот так, значит,— сказал Александр Дмитриевич,— повезут завтра подпоручика Заикина в Малороссию, дабы он указал место сокрытия одного ужасного документа...

В небольшое окно кабинета виднелся крепостной двор, ворота, в которые скрылась сестрица подпоручика, полная тайны и волшебства, хотя могло и так случиться, что она уходит раздумала и вот-вот вернется...

«Вот и опять о подпоручике речь,— подумал наш герой,— судьба мне с ним связанным быть»,— и обрадовался при этом.

— ...ужасного документа, именуемого Русскою Правдой,— продолжал меж тем Боровков и при этом странно улыбнулся одними губами.— Я хочу дать вам понять, что вы должны в сем предприятии участвовать тоже, и участвовать вы в нем должны с трезвой головой и с ясным сознанием, проникшись всей ответственностью дела.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие,— сказал наш герой, словно он был и не дворянин вовсе, а так некто, и при этом он снова покосился в окно: а вдруг она появится.

«Истинно судьба,— подумал он.— Вот и мне с ним, с подпоручиком, ехать, а он мне как брат».

— Я что имею в виду,— сказал Александр Дмитриевич, снова улыбаясь одними губами и пристально всматриваясь в глаза нашему герою,— вы преотлично грамотны и поможете составить опись найденного и различные донесения, кои могут понадобиться...

Во дворе постепенно темнело, и она не появлялась. Зато множество других печальных женщин передвигалось по двору в надежде на удачу.

— ...Начальником команды вашей будет ротмистр Слепцов,— сказал Боровков.— Поедете затемно, втайне. Я что имею в виду: преступника ублажать не следует, но и не игнорируйте, ежели он почему-либо упираться станет, смягчите его, смягчите.

«Не старый еще,— подумал наш герой о Боровкове,— а в каких правах!»

— Вот как повезло тебе, Ванюша,— сказал, усмехаясь, Бутурлин, когда они вышли.— Какое тебе доверие.

Голова у Авросимова слегка кружилась, и усмешка Бутурлина пришлась ему не очень по душе. Да и времени теперь до отъезда оставалось совсем ничего. Но не успел он в своей канцелярии как следует позаниматься перепискою бумаг, как совсем завечерело, и его снова кликнули к Александру Дмитриевичу.

Боровков встретил его своей редкой ускользящей улыбкой, которая загоралась и тут же гасла, словно ее и не было, и при этом была столь слаба, что думалось: а улыбка ли это? А может, вовсе и не улыбка, а подергивание губ?

— Ну-с,— сказал Боровков,— я вот что хотел уточнить с вами, любезный,— и он улыбнулся,— что же это вы, любезный, упустили из фразы важное слово? Гляньте-ко, гляньте-ко, было «злонамеренное тайное общество», а у вас — просто «тайное общество»? Позабыли-с?

— Виноват,— пролепетал наш герой,— и точно позабыл, виноват...

— Не винитесь, не винитесь, сударь, это я вам в острастку говорю... Не дай бог,— и он улыбнулся,— попадет сия ошибка на глаза членам Комитета!.. Хорошо еще, что одна. Не так ли, сударь?

За окном уже было темно, только несколько фонарей помаргивали, ничего вокруг не освещая.

— Верю,— сказал Александр Дмитриевич,— что это недоразумение,— и снова улыбнулся.— А я листаю ваши бумаги, листаю, глядь — пропуск. Я весь потом, сударь, за вас покрылся. Ведь не предлог пропущен бесполезный или какое-нибудь там междометие... нет, характеристика, сударь. Представляете, что могло бы выйти?

— Представляю,— прохрипел наш герой.

— Уж тут я начал поспешно так искать, нет ли второй ошибки подобной. Ведь ежели одна, она и есть ошибка, а коли две да одинаковых? Это ведь уже система, сударь,— и он улыбнулся.— Пособничество в укрытии злого умысла...

— Одна, одна,— сказал Авросимов.

— Одна ошибочка, одна,— согласно закивал головой Боровков.— И вот я листаю, и что же вы, сударь, думаете? Вот глядите-ко, глядите-ко, где допрашиваемый свидетель капитан Майборода Аркадий Иванович определенно высказывает, что, мол, заговор, вот глядите-ко, глядите-ко, его рукою написано: «сие ужасное скопище

заговорщиков», а у вас? «Заговорщики» и только. Пропало отношение, пропало...

— Дозвольте я исправлю,— сказал наш герой, холодея.

«Как же это я допустил?!» — подумал он с ужасом, протягивая руку к перу.

— Я сам исправлю,— улыбнулся Боровков и, взяв перо, понес его к листу, но не донес и отложил на прежнее место.

— Позвольте мне, милостивый государь. Черт попутал...

— А я уже исправил. Вот так хорошо будет.

— Да как же так? — удивился Авросимов.— Вы же и не вписывали ничего!

— Нет, вписал,— сказал Александр Дмитриевич и долго глядел в глаза Авросимову.— Вписал...— и улыбнулся, словно наслаждаясь страхом нашего героя.

Так они молча смотрели друг на друга. То есть Александр Дмитриевич смотрел, а Авросимов подставлял ему под взгляд то щеку, то другую, то лоб.

— Я что имел в виду,— сказал Боровков,— а может, и не нужны эти словесные украшения? Следствие — акт серьезный, сударь.— И он улыбнулся.— Вы сие отвергли, а в этом есть резон. Вы отвергли сознательно? Сознательно. Вы не эмоциями руководствовались. А ведь эмоции нас могут закружить да не туда завести, сбить с толку. Поняли вы меня?

— Нет,— выдохнул Авросимов.

— Да вы поняли, поняли...

— Нет, нисколечки...

— Я что имею в виду,— сказал Боровков терпеливо,— а именно вашу честь и будущность...

— Виноват,— сказал Авросимов.

— Да я не виню вас. Ежели это сознательно, то это одно, а ежели по глупости, то совсем и другое,— и он улыбнулся.

— Не знаю,— еле слышно выдавил наш герой, моля бога, чтобы это был сон.

— Да я не виню вас,— сказал Боровков,— напротив, видя ваше замешательство, я не нахожу ответа: можно ли на вас полагаться?

«Где уж тут на меня полагаться!» — подумал Авросимов.

День был воистину ужасный. Авросимов ничего в толк не мог взять, покуда долгое сидение за бумагами не поприступило волнения. Он так стал размышлять: «Почему же правитель дел не внес исправлений? Значит, наказать меня хочет. Членам Комитета показать бумаги: вот, мол! А зачем же он мне поездку доверяет, составление важных документов? Значит, ценит? А чего же он тогда...»

Это истязание продолжалось бы долго и, может быть, согнуло бы нашего героя, как вдруг вручили ему новые опросные листы, что Комитет заготовлял для преступников, и приказали нести их к Пестелю в каземат и там, не вступая со злодеем в откровенные разговоры, забрать у него уже ранее им составленные ответы на прежние вопросы, доставить их в следственную, а ежели что в новых вопросах будет ему неясно, разъяснить и только.

«Чертов полковник! — подумал наш герой, забирая листы и шагая по коридору к лестнице. — Из-за него все, из-за него! Не зря они все его корят, все его бывшие дружки!.. И подпоручик, бедняга, из-за него в каземате сидит, и сестрица его, ангел, из-за него по двору мечется, и мне муки... чертов полковник!»

Разгоряченный этими чувствами, он так и выбежал во двор на мороз без шубы, в одном сюртучке, с черной папкой под мышкой, в которой новые опросные листы таили свои каверзы. Быстро перебежал двор, обогнул соборную ограду и помчался к страшному месту, обвеваемый морозным вечерним ветром.

«Не зря тебя судят, злодей, и казнят! — думал он на ходу. — Как ты всем жизни перепутал, враг!»

Для него, молодого да раннего, это было и не удивительно — так с ожесточением воспринимать все, что было вокруг, словно все это получалось по причине Пестелева злодейства, ибо тут и взрослый сильный человек мог пошатнуться во мнении — не то что юнец.

Вы только поглядите, милостивый государь, каково-то ему было из всего выпутываться, что на него навалилось: с одной стороны, стало быть, сердечное кипение, всякие планы, эдакий взлет душевный, а с другой — страдания, зависимость и страхи.

И чем больше вырисовывался перед ним мрачный силуэт крепостной стены, тем сильнее охватывали его, ожесточение и гнев, и так вот, соля и бормоча проклятия, заиндепевший весь, сопровождаемый морозными клубами

ми, словно духами ада, размахивая черною палкой над рыжею головой, ввалился наш герой в караульное помещение, временно оборудованное в одном из казематов куртины, где большой фонарь, свисая с потолка, странно освещал покрытые зеленой плесенью своды. Дежурный офицер развел руками, ибо по позднему времени уже не имел ключей, а находились они по недавно установленном порядку у плац-майора Подушкина, некоронованного короля сих казематов, имя которого, и без того знатное, утвердилось окончательно, благодаря возмущению, происшедшему в недавнем декабре.

Дежурный офицер поманил за собой Авросимова, и они направились к плац-майору.

Несмотря на поздний час, плац-майор бодрствовал. Сильный запах водки исходил от него. Человек он был большой, и грузный, и неопрятный, но это нашего героя не смущало, ибо детей с ним крестить он не собирался.

— Теперь мне, сударь, ни сна, ни покоя, — рассказывал плац-майор, копошась в связке ключей и приспособившая ее, чтобы удобнее нести. — Никто теперь без меня никуда-с. Государственные преступники — это, конечно, само собой, так ведь их много, сударь, много! Да все не в себе, с капризами...

Теперь уже втроем они шли по направлению к первой стене. Снег поскрипывал под ногами.

— ...Прежде всего ублажи, — говорил плац-майор, медленно и с одышкой вышагивая, — подай, возьми, накорми... А знаете, сударь, каково аристократа-то ублажить? Черного хлеба, к примеру, он не ест... Не спешите, сударь... Да я его уговорить должен... Или вот запри, отопри... На каждого ведь особое предписание: содержать, к примеру, хорошо. Что сие значит? Давать чай, как ни попросит, бумагу, белый хлеб-с, солдата в лавочку гонять, а коли денег у арестанта нет — свои выкладывай, вот как-с... Или, к примеру, содержать строго... Не споткнитесь, сударь, тут приступочек... Чаю не давать, бумаги не давать, масло в лампе вышло — не давать, шуметь не давать... Или, к примеру, содержать строго, но бумагу, буде понадобится, и перо давать... А ведь это, сударь, все на мне. Сначала, сударь, бывает трудно, покаюсь. Они все разные. После же, по прошествии времени... Теперь сюда пожалуйста-с, вот так... а по прошествии времени приспособиваются, и уж мне по-

легче тогда, полегче... В общем, не заскучаешь, сударь.

Они прошли ворота и остановились перед нешироким деревянным мостком, освещенным двумя фонарями. Здесь Авросимов еще не бывал. За мостком на островке виднелось мрачное одноэтажное здание Алексеевского равелина, за темными окнами которого, казалось, не было жизни.

— Слуууушай! — крикнул дежурный офицер. Спустя некоторое время что-то щелкнуло, что-то прогремело, прозвенело, и перед ними появился унтер-офицер в сопровождении инвалидного солдата. Они перешли мосток, разглядели плац-майора и молча повели его и Авросимова за собой к равелину, оставив на этой стороне дежурного офицера.

Сердце у нашего героя билось учащенно. Подошвы трудно отставали от примятого, утоптанного снега. Хотелось бежать отсюда куда глаза глядят.

Наконец звякнул болт, распахнулась калитка, и они все так же молча вошли в окованные двери. Перед нашим героем возникло сводчатое помещение. Множество фонарей почти не освещало его. Дальше была дверь. За дверью — коридор, под углом уходящий куда-то. Было слышно, как где-то звонко и скучно ударяется капля о камень. Пахло почему-то березовым веником да водкой от плац-майора.

— Вот вы обратите внимание, сударь, — сказал Подушкин хриплым шепотом, — обратите внимание, сколько их... Весь этот коридор, да там еще, за тою вон дверью, а за тою — опять, да с двух сторон, и все ведь комнатки, комнатки, номера-с, сударь... Раньше на все про все — два, три несчастных, а тут навезли без счета, и все ведь, сударь, я, все мое...

И в самом деле, потянулись двери камер, и солдаты, обутые в валяные сапоги, и фонари с оплывшими свечами, и снова — запах березовых веников, гнили, прогорклого масла, водки...

И вдруг Авросимов даже замедлил шаги, так знаком показался ему коридор. Будто он тут и взаправду бывал уже, среди этих серых однообразных стен, в этом длинном коридоре, полном вздохов и шорохов, не имеющем, казалось, конца. Ах, да он же вспомнил! Вспомнил недавние свои сновидения, когда возник перед ним длинный серый коридор, где еще пятно расплзлось по стене то

ли от воды, то ли от выплеснутых щей... И тут в самом деле он вдруг узрел то самое пятно, точно такое же, как во сне, и именно от щей, ибо засохшие капустные остатки, налипшие на стену, теперь хорошо были видны. И пока плац-майор Подушкин, заметив недоумение нашего героя, желтым пальцем соскребывал со стены эти остатки, огорченно покачивая головой, Авросимов находился как бы в столбняке, не умея увязать яви и сна.

— Солдат споткнулся, пролил,— сказал плац-майор шепотом.— А так все аккуратно... Вот солдат пролил...

Капустная полоска никак не хотела отрываться от стены и даже желтому скрюченному пальцу плац-майора не поддавалась долгое время, как вдруг оторвалась и плавно так, словно засохший лепесток розы, опустилась на каменный пол.

— Готов,— снова шепотом удовлетворенно сказал Подушкин и вытер палец о штаны.— Все на мне в этом доме, сударь,— и сильнее запахло водкой.— А теперь пожалуйста сюда.

Стража замерла поодаль. Ключ в замке прогремел. Щеколда ужасно заскрипела.

— Я, сударь, здесь погожу, а вы не признавайтесь обо мне, а то требовать начнут-с, то да се, не дай бог... Ступайте...

И он растворил дверь камеры и слегка подтолкнул нашего героя.

Теперь наш герой стоял перед распахнутой дверью, за которой ему показались мрак и отсутствие жизни.

Теперь за ним, за его спиною, был уже один мир, в котором шепотом переговаривались тюремщики, а впереди — другой, где горел масляный светильник.

Там, в неясном, желтоватом зареве грустного этого приспособления, расплывалась над столом согбенная фигура.

Авросимов-то вошел быстро, но ему самому показалось, что прошло долгое время, и дверь захлопнулась, как только он вошел, но скрежет еще долго висел в воздухе.

Перед нашим героем сидел полковник-злодей и словно читал, однако книги перед ним не было и бумаги никакой — тоже.

В одно мгновение тысячи мыслей вихрем пронеслись в голове Авросимова, одна пронзительнее другой. Вот он

сидит в своем последнем доме, страшный человек с маленькими глазами, который решился потягаться с государем. Но с государем тягаться невозможно, ибо, едва об этом шевельнется мысль, как тотчас Павел Бутурлин, и их сиятельство граф, и плац-майор Подушкин, и он сам, Авросимов, накинутся, свяжут и потребуют ответа. Разве он не знал об этом? Куда ж он шел? Чего же добивался? На что надеялся гордец, возомнивший о себе бог знает что? Друзья от него отворотились, их сиятельство его боится, а раз боится, стало быть, сотрет, Авросимову он душу возмутил, и только крепостные казематы еще источают для него свое сырое тепло, балуют его и коварно покоют в своих стенах. Зачем же?!

Как он шагнул вперед, наклонив голову, словно расшвирипевший бык — на красное, он и не помнил. Это была свирепость от горя и испуга, и боль клокотала в этом неопытном теле, когда он взмахнул рукой, так что железная кружка отскочила прочь, как безумная, и затахтела по каменному полу в тишине.

Можно было подумать, что наш герой сейчас обрушится на пленника и задавит, но тарыхтение злополучной кружки вдруг отрезвило его, и он замер.

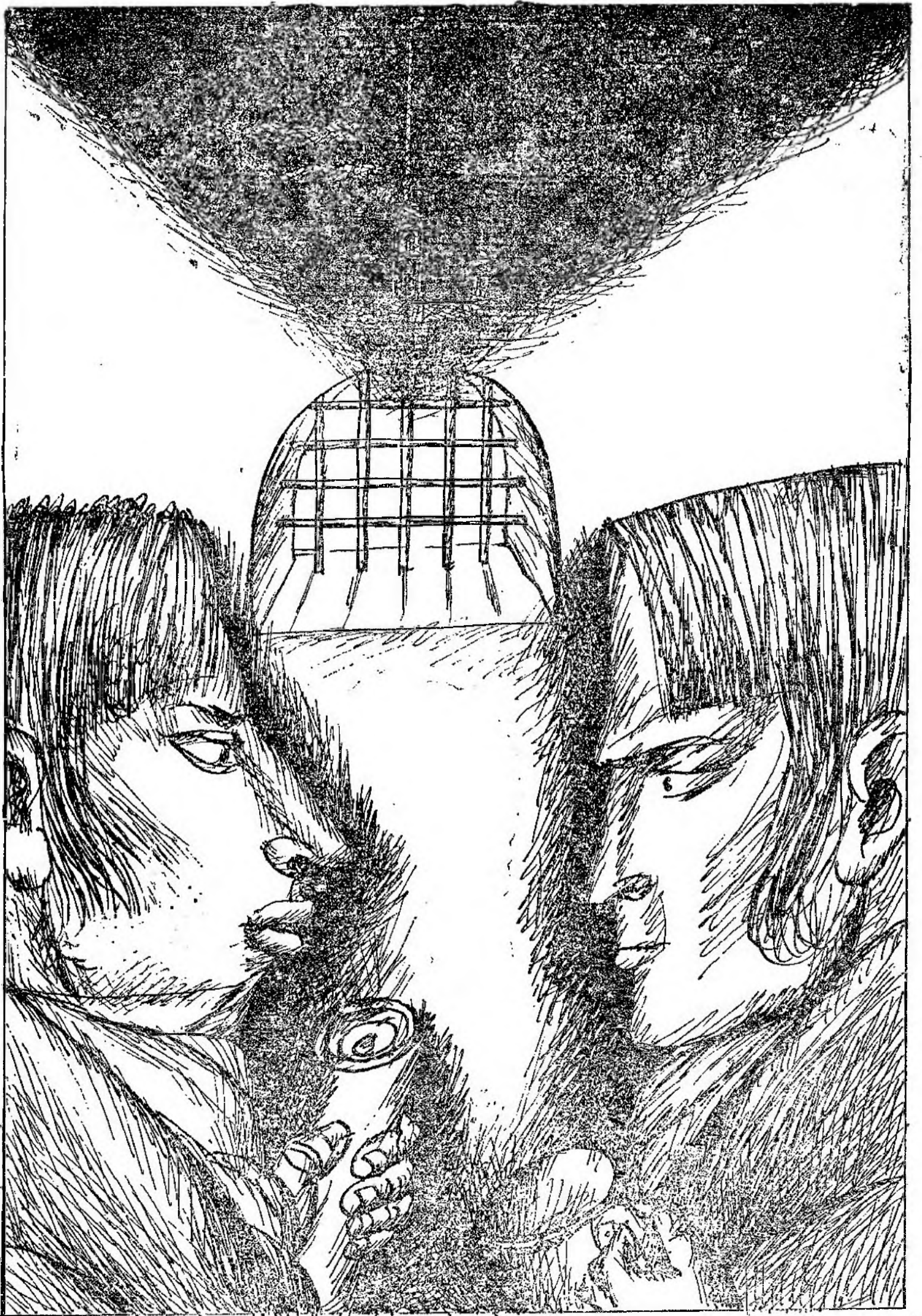
Павел Иванович глядел на него вполоборота. Вдруг он легче тени скользнул с табурета, поднял кружку, подал ее нашему герою, а сам покорно воротился на свое прежнее место.

Ах, как бы вам, милостивый государь, увидеть это! Увидеть, как злодей, имеющий даже сходство с французским узурпатором, сгибался над тюремной кружкой и подносил ее как бы даже с поклоном нашему герою, оцепеневшему в своей нежданной роли. Ах, он всего мог ожидать: и молчания, и гнева, и презрения, ну, наконец, пинка сапогом по кружке, ну, скажем, полковник мог ведь наклониться с достоинством и поставить кружку на стол, или там бог знает чего еще... Но чтобы вот так!..

Теперь, после всего этого, Авросимов и не знал, что ему делать: то ли сказать что, то ли молча подать бумаги.

«Зачем же в ноги-то кидаться! — воскликнул он в душе. — Уж взялся, так держись. — И снова резкая боль его пронзила: — А что я-то могу?»

Пестель увидел обращенные к нему глаза Авросимо-



ва, в которых бушевали огоньки лампадки пополам со страданием.

— Господин полковник,— сказал Авросимов,— извольте принять опросные листы.

Павел Иванович с тою же поспешностью, что и прежде, выхватил папку с бумагами из рук нашего героя и зашуршал листами, поднося их совсем близко к пламени светильника.

Авросимову показался он еще ниже, чем в Комитете, да и нанковый халат был ему не по плечу, и нелепая эта фигура вызывала больше сожаления, нежели гнева.

Тут наш герой вспомнил рассказы Майбороды и попытался представить себе полковника прежним, то есть в мундире, в лосинах, с холодным взглядом и с дерзостью в мыслях.

Павел Иванович читал опросные пункты, шевеля губами. Веселое племя рыжих прусаков взапуски носилось по столу. Авросимов смахнул одного на пол.

— Покоя от них нет,— пожаловался Пестель.— Есть смиренные, так тех не видно, а этим, что ни делай, ничего не помогает.

— Надо бы плац-майору сказать,— посоветовал Авросимов.

Павел Иванович усмехнулся:

— Разве это в его власти? Над прусаками он бессилен.

«Кабы я был на его месте,— подумал наш герой,— я бы не упорствовал, не гордился бы, я бы государю в ноги упал».

Авросимов явственно увидел себя самого одетого в полковничий мундир, и как он валится в ноги царю: «Помилуйте, ваше величество!» Но царь глядит на него с недоверием, поджав губы.

Пестель протянул нашему герою ранее заполненные листы.

— Извольте.

И вдруг что-то, видимо, показалось ему в глазах Авросимова, что-то привиделось. Он выхватил их обратно, торопливо перелистал, склонившись к светильнику, и нашел, и принялся перечитывать.

«...все говорили, что Революция не может начаться при жизни Государя... и что надобно или смерти его дожидаться или решиться оную ускорить... Но

справедливость требует также и то сказать, что ни один член из всех теперешних мне известных не вызвался сие исполнить; а напротив того каждый в свое время говорил, что хотя сие Действие может стать и будет необходимо, но что он не примет исполнение онаго на себя, а каждый думал, что найдется другой для сего».

— Отчего же так? — словно спросил кто-то с насмешкою. Но кто спросил, было не понять. Рыжий писарь стоял ни жив ни мертв, боясь пошевелинуться; небеса были далече, за толщей сводчатых потолков.

Павел Иванович закусил губу и быстро повел перо по чистому листу, не обращая внимания на Авросимова.

«...Большая разница между понятием о необходимости поступка и решимостью оный совершить: Разсудок может говорить, что для успеха такого-то предприятия нужна смерть такая-то; но еще весьма далеко от сего умозаключения до самого покушения на жизнь: Человек не скоро доходит до такового состояния или расположения Духа, чтобы на смертоубийство решиться; во всем соблюдается в природе постепенность. Дабы способным сделаться на смертоубийство, тому должны предшествовать не мнения, но *Деяния*; из всех же членов теперешняго Союза Благоденствия ни один, сколько мне известно, ни в каких отношениях не оказывал злобных качеств и злостных поступков или пороков. Посему и твердо полагаю я, что ежели бы Государь Император Александр Павлович жил еще долго, то при всех успехах Союза революция не началась бы прежде естественной его смерти, которую бы никто не ускорил, несмотря на то, что все бы находили сие ускорение может быть полезным для успеха Общества. Сию мысль объясняю я при полной уверенности в совершенной ея справедливости».

Он поставил точку, удовлетворенно вздохнул и ощутил на плече худенькую руку Евгения Оболенского, и услышал его голос:

— Я вижу, как вы обольщаетесь, но мне, черт возьми, хочется вам верить. Приятно чувствовать себя сильным, вы не находите?.. Хотя я не говорю вам «да», учтите, не говорю, дайте срок, мне по сердцу ваша неукротимость,

но я не знаю, то есть о себе я не знаю; это, наверное, справедливо, но я не знаю...

— А вы не боитесь, что именно нерешительность сыграет с вами однажды злую шутку? — спросил Пестель холодно.

— Не знаю, — сказал Оболенский и исчез, и голоса потухли.

Павел Иванович простился с ними с умилением и болью и снова протянул Авросимову исписанные листы, теперь уже с поправкой.

— Извольте...

— Завтра, на рассвете, — сказал Авросимов шепотом, — повезут подпоручика Заикина бумаги ваши искать.

Пестель стоял, опустив голову. Желтый прусачок мирно спал в складке его халата. Масло в светильнике еле слышно шипело.

— Я думал, вы меня ненавидите, — удивленно сказал Павел Иванович и улыбнулся.

Авросимов шагнул было к двери, но резко оборотился.

— Я жалею об вас! — вдруг крикнул он. — Жалею! Жалею! — и распахнул проклятую дверь. Но это был не крик, а тоскливая мысль, забушевавшая в нем на мгновение.

Дверь захлопнулась со скрежетом. Пламя светильника вздрогнуло. Золотой клинок, изящно искривленный, заколебался в воображении Павла Ивановича, тускло сверкнув, напомнив недавнюю юность. Он виделся недолго и исчез, словно короткая усмешка фортуны, знаменующая ненадежность любви в этом мире.

«Хотя, — подумал узник, — страдание тоже не вечно», — и поежился.

Я, милостивый государь, позволю себе высказать вам свою мысль, которая давно во мне утвердилась, но которая, когда возникла, волосья мои подняла дыбом.

Что же это такое? — рассуждал я по секрету. — Полковник Пестель призывал своих сообщников так все переверотить, чтобы рабство сломать и многим русским людям дать жигь по-людски, а не по-скотски. Прав был Пестель или нет? Злодей он или пророк? Вот оно самое главное-то и следует. Ежели он не был прав, зачем же наш нонешний государь, я вас спрашиваю, дал народу

волю? Стало быть, Пестель был прав? Ах, милостивый государь, а ежели он прав был, ежели прав был, за что же его так позорно казнили?!

Это я открыл для себя и вам первому сообщаю по большому секрету, и тут я вижу, как вы бледнеете. Но вы погодите и слушайте дальше. Значит, в сем вопросе полковник был не злодей, но пророк. Это мы с вами установили. А государь?.. Тут сердце мое трепещет и содрогается. Он повелел казнить пророка! Вы говорите, мол, за цареубийство, но какое же цареубийство, которого не было? За намерения? Ах, милостивый государь мой, мы же не дети! Злодеем или глупцом был покойный наш государь? Ежели глупцом, а Россия тому примеры знает, значит, нельзя было великой стране на его благодеяния рассчитывать. А ежели злодеем, ибо не внял пророку и вверг народ свой в долгое страдание, стало быть, и сам он достоин худшей участи. Вот до чего я додумался на досуге. Предвижу, как вы будете негодовать попервоначалу, но поверьте мне, подумав хорошо, вы сами к тому же придете. Вы не подумайте, ради бога, что я себя пророком мню. Нет, нет. Но сильные мира сего страсть как не любят пророков, ибо пророки своим предвидением их престиж умаляют. И тут-то, в ослеплении, пророка они казнят, а уж после того переворачивают жизнь, как пророк предсказывал, и эти предсказания выдают за свои. Спрашиваю его, что же это, мол, вы пророка отвергли, а теперь то же самое творите, что он велел? Предвижу ответ, что, мол, тогда не время было сие творить и пагубно, а нынче, мол, самое время... И так мы отговариваемся, милостивый государь, угождая собственной амбиции и тем самым замедляя движение жизни.

Теперь, думаю, пора нам с вами вернуться к нашему герою и к повествованию, печальному, но поучительному.

— Позвольте, сударь, я с вас прусачка сниму,— сказал плац-майор, когда они выходили прочь из страшного того места.— Вы удручены-с... Это я понимаю. По первому разу всегда так. Даже преступник, которому казематы наши — дом родной, и тот, сударь, пребывает в долгом оцепенении, а уж коли свежий человек-с, тому и подавно, хотя я, например, к такому порядку привык, и мне, сударь, сдается, что у нас как бы и не трудно-с,— он вдруг засмеялся чему-то своему: — А что, сударь, пожалуй, мало таких мест в Санкт-Петербурге, чтобы

сразу столько знатных господ знакомство со мной водили, хотя я вам по секрету скажу-с, прежних узников я больше обихаживал: когда мало их, на каждого щедрости моей помногу приходится. И вот некоторые из них помнят мои благодеяния и не брезгают здороваться, сударь, ну как там кому сподручнее, а некоторые гордятся. Ермолов, пока тут в прежние времена в заточении был, никак без меня не мог-с: я ровно нянька его обихаживал, а вышел — и не замечает-с...

Нынче в следственной преступников не допрашивали, и Авросимов, сдав бумаги, тут же отправился к себе на Васильевский, дабы подготовиться к трудному пути.

Спеша по ночной улице мимо редких колотушников, он ощутил, как что-то скользнуло по его животу и мягко упало в снег. Он нагнулся и увидал свой английский пистолет.

«Дурная примета», — подумал Авросимов, поднял пистолет и направился было далее, но тут зловещий экипаж военного министра, взвизгнув полозьями, вылетел из-за поворота и преградил ему путь.

Трудно сказать почему, но вместо того, чтобы перепугаться, как обычно, наш герой вдруг успел подумать, что ежели рукопись Пестеля найдут, то устроят вокруг нее безумство, и тогда уж полковнику ни гордость не поможет, ни фортуна.

«Как же это я спросить его растерялся, об чем у него там написано, что все они охотятся за ней, словно за последней уткой!» — подумал он сокрушенно, видя, как распаивается оконце в экипаже.

— Подойди-ка, любезный, — приказал граф. — Опять полуночишаешь? Небось уже всех барышень перепробовал.

Авросимов лихо подошел, но обрюзгшее лицо графа, пронзительные глаза и странный вопрос быстро выбили дурь из его головы.

— Ты, любезный, однажды ко мне пожаловать отказался, — жестко сказал военный министр. — Интересно, это гордость у тебя или страх?

— Страх, — просто сказал Авросимов, хотя, ежели вы помните, он и не отказывался от посещения, а даже приходил, когда граф того пожелали.

— А почто у тебя предо мною страх? — без интереса спросил граф. — Я смертен. Все обиды с собой унесу. Кто об том вспомнит?

— Бумага, ваше сиятельство, — с дерзостью ответил наш герой. — Да вам не след беспокоиться. Я, ваше сиятельство, никого обидеть не умею.

— Ух ты какой, — рассердился граф. — И девок не обижал? Такой здоровила да не обижал?

— Никак нет, бог миловал.

— Ты нынче опросные листы к Пестелю носил? Носил, носил. Это я велел тебя направить... Испусить тебя... Ну как он, раскаивается?

«Откуда же ему известно?» — поразился наш герой.

— Мне все известно, — сказал военный министр. — Чего ладошкой прикрываешься? Иди — знай, что у тебя там, под ладошкой. Парле ву франсе?..

— Никак нег...

— Я тоже — нет, а вот не в малых чинах хожу.

«Откуда же ему известно?» — поразился наш герой.

— Я вижу грусть в твоих глазах, — сказал граф. — Да ты этим не гордись, любезный. У Пестеля тоже страдание русское, а он немец... Или ты доброту свою показываешь?.. Все вы за моей спиной добрые, каналы!

Тут наш герой увидел, как из-за кареты вышел Павел Бутурлин и молча остановился. Это несколько приободрило Авросимова.

— Ваше сиятельство, — взмолился он, коченея на ветру, — велите мне исполнить, что вашей душе угодно будет! Я все могу. Я только этих разговоров не могу выдержать, как они меня подминают, ваше сиятельство!

— Да ты что? — спохватился граф. — Эк его трясет. Такой медведь, а стонешь.

— И медведю больно бывает, — всхлипнул Авросимов, краем глаза поглядывая на Бутурлина, — когда из него жилки тянут... — Бутурлин улыбался одними губами.

— Да кто ж тебя тянет! — закричал военный министр. — Да как ты смеешь! — и приказал Бутурлину: — А ну-ка, отпихни его прочь. Чего стал!

Бутурлин тонкой своей рукой отпихнул всхлипывающего Авросимова, но толчок был слабоват, так что нашему герою пришлось даже самому отстраниться, чтобы хоть видимость была.

Бутурлин уселся в экипаж, сделав Авросимову тайком ручкой.

— А что это ты за грудь держишься,— спросил граф,— ровно пистолет у тебя за пазухой?

«Как это он знает?» — ужаснулся наш герой, но тут оконце захлопнулось и кони понесли, дыша паром.

После этого нелепого разговора, которого лишь со стороны военного министра, одуревшего от водки и гордости, и можно было ожидать, наш герой намеревался, наконец, заняться своими делами, но не тут-то было. Войдя в дом, он тотчас же по лицу Ерофеича понял, что в доме что-то неладно, и тут же вспомнил, как вчера капитан Майборода сидел на его постели и пил напропалую. Да неужели до сих пор сидит?!

И вот, разогревшись решимостью, полный благородной высокопарности, сверкая синими своими глазами, отворил он дверь в комнату.

— Господин Ваня,— обрадовался Аркадий Иванович,— а я вам сучку в презент принес. Я обид не помню, как ваш человек волком на меня глядел... Тут мне, господин Ваня, пофартило в Петербурге, чудный город, а я не могу, чтобы радостью с вами не поделиться.

Авросимову трудно было оставаться с капитаном в одном доме после всех разговоров и намеков, но хохол устроился поудобнее на диванчике и сладко зевнул.

Свечи были погашены. Тени успокоились. Наш герой так устал, что не мог противоречить капитану в его желании остаться ночевать именно здесь. Дремота подступила. Послышался храп Ерофеича.

— Ох, господин Ваня,— вздохнул в этой тишине капитан.— разве ж я знал, що так оно выйдет? Вы не смотрите, что я смеюсь, мне, господин Ваня, страшно...

— Это вы про что? — спросил Авросимов, борясь со сном.

— Да все про то же, господи боже мой... Я ведь думал, как лучше, а видите?.. Всем-то не угодишь. Государю хорошо, а полковнику моему худо.

Сон отлетел прочь.

«Черт бы его побрал! — подумал наш герой.— Эдак я не выплусь, буду вареный ехать...»

— Вы бы уж спали, Аркадий Иванович. Ночь ведь...

— Да я бы и рад, господин Ваня, ах, не спится... Как вы думаете, что полковнику моему быть может?

Слова падали тихо-тихо, как легкое шуршание травы или кисеи под ветром, но были они отягощены былым безумством, былой горечью...

— Что же это вы все на одного навалились? — прошептал наш герой, зарываясь в подушку. — И друзья и враги...

— Кто враг?! Кто враг, господин Ваня?.. Вы этим поверили, которые меня во флигеле вашем бесчестить пытались?.. Эх, вы... Да вам же полковник-то неизвестен, вы же не знаете, что он замышлял, как же вы можете его сторону брать? Вот что мне удивительно! Я ведь его любил, а как прознал про тяжкий умысел, какая уж тут может быть любовь, господин Ваня? Тут надо выбирать, господин Ваня.

Авросимов, не желая продолжения этого нелепого разговора, притворился спящим, даже всхрапнул.

— Господин Ваня, — зашептал капитан, — а господин Ваня, вы послушайте меня... Мне ваше расположение терять не хочется... Уж как вы представили меня героем, так не раскаивайтесь... Легко ли по лезвию-то ходить?.. Вы слышите? Вот вы себя честным считаете, порядочным, да вы и есть порядочный, господин Ваня, так вот вы же поедете с подпоручиком донесения делать? Разве ж вас за то судить можно? А меня можно, что я отечество спасал?.. Господин Ваня, вы меня слышите?..

Господи, кто же прав-то? Пестель, ждущий своей участи, поверженный, приуготовляемый к казни за любовь к отечеству; капитан со своими цыганскими глазами, получивший пощечины за любовь к отечеству... Кто же?!

— А те, господин Ваня, которые меня по щекам хлестали, разве ж они отечеству не служат? Да вы им прикажите — они тотчас всех бунтовщиков на Голгофу-то и поведут...

— На Голгофу? — поразился наш герой.

— На Голгофу, господин Ваня... Вот и вы едете, чтобы полковника уличить. И я его уличил. И ваши друзья. А за что же они меня по щекам-то били?

— За барышню, — сказал Авросимов, теряя остатки сна.

— Ох-хо-хо, господин Ваня, не прикидывайтесь... Ну да я их прощаю, прощаю... Мы ведь все ради отечества да государя стараемся...

Вот, милостивый государь мой, сколько слов всяких об отечестве!

— Поезжайте, господин Ваня, с богом. Привезите сочинение — узнаете, кто прав...

— А ежели его не найдут?

— Найдут! — крикнул капитан с ужасом. — Непременно найдут! — и уже шепотом: — Не может быть иначе. Иначе я лжецом прослышу... Вы что, с ума сошли, говорить такое?

— Я говорю: если...

— Нет, нет, господин Ваня... Тогда я сам в ножки высоким чинам упаду, чтобы меня послали. Я всю Украину перерою, все поля да леса, а сочинение найду... «Если»... Да как же может быть «если», когда моя судьба от того зависит? И судьба нас всех... Да вы знаете, чего там написано? О, он читал мне, читал, господин Ваня! Да и они не отступятся, все генералы и великие князья, и сам государь... Они сами землю рыть будут, господин Ваня, чтоб только найти сей документ...

— Да что ж там написано, черт! — не выдержал Авросимов.

— А вот что, — вдруг засмеялся капитан. — В нем описаны способы, как революции производить, как низвергнуть наше христианское государство... В нем много соблазнов, господин Ваня, для молодых людей, таких, как вы и прочие... Уж ежели это вам в ручки попадет, вы ночей спать не сможете, а все будете думать, как бы жизнь переверотить...

— Пустое вы все говорите; вздор все, — сказал наш герой. — Я не верю вам. Какие такие способы? Ну?..

— А вот какие, — сказал капитан шепотом, — пора бы, к примеру, холопам дать волю, а?

— Может, и пора, — откликнулся наш герой.

— Да с землей... А не боитесь, господин Ваня, сами холопом стать у прежних-то своих холопов?

— Ерофеич! — крикнул Авросимов с дрожью.

Старик вошел неторопливо.

— Хочешь, я тебе вольную дам?

— Ай обиделись, барин? — спросил старик, бледнея.

Аркадий Иванович захохотал, потер руки.

— Велите вашему человеку, господин Ваня, кваску мне дать. Дюже горло у меня сушит...

Ерофеич вышел. Аркадий Иванович продолжал свою

беседу, но Авросимов вдруг словно провалился. Голос капитана звучал издалека, все глуше, глуше. А в сердце Авросимова возник страх за кого-то, и этот страх заглушал голос капитана. Вдруг голос совсем исчез. Тут наш герой понял, что очень просто, это он сам завернул за угол. Голос остался там, где-то, за спиной. А впереди снова лежал все тот же знакомый коридор и наш герой чуть было не побежал по нему, задыхаясь от тревоги за кого-то. «Скорей, скорей!» Наконец снова показалось то самое место, где кто-то расплескал злополучные щи. «Скорей, скорей!..» Он потянулся за пистолетом, но тут коридор заколебался, пошел волнами и исчез. Лишь кто-то печально позвал издалека и смолк. Он открыл глаза. Аркадий Иванович в одном исподнем сидел на краешке его кровати с кружкой в руке.

— Я понимаю ваше нежелание его звать,— сказал он, словно разговор их не прерывался,— его не добудишься... Да я и сам могу об себе позаботиться,— и он отхлебнул квасу.

А кто-то там опять звал, призывал, просил беззвучно и настойчиво.

Тут наш герой подлинно уж разгневался.

— Спите вы! — прикрикнул он на капитана, изменив своей природной деликатности.

11

Две кибитки скользили по укатанному тракту, направляясь на юг. Утро едва занималось, но начало его уже обещало ясный день. Морозец был самый жгучий, накопивший за ночь силу.

Два белых молодых жеребчика, бегущих в первой кибитке, почти сливались со снежными просторами, казалось, кибитка скользит сама по себе, благодаря какой-то чудесной силе. Второй экипаж влекли, напротив, две каурых лошаденки, и заиндевелые их бока придавали им вид фантастических чудищ, непрерывно взбрыкивающих и тонущих в клубах пара. Благодаря безветрию, снежная пыль подолгу не оседала и висела над дорогой вытянутым серебряным облаком.

Мелькали мимо просыпающиеся деревеньки и барские дома, и грустные кладбища, утопающие в сугробах, и веселые церквушки, каждая на свой лад, на свой манер.

Подпоручик Заикин скорбно покачивался на сидении перед нашим героем, у которого все надежды поспать в дороге разом схлынули, едва только их усадили в одни сани. Это произошло еще там, в крепостном дворе, и ротмистр Слепцов, адъютант генерала Чернышева, которому было поручено возглавлять предприятие, уселся рядом, и они понеслись в первой кибитке. Теперь два офицера покачивались перед Авросимовым, один в ручных и ножных цепях, другой — вольный. На подпоручике была его обычная военная форма, так что, ежели отвлечься от цепей, можно было бы представить, что это он, Авросимов, арестован, а два молчаливых офицера сопровождают его неведомо куда. Дорога вилась бесконечно, воистину — в неизвестность. Так, разглядывая обоих офицеров, предаваясь всяким размышлениям, которые в нем рождала дорога, наш герой внезапно вздрогнул, пораженный странной мыслью. Действительно, оба офицера, и конвоир, и пленный, были поразительно меж собой схожи, если не считать одеяния. Оба молодые, с лихорадочным румянцем на щеках, одинаково задумчивые, даже печальные. Пожалуй, ротмистр был несколько постарше, но эта разница не мешала видеть в них братьев.

Минуло часа два, как вдруг ротмистр Слепцов наклонился к пленнику и принялся, орудуя маленьким ключом, сымать с него цепи, которые, робко позвякивая, смиренно укладывались на сиденье рядом со своим недавним обладателем.

Авросимова поразила эта процедура, и все, все, все минувшее, милостивый государь вы мой, снова показалось ему игрой, которую вот сейчас почему-то решили прекратить, дабы не зайти слишком далеко.

— Благодарю вас, — сказал Заикин с недоумением, растирая запястья.

— Так вам как будто полегче, — смущенно улыбнулся ротмистр.

«Слава богу, — подумал наш герой с облегчением, — как хорошо-то стало! Ах, так бы вот всегда! — и он взглянул на подпоручика: — Господи, как же он на сестрицу свою похож! Так же горд и нежен».

Авросимов глубоко вздохнул, и оба его попутчика тотчас же на него воззрились.

— Кабы ничего этого не было, — сказал наш герой

дрогнувшим голосом, — ну этого всего... Ну там, всего этого нечального происшествия... а кабы мы могли с вами вот так запросто отправиться втроем... ну, скажем, к вам, господин ротмистр, в имение, ну и там нас, натурально, ждут...

Заикин насупившись глядел в оконце.

— ...Погода чудесная, — продолжал Авросимов, вдохновляясь. — Стол накрыт. Милые люди выходят встречать нас. Все нам рады. Могло бы и так случиться.

— Вы поэт, — засмеялся ротмистр.

Тут наш герой поглядел на подпоручика и подумал, что, может, и неучтиво так-то вот разглагольствовать, когда у человека горе, хотя он с самыми добрыми намерениями, от глубины сердца, старается развлечь этого человека в беде... Да кто его знает, в самом-то деле, виноват ли он? Может, он как лучше хотел, а его в злоумышленники записали... Ах, господи боже мой, хоть бы кто ответил, не томил бы!

— Нет, уж вы продолжайте, продолжайте, — попросил ротмистр, — вы уж с подробностями, что да как, тем более, что нам действительно через мою усадьбу проезжать...

Тут Заикин снова с недоумением быстро глянул на ротмистра.

— Да, да, — сказал Слепцов торопливо, — мы там и ночлег устроим, господа. Зачем же нам в ямской избе душиться?

И снова наш герой заметил недоумевающий взгляд подпоручика, а сам и вовсе преисполнился к ротмистру расположением, ибо вдруг так легко и просто недавние несчастья отступили, и легкое облачко тревоги, которое вот уже несколько дней висело над Авросимовым, причиняя боль, тоже вдруг рассеялось, как и не было.

— Да продолжайте же, — сказал ротмистр. — Покамест вы все точно предусмотрели. Интересно, как у вас дальше получится. Вы и на картах гадать умеете?

— Нет, — засмеялся наш герой. — Это так, совпадение...

— Жаль, — искренне пожалел ротмистр, — мы бы славно вечер провели... Однако продолжайте, сударь, покорно вас прошу.

Авросимов задумался на мгновение.

— А что, может, вы и дом мой опишете? Ну-ка, интересно...

Наш герой, втянутый в игру, напрягся и вдруг увидел явственно перед собой на зеленом взгорке белый помещичий дом, окруженный столетними липами, и красную крышу, проглядывающую сквозь пышную листву. Под взгорком едва колебался пруд, по которому скользили белые лебеди...

— Полноте,— удивился ротмистр,— вы разве у меня бывали?!

Пламя всевидения охватило нашего героя. Он засмеялся.

— А откуда же зелень-то, сударь? — спросил ротмистр.— В январе!

— Да я так увидел,— сказал наш герой.— А что?

— Да нет, все правильно, сударь... Вот только, пожалуй, лебеди...

Печаль сползла с лица подпоручика, и было видно, что он с живейшим интересом прислушивается к разговору своих спутников.

— Ну, дальше,— попросил ротмистр.— Подъезжаем, и что же?

Авросимов вновь погрузился в угадывание. Зелени уже не было. На запорошенном снегом крыльце толпилась дворня. Они вылезли из кибитки. По белым ступеням начали подниматься на крыльцо, обрамленное шестью колоннами, на которых покоился белый портик с облупившейся штукатуркой. Среди дворни, молчаливо приветствующей барина, Авросимов вдруг различил господские лица: какие-то немолодые дамы, барышни с расплывчатыми лицами, кавалеры — то есть их было больше, нежели простых людей, то есть они-то как раз и стояли молчаливым полукругом, а дворня была малочисленна, и она жалась к стеночке, к стеночке...

— Все правильно,— засмеялся ротмистр с еще большим изумлением,— только колонн — восемь. А что это за барышни — понять не могу? Какие там барышни вам померещились?

— Милодора,— сказал Авросимов в пространство.

— Почему Милодора? Кто такая Милодора?

— Я и вашу сестрицу вижу там,— сказал наш герой Заикину.

Тот помертвел весь, передернулся бедный подпору-

чик, провел ладонями по щекам, но попытался улыбнуться все же.

— Ну, дальше, дальше,— нетерпеливо сказал ротмистр.— Ну, стало быть, приехали, так? Ну теперь пропустим лобызания и всякие там разговоры на крыльце... Ладно, пусть Милодора и сестрица господина Заикина... Вошли в дом, да? Что же видим мы перед собою? Ну говорите, сударь...

Нашему герою предстояло тешить уже не только ротмистра, но он и сам теперь заигрался так, что и остановиться не мог, и воображение его, все более и более распаляясь, распахивало перед ним картины, одна другой невероятнее.

— Тут мы входим в дом,— сказал Авросимов с улыбкою, полною тайны, которая давно уже не озаряла его лица.— Сбрасываем шубы, а должен вам сказать, что вечер близок, и несут свечи, и мы усаживаемся в гостиной у горящего камина...

— А камина-то нет,— засмеялся ротмистр.

— ...и пусть, бог с ним. Однако тепло. Скорей, скорей несите нам вина и яств! Несут. Ваша сестрица, господин подпоручик, ее ведь Настенькой зовут? Так вот она...

— Bravo! — крикнул ротмистр.

— Черт...— сказал подпоручик с восхищением.

— Она садится между вами, сударь, и мною, мы ведь с ней давно знакомы. «Ты-то как здесь?» — спрашиваете вы.— «А вот так»,— говорит она, а сама смотрит на меня с лукавством. Тут вы, натурально, все понимаете, и вы этому рады, сударь. «Ладно,— говорите вы,— я не возражаю, а ежели что— я сам батюшке в ноги упаду, умилостивлю его, живите, господь с вами...»

— А что, сударь,— вдруг спросил подпоручик, уставясь на нашего героя,— вам и в самом деле Настенька по сердцу или же вы балагурите?

— Не мешайте ему, пусть он рассказывает,— попросил ротмистр.

— Затем,— сказал наш герой, не ответив на вопрос подпоручика,— затем Настенька удалилась, чтобы не мешать нам в мужском разговоре, а мы сидим, пьем вино и рассуждаем о всяческих там возвышенных предметах, и ждем гостя, который с минуты на минуту должен объявиться.

— Кто же этот гость? — с удовольствием засмеялся ротмистр.

— Сейчас, сейчас, — проговорил подпоручик, — сейчас он скажет... Вы только ему не мешайте...

— Мы ждем гостя, — продолжал наш герой, обращаясь снова в пространство, как бы и ни к кому. — Наконец он входит к нам. Мы все встаем, потому что невозможно сидеть, когда он входит. Сам он невысок, кряжист, армейский полковничий мундир ладно сидит на нем. Глаза холодны и глубоки. Движения размеренны. Он садится в кресло и сидит, ровно Бонапарт, ногу чуть вытянул...

— Кто же он? — спросил ротмистр хрипло.

Но Авросимов не отозвался. Распаленное воображение безумствовало. Теперь он совсем явственно видел все, что воображал, а попутчики его нисколько не забыли. Они сидели, вытянув длинные шеи и раскрыв глаза. Авросимов даже позабыл, что он в санях, и какая печальная миссия ему предстоит, но видел, как он подошел к таинственному незнакомцу, на ходу оправляя свой майорский мундир, и сказал ему, словно век уже целый был с ним близок:

— Судьба не часто балует нас встречами.

— Полноте, — улыбнулся полковник, — с нашими-то заботами в наш век можно ли видеться чаще? Господа, — обратился он к остальным, — мы все продрогли с дороги, не выпить ли нам чего?

— Пусть ротмистр распорядится, — сказал Заикин.

Покуда люди по приказанию ротмистра подавали, приехавшие уселись поплотнее.

— Я было согласился с вашими республиканскими воззрениями, — сказал подпоручик полковнику, — но мысль об непременном царубийстве столь для меня ужасна, что она меня от вас отдаляет.

— Какая же республика, коли жив монарх, пусть даже бывший? — жестко отпарировал полковник. — Что это вы? Да разве вас кто силой тащил к нам? Вот ротмистр Слепцов полный наш антагонист; так что ж из того? Я могу уважать врагов.

— Какой я враг, — засмеялся ротмистр, — я, может быть, более друг, чем вы предполагаете... Я хочу вас предостеречь от неверного шага, но понятия благородства мне не чужды. Я выдавать не способен, господа, я просто

вас арестовываю. Я даже понимаю ваш пафос, вы где-то там по-своему правы, и все-таки, господа, когда час ударит... Вы понимаете?.. Но пока вы в моем доме, прошу, господа, откусать.

Аромат гвоздики почему-то распространился по комнате. Все потянулись к бокалам и с наслаждением отхлебнули.

— Вот видите,— сказал ротмистр,— как хорошо мы сидим в тепле и наслаждаемся беседой и вином, а ведь осуществись ваши планы, господин полковник, и ничего этого уже не будет, а будет холод, кровь и братоубийство.

— Вздор какой,— засмеялся подпоручик,— просто вино и другие прелести тогда будут для всех.

— Это вот и есть вздор,— сказал ротмистр,— ибо всем всего никогда не может хватить. Так не бывает. Это же не сказка какая-нибудь. Да и зачем простому человеку то, что привычно нам?

— Ах, не в этом дело,— сказал подпоручик.— Но когда наступит народное правление, тогда один не будет унижать других, тогда наступит расцвет искусств...

— Позвольте,— засмеялся ротмистр,— но народное правление — это ведь тоже власть, а власть, господа, шутить не любит. Сегодня одним плохо, а завтра — другим. Какой же резон в ваших словах?

— Короче говоря, вы исповедуете рабство,— сказал полковник,— но это анахронизм...

— А кто доказал сие? — снова усмехнулся ротмистр.

— Это очевидно,— сказал полковник.

— Нет, нет,— вмешался Авросимов,— я не вижу ни у одного из вас резона, не вижу.

— Значит, вы утверждаете, что республика не может быть без цареубийства? — спросил подпоручик полковника.— Вы настаиваете?

— Это не главное,— ответил тот.— Почему вы все время это помните? Вы же поклялись освободить отечество?

— Да, но он присягнул царю,— сказал ротмистр.

— Не беспокойтесь, господин подпоручик,— мрачно усмехнулся полковник,— думайте об избавлении родины от рабства. Царя я беру на себя...

...В этот момент кибитку тряхнуло. Это словно под-

стегнуло усталых коней, они понеслись пуще, а Авросимов прекратил свои фантазии.

— Кто же этот полковник? — спросил ротмистр упавшим голосом.

— Я знаю, — сказал подпоручик. — Но выдумки вашей хватило ненамного, сударь.

— Отчего же? — сказал ротмистр Слепцов. — Ротмистр Слепцов в вашем повествовании выглядит вполне благопристойно. Хотя, что касается таинственного полковника, я-то догадываюсь, сударь, кого вы имеете в виду, это не вполне соответствует истине, уж поверьте.

В этот момент кибитка стала, слышались хриплые голоса, в окошечко виднелась ямская изба, и на утоптанном снегу золотилась раскиданная солома... Пришла пора смены усталых лошадей.

— Поскучайте-ка, господа, — сказал ротмистр и выбрался наружу.

Авросимову совсем было показалось их путешествие мирным, и он готов был фантазировать и дальше, поскольку это доставляло удовольствие его попутчикам, но тут, не успел ротмистр выйти, как тотчас немолодой жандармский унтер, ехавший в задней кибитке, оказался у распахнутой дверцы, и полез внутрь, и уселся рядом с Заикиным.

Наш герой как бы очнулся, ибо это напомнило ему о цели их путешествия, что тюрьма не спит, бодрствует. И тут он взглянул на подпоручика. Тот сидел с печальной усмешкой на устах, словно знал наперед, как все случится, хотя, может, и в самом деле знал.

«Вот как наяву-то жестоко все, — подумал Авросимов. — Сидит унтер, будто его кто врыл сюда, и хоть ты убейся, — с места не сойдет, и жилы у тебя вытянет, коли ему велят... А кто он? А он мой соплеменник, брат мой...»

— Хороший день нынче, — обратился к унтеру Авросимов. — Что за охота в кибитке сидеть? Шли бы погуляли.

— Ваше высокоблагородие, — раздельно произнес унтер, — мы уж вернемся — нагуляемся. Нынче нам нельзя-с.

— Простыть боитесь? — спросил наш герой.

— А как же-с, — засмеялся унтер, довольный, что с ним молодой рыжий в пышной шубе господин ведет бе-

седу.— У нас простужаться никак невозможно,— и одними глазами указал на подпоручика, который словно и не слышал этого разговора.— Я бы и рад прогуляться, да ведь простынешь,— он засмеялся вновь.— Мне перед отъездом строго-настрого велели, мол, гляди, Кузьмин, ежели простынешь!.. Мол, лучше обратно не вертайся — лечить зачем.

— А больно лечут?

— Ох, и не спрашивайте лучше, ваше высокоблагородие, аж до самых печенок, и не встанешь опосля... Так что лучше я в тепле посижу.

— А зачем же, Кузьмин, так больно-то? — спросил Авросимов, начиная испытывать раздражение и не понимая, отчего оно в нем вдруг пробудилось.— А может, это хорошо, Кузьмин, что так лечут? Может, без этого нельзя?

— Без этого знамо нельзя,— уже не улыбаясь сказал унтер.— Кабы можно было — не лечили. Да я этого избегну.

— А ты сам-то, Кузьмин, других лечил?

— А как же, ваше высокоблагородие, бывало-с. У меня рука верная.

Тут подпоручик резко оборотился к нему. Унтер засмеялся.

— У меня рука верная,— повторил он.

— А не совестно вам рассказывать о своих злодеяниях? — с гневом спросил Заикин, весь бледнея.

— Так что, ваше высокоблагородие,— подмигнул унтер Авросимову,— как надобность будет, вы не сумлевайтесь: у меня рука верная.

Авросимову захотелось вскочить наподобие медведя и взмахнуть руками, чтобы унтер, прошибив дверцу, летел в снег, и глядеть, как он там будет извиваться, но следующий вопрос подпоручика остановил его.

— Неужто вам так лестны ваши обязанности? — спросил Заикин.

Унтер успел только подмигнуть Авросимову, как дверца запахнулась, и ротмистр Слепцов, румяный и счастливый, предстал пред ними.

— Ну-с,— сказал он,— можно и отправляться.

Тут унтер начал покорно выбираться вон, чтобы уступить место ротмистру, и Авросимов глядел на его напругшую шею, пока он медленно сползал с сидения и

протискивался в дверцу, и сердце нашего героя сильно скакнуло в груди, ударилось обо что-то, и он ринулся к выходу... От сильного его толчка унтер рухнул в придорожный снег, распластавшись, и наш герой заторопился следом, будучи не в силах удержаться в кибитке.

— Ба,— засмеялся Слепцов,— что за оказия!

— Ноги размять,— сказал Авросимов,— А ты что же это падаешь, любезный друг? — обратился он к унтеру, который наконец поднялся.

— Ваше высокоблагородие меня толкнули-с маленько,— сказал тот, стряхивая с шинели снег и недобро поглядывая на нашего героя.

— Пьян ты? — спросил, смеясь, Слепцов.— Ступай на место!

Жандарм заковылял к своей кибитке. Золотая соломинка пересекала его спину.

Первое время они ехали молча.

Подпоручик, бывший свидетелем странной сцены, разыгравшейся перед ним, изредка взглядывал на Авросимова; ротмистр, вспомнив о дорожных фантазиях нашего героя, вдруг поник лицом, глаза его сделались печальны и настороженны, счастливое выражение исчезло.

Что же касается нашего героя, то он попросту спал или делал вид, что спит, во всяком случае глаза его были закрыты, голова откинута, а щеки терялись в густом приподнятом воротнике.

И все-таки он не спал, а, полный случившимся, заново все это переживал и изредка поглядывал синим своим торопливым глазом на бедного подпоручика, лишенного даже права постоять за себя.

Тут перед нашим героем возникла давняя сцена в злополучном флигеле, когда прекрасные его, Авросимова, друзья и Сереженька, покойный ныне, допытывались у капитана, как же это он смел даму оскорбить, хотя он никакой дамы (вот крест святой) не оскорблял, а посему дергался в разные стороны, не спуская взора с желтой ладони Бутурлина. И вот, вспомнив эту историю, наш герой, конечно, мог преспокойно двинуть псу по его напругшейся шее, а после спрашивать, что, мол, случилось, и полезть обратно в кибитку, недоуменно пожимая плечами, то есть он так и поступил, да удар был слишком вял (вот жалость!), так, толчок какой-то.

— Простите, господин подпоручик, — вдруг сказал ротмистр, — я вынужден был приказать унтеру занять мое место на время стоянки, хотя сие вовсе не указывает на мое к вам недоверие, а просто инструкция...

— Да уж пожалуйста, — откликнулся Заикин, не поворачивая головы, — поступайте, как знаете, сударь.

— Но вы не должны на меня быть в претензии, ей-богу... Давайте-ка обо всем забудем, а попросим господина Авросимова продолжать свои фантазии, а там, глядишь, и моя Колупановка вывернется.

— Эээ, — сказал Авросимов, — я и придумать больше ничего не могу. Ведь вот как стройно все получалось, а тут не могу, да и только. А вы, господин ротмистр, стало быть, и мне не доверяете; ежели считаете долгом своим жандарма...

— Да что вы, господь с вами, — обиделся Слепцов. — Но видите ли, какая штука. Ежели, предположим, преступнику вздумается бежать, и он, ваш пистолет отобрав, вам же его в лоб и уставит, вы ведь, милостивый государь, руки вскинете и все тут, верно?

— А жандарм? — усмехнулся наш герой.

— А жандарм, сударь, при исполнении служебных обязанностей и рук подымать не смеет, а ежели и подымет, так чтобы на преступника накинуться...

В ответе ротмистра было ровно столько резону, чтобы не возражать, а только глянуть краем глаза на подпоручика, которого так открыто именовали преступником.

Ах, милостивый государь, мы всегда беспомощны, когда правы, ибо неправота лихорадочно обзаводится доказательствами, и она тут же все это вывалит вам, и вы отпустите, ибо она свое дело знает, а правота об том не заботится: мол, ежели я правота, так и без всего всем ясно, что я правота. Вот так.

Наконец, как снова поменяли лошадей, и уже другой молоденький жандарм насиделся в кибитке вместо унтера Кузьмина, они снова тронулись, Авросимов почувствовал, что голод его истерзает и холод замучает, а како-во-то подпоручику в его шинелишке?

Ротмистр, словно услышал его размышления, а может, и его проняло холодом да голодом, но он первым нарушил длительное молчание и сказал подпоручику:

— Вы простите, сударь, что я так долго не распоряжаюсь покормить вас. Ежели на пути — так мы время

потеряем, а уж доберемся до Колупановки, там вам будет все, чего ни пожелаете, ей-богу.

— Да я уж терплю,— улыбнулся Заикин.— Мне другого исхода теперь нет.

Поверите ли, как это ужасно, когда человек улыбается, произнося горькие слова!

И наш герой об этом же подумал, и снова волна сочувствия к подпоручику и расположения к ротмистру окатила его.

«А ведь он мог бы и не извиняться,— подумал Авросимов,— а он вот извиняется».

Так они ехали. День, как это говорится, миновал, и веселое да недолгое северное солнце закатилось, только краешек его багровый еще маячил над лесом, отчего сосны да ели протянули длинные тени, синие и неподвижные. И вот тогда, когда мучения голода и молчания, и всяких мыслей достигли уже предела, кибитка скользнула в лес, вынырнула затем, и перед путниками открылась восхитительная картина. Тракт серебрящейся змеей уходил вниз, к застывшей реке, за которой снова начинался взгорок. На том взгорке, в зимнем саду расположилась белая усадьба, и восемь колонн отчетливо вырисовывались в сумерках, а за усадьбой, за садом, тянулась Колупановка, переваливаясь с пригорка на пригорок, будто старая баба с коромыслом.

Вожделенные тепло и сытость были теперь рукой подать, но смутное ощущение тревоги, уже знакомое, пропавшее было на солнышке, снова шевельнулось в душе нашего героя. Словно мохнатая серая птица неизвестного имени, затаившаяся и бесстрастная, висела она над ним, и при виде этой птицы сердце тотчас начинало колотиться о ребра, и чей-то печальный голос все звал да звал непонятно кого, и откуда, и зачем, но так настойчиво и невыносимо. И наш герой делал невероятные усилия, чтобы отогнать эту птицу и не слышать этого зова, и на какое-то время это ему удавалось, как вдруг снова сквозь сумерки, сквозь лес пробивался этот зов, и серая ночная тень, а может, и не тень, а так нечто нависало над ним.

— Господа,— сказал ротмистр Слепцов,— мне, господа, очень по душе пришлись ваши фантазии,— и он кивнул нашему герою.— Давайте же сделаем вид, что нет перед нами этой печальной цели, что мы просто завернули сюда для отдыха, и все мы равны.

— Мне все равно,— не поднимая головы, отозвался подпоручик.— Поступайте, как сочтете нужным.

— Вот и славно,— обрадовался Слепцов.— Я жандармов отправлю в деревню, чтобы они нам глаза не мозолили, да велю им молчать обо всем. Мы славно отдохнем, господа.

Будто услышав слова об отдыхе, кибитка ринулась с пригорка, пересекла реку по синему льду и закрипела по садовой аллее. Вот и усадьба. Вот и крыльцо под снегом. И точно: молчаливая дворня застыла на том крыльце. Кибитка остановилась. Ротмистр распахнул дверцу. Его радостно за приветствовали, и это разлило по всему телу нашего героя умиротворение и предвестие покоя. И даже зов смолк.

По всему, дом этот был построен недавно, всего в конце прошлого века, но как-то быстро обветшал; видимо, сырость и ветры, дующие на взгорке, решительно творили свое дело, так что колонны облупились, а в широких и гостеприимных сенях паркет кое-где вздыбился и отстал, и руке доброго и неумелого деревенского мастера пришлось там и сям оставить следы своего мастерства в виде желтых сосновых заплат, прочных, но грубых.

Правда, этого никто толком и не замечал из приехавших, ибо челядь так искренне радовалась приезду барина, а путники так сильно продрогли и оголодали, что обволакивающее их тепло и пробивающиеся с кухни нехитрые и здоровые ароматы приятно закружили головы.

— А вот и Дуняша,— громко провозгласил ротмистр,— хозяйка сего гнезда,— и указал рукой на черноглазую вострушку, которая, вспыхнув вся от радости и смущения, загородилась концом белого платка.

— Милости просим,— пропела она из-за этого своего прикрытия.

— А что, Дуняша, чем ты нас побалуешь? — спросил ротмистр, скидывая шинель и знаком приглашая попутчиков последовать его примеру.

— Чем же вас баловать, свет вы наш? — пропела Дуняша, уже не таясь.

Авросимов глянул на подпоручика. Тот стоял в стороне, уже без шинели, и если бы не небритые щеки, можно было бы подумать, что он и впрямь прикатил сюда в гости, а завтра, на заре, помчится обратно к Настеньке

своей или еще к кому, ибо у всякого есть к кому торопиться.

— Будто ты и не знаешь, чего я люблю,— засмеялся ротмистр.— И гостям моим будет любопытно.

И тут она опустила глаза.

«Эге!» — подумал наш герой, любуясь девушкой.

— Идемте, господа,— пригласил ротмистр, и процессия тронулась.

Вечер выдался особенный, надо вам сказать. В тесной, но гостеприимной столовой круглый стол встретил путников уже припасенной на нем семьей графинов и графинчиков, поигрывающих отраженным светом свечей, хитросплетением граней и тонов от белого до темно-вишневого.

Старые и позабытые вниманием кресла были удобны и мягки, даже легкий скрип не нарушал уюта, а, напротив, добавлял к нему нечто, подобное песенке сверчка.

Еще не успели уставить стол обещанными яствами, а уж у дверей вдоль стены начали выстраиваться девушки, готовые грянуть песню.

Ротмистр Слепцов глядел на их приготовления с улыбкой. Особенно он вспыхивал, стоило только милой Дуняше посмотреть на него. Вдруг он наклонился к подпоручику:

— Все это ради вас, милостивый государь... Я хочу, чтобы вы поняли, как я к вам отношусь. То, что там, в Санкт-Петербурге,— все это вздор. Истинное — здесь. Видите, как вам все рады? Видите?.. Вон и Дуняша, а она иной петербургской барышне не уступит, и она... Видите? И все это для вас... Как она их расставила с толком...

— Благодарю вас,— отвечал подпоручик, обводя рассеянным взглядом сборище.— Благодарю...

— Ах, грустно мне глядеть на вас,— шепнул Слепцов,— да не горюйте, все обойдется... Генерал очень доволен, что вы сами вызвались место указать. Будет вам снисхождение...

В этот момент подали щи. Аромат их был так силен и густ, что бледное лицо подпоручика покрылось пятнами, и по горлу прошла судорога.

— Однако вы любите ваши люди,— заметил Авросимов ротмистру.

— Ах,— сказал Слепцов,— мой батюшка был человек крутого нрава, да скоро уж год, как помер. При нем им житья не было. А я человек добрый, и им со мной

хорошо. Вот Дуняша, видите? Она теперь у них главная хозяйка. Я рад, что им хорошо. Они ведь тоже люди, не правда ли, сударь? А вот друзья господина подпоручика утверждают, что сие — рабство... Так ведь что понимать под рабством? Вы вот спросите-ка их: хотят они со мной расстаться? Спросите... А ведь у другого и вольный — раб, ей-богу... Однако вот и щи. Прошу вас, господа, без церемоний, — и он первый поднес ко рту дымящуюся ложку.

Остальные сделали то же самое. Теперь полагалось приступить и к вину. Ротмистр поднял рюмку. Вино заиграло на свету. Дуняша, не сводящая глаз с барина, махнула рукой, и хор повел вполголоса:

На заре, на заре
Настя по воду пошла...

«Опять Настя, — подумал наш герой, млея от вина и щей. — Опять Настенька».

— Как они вас ублажают, — засмеялся ротмистр подпоручику. — А как они ведут! Слышите? Эти вот, что фальцетом, плутовки. Ах, словно ниточка натянутая!..

Настя по воду пошла...

Действительно, милостивый государь, хор был ладен и чист, и высокие голоса девушек вызывали в сознании образ прозрачного ключа с прохладным бархатным дном.

И
Белой ручеькой качнула,
прощай, матушка моя!..

И по этому прохладному дну — две быстрых тени: золотая и серебряная, две легкие тени, которых и не углядишь, ибо над ключом склонились стебли да цветы, и от них тоже тени, и они тоже переплелись. А вода звенит:

...Ты прощай, ты прощай,
ты не спрашивай: «Зачем?»

Две тени, золотая и серебряная, это ведь — две рыбки, это ведь символы чистоты и веры. Они, хоть слабые да беспомощные, но разве ж не они нам мерещутся? Нам, погрязшим в крови и безумстве? Поглядите-ка на Дуняшу, какие у нее руки! И два передних белых зубочка слегка приклонились один к другому... Когда их видно — голова кружится:

...Ты не спрашивай: «Зачем?»...

Тут, глядя на эту царевну, все позабудешь: и Милодору, и Амалию Петровну, и горести свои. Пой, рыбка золотая! Звени...

Под горой стоит рябина,
красны ягодки на ней...

— Ешьте, ешьте, друг золотой! — сказал подпоручику Слепцов. — Пейте, ни о чем не горюйте. Ах Дуняша, как она их!.. Как поют они, как поют!.. Вы и мои слова давешние забудьте, будто их и не было. Генерал Чернышев, после того как Пестеля арестовали, никак в себя прийти не мог — руки дрожали. Наливайте, пейте... Эй, вина!

Тотчас две темные молнии метнулись по комнате, забулькало вино, круглый стол сузился, и сидевшие за ним сошлись лбами и поглядели в глаза друг другу. Наш герой отчетливо ощущал прикосновение горячего лба ротмистра и холодного, влажного — Заикина.

— Вы принимали участие в арестовании Пестеля? — спросил подпоручик, борясь со сном.

— А как же, — вздохнул ротмистр. — Куда генерал, туда и я.

— А не боялись, что он стрелять будет? — спросил Авросимов, надавливая лбом на лоб ротмистра.

— А вы его жалеете? — в свою очередь любопытствовал ротмистр.

Под рябиной стоит Ваня,
однова его люблю!..

Тут хор стих, затрепетал весь, будто ключ чудесный помутился, будто непогода какая ударила, будто ветер набежал и спутал стебли да цветы, и золото да серебро потускнело на рыбках, притихших в той темной воде, где донный ил под их плавниками всплыл вдруг, загоразживая все от людских глаз.

Однава его люблю...

Господи, да почему же грустно-то так? Да ты люби, люби! Радуйся. Уж коли он ждет тебя под той рябиной чертовой, так, стало быть, любит. Брось ты коромысла свои дурацкие, падай в охапку к нему, цалуй! Счастье-то какое: любит!.. Тут одни других арестовывают, кто

смел — тот и съел, а этот-то, под рябиной который, он ведь тебя любит! Ждет тебя, дуру. Чего ж ты плачешь-то?

Вино уже успело пробежаться по всем жилочкам и теперь жгло огнем.

— Не пойму я, — зашептал ротмистр нашему герою, — чего вас-то с нами послали? Вы мне всю обедню испортите. Какой он, Пестель, однако, в вашем воображении герой. Вы что, за дурака меня держите?

Авросимов глянул на Дуняшу. Она и сама на него глядела, не чинясь, без скромности. «Ты одна, одна в душе моей, Дуняша!» — крикнул он про себя, но она покачала головой, да так грустно: нет, мол. Не верю.

— Запомните, сударь, — совсем трезво сказал ротмистр. — Пестель — глава заговора, и всякое упоминание его имени с симпатией может порядочным людям прийтись не по вкусу. Уж вы, господин Авросимов, выбирайте, чью сторону держать, да чтоб об том известно было...

Выбирайте, выбирайте... Вот она и выбрала того, который под рябиной. И с матушкой попрощалась.

Девушкам поднесли вина. Они выпили все разом. Утерлись белыми рукавами. Поклонились. И с самого краю откуда-то, будто месяц выплыл в лодочке, потянулся голосок один-единственный:

Не плачь, не плачь обо мне.
Не плачь, не плачь обо мне.

— Ой, ой! — закричал Слепцов. — Сердце разорвете! Воистину сердце разрывалось от звуков этого голоса, при виде Дуняши и подпоручика, который уже не ел, не пил, а сидел, высоко подняв голову, закрыв глаза, неподвижно, будто и нет ничего вокруг. Наш герой подумал, что паутинка прочно вокруг Заикина обвилась. А на что же он, бедняга, надеялся, когда в Комитете божился, будто знает, где она лежит, страшная Пестелева рукопись? Да как божился! «Я, я, я знаю! — говорил как в умопомрачении. — Велите меня послать! Я укажу». Но это сомнение вызывало, ибо не мог бедный подпоручик иметь отношение к тому, как рукопись прятали. И генерал Чернышев, тот главный паучок, собаку съевший в таких делах, тогда и спросил: «Вы сами зарывали?» «Сам, сам!» — крикнул Заикин, бледный как смерть. Ах мальчик, а не напраслину ли ты на себя возвел? И он, Авро-

..симов, строчил тот протокол, и голова его гудела в сомнениях. Ведь, судя по всяким там намекам, братья Бобрищевы-Пушкины к сему причастны были, но они сами — ни в какую, а он вызвался. Уж не обман какой? Не для отвода ли глаз? «Значит, вы сами зарывали? — спросил Чернышев. — А передавал-то вам уж не сам ли Пестель?» «Я сам зарывал, — отвечал подпоручик, — а кто передавал, сказать не могу». Тут он, мальчик этот, побледнел пуще прежнего. «Да как же так, — удивлялся Чернышев, — вас в те поры и в Линцах-то не было». «Был! — снова крикнул Заикин. — Проездом был, ваше превосходительство. Случай свел». Ну вот, случай так случай, бедный мальчик-подпоручик, какая вокруг паутинка!

Наш герой поднял от раздумий голову и тут увидел, что девушки уже покидают комнату, и одна лишь Дуняша замешкалась в дверях и обернулась, и снова глянула прямо в глаза ему.

— За такую песню полжизни отдаю, на! — крикнул ротмистр. — Да бери же ты!..

Но Дуняша все глядела на Авросимова, и так вот, не сводя с него глаз, и вышла прочь, и исчезла за дверью.

Пора было и ко сну отправляться.

— Она на меня так глядит, — сказал ротмистр, — что все во мне переворачивается. Верите ли, иногда даже думаю: да пропади все! Ан нет, утром-то и отойдешь...

— А вы не удерживайте себя, — сказал Авросимов. — Уж ежели она именно в ам улыбку шлет, чего же ждать?..

— Что вы, господин Авросимов, — засмеялся ротмистр, — у нее жених...

— Да черт с ним, с женихом! — выпалил наш герой. — Да вы его на конюшню! Чтоб он знал...

— Это невозможно, сударь, — изумленно сказал Слепцов. — Это не в моих правилах.

Они разбудили уснувшего в своем кресле подпоручика и все трое медленно отправились по коридору.

Представьте себе длинный коридор. Одна его стена глухая, увешанная картинами, писанными маслом, в золоченых рамах, из которых выглядывали тусклые физиономии ротмистровых предков; по другой стене — две двери, ведущие в комнаты, предназначенные нашим гостям: первая — Авросимову, вторая — подпоручику, а

сам ротмистр намеревался устроиться в дальней, венчавшей коридор.

Сон у подпоручика как сдуло; ибо привыкший к казематам крепости, он никак прийти в себя не мог от благ, выпавших на его долю, когда ни цепей, ни охраны, а сытость и любовь.

— Вы не сомневайтесь в моей порядочности, — сказал ему ротмистр. — Я, конечно, связан присягой и приказом, но что касается моего дома — здесь вы можете чувствовать себя вполне свободно. Уж как могу, я стараюсь облегчить вашу участь, вы это, надеюсь, видите...

Подпоручик, тронутый всем этим, горячо благодарил доброго хозяина и вошел в свою комнату.

Авросимов также в свою очередь поблагодарил хозяина за хлеб-соль да ночлег.

— Вот моя комната, — сказал ему ротмистр. — Так уж коли что, не стесняйтесь меня будить, — и отправился, не найдя для нашего героя ни одного ласкового слова.

Авросимов неловко хлопнул дверью и огляделся. Комната была невелика, но уютна. Большое окно смотрело в зимний сад, озаренный новой луной. От нее пятно лежало на паркете. По стенам темнели картины, старинное кресло, обращенное к окну, словно приглашало утонуть в нем. Кровать была широкая, и Авросимов тотчас вспомнил гостиницу и недавнее свое приключение. Он уселся в кресло. Оно продавилось, зазвенело под ним, закачалось.

И тут же возник, пронзительней чем раньше, уже знакомый зов, и серая невероятная ночная птица бесшумно снизилась и повисла над головой нашего героя, принеся с собой тревогу.

За стеной отчетливо кашлянул подпоручик. Скрипнула половица раз, другой, и уже пошел скрип, не переставая. Заикин метался по комнате.

Авросимов скинул сюртук, чтобы легче дышать в душно натопленном доме, и английский пистолет хлестнул его рукоятью по коленке. А надобно вам сказать, что великолепное свое оружие, с помощью которого мы сокращаем свой и без того короткий век; покоилось в сумочном кармашке, специально сооруженном нашим героем с таким расчетом, чтобы сей кармашек приходился как раз слева под мышкой, тем самым всегда скрытый просторным сюртуком. Что побуждало Авросимова

так удобно приспособить оружие, он, верно, и сам не знал. Скорее всего была это для него обольстительная заморская игрушка, одно обладание которой возвышало в собственных глазах, ибо он и представить себе не мог реальных возможностей сего пистолета, предпочитая наказывать обидчика, да и то в крайнем случае, руками, по-медвежьи.

А зов не умолкал, а, напротив, усиливался. Кто призывал к себе нашего героя? Кто это там, где-то, на него надеялся? Чья обессиленная душа, запутавшись в сомнениях и страхе, нуждалась в нем так отчаянно и горячо? И вот пистолет английский, блеснувший под луной, легко в ладонь улегся, и все тело нашего героя напряглось, как бы перед прыжком, и уже не было ни усталости, ни хмеля, а лишь учащенное дыхание — предвестье безумств.

Скрип половиц прекратился. Подпоручик, видимо, улегся, наконец, бедный. Зато из коридора послышались новые шаги, тихие и вкрадчивые. Кто-то шел осторожно, словно опасаясь расплескать воду. «Дуняша!» — мелькнуло в голове нашего героя.

«Руфь умылась, намастила себя благовониями и надела нарядные одежды, а потом отправилась в поле...»

«Я Руфь, раба твоя, прости крыло свое на рабу твою...»

Авросимов распахнул дверь. Испуганное лицо Дуняши возникло перед ним. В белой руке она высоко держала свечу. Страх ее пропал, едва увидела она нашего героя. Она улыбнулась, и два зубочка ее передних будто поддразнили Авросимова. «Нет, нет», — покачала она головой.

— Голубушка моя, — зашептал он с болью, — я зла тебе не желаю... Я тебя выкуплю, вот крест святой...

— Господь с вами, — рассердилась она, — да зачем мне ваш выкуп? Пустите, барин... — и снова улыбнулась, показывая два зубочка. — Вы своих лучше выкупайте, а нам не надобно...

«Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня?..»

И Дуняша медленно, словно в церковь, прошествовала по коридору и, отворив дверь в комнату ротмистра, скрылась за ней.

И снова наступила тишина.

«Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом...»

Авросимов воротился к себе, понимая, что отныне сну не бывать. Неслышимые в коридоре, снова явственно за скрипели в соседней комнате половицы. И вдруг наш герой различил в стене дверь, которой раньше и не заметил. Он нащупал ручку и потянул. Дверь поддалась со скрипом. Половицы смолкли.

— Кто здесь? — тихо спросил пленный.

Что было ответить ему? Ах, стон твой напрасен, напрасен, ибо ты пока еще вольная птица, и крылья твои не связаны, не перебиты.

— Это вы? — удивился Заикин, различив в темноте неясную фигуру нашего героя. — Что вам угодно, сударь? Вы следите за мной совсем уже бессовестно...

На это наш герой не смог ничего возразить. Он молча прошел к креслу и уселся.

— Вы пользуетесь тем, что я пленник и не могу прочесть вас, — продолжал меж тем Заикин, но в голосе его было уже недоумение и даже сочувствие, ибо лицо нашего героя, освещенное луной, являло такую скорбь, такое нечеловеческое страдание, что у всякого порядочного и не лишенного чувств человека сердце не могло не дрогнуть.

А бедный подпоручик, как вы, вероятно, успели уже заметить, как раз относился к категории людей порядочных и добросердечных, а посему, превозмогая собственные несчастья, он подсел к Авросимову, чтобы поинтересоваться, что же с ним приключилось, а может быть, и облегчить страдания.

— Сударь, — произнес наконец наш герой, — не корите меня понапрасну. Я действительно в полном расстройстве, и мне нужно было увидеть хоть одну живую душу. Клянусь вам, что я случайно обнаружил эту дверь и, услышав, что вы не спите, пришел к вам. Но не с просьбой о помощи рискнул я совершить сей шаг: никто помочь мне не в силах, но зная, что вам и самому крайне тяжело, я питаю надежду хоть в малой мере облегчить ваши страдания.

Подпоручик выслушал это признание с крайним удивлением; но произнесено оно было с такой искренностью, обстановка была так невероятна, что не поверить ему было нельзя.

«Дуняша, чем доказать благородство свое?..»

— Сударь,— продолжал Авросимов,— перед самым отъездом сюда я имел случай встретиться с Павлом Ивановичем,— при этих словах подпоручик стремительно прикрыл лицо руками.— Не буду клясться вам, что я разделяю ваши взгляды, сударь, даже больше того, скажу вам, что полковника Пестеля я с первых дней не любил, как злодея, а нынче, хоть и нет у меня к нему ненависти, но продолжаю его считать виновником наших с вами бед и несчастий...

— Вы заблуждаетесь,— глухо произнес подпоручик из-под ладоней.— Сейчас легко обвинять человека, который ни о чем другом и не думал, как о благе человечества... Но продолжайте, сударь, я слушаю вас.

— Я видел, как он поник головою при упоминании о своей рукописи,— с тоскою прошептал Авросимов.— Ведь ежели ее найдут и его мысли о цареубийстве подтвердятся, головы ему не сносить.

Тут произошло нечто чудесное: подпоручик вдруг словно принял целительных капель, словно окунулся в живую воду и вышел из нее обновленным и бодрым. Освещенное луной лицо его было прекрасно, большие глаза сверкали.

— Послушайте,— сказал он вдохновенно,— да вы чушь говорите! Пестель страдал от несовершенств общества так же, как и мы все, как и вы... Да уж вы позвольте мне всю правду вам говорить... Только вы этого не осознаете, а он осознал. При чем цареубийство, сударь? Россия отстала от Европы на пятьдесят лет, она от этого несчастна, и это не Пестелем придумано. Да при чем тут цареубийство?! Теперь, ежели все это свершилось бы, графу Татищеву многого пришлось бы лишиться, и генералу Чернышеву, и великому князю, и всему следственному Комитету, и всем губернаторам, сударь, и сенату, всем, всем... А уж о государе и говорить нечего. Вы понимаете? Им всем, всем, вы понимаете? Так как же им не безумствовать? Ведь что могло случиться! А цареубийство в Русской Правде и не поминается...

— А хорошо ли это? — воскликнул наш герой.— Обществу угрожать?

— Неправда,— сказал подпоручик, снова погасая,— сие неправда и неправда. Теперь легко возводить напраслину на пленного...

— Так ведь друзья на него показывали!

— Неправда, неправда,— забубнил подпоручик.— Какая ложь. Теперь легко все вывернуть, переиначить. Да это неправда все...

— Как же неправда, когда все об том знают?

— Неправда, неправда... Ах, не были вы в моем положении!

— Я жалею вас, верьте мне! — крикнул шепотом Авросимов.— Я обещаю, что в Петербурге помогу вам с Настенькой свидеться... Хотите? Я могу все ваши слова в протоколы с пользой для вас писать, с участием... Мне вас жалко, жалко, жалко вас!

Подпоручик словно боролся с безумством: руки его дрожали, и он никак не мог застегнуть ворот помятого своего мундира, а застегнув, принимался расстегивать, а потом — снова, и слезы лились по бледному его лицу.

Наконец мальчик этот несчастный переборол себя: то ли застегнул пуговицу, то ли расстегнул, уж и не знаю, но он сел на кровать и затих.

И тут в тишине ночной, как песня издалека, возникли едва слышные шаги, вкрадчивые и нежные. Наш герой прислушался: шаги доносились из коридора. Затем смолкли. Авросимов будто увидел, как она идет в белой домотканой рубахе, крадучись, по коридору после отчаянной своей любви, и истерзанные губы ее кривятся в плаче ли, в бессильной ли улыбке, и два зубочка склонились один к другому, дразня, а для чего — неизвестно. Видимо, она прислонилась на мгновение к стене. Но вот пошла. Старый паркет выдавал: скрип-скрип...

Тут наш герой, забыв о подпоручике, метнулся к двери и распахнул ее. Жандарм молоденький дремал, прислонясь к стене. Шагов не было слышно, но стоило Авросимову воротиться в комнату обратно, как снова они зазвучали. Теперь звук этот скрипящий доносился со стороны окна. Авросимов, совсем потерявший голову от всего происходящего, бросился к нему. Чье-то лицо, подобно луне, выплыло из-за стены и поползло по стеклу, и два недверчивых глаза заглянули в дом. Наш герой узнал унтера Кузьмина, закутанного в тулуп. К счастью, луна в этот миг скрылась и подлый жандарм не смог разглядеть в комнате ничего подозрительного. Тут наш герой ощутил себя самого узником, и тоска охватила его.

Подпоручик, видимо, заснул, как был в мундире. Усталость свалила его.

Авросимов тихонько прокрался к себе в комнату, сбросил одежду, утонул в перине и с облегчением вздохнул.

Не отъехали они и десяти верст от любезной и гостеприимной Колупановки, как не проронивший до сих пор ни звука, а только вздыхавший Заикин обратился к ротмистру Слепцову с просьбой надеть на него наручники. Изумленный ротмистр попытался было отшутиться, но подпоручик глухим голосом настаивал.

— К этому нет никакой надобности, любезный мой друг,— сказал ротмистр, пожимая плечами.

— А я вас прошу, Николай Сергеевич, сделать мне одолжение,— потребовал подпоручик.— И другом меня, ради бога, не кличьте. Я этого имени недостойн.

На глазах его были слезы, и лицо сморщилось, по всему видно было, что рыдания душат его.

Ротмистр, удрученный таким неожиданным оборотом дела, нахмурившись и сжав губы, заново украсил руки пленника цепями, а затем, откинувшись на сиденье, застыл в неподвижности.

Что же произошло? Эта мысль не давала покоя нашему герою, и он совершал всяческие движения, дабы привлечь внимание подпоручика, и, может быть, хоть как-то успокоить его и постараться выведать причину слез. Но подпоручик на Авросимова глаз не поднимал, будто его и не было.

Уж не ночной ли разговор тому причиной? Или следственное дело припомнилось, и гордость в нем забушевала?

Так они ехали. Начинался февраль. Солнце вдруг скрылось. И мелкая снежная пыль забивалась в кибитку, так что пришлось воспользоваться взятыми из крепости казенными тулупами да валяными сапогами.

Так они ехали, похожие на горе-прасолов или на купчишек, наскоро меняя лошадей, в чем отказу им не бывало, благодаря гербовой бумаге в руках у ротмистра. На постоянных дворах им предлагали горячие щи и неизменную кашу, хорошо, когда с мясом, да если еще огурчиков соленых. Озябнув в дороге, они молча выпивали вина, чтобы несколько оживить закостеневшие свои тела,

и проваливались в сон, не замечая ни клопов, ни тараканов.

Так они ехали. Но постепенно юг брал свое. А уже за Тульчином и вовсе потеплело, то есть не то, чтобы наступила весна, но мороз спал, и вьюга кожу на лицах не сворачивала.

Как ни пытался наш герой на протяжении всего пути вызвать подпоручика на разговор, ничего в сем деле не преуспел.

Не задерживаясь в Тульчине, они поскакали дальше и к полудню прибыли в Брацлавль, который отстоял от цели их путешествия всего на какие-нибудь пять-шесть верст. Чтобы не привлекать внимания посторонних, ротмистр Слепцов отложил операцию до глубокой ночи.

Кибитки остановились у постоялого двора, в котором, несмотря на захолустье, имелись даже отдельные комнаты.

Видя, что подпоручик совсем не заговаривает с Авросимовым и что последний ничего предосудительного не пытается предпринять, а сам тоже находится как бы в прострации, Слепцов успокоился и перестал глядеть на нашего героя волком.

Жандармам, предварительно еще в пути сменившим одежду, чтобы не вызывать подозрений у мирных обывателей, среди которых могли оказаться и сочувствующие злоумышленникам, Слепцов положил разместиться в общей избе, а подпоручику и нашему герою была предоставлена светелка наверху, так что скрытые от посторонних глаз, они могли наконец отдохнуть после много трудной бешеной скачки через всю Россию и Малороссию.

Разместив всех таким образом, ротмистр отправился искать местного исправника, дабы заручиться от него всякой поддержкой, всякой помощью, какая понадобится, не раскрывая даже и ему истинного смысла предстоящей ночной работы.

Дверь за ротмистром хлопнула, и молодые люди, я позволю себе называть их так, остались наедине.

Тут Авросимов разглядел, как сильно сдал подпоручик за дорогу, хотя слез он уже не лил, но грустные их следы хорошо запечатлелись на его исхудалом лице. По склоненной голове и невидящему взгляду можно было с легкостью догадаться, какие страшные бури опустоши-

ли за недолгий срок этот молодой организм, какие невероятные муки подточили эту еще недавно здоровую гордую душу.

Но как же было что-либо выяснить, ежели подпоручик по неведомой прихоти совершенно не замечал нашего героя и делал вид, что не слышит его слов, когда Авросимов предпринимал робкие, жалкие попытки вывести пленника из оцепенения. И здесь, в избе, покуда наш герой приводил себя в порядок и ломал голову, стараясь что-нибудь придумать, Заикин лежал на лавке, опустив руки до полу, безучастный ко всему. Вдруг он сказал:

— Чего там говорить о благородстве, когда ложью за все расплачиваются...

— О чем вы, сударь? — спросил Авросимов, радуясь, что этот несчастный пришел наконец в себя, но подпоручик не отозвался.

Тем временем вернулся ротмистр, очень, по-видимому, довольный ходом дел, велел принести в комнату обед, и они втроем уселись за стол.

И вот снова они сидели друг против друга, но так как, видимо, установившееся за последние дни молчание не способствовало аппетиту, ротмистр нарушил его первым:

— И все-таки армейская жизнь имеет много прелестей, — сказал он, бросая взгляд на подпоручика. — Служить в Петербурге на виду у великого князя или у Самбого — это вам ого-го... Вам, Николай Федорович, весьма повезло иметь службу в полку армейском.

Подпоручик молчал, и Слепцов продолжал:

— Вы, Николай Федорович, скоро вернетесь в свой полк, уж вы мне поверьте. Лишь бы наше с вами предприятие нынче прошло успешно.

Щи были отменны, а может, с дороги казались таковы. Неизменная каша была не хуже. И после обеда потянуло в сон. Подпоручик, закончив трапезу, так и не сказав ни единого слова, улегся на свою лавку и закрыл глаза. Ротмистр и Авросимов переглянулись.

— Давайте спать, сударь, — сказал Слепцов. — Ночь нам предстоит нелегкая. У меня предчувствие.

Нашего героя такое предложение весьма обрадовало, ибо разговаривать с ротмистром не хотелось. После ночлега в Колупановке образ Дуняши не шел из головы Авросимова, и с тех пор, стоило ему только остаться с глазу

на глаз с ротмистром, как тотчас мучительное видение возникало в нем, как шла она по коридору с высоко поднятой свечой в руке, в белой домотканой рубахе, мимо брезгливых предков своего барина, к нему, чтобы убажить его, лейб-гусарскую лису, забывая о плачущем женихе... Впрочем, как вы сами догадываетесь, наш герой не очень страдал сердцем за неведомого сего жениха, которого, может, и не было; но когда в душе вашей переплелись два коварства, а именно, когда к коварству Дуняшиному прибавлялось коварство ротмистра, суеющегося вокруг пленника, устраивающего представление со снятием цепей, с хором и прочим, и когда, словно две его тени — две жандармские физиономии показывались вам из дверей да из окон, тогда, милостивый государь, вам тоже было бы несладко.

О чем он пекся, этот розовощекий адъютант, раздавая обещания, похвалы и тайные угрозы? Кому служил? Богу, царю али собственной корысти? Хотя, ежели подумать, какая ему корысть? Но в то же время все-таки корысть, ежели его фортуна будет к нему милостива и рукопись будет отрыта.

А ему, Авросимову? И месяца не прошло, а деревня забыта, где был он сердцем спокоен и душой здоров; и матушка вспоминается реже, а все больше иные картины маячат перед взором: то каземат, то флигель дивный, то Милодорочка, то граф... И голова теперь уже гудит, не переставая. И тайный зов все тот же тревожит чаще. Ах, Пестель, злодей, виновник всего!

«А признавайся-ка, Дуняша, на кого ты давеча глядела?»

Словно злая лихорадка мелко трясла нашего героя. Уже давно все спали, когда он, так и не избавившись от озноба, последовал за своими попутчиками. Но не успел он отдаться сну, как его забило сильнее, и он вскочил, подгоняемый неведомой силой, и побежал вон из избы, с постоялого двора, и бежал, покуда не очутился в знакомом коридоре, среди серых его стен, где опять слева на стене темнело пятно то ли от воды, то ли от выплеснутых щей. Рукоять пистолета горячила ему ладонь, зов о помощи раздавался то справа, то слева, то спереди. Скорей, скорей! Он торопил себя и задыхался, и бежал по проклятому коридору к кому-то, зачем-то. Скорей, скорей!..

Тут его разбудили, и кто-то опять остался спасенным.

Горела свеча. Спутники его торопливо одевались. Жандармы, и молоденький и унтер Кузьмин, находились здесь же и, закутанные в тулупы, напоминали ямщиков.

Наконец в двери тихонько постучали, вошел местный исправник, титулярный советник господин Поповский, как его небрежно представил ротмистр, не представляя ему, однако, своих спугников, как бы по забывчивости.

Исправник, на лице которого было написано страдание обойденного тайной человека, доложил ротмистру, что все, мол, готово, и люди с лопатами сидят в санях, дожидаясь.

Постоялый двор спал, когда они, предводительствуемые исправником, возносящим в руке мигающий фонарь, осторожно, словно тени, прокрались по лестнице, через сени и вышли вон.

Кибитки стояли у самого крыльца. В открытых дровнях в сене сидели молчаливые испуганные люди. Все устроились по своим местам, и ужасная вереница потянулась к селу Кирнасовке, туда, где, по рассказам, зарыты были страшные бумаги злодейского Павла Ивановича.

Перевалило за полночь, когда они достигли места. Ехали в полном молчании и разгружались так же. Сквозь темень проглядывали линия неподвижной реки, невысокий снежный берег да лес в отдалении. Фонари, прихваченные исправником, почти не светили, то есть желтые круги, падавшие от них, были малы и тусклы. Звякнули лопаты, кто-то выбранился испуганным шепотом.

Слепцов. Где же сие место, Николай Федорович? Заикин. Погодите-ка, сударь. Я хочу оглядеться.

Исправник. А сей предмет железный или сундук?

Слепцов. Господин исправник, мы же с вами уговорились...

Исправник. Господи, вы меня не так поняли!

Слепцов. Может, вот здесь?

Заикин. Бог мой, да не дергайте вы меня!

Слепцов. На вашем месте я бы запомнил...

Исправник. Ежели не запомнили, так все напрасно...

Унтер Кузьмин. Ваше благородие, я на том конце стану, чтоб от села кто не подошел.

Слепцов. Ладно, ступай... Ну, что у вас?

Заикин. Пожалуй, здесь.

Исправник. Уж вы поточнее, милостивый государь. Ведь землю рыть, мерзлую землю.

Слепцов. Господин исправник, приказываю я и говорю я. Вы ведите рабочих.

Исправник. Да разве ж я претендую?

Заикин. Боже мой, какой позор, какой позор!

Слепцов. Возьмите себя в руки, Николай Федорович. *Vous n'êtes pas un homme*¹.

Заикин. Легко говорить *dans votre situation*².

Лопаты глухо врезались в снег. Он был достаточно глубок и плотен, однако в скором времени уже обнажилась прошлогодняя трава. Послышался звук кирки, бьющей о мерзлую землю.

Слепцов. Дьявол! Так мы и до утра не управимся.

Исправник. Что вы, господин ротмистр. Люди застоялись — вмиг отроют. Ну-ка, ребята...

Заикин. Какой позор. Я совсем потерян.

Авросимов. Да вы успокойтесь. Сейчас найдут... Уж коли вам так того хочется...

Заикин. Оставьте меня...

Слепцов. Что?

Авросимов. Я успокаиваю господина Заикина. Он совсем не в себе.

Слепцов. Ну, что там?

Исправник. Покуда — ничего... Ежели предмет деревянный, он мог и сгнить, хотя... ежели срок недолгий...

Слепцов. Мы же уговорились.

Исправник. Да вы меня не так поняли.

Слепцов. Что-то пока ничего, Николай Федорович...

Заикин. Да?.. Может, к дороге поближе?..

Слепцов. Ведь должен быть ориентир. Вы же военный...

Заикин. Да, да, конечно... Вот здесь... Точно вот здесь...

Исправник. Что, не то место?

¹ Вы не мужчина (фр.).

² в вашем положении (фр.).

Слепцов. Ах, Николай Федорович! Да возьмите себя в руки. Здесь, что ли? А может, здесь?..

Зайкин. Сейчас, сейчас... Боже, какой позор!.. Немного к дороге поближе...

Слепцов. Ну вот видите! Время же потеряно, черт. Вы не суетитесь, Николай Федорович, не нервничайте, а еще раз проверьте. Вот черт!..

Исправник. Поразительно, как это в моей округе что-то зарывают, а я и не знаю. Ежели б предмет был железный, его легче было бы найти, я уверен. Он, что, в виде погребца, да?..

Слепцов. Уймись, наконец. *C'est malhonnête!*¹

Исправник. *Je veux faciliter votre tâche*². Вы меня неправильно понимаете.

Зайкин. Ну, что там? Что же?..

Слепцов. Покуда — ничего. У меня предчувствие, что ничего и не будет. Это место не похоже на то, где можно что-нибудь зарыть.

Зайкин. Боже мой, боже мой...

Авросимов. А может, и не зарывалось ничего, а так, слух пошел?

Слепцов. Что?

Исправник. Здесь тоже ничего. *Aucun resultat*³. Может быть, ближе к лесу? *Quoique j'en doute*⁴.

Слепцов. Эй вы, что за остановки? Давайте, давайте!

Исправник. Странная у вас компания.

Авросимов. Чем же, сударь?

Исправник. Этот прекрасный подпоручик очень удручен, как будто решается его судьба. *J'ai vu ses larmes*⁵.

Авросимов. Это от холода, сударь.

Исправник. *Bien sûr*⁶. Он что, причастен?

Слепцов. Ну, что там у вас?..

Авросимов. Вы потише, сударь.

Исправник. Я так и знал. *Quelle monstruosité!*⁷

¹ Это же непорядочно! (фр.)

² Я хочу облегчить ваш труд (фр.).

³ Никакого результата (фр.).

⁴ Хотя я сомневаюсь (фр.).

⁵ Я видел его слезы (фр.).

⁶ Естественно (фр.).

⁷ Какое чудовищное злодейство! (фр.)



Слепцов. И опять ничего. Вот черт!

Зайкин. Может, они плохо роют? *Mais je me souviens, je me souviens*¹.

Авросимов. Вы не можете осуждать.

Исправник. Нет уж, могу! И даже смею!

Слепцов. Ну что еще? О чем вы?

Исправник. Господин ротмистр, мы напрасно теряем время.

Слепцов. Это еще почему?

Исправник. Ежели недавно зарыт предмет, ежели тут недавно зарывали, как же могла трава сохраниться? *C'est impossible, impensable*².

Слепцов. Черт! *Trahison!*³ Что же вы молчали?

Исправник. Я было пытался, но вы, *etant de mauvaise humeur*⁴, всякий раз обрывали меня...

Слепцов. Вы всякий раз говорили, о чем угодно, только не об этом... Мы теряем время и деньги!.. Николай Федорович, голубчик, что же это, а?

Зайкин. *J'ai rien à vous dire*⁵.

Слепцов. Ладно, до рассвета есть время. Сделаем передышку и попробуем еще раз. А вы, сударь, подумайте хорошенько, черт возьми! Мы не можем *partir bredouillé*⁶.

Авросимов. Сударь, вспомните о том, кто несчастнее вас...

Зайкин. Оставьте меня!.. Неужели вам радостна будет моя гибель?

Авросимов. Это не гибель, а жертва...

Зайкин. Я уже жертвовал... Ничего из сего не вышло...

Авросимов. Да вы не сожалеете об том.

Зайкин. Оставьте меня!.. Кабы вы знали про все, вы бы меня не мучали.

Слепцов. Да, действительно, глубже копать уже некуда. Вы ведь утверждали, что не глубоко, да?

Зайкин. Говорил... Сударь, Николай Сергеевич...

Исправник. Люди готовы, можно начинать.

¹ Я же помню, помню... (фр.)

² Это же невозможно, исключено (фр.).

³ Предательство! (фр.)

⁴ находясь в нерасположении (фр.).

⁵ Мне нечего вам ответить (фр.).

⁶ уходить с пустыми руками (фр.).

Слепцов. Мы начинаем, господин Заикин. Мы пробуем еще раз. На вашей совести...

Заикин. Хорошо, давайте еще раз... Помнится мне, что действительно ближе к лесу. Да, да, теперь вспоминаю. На той же линии, только ближе...

Слепцов. Здесь, черт возьми?

Заикин. Да, пожалуй...

Слепцов. Или здесь?

Заикин. Нет, нет, хотя, впрочем, возможно и здесь...

Слепцов. Ну?

Заикин. Да, скорее всего здесь... Да, я помню... Конечно... Николай Сергеевич, послушайте меня...

Слепцов. А, черт... Господин исправник, приступайте...

И снова глухо ударили лопаты, и тяжелое дыхание копающих перемешалось с шорохом мерзлой земли. Что-то там бубнил ротмистр Слепцов, перебегая от одного мужика к другому, взмахивал руками в отчаянии или во гневе. Подпоручик черной тенью неподвижно застыл в стороне, и в его позе тоже сквозило отчаяние. Из лесу крикнула птица, кто-то позвал, пронзительно и тоскливо.

Мысль о том, что в сей тайной работе нет резона, все больше и больше терзала Авросимова. Действительно, уж коли страшен был заговор, так не бумажками этими, ради которых столько мук и слез и унижений. Или это опять игра? Уж не заигрались ли в нее, чтобы видимость была истинного служения? Вот и подпоручик так искренне, так чистосердечно восклицал, что, мол, все неправда, напраслина, что этого, мол, быть не могло, то есть не было склонности к цареубийству... Да мало ли, чего я напишу! Нет уж, сударь, вы меня в действии уличите, а опосля и казните, а так я пред вами чист.

«А ежели он прав? — вдруг подумал наш герой с ужасом.— Хотя кто же нынче посмеет это подтвердить? Противники-то разве подтвердят? А друзья ведь отрекутся...»

«Дуняша, как же ты от выкупа отказалась?»

А может, это ротмистр розовощекий ее принудил? Чего же она так печально глядела? Хотя, чего же она так легко туда шла, словно в церковь, в своей домотканой рубахе? По этому скрипящему коридору?.. Ах, это не Пестелю по своему коридору идти... Жалеет ли он о своем поступке? Вестимо, жалеет, ежели бросился за кружкой

перед ним, перед Авросимовым, который даже и не граф... Ах, вздор все, пустое. Вон он как перед графом сидит с дерзостью... Да где вы взяли дерзость-то? Как где? Или я не вижу? Да что вы, сударь, один страх и есть... Полноте, не страх вовсе, а скорбь... Да как он посмел, ротмистр несчастный, Дуняшу к себе силком заполучить?.. Как он мог правом своим воспользоваться, лицемер, говорящий, что они, мол, тоже люди!.. Ах, да оставьте вы, ей-богу, она как на праздник к нему шла... Вот как.

И надо было, покуда пистолет в ладони не охладел, ринуться к ротмистру в опочивальню, где он готовился к наслаждению, чтобы поднять его с ложа, его, считающего себя в полной безнаказанности. Ах, как вскочил бы он! «Перестаньте дрожать, сударь, я не разбойник. Надеюсь, вы не откажетесь от честного поединка... Где и когда?»

Исправник. Командир Вятского полка Пестель неподалеку здесь жил.

Авросимов. Ну и что?

Исправник. Хмурый был человек. Злодейство на его лице было написано. Как это он один, однако, против всех решился?

Авросимов. А нынче все против него...

Исправник. И поделом... Видите, как это ужасно, нарушать общий ход жизни!

Слепцов. Ну вот. Опять трава. Нас водят за нос, как детей! Предчувствие меня не обмануло. Я как знал, что вылазка будет неудачна. Николай Федорович, ваши шансы теперь — пыль. *Vous comprenez à quel point votre situation est compliquée?* ¹

Зайкин. Боже мой, я сам во всем виноват! Какой невероятный позор. *Je me sens menteur* ².

Слепцов. *Vos regrets, vous pouvez les garder* ³. Они не помогают. Ладно, хватит. *Que les juges décident* ⁴. Господин исправник, отправляйте мужиков.

Зайкин. Господин ротмистр, Николай Сергеевич. *Je veux faire un aveu important* ⁵. Теперь уже все равно.

Слепцов. Что еще?

¹ Вы понимаете всю сложность вашего положения? (фр.)

² Я чувствую себя лжецом (фр.).

³ Раскаяния оставьте при себе (фр.).

⁴ Пусть решают судьи (фр.).

⁵ Я хочу сделать важное признание (фр.).

А вросимов. А может, рытье до завтра отложить? Обдумать все...

З а и к и н. Ах, оставьте с вашими советами, бога ради! Николай Сергеевич...

С л е п ц о в. Да говорите, черт возьми! *Soyez donc un homme!*¹

З а и к и н. Теперь уж все равно. *Vous avez été bon envers moi, et moi j'ai abusé de votre bonté*². Я лжец. Мне нет прощения. Вы были мне как брат, как отец, а я *j'ai tout détruis*³.

С л е п ц о в. Подпоручик, перестаньте жаловаться, в самом деле. *Je ne veux pas en entendre parler*⁴. Садитесь, господа, в кибитку.

Вот снова лошади рванули и понесли одуревших от усталости и разочарований людей к месту их ночлега.

В светелке, после того как расстались с неугомонным исправником, случилось маленькое происшествие, которое послужило началом дальнейших новых испытаний нашего героя.

Всему на свете есть предел, и нынче, то есть в эту злополучную ночь, душа Авросимова взбунтовалась. Истерзанный общим ходом дела, он, словно разъяренный зверь, затаившийся в кустах и выжидающий удобного момента, подкарауливал свою жертву, в которую велением души превратился ротмистр Слепцов. Все теперь в ротмистре возбуждало в нем гнев: и голос, и улыбка, и то, как он ходит, как ест, как стакан подносит ко рту...

— Послушайте,— сказал ротмистр подпоручику, сидящему на своей лавке в обреченной позе,— вы взяли меня одурачить? Я на вас положился и получил за это. Надо было мне держать вас за арестанта, а не за друга, в которого я поверил и которого полюбил всей душой.

Тут несчастный подпоручик заплакал, не стесняясь.

— Николай Сергеевич,— сказал он, плача,— я хочу вам сказать... но это, если вы... если это останется меж нами...

— Что же вы можете мне сказать? Что вы теперь можете?.. Ну говорите, говорите... Я даю слово...

¹ Ну будьте же мужчиной! (фр.)

² Вы были ко мне добры, а я злоупотребил вашей добротой (фр.).

³ растоптал это все (фр.).

⁴ Я не желаю слушать (фр.).

— Николай Сергеевич,— проговорил подпоручик с трудом,— делайте со мной, что хотите... Я рукописи не зарывал...

При этих словах ротмистр побледнел и долго пребывал в оцепенении.

— Для чего же вы всё проделали? — с ужасом и стоном спросил он наконец.— Вы понимаете, что это значит? Что же теперь, сударь?.. Но мне даже не потерянное время и невыполненный приказ столь ужасны, сколь ваша неблагородная ложь...

— Господин ротмистр,— проговорил подпоручик уже в полном отчаянии,— не называйте меня лжецом,— слезы так и текли по его лицу.— Да, я обманул вас, но в обмане моем не было злого умысла. Когда братья Бобрищевы-Пушкины отреклись от сего, а они, они ведь зарывали сии злополучные бумаги!.. так я решил взять на себя вину их... Всю дорогу, видя ваше со мной обхождение, я страдал и метался, понимая, что поступаю с вами подло, ввергнув вас в авантюру... Но поймите человека, очутившегося среди двух огней!

— Нет! — крикнул ротмистр дрогнувшим голосом, словно борясь с собой.— Нет! Вы не смели, черт возьми, морочить голову мне, господину Авросимову, следствию и государю! — вдруг он поник и сказал с болью: — Как вы сами себя наказали! Как отягчили свою судьбу...

— Я не хотел зла, не хотел зла,— пуще прежнего зарыдал подпоручик.

Милостивый государь, жизнь раскрывала перед нашим героем множество страниц. Он повидал молчаливых преступников, с дерзостью встречавших вопросы судей, не желавших отречься от собственных злодеяний; были и другие — истекающие слезами и раскаивающиеся. Их раскаяния начинались с порога, и уж трудно было, даже невозможно было их остановить, бог им судья... Но это была новая страница, когда на глазах Авросимова свершалось чудо падения от страстного взлета в бездну, от самопожертвования к рыданиям и страху, ах, ведь недавно совсем этот мальчик дух свой укреплял благородным стремлением, а тут вдруг повернулся спиной к собственному благородству.

Вот какую новую страницу перелистнула жизнь перед нашим героем, вот что повергло его сначала в ужас, а после — в гнев, которому суждено было расти на его

собственное несчастье. Он вдруг увидел, как некий неистовый вихрь пламени и дыма обрушился на племя людей, заставляя их плясать, извиваться и корчиться, словно они и не люди, а жалкие осенние листья перед началом зимы; затем он увидел, что тот страшный и неумолимый вихрь есть не что иное, как их собственные безумства, и он попытался заглянуть еще дальше и еще глубже, но там уже начинался бог.

— Что же нам делать? — спросил ротмистр, когда страсти несколько поулеглись. — Участь ваша будет ужасна, господин подпоручик, ежели не найдется кто-либо в сем осведомленный, ежели вы его не найдете... Ведь должен был кто-то с вами об том разговаривать...

— Да, да, конечно, — проговорил подпоручик, едва сдерживая рыдания. — Такой человек есть... Дозвольте мне с ним встретиться, и я уговорю его раскрыть вам тайну.

— Кто он?

— Сударь, — вновь зарыдал подпоручик, — я назову вам человека, ежели вы пообещаете мне... дадите слово... Ежели в вас осталась хоть капля былого ко мне расположения, вы дадите слово, что оставите его имя в тайне... ибо он к сему делу совершенно не причастен... Если вы дадите слово... Ему просто показали, где зарыта рукопись, а какая — он не ведает... ежели вы дадите слово... ежели вы дадите слово...

— Назовите же мне его, — сказал Слепцов несколько в растерянности. — Время уходит. Я даю вам слово.

— Вы слышите? — обратился Заикин к нашему герою. — Он дает слово... Вы дали слово, господин ротмистр, Николай Сергеевич, что не предпримете к названному лицу никаких мер...

— Кто он?

— Сей человек, — проговорил Заикин строго, — мой родной брат Феденька Заикин, который здесь... в Пермском полку подпрапорщиком... ежели вы позволите мне с ним увидеться...

— Нет, — сказал ротмистр. — Это исключено. Вы напишете ему письмо. Горе вам, ежели он упрется! Я предвижу ужасный поворот в вашей судьбе...

— Сударь...

— Я хочу спасти вас. Еще одна возможность...

— Я не стою вашей доброты...

— Вы напишете как бы из Петербурга, поняли?.. Как бы вы из крепости пишете,— оцепенение покинуло ротмистра. Он заходил по светелке.— Вы тоже пишете, господин Авросимов...— шепнул он нашему герою.— Вы пишете подробный отчет о случившемся.— И снова громко: — Время не ждет. Я постараюсь раздобыть в полку фельдъегеря нынче же...— Исчезнувший было румянец вновь заиграл на его щеках.— Не медлите, господа: рассвет.

Подхваченные этим вихрем, и узник и вольный дворянин равно заторопились, и в желтом сиянии свечи их перья помчались по бумаге, разбрызгивая петербургские чернила.

Не буду утруждать вашего внимания донесением Авросимова, ибо он ничего не добавил к безуспешной ночной работе, свидетелями которой вы уже были, а господин подпоручик Заикин написал следующее:

«Любезнейший брат Фединька!

Я знаю верно что Павел Пушкин тебе показал место где он зарыл бумаги,— мне же он показал и видно неверно, я чтоб спасти его взял на себя вызвался и жестоко быв обманут погибаю совершенно. Тотчас по получении сей записки, от Николая Сергеевича Слепцова покажи ему сие место, как ты невинен, то тебе бояться и нечего ибо ты будешь иметь дело с человеком благородным моим приятелем который ни мне ни тебе зла не пожелает. Прощай будь здоров и от боязни не упорствуй, ибо тебе бояться нечего а меня спасешь. Любящий тебя брат твой

Н и к о л а й З а и к и н.

Прошу тебя ради Бога не упорствуй, ибо иначе я погибну, чорт знает из чего из глупостей от ветренности и молодости. Если я пишу тебе сию записку, то ты смело можешь положиться на Николая Сергеевича Слепцова, ибо я ему совершенно открылся. Помни что упорство твое погубит меня и Пушкиных ибо я должен буду показать на них. Прошу еще раз не бойся и покажи».

— Николай Сергеевич, но вы дали слово, вы дали слово,— сказал подпоручик, вручая ротмистру письмо.

Слепцов, весь кипя, схватил письмо и донесение, составленное Авросимовым, и исчез, и вскоре наши герои услышали, как кибитка умчалась от постоянного двора.

Наш герой, будучи не в силах видеть отчаяния, обреченности и падения молодого офицера и не имея способов поддержать его, ибо молодой офицер полностью его не замечал, вышел вон из дома, чтобы просвежиться по морозцу, а когда воротился, застал возле дверей светелки двух уже знакомых жандармов, которые, даже несмотря на сильную духоту, не сымали с плеч казенных тулупов. Их присутствие снова неприятно кольнуло его, тем более что унтер Кузьмин, развалившись прямо на полу перед дверью, и не подумал убрать свои ноги перед шагающим Авросимовым, мало того — предерзостно поглядел в глаза нашему герою.

Заикин лежал на лавке в любимой своей позе, подложив руки под голову, и слезы медленно текли по щекам.

— Все кончено, — вдруг сказал он, едва наш герой вошел в светелку. — Что же теперь будет, сударь? Теперь мне и жить нельзя, после всего. — Авросимов спервоначала удивился, что подпоручик обращается к нему, а после удивление сменилось участием, такова уж была натура нашего героя. — Что же с Фединькой будет? Подвел я мальчика, подвел! Будто и можно положиться на слово ротмистра, да сомнения меня грызут... Я очень ослаб. Знаете, даже вот рук подымать не хочется... Не нарушит ли ротмистр слова?..

— Вы успокойтесь, — посоветовал Авросимов. — Даст бог...

— Не даст, — вдруг засмеялся подпоручик. — Не даст, да и все тут. Уж коли раз не дал, так больше и подавно... Уж коли с Пестелем не дал... С Пестелем, сударь!..

— Вы отрекаетесь? — без удивления, даже как бы равнодушно спросил наш герой. — Нет, вы говорите... Отрекаетесь? Уж если отрекаетесь, то чего махать кулаками? Ведь верно?..

— Полноте, не давите на меня... Вы знаете, как я пришел к нему? Какие прекрасные бури бушевали во мне? Как я горел?.. Вот то-то, сударь... Все было отринуто: любовь, суета жизни, личное устройство. Нетерпение сжигало меня, нетерпение, сударь. Картины, одна прелестнее другой, возникали в моем юношеском вообра-

жении, подогреваемые рассказами старших моих товарищей. Когда я засыпал, я видел перед собой предмет своего вождения — страну, где ни подлого рабства, сударь, ни казнокрадов и грабителей, ни унижения одних другими, вы слышите? Ни солдатчины со шпицрутенами, но где добродетель и просвещение во главе... И синие моря, и зеленые горы, и воздух чист и ясен. Ну чего вам еще? Нет грязных трактиров, где умирают в пьянстве, нет постоянных дворов, где хозяева — клопы и тараканы, нет рубища... Господи, всего лишь два года назад в моей голове созревало все это! И тут я пришел к нему, как простой пастух к Моисею. И я увидел его холодные глаза. Господи, подумал я, неужто я смешон?

— Как вы это себе мыслите? — спросил он.

Я рассказал ему с жаром молодости, с азартом, сударь.

Тут он усмехнулся.

— Это прелестно, — сказал он, — ну а практически как вы представляете себе движение к сей прелестной цели? Представляете ли?

Я сказал, что постепенно, приуготовляя армию, мы поставим правителей перед необходимостью согласиться с нами...

— Под угрозой штыков?

— Что вы хотите этим сказать, господин полковник?

— Вы все-таки уповаете на армию, — снова усмехнулся он. — Значит, вы не отрицаете силы, стоящей перед вами?

— Нет, нет, — горячо возразил я. — Армия выскажет общее мнение. С этим нельзя не считаться...

— Ликвидация противоборствующей силы входит в предначертания любой революции, — сказал он.

Голова моя закружилась, когда я услышал сей жестокий приговор. Зеленые леса пожелтели. Моря, сударь, высохли. Пустыня окружала меня, выжженная пустыня, и в центре ее возвышался злой гений с холодным взором.

— Стало быть, — пробормотал я, — пушкам надлежит стрелять, а крови литься?

Он снова усмехнулся.

— Когда бы можно было без того, я первый сложил бы оружие и надел бы хитон и сандалии.

— Но благоденствие!.. — воскликнул я.

— Не говорите громких фраз,— оборвал он сурово.— Желание добра — точная наука.

— Какое же добро на крови-то? — ужаснулся я.

— Лучше добро на крови, чем кровь без добра,— отрубил он.

«Что же это должно означать? — подумал я с отчаянием.— Или неправы мои старшие товарищи? Нет, это невозможно. А он, неумолимый и точный как машина, ежели он не прав, чего ж они тогда боятся и любят его?»

Разве я мог тогда ответить на все эти вопросы?

Обетованная земля моя оскудела, кровь и пепел, и хрип бесчинствовали на ней. «Остановись! — твердил я самому себе.— Это умопомрачение!..» Но остановиться я уже не мог. Вот как. Нынче же разве это есть отречение? От чего ж мне, господин Авросимов, отречься, коли сие и не мое вовсе, а чужое?..

Еще один слабый друг с поспешной радостью заторопился прочь, не боясь осуждения, ибо осуждать было некому.

— Стало быть, не от мыслей, а от него отрекаетесь,— с грустью промолвил Авросимов, жалея все-таки подпоручика.

— Нет,— покачал головой Заикин,— от него — нет. Я не способен на бесчестье. Я же говорю вам, что это грех был не верить ему.

За дверью глухо переговаривались жандармы. И снова нашему герою показалось, что это он, Авросимов, не сделавший никому никакого зла, и есть узник, что будто вот они вдвоем с подпоручиком привезены сюда под конвоем и связаны общею судьбою, и что подпоручик уже сломлен, а Авросимову только еще пришел черед. Сейчас явится ротмистр, потерявший свое очарование, суетливый как распоследний писарь, вернется и произойдет нечто, отчего придется нашему герою валяться в ногах и отречься. Бледного и печального повезут его в Петербург, и там, в крепости, поведет его плацмайор Подушкин погибнуть в каменном мешке.

Тем временем уже ощутимо вставал февральский рассвет. Внизу ругались ямщики. Скрипел колодезный ворот. Запах печеного хлеба струился по дому. Подпоручик погрузился в кошмары на своей лавке и хрипел, и вскрикивал, и метался.

Авросимов погасил свечу, и светелка, едва тронутая

серой дымкой, окружила его и погребла, словно крепостной каземат; где-то сейчас, наскоро перекусив, летел равнодушный фельдъегерь к Петербургу; где-то ротмистр вился вокруг Феденьки Заикина, чем-то его соблазняя, а может, напротив — пугая; где-то Милодорочка в чужом доме просыпалась после любовных утех; где-то Пестель стряхивал со столика утреннего прусачка, не ведая о своей судьбе, но внутренне содрогаясь.

Авросимов выглянул в оконце. До земли было недалеко. Можно вполне, повиснув на руках, соскочить, и вон — лес темнеет... Ах, господи, как хорошо на воле!

В этот самый момент на двери щелкнула задвижка. Страшная мысль ударила в голову нашему герою, он кинулся к двери и толкнул ее плечом, со всего маху. Она не поддавалась. Подпоручик закричал во сне что-то несуразное... Тут страх еще более завладел Авросимовым, и вспомнились глаза ротмистра, как он спрашивает: «И чего вас со мной послали?..»

— Отвори, дьявол! — крикнул Авросимов и загрохотал в дверь кулаками. Никто не отзывался. — Отвори, убью!..

— Вы на себя потяните, — сказал за спиною подпоручик.

Авросимов, как безумный, рванул дверь и вылетел в коридор. Жандармов не было. Он сбежал вниз, через сени — на улицу, пробежал шагов двадцать и остановился.

«Господи, — подумал он, тяжело дыша. — Как хорошо на воле-то! Да пусть они разорвутся все и провалятся со всеми своими бурями и завистью! Да пусть они сами чего хотят и как хотят! Пусть расплачиваются сами и отрекаются, да... и пусть расплачиваются!..»

Но постепенно свежее утро сделало свое дело, и сердце нашего героя забилося ровнее. Возвращаться в светелку не хотелось, да и сон отлетел прочь. Тогда он пошел по утреннему Брацлавлю, так, куда глаза глядят. Господи, как хорошо на воле-то!

Представьте себе, все мысли улетучились из его головы, и февральский ветерок гулял в ней, и детская улыбка дрожала на раскрытых устах.

Прошло довольно много времени, как его догнал унтер Кузьмин и, не глядя в глаза, отрапортовал, задыхаясь в казенном тулупе:

— Ваше благородие, извольте вертаться. Господин ротмистр кличут.

— Ротмистр? — удивился Авросимов, возвращаясь на землю, где по-прежнему были дома, снег и заботы.

В светелке было тихо. На столе в миске румянились горячие пироги. Подпоручик крепко спал. Слепцов сидел у окна в раздумье. Он подмигнул Авросимову, словно приятелю, и улыбнулся.

— Наше с вами дело, господин Авросимов, в полном порядке. Я мальчика уговорил. Нынче ночью выроем и поскачем. Теперь у нас с вами все хорошо... Ух, я-то было перепугался!

«...Дуняша, оскорбитель твой, вот он — рядом. Скажи, что делать с ним?..»

— Вы так радуетесь, будто получили наследство, — шепотом, не скрывая неприязни, сказал наш герой. — Хотя, может, это и хорошо...

— Да ну вас, — засмеялся ротмистр, — все вам не так, ей-богу...

И вот его молодая рука потянулась к пирогу, и длинные пальцы ловко ухватили румяный бок, погрузились в него, отломали...

— Подпрапорщик очень мил и все обещал сделать в лучшем виде. Но старший-то каков! Целую неделю водил за нос. То есть, я вам скажу, что восхищен им... Теперь мы вот с вами ловим, караем — все грязь, грязь — и этого не замечаем, а время пройдет, и мы не сможем не восхититься сим благородством. Ведь так, сударь?

— Нет, не так, — сказал Авросимов.

Слепцов воззрился на него с недоумением.

— Какой вы, однако, спорщик, — засмеялся он благодушно. — А почему же вы со мной не согласны?

— А потому, — сказал Авросимов, — что вы службу несете, на вас надежда плоха...

Ротмистр засмеялся польщенно.

— Бутурлин в вас души не чает, — сказал он и снова ухватился за пироги. — Вы, друг мой, загадка...

— Что он там, Фединька? Не испугался? — вдруг спросил подпоручик, не открывая глаз.

— Хорош, хорош ваш братец, — радостно проговорил Слепцов. — Он умница. Тотчас все понял. Про вас спрашивал. Я сказал, что у вас все будет хорошо, что вы человек благородный.

— Спасибо,— сказал Заикин и впервые улыбнулся.— А уж вы, Николай Сергеевич, слово держите...

Так до самой полночи они забавлялись то душевными беседами, то сном, покуда не явился господин Поповский, как было уговорено, и ротмистр, распорядившись подпоручику и нашему герою оставаться и ждать, последовал за исправником на ночную свою охоту. Авросимов рад был сему обстоятельству, ибо до утра топтаться на холоду, даже ради государя, хоть и лестно, да зябко.

Не успели двери за ними захлопнуться, как подпоручик поворотился на бок и тотчас заснул. Авросимов начал было припоминать свое житье в деревне, да не заметил, как очутился в коридоре, уже вам знакомом. Английский пистолет в его руке был горяч. Кто-то опять призывал, однако так явственно, что можно было на сей раз почти разобрать слова. Звали на помощь. Наш герой торопился туда широкими прыжками, подобно льву в пустыне, и, наконец, увидел полуоткрытую крайнюю дверь, откуда и доносился зов. Но опять, как всегда, в ту самую минуту, как он собирался рвануть сию злополучную дверь, его разбудили...

Горела свеча, хотя за окнами вставал рассвет. Подпоручик стоял лицом к оконцу, неподвижный как изваяние. Ротмистр торопливо обертывал мешковиной грязный объемистый сверток. Его пальцы ловко подхватывали концы, вязали узлы, будто он всю жизнь только тем и занимался, что свертки упаковывал.

Господи, подумал наш герой, неужто ради этого грязного свертка столько страданий! Вот он лежит на столе, ворочается, словно молодой поросенок перед базаром, и ротмистр, лейб-гусар и адъютант генерала, гнется над ним с нетерпением, и в Петербурге все, все, от господина Боровкова до государя ждут сей клад с еще большим нетерпением... И ради этого столько всего, столько горьких слов друг другу!

— Мы едем,— сказал Слепцов нашему герою.— Поторопитесь.

И вдруг все существо Авросимова возмутилось при звуках этого голоса. Взъерошенный, с пухом, приставшим к волосам, еще не совсем покинувший тот злополучный коридор, Авросимов поднялся, ровно медведь из берлоги.

— Поспешайте, поспешайте, сударь,— сказал рот-

мистр, заканчивая упаковку.— В кибитке отоспитесь. Ваш тяжкий труд, слава богу, закончен.

— Я не заслужил ваших насмешек,— сказал Авросимов, сжимая кулачищи и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на дерзкого гусара.

Ротмистр даже не взглянул на него, а кликнул унтера, и когда тот появился, словно истукан застыв на пороге, подошел к подпоручику и тронул его за плечо:

— Простите, господин подпоручик, но боюсь, что пренебрежение инструкцией принесет мне много неприятностей. Я должен надеть на вас цепи...

В руках унтера Кузьмина звякнула цепь.

Едва слышный стон вырвался из груди нашего героя.

— Вот как? — проговорил Заикин, бледный как смерть.— Вот как?..

Цепь снова зазвенела уже в руках у ротмистра, замок щелкнул. Все было кончено.

— Что с братом? — едва шевеля губами, спросил подпоручик.

— Вашего брата, господин подпоручик, я вынужден был взять под стражу,— несколько суетливо ответил Слепцов.— Пора, господа, пора, собирайтесь.

— Вы не смеете! — закричал подпоручик.— Вы лжец! Где же ваше слово? — рыдания вновь начали душить его, и он опустился на лавку.

— Вы сами лжец! — закричал ротмистр в ответ.— Вы мне брата вашего рисовали ангелом! А он оказался пособником бунтовщиков. Он слишком ловко, черт его дери, определил место, и мы моментально извлекли сей предмет... Очень ловко, сударь! Он разболтался со мной о вещах, которые его изобличают... Это я лжец? Я кормил вас и поил и был вам заместо брата, черт вас возьми, а вы меня за нос водили! Вы — меня!..

Тут ротмистр осекся, ибо тяжкая рука нашего героя легла ему на плечо.

— Оставьте этого несчастного,— потребовал Авросимов.

— Что это значит? — спросил Слепцов, не теряя присутствия духа.

— А это значит,— грозно сказал наш герой,— что господин подпоручик за свою ложь удостоился получить от вас цепи, а вы за свою остаетесь безнаказанны.

Тут унтер, до сих пор пребывавший в оцепенении, сделал шаг в их сторону.

— Пошел прочь,— приказал Авросимов.

— Ступай, тебе говорят,— сказал Слепцов.

Унтер выбрался из светелки. Подпоручик рыдал на своей лавке. Авросимов подтолкнул ротмистра, и тот присел рядом с Заикиным.

Теперь они сидели рядом, ротмистр и подпоручик, ровно два брата. Тот, что в цепях, продолжал рыдать, но, странное дело, жалости к нему не было. Другой устался на нашего героя, не мигая, даже как будто снисходительно.

— Вы негодяй, господин ротмистр,— сказал Авросимов, вдруг остывая.— Надеюсь, хоть не трус?

Слепцов усмехнулся.

— Это невозможно, господин Авросимов. Без секундантов?..

— К черту секундантов!

Этот подпоручик, жалкий такой... Да как он смел доверяться! Чего же слезы-то лить? Каких друзей себе полковник Пестель подбирал, уму непостижимо!..

— Я при исполнении служебных обязанностей, сударь,— сказал ротмистр.— Потерпите до Петербурга.

— Нет! — крикнул наш герой без охоты.

— Да,— усмехнулся Слепцов.

— А если так?! — крикнул Авросимов и ударил ротмистра по щеке.

Слепцов потер щеку, потом сказал:

— И все-таки, сударь, примите мой отказ... Я ценю ваше благородство, но нужно же считаться с обстоятельствами. Ежели вы меня пристрелите, на кого же я оставлю господина подпоручика и сверток?.. А оплеуху вашу, сударь, я не забуду и в Петербурге сам вам о ней напомню. Вы еще плохо знаете Слепцова.

Звук пощечины и спокойная речь ротмистра совсем охладили Авросимова. Пожар угас, и по телу распространилась лень. Рука была все еще занесена, но кровь была прохладна.

Рассвет совсем уж разыгрался, и в его сиянии ничтожней стал казаться таинственный сверток, из-за которого началось столько бурь.

На виду у испуганных ямщиков, сгрудившихся возле

постоялого двора, они прошествовали к своим кибиткам, сопровождая медленно бредущего подпоручика.

Наконец кибитки тронулись.

13

Презабавная ситуация сложилась, милостивый государь, за время их пути: Былой союз, замешанный на долге и несчастье, распался. Не замечая друг друга, наскоро съедали они свою нехитрую еду, укладывались на ночлег или и без ночлега спали на ходу в кибитках, сидя, покуда там заиндевелые, горластые ямщики понукали лошадей и перекрикивались от кибитки к кибитке, чтобы отогнать страх ночной и доказать серым разбойникам, что люди живы, горласты и в обиду себя не дадут.

Подпоручик был погружен в тяжелые раздумья, мрачней от версты к версте, по мере приближения к Петербургу. Ротмистр Слепцов почти всю дорогу спал, набегавшись в Брацлавле и пересуетившись. Авросимов все поглядывал через оконце на заснеженный лес, и можно было подумать, что расположение деревьев и снежные на них покровы волнуют его воображение.

Вы, милостивый государь, познакомились с этой поездкой и теперь, оглядываясь назад через головы нескольких десятков лет, отделяющих вас от того путешествия, улыбаетесь снисходительно, понимая, что сие предприятие тоже было частью большой игры, в которую играли люди знатные, свободные и верящие в свое превосходство. Но они-то играли не только сами, а и других втягивали, внушая им, что это так и должно быть, и даже сами начинали верить собственным внушениям. Воистину страсть к сей игре не переменяется с годами. Нынче-то разве не то же самое, милостивый государь? Вы поглядите, как ловко распределены чины и звания, как ниточка, на которой все это свершается, одним концом устремлена вверх, а другим уходит вниз. Ну, натурально, что в наши дни у всего у этого свой привкус и своя тонкость, ибо предложи нам, нынешним, ту игру, в которую играл еще Авросимов по собственному неведению, мы ведь ее не примем, а будем смеяться, отвергнем: мол, не в игры играть приходим мы на землю, а жить и приумножать славу отечества. Время меняет облик игры, приспособляя ее под наш с вами вкус, чтобы мы со всем сердцем

в ней участвовали, чтобы головы и у нас кружились, и чтобы дух захватывало: не зря, мол, живем, господа. Не зря!

Однако, как видится мне, в обширном этом море безумств почти что и нет не плачущих о собственном пироге, ибо все мы с пеленок бываем нацелены на румяный его бок с хрустящей корочкой, поражающей наше воображение своим неистовым глянцем.

Это все говорю я к тому, чтобы вы не подумали обо мне дурно, в том смысле, что я, мол, и не вижу сути, не умею отличить подлости от добродетели, истины от фальши. Нет, милостивый государь, может быть, что касается нынешнего времени, я тоже, как всякий другой смертный, обольщаюсь, надеюсь, что, мол, моя-то жизнь вне игры, меня-то не проведешь... однако вчерашний день всегда виднее, и те годы, когда наш герой со всем пылом своим пытался понять себя самого, мне видны, ах, как видны. Да и что за сложность — оценить его поступки? Впрочем, не торопитесь, споткнетесь.

Теперь давайте вернемся к нашему герою, и должен вам сказать, что на самом деле сердце его было не столь смягчено созерцанием окружающей природы, сколь возбужденно клокотало от предчувствия скорого приезда в Колупановку, где, ежели вы помните, не все им было поставлено на свои места.

Незадолго до Колупановки кибитки остановились в самом лесу. Ротмистр вылез отдать распоряжения, затем вернулся и сказал:

— Господа, мы выполнили свой долг. Все наши с вами временные противоречия я предлагаю позабыть. Давайте въедем в милую Колупановку, как старые и добрые друзья. Я понимаю, что теперь это крайне трудно и вам, господин подпоручик, и вам, господин Авросимов. Поверьте, однако, что и я — живой человек, и во мне тоже горит пламя обиды. Но я его прячу в самую глубину души, дабы не отравлять вам и себе самому времени, которое нам предстоит провести. Я первый кланяюсь вам и предлагаю забыть раздоры. — И тут он длинными своими пальцами ловко снял цепи с подпоручика и отшвырнул их прочь. — Докажем, господа, самим себе и всему свету, что истинные благородные представители человеческого рода умеют, не забывая о долге, предстать друг перед другом в наилучшем виде...

Засим лошади тронули, и полозья закрипели.

Удивленный, возмущенный и одновременно ободренный пламенной ротмистровой речью, наш герой сказал в ответ:

— Господа, случилось однажды так, что я увидел вас как бы братьями. Поверьте, мне сие было дорого и радостно. На минуту забывшись, я уж был готов поверить в это, как вдруг вы, господин ротмистр, пренебрегши сердцем, выказали себя таким отчаянным ревнителем долга, что вся картина, нарисованная в моем воображении, тотчас потускнела. Когда я вижу одного брата в цепях, а другого...

— Я же снял с него цепи,— сказал ротмистр.

— Нет, нет,— откликнулся подпоручик,— вы не смеете упрекать его.— И он усмехнулся.— Я сам заслужил эти цепи и все свои несчастья. Я сам тому виною...

— Когда я вижу одного брата в цепях,— упрямо продолжал наш герой,— а другого в нетерпении ждущего свидания со своей дворовой...

— Остановитесь! — крикнул Слепцов, и краска залила ему щеки пуще прежнего.— Вы с ума сошли! Да посудите сами, несчастный вы человек, разве я виновен в бедах подпоручика? Разве на мне грех бунта и крови?.. Чего вы меня терзаете всю дорогу!

Авросимову вдруг стало жаль ротмистра, сердце его дрогнуло.

— Господин Авросимов,— сказал подпоручик,— мое положение обязывает меня молчать, но в эту минуту, благодаря доброте господина ротмистра, я свободен от цепей...

— Да, да, скажите ему, скажите,— попросил ротмистр.

— Это ли не шаг гуманный и добропорядочный? Когда бы вам, господин Авросимов, поручено было меня держать в цепях, разве ж вы смогли бы решиться на сей шаг? Смогли бы?.. Господин ротмистр — мой приятель, если вам угодно, и благодетель, а вы вторгаетесь в наш союз со своими немислимыми суждениями и фантазиями, и безумством...

— Он ревнует Дуняшу,— засмеялся ротмистр.— Я понял. Да бог с ним. Не будем отравлять себе время. Колупановка близко. Вы ревнуете Дуняшу, господин Авросимов? А вы ее заслужили?

— Господин ротмистр,— сказал наш герой со спокойствием необыкновенным;— я имею намерение выкупить Дуняшу. Продайте ее мне.

Тут наступила такая тишина, что страшно и подумать, и можно было бы засим ждать всяких неприятностей, но ничего не случилось, и Слепцов, наконец, спросил насмешливо:

— А как же с женихом быть? С Дуняшиным женихом? Я уже имел честь вам сообщать об этом.

— А вы его на конюшню! — крикнул наш герой, разгоряченный торгом.— Я вам тоже имел честь советовать это. Вам же это не трудно.

Тут, представьте себе, ротмистр захохотал, закрутил головой.

— Да жених-то ведь я,— проговорил он сквозь смех.

Глубокое изумление поразило обоих его попутчиков. В невероятном том известии была какая-то скрытая боль и была тайна.

Тут не выдержал подпоручик.

— Позвольте, Николай Сергеевич,— проговорил он с ужасом,— вы ведь женаты, сударь... Вы шутите...

— Нет, я не шучу,— грустно проговорил ротмистр.— Дуняша действительно моя невеста. Невеста моей души... Вы обратили внимание на ее улыбку? Как она глядит на меня? Господин Авросимов, вы молоды, не судите обо всем со строгостью старца... Господа, давайте въедем в усадьбу прежними друзьями, а там — будь что будет.

И они увидели, как за оконцем кибитки замелькали деревья знакомого сада, и вскоре гостеприимный дом возник перед ними.

Не успели они раздеться, привести себя в порядок и усесться в гостиной в задумчивых позах, как тотчас вошел ротмистр, ведя за руку Дуняшу. Лицо ее было строго, глаза сверкали откуда-то из глубины. Она молча опустилась в кресло как раз напротив Авросимова.

— Господа,— сказал ротмистр,— я не хочу кривотолков и обид. Вот Дуняша. Видите? Вот она перед вами. Теперь я при вас же спрошу ее... Дуняша, я спросить тебя хочу... Вот господин Авросимов вызвал меня с ним стреляться, а когда я отказал ему в удовольствии, ибо я при исполнении служебных обязанностей, он меня по щеке ударил,— лицо у Дуняши даже не дрогнуло при сих словах, она даже и не пошевелинулась, сидела, положив

руки на колени, глядя в окно, мимо Авросимова.— Тут в пути выяснилось, что ты господину Авросимову по сердцу,— она улыбнулась, показывая два зубочка, склоненных друг к другу,— ...и он намеревается тебя выкупить.

Все замерло, как перед бурей. Ротмистр поигрывал книжной закладкой и не глядел в сторону Дуняши. Подпоручик часто вздыхал, и глаза его, переполненные давними слезами, помаргивали, Авросимов, борясь с собой, ждал Дуняшиного приговора.

— А зачем меня выкупать? — спросила Дуняша тихо, с невозможной своей улыбкой.— Зачем же? Я вольная. Мне Николай Сергеевич волю дал. У меня и бумажка об том есть...

Ротмистр устало улыбнулся и выронил закладку.

Дуняша поднялась, поцеловала его в лоб и пошла вон из комнаты.

Во всей этой путанице страстей и нравов наш герой, естественно, разобратся не мог, а потому предпочел молчать, ибо обстановка складывалась престранная, а быть на смеху не хотелось. Когда ротмистр, спустя некоторое время, предложил песни послушать, Авросимов отказался.

Перед сном зашел Слепцов в вишневом халате, с длинным чубуком.

— Ходит слух,— сказал он,— что в округе появились разбойники. Не думаю, что они рискнут напасть на усадьбу, но всякое может быть, хотя мои люди начеку, а они народ бывалый...

Предупреждение это поначалу не очень взволновало нашего героя, ибо пистолет заветный был на своем месте. Он услышал, как ротмистр предупредил о том же Заикина, сказав, что, ежели что, он будет рядом.

И все-таки, как ни хорош был пистолет, постепенно тревога росла и усиливалась. Сон не шел. Да и какой уж тут сон? В каждом шорохе и скрипе чудилось нашему герою приближение ночных гостей. Воображение начало рисовать ему картины одну ужаснее другой. То есть не то, чтобы он испугался, но пустое ожидание становилось невыносимым. Он лежал на кровати во всей одежде, с радостью ощущая у сердца холодную тяжесть верного своего товарища.

Неизвестно, сколько времени прошло таким образом, как до наострившегося слуха нашего героя донесся про-

тяжкий свист. Он возник где-то в саду, пронесся вокруг дома и угас. Что нужно было разбойникам в спящей мирной усадьбе? Или просто им захотелось поглумиться над страхом своих жертв, или золота искали? Или мстили кому за что?.. Свист повторился ближе. И тотчас ему откликнулся другой. Дом затаился.

«Не осмелятся в дом ломиться,— подумал Авросимов.— Да разве сие возможно?»

В этот момент хлопнула какая-то дальняя дверь. Наш герой вздрогнул. Свист раздался снова, жуткий, разбойный, немилосердный. Кто-то закричал истошно в доме. Что-то рухнуло, так что стены заходили ходуном.

«Надо бы к Заикину забежать,— подумал наш герой, ощущая, как к горлу подступает.— Вдвоем-то надежнее».

Вдруг за окном хрустнуло, и чья-то мерзкая физиономия прилипла к стеклу и вперила на мгновение два глаза в комнату, но тотчас скрылась.

Загрохотало сильнее. Авросимову почудился женский крик. «Дуняша!» — мелькнула мысль.

Он выхватил пистолет, еще не совсем соображая, куда бежать, но полный ощущения разверзшегося ада. Грохот внезапно прекратился. Послышались тяжелые шаги. Они приближались.

«Дверь! — успел подумать он.— Она не заперта!»

И тут дверь распахнулась, словно вихрь обрушился на нее, и множество людей в тулупах и в масках, вопя и размахивая фонарями, ворвались в комнату. Воистину это были чудовища, ибо трудно было определить, где кончались у них мохнатые головы, и где начинались могучие волосатые раскоряченные ноги, и сколько было на их мордах разинутых воющих ртов... Лишь клыки поблескивали, и клубок лап, хвостов, а может, змей кишел и клотал.

— Вот он! — крикнул высокий разбойник в маске, указывая на нашего героя.— Хватайте его! Держите!

Но не успела воющая эта масса сделать и шага, как наш герой выстрелил. Разбойник грянулся об пол. Крики ужаса потрясли комнату, и Авросимов с безумным лицом вскочил на подоконник и локтем саданул в окно. Зазвенело стекло.

— Господин Авросимов! — услышал он за спиной громкий крик ротмистра Слепцова.— Куда вы, сударь? Очнитесь!..

Наш герой обернулся. С высоты подоконника невероятная картина представилась его взору. Чудищ не было. Множество фонарей освещали комнату, и в ярком красноватом их свете маячили, прижимаясь к стенам, неподвижные испуганные лица. Лица были белы, рты полуоткрыты. Среди этой безмолвной толпы возвышался ротмистр Слепцов в вишневом халате, с длинным чубуком в чувствительных пальцах, словно Князь Тьмы среди притихшего шабаша. Разбойник в черной маске неподвижно лежал у его ног.

— Слушайте, слезайте оттуда,— сказал ротмистр странным голосом.— Что это с вами?

Он взмахнул рукой, и несколько человек, вцепившись в бездыханное тело разбойника, выволокли его прочь.

Наш герой слез с подоконника, крепко сжимая пистолет. Люди, окружавшие ротмистра, постепенно исчезли, и вскоре ни одного из них уже не было.

— Что это значит? — спросил Авросимов, подходя к Слепцову.

— Сударь,— сказал ротмистр миролюбиво, хотя и не без страха,— вы очень, сударь, кричали. Очевидно, во сне. И мои люди поспешили к вам на помощь.

— Господин ротмистр,— сказал Авросимов, задыхаясь от гнева,— я не спал ни минуты... Стало быть, это ваши люди в масках врываются в комнаты?

— В каких масках? — удивился Слепцов.

— А тот, которого я пристрелил...

— Господь с вами, кого еще вы пристрелили? Да из чего?

— А вот,— протянул Авросимов ротмистру свой пистолет.— Это вы видели?

— Ну и что? — пожал плечами ротмистр.— Вы не могли из него стрелять, ибо у него свернут курок.

— Да как же не мог, когда я выстрелил! — крикнул наш герой.

— Успокойтесь, сударь, вы спали... Дуняша услышала ваш крик и разбудила меня, и я поспешил к вам...

— А люди? А это скопище людей? — спросил Авросимов потерянно.

— Люди? Да и людей не было. Что с вами?..

Вдруг от стены отделился подпоручик, которого до сих пор никто не замечал.

— Господин ротмистр,— сказал он глухо.— Ваша

шутка граничит с подлостью. Комедия, которую вы затеяли, позорна.

— Да что вы, господа, — засмеялся Слепцов, пятясь к дверям. — Господь с вами! Какая еще комедия?

— Вам бы, очевидно, удалось надсмеяться над господином Авросимовым, не случись у него пистолета, — отрезал Заикин и шагнул к ротмистру. — Вы поступили низко, и я очень сожалею, что обстоятельства мешают мне посчитаться с вами.

— Ну ладно, — сказал ротмистр из дверей. — Ну что такого? А хотите, господа, сядем за стол и забудем об этом? А? Выспимся в дороге. Давайте, господа? И Дуняшу попросим спеть. Вам же нравится Дуняша, господин Авросимов. Вот у вас будет еще возможность полюбоваться ею...

— Ступайте прочь, — сказал Авросимов мрачно. — И вы и ваши холопы...

Тут ротмистр поклонился церемонно и исчез. Глаза его улыбались.

Наш герой обратил взгляд на свой пистолет, который так и не выпускал из рук. Курок действительно был свернут в сторону. Он заглянул в ствол — сладкий аромат выстрела распространился из темной таинственной его глубины.

— Сударь, — сказал подпоручик, — я давно к вам приглаживаюсь, ваше стремление к правде мне очень по сердцу. Я помню ваше любезное предложение и надеюсь, что вы не откажете в просьбе человеку, попавшему в беду...

Возбуждение после случившегося еще не покинуло нашего героя, но тихий доверительный шепот подпоручика и ветер, рвущийся в разбитое окно, уже делали свое дело.

— Не соблаговолите ли отыскать в Петербурге мою сестру Настеньку и передать ей эту небольшую записку, в которой (можете не сомневаться) нет ничего, что могло бы вас скомпрометировать, — тут голос у подпоручика дрогнул. Он махнул рукой.

Волнение его передалось нашему герою, и образ Настеньки возник перед ним, заслонив минувшие несчастья.

Утром, усаживаясь в кибитку, Авросимов не досчитался унтера Кузьмина. Дуняшино лицо маячило в окне. Наконец унтер появился из дверей и, прихрамывая, со-

шел с крыльца. Он прошествовал мимо нашего героя, не глянув в его сторону.

— Ты, я слышал, занемог, Кузьмин? — спросил Слепцов.

— Есть малость, ваше благородие, — отвечивал унтер голосом давешнего разбойника.

14

Вы, наверное, заметили, как наш герой всякий раз, когда обстоятельства напоминали ему о печальной судьбе мятежного полковника, как он всякий раз будто вздрагивал, и синие его глаза наполнялись как бы дымкою? Не обольщайтесь относительно жалостливости в нем и движений доброго сердца. Тут, милостивый государь, все обстоит посложнее, чем вам могло бы показаться, ведь Павел Иванович Авросимову мил не стал, да и как мог стать, коли гнев к возмутителю спокойствия продолжал мучать нашего героя беспрестанно. Хотя, ежели говорить начистоту, этот самый гнев ощущался как-то по-новому, и все, представьте себе, из-за прусачков.

Кажется, ну что в этом золотистом маленьком разбойнике, шустром и наглom, от которого невозможно избавиться, а единственное, что следует делать, чтобы вконец не потерять своего достоинства, гоняясь за ним, так это не обращать на него внимания... Да, все это так, а вот подите же, стоило нашему герою с гневом подумать о полковнике, как он тотчас вспоминал этих самых прусачков, бесчисленные стада которых пасутся в казематах, и, странное дело, гнев укрощался, ровно пламя, добравшееся в своем азарте до мокрых досок. И как только он укрощался и затихал и тлел, тут вспоминалась растерянная улыбка Павла Ивановича, и как он говорит: «А я думал, вы меня ненавидите...», и вот так это все одно к одному, и от гнева почти ничего не оставалось, а вместо него загоралось что-то такое, отчего у нашего героя начинались всякие страдания, будто это его самого содержат в каземате и ведут допрашивать. И он тогда разглядывал пристально своих судей: вот граф Татищев, воснный министр, словно не выпавшаяся птица с малиновым от водки клювом; вот генерал Чернышев, у которого под мохнатыми бровями — два презрительных отравленных зрачка, и улыбка у него, от которой не жди пощады,

и крик, ровно он не просто генерал-адъютант, а сам великий князь Михаил Павлович; вот Михаил Павлович с благообразным юношеским лицом, да ему все некогда, он брезглив, тороплив и насмешлив. А над чем насмехаться, господа, ежели сие — ужасная катастрофа? Однако, ежели не катастрофа, чего же мы, господа, время теряем, распутывая узел, которого не существует?

Тут наш герой подумал, что, не сломайся полковник, он мог бы с помощью верных друзей, которые, конечно, у него остались на этом свете, бежать даже отсюда, из этой страшной крепости, и тогда страху меж судей не было бы конца, тем более что кто-то, а кто — наш герой уже не помнил, высказывал предположение, что полковнику грозит гибель: не случайно, мол, все сошлись на нем в этом торжище. Уж не Павел ли Бутурлин был сей грозный оракул? Или что ужасное прочли они в найденных листах?

— Послушай,— сказал он кавалергарду,— как то есть смерть?

— Ээ,— засмеялся друг милый,— даже цари смертны.

Это нисколько не развеяло туману, и Авросимов спросил снова, без надежды, но со злостью:

— А почем нынче честь да благородство?

— Не приценялся,— снова усмехнулся кавалергард.— Не знаю, как кто, а что до меня, так я за все асигнациями привык платить.

Сей потешный разговор ни к чему не привел, и наш герой, ломая голову, сидел над своими бумагами в ожидании, когда, наконец, введут полковника, как вдруг, глянув в окно, увидел на заснеженном крепостном плацу знакомую печальную фигурку, которая изменила своему обычному месту у ограды собора, и потому, наверное, теперь ее было видно. Это его крайне обрадовало, ибо с момента возвращения из поездки прошло пять дней, а Настенька будто нарочно перестала появляться на привычном месте. Он сгорал от нетерпенья, пытался в городе ее разыскать, да закружился в хлопотах.

Пестеля ввели, как всегда, незаметно. Уже зажгли первые свечи. Он вошел сутулясь, словно тяжкий недуг преследовал его многие дни. Теперь, после обнаружения страшной рукописи, все должно было бы совершаться быстрее, но, странное дело, лица судей были спокойны, даже скучны, огонь злорадства не сверкал в их глазах,

они тихо переговаривались, приуговариваясь к привычному бою.

Павел Иванович словно даже несколько потучнел за эти дни. Рыхловатая тучность его производила грустное впечатление, да и в лице была грусть, а может, даже потерянности, лишь маленькие глаза были холодны по-прежнему, и только когда он обратил их в сторону нашего героя, подернулись легким теплом.

Авросимов опустил голову. Павел Иванович отвернулся.

«Этот рыжий великан здесь,— подумал он с легким вздохом...— Слава богу...»

В течение нескольких минут мятежный полковник и члены Комитета молча разглядывали друг друга, словно вели беззвучный разговор.

«Идеи ниспровержения монархии носят в воздухе,— словно говорил полковник, пожимая плечами,— сие не мое изобретение, а, стало быть, и не моя вина... Просто я по складу своей души, по направлению своих интересов увидел это и воспринял. Деятельность моя была следствием исторической неизбежности, а не злого умысла».

«Вы прикрываете высокими рассуждениями неудавшуюся попытку цареубийства,— словно твердили судьи с упрямством.— В вашей Русской Правде этого нет, но об этом вы не могли не мечтать. Не отпирайтесь».

«Господа,— продолжал полковник,— я же отлично понимаю, что обвинение меня в попытке цареубийства — это ширма. Не это вам страшно, а свержение монархии и установление республики, которой до вас нет дела. Не царя вы жалеете, но себя».

«Нет, мы жалеем царя, ибо связаны с ним духовными узами из поколения в поколение».

«Нет, вы не жалеете царя, ибо живут и здравствуют убийцы Павла Петровича... А что до меня, можете считать, что я сам предал себя в ваши руки, хотя у меня были многие возможности избежать ареста. Но я совершил сие под давлением печальной мысли о несовершенстве революционного пламени в России. Пожалуй, это и объясняет мою с вами откровенность».

«Вы признаете, что пошли по ложному пути, именуя самодержавие тиранством?»

«Неограниченная власть — всегда тиранство. Я не шел по ложному пути. Я несколько поторопился. Уравне-

ние с многими неизвестными требует, очевидно, большей усидчивости».

«...и вовлекли в свое злодейское предприятие десятки неискушенных сердец, которые теперь расплачиваются за ваш холодный умысел».

«Бог рассудит всех по высшей справедливости. История знает тому множество примеров...»

Вот что расслышал Авросимов, участвуя в их молчаливом диалоге, как вдруг различил наяву сказанное генералом Чернышевым:

— Кто же склонил вас к увлечению политическими науками?

Павел Иванович кротко глянул на генерала, что было даже странно при его холодных глазах, и ответил, пожимая плечами:

— Никто. Их знание требовалось для поступления в верхний класс Пажеского корпуса.

Тут произошло легко движение, и судьи переглянулись между собой. И не то чтобы замешательство, а некоторое их недоумение не укрылось от синих глаз нашего героя.

— Что же вам удалось почерпнуть из них? — тихо спросил генерал Чернышев.

— Что благоденствие и злополучие царств и народов зависит по большей части от правительств, — ответил Павел Иванович.

«А от кого же еще?.. — подумал наш герой, выводя бешеные свои строчки. — Берегись, полковник!»

Настенька продолжала маячить на плацу. Ведное тоненькое создание.

— Не понимаю, — рассердился генерал. — И это навело вас на преступные мысли?

— Я имею честь, — сказал Павел Иванович, разглядывая свой палец, — со всей чистосердечностью сообщить Комитету, что сии занятия возбудили во мне намерения самые патриотические, а именно — установить: соблюдены ли в российском политическом устройстве правила, диктуемые политическими науками... Я стал обдумывать, как изменить и усовершенствовать различные государственные уложения...

— Зачем?.. Зачем? — торопливо поинтересовался военный министр.

Павел Иванович ответил все тем же тихим и бес-

страстным голосом, будто все уже кончилось, и его самого уже не существовало, и не существовало борьбы за жизнь, а просто это душа его, не ведающая ни лжи, ни правды, ни гордости, ни страха, однообразно и монотонно исповедовалась где-то:

— Рабство крестьян всегда сильно на меня действовало, а равно и большие преимущества аристократии, стоящей меж монархом и народом и скрывающей истинное положение народа ради собственных выгод...

— Для чего же создавали вы Русскую Правду вашу?

— Чтобы предложить ее правительству и государю на рассмотрение.

Генерал Чернышев хотел было возразить на это, но поперхнулся и долго кашлял. Павел Иванович терпеливо ждал. Наш герой даже подумал, что, случись здесь та самая железная кружка и упади она сейчас на пол, полковник бы за нею не бросился, чтобы поставить ее перед судьями.

— Зачем же вы вывели, что нужно извести монарха, ежели вина лежит, как вы утверждаете, на аристократии? — вмешался генерал Левашов, глядя при этом не на Павла Ивановича, а почему-то на старого князя Голицына, спящего в своем кресле.

— При чем цареубийство? — поморщился Пестель. — Я ничего не утверждал. Время... Я же говорю, время выдвинуло сию необходимость. Монархия — тормоз в развитии стран. Это же подтверждено историей.

— Стремление к цареубийству было главным в вашей деятельности! — крикнул генерал Чернышев.

— Да нет же, — снова с досадой поморщился Пестель. — Я же имел честь сообщать вам, что стремление к совершенству...

Тут Павел Иванович прервал сам себя, будто устал, повел головой и остановил взгляд свой на нашем герое. Рыжий молодец глядел не волком из-за своего столика, а, наоборот, с грустью и даже с отчаянием... И все тотчас же, проследив взгляд Павла Ивановича, посмотрели на Авросимова.

«Да что же это вы!» — кричали изумленные глаза нашего героя полковнику.

— Справедливым будет добавить, — вдруг громко сказал Павел Иванович, — что в течение всего двадцать пятого года стал сей образ мыслей во мне уже ослабе-

вать, и я предметы начал видеть несколько иначе, но поздно было совершить благополучно обратный путь...

Военный министр шумно вздохнул.

«Ложь!» — вскричал про себя Авросимов, негодуя.

Неожиданное признание Павла Ивановича престранно подействовало на нашего героя, будто слабость полковника его оскорбила, будто самому Авросимову не этого хотелось. А чего же ему хотелось? Чего вообще могло хотеться нашему рыжему мученику, в воображении облачившему себя в нанковый халат?

Сумерки скрыли фигуру Настеньки на крепостном плацу.

«Ах, кабы не ушла, — заволновался он. — Кабы дождалась!»

В следственную комнату неслышно вошел изящный Павел Бутурлин и принялся докладывать что-то графу Татищеву, при этом успевая подмигивать нашему герою.

В этот момент генерал Чернышев спросил у Пестеля:

— Каким же образом революционные мысли укреплялись в умах?

«Да, действительно, — подумал наш герой, — каким же это образом?»

Стояла томительная тишина. Пальцы Пестеля поигрывали краем красной суконной скатерти. Полковник сидел в своем кресле ровно и неподвижно, но вот пальцы его...

— Политические книги у всех в руках, — сказал он тоном усталого наставника, и все посмотрели на него, как равнодушные ученики, — политические науки везде преподаются, политические известия повсюду распространяются, история, а особливо происшествия недавней войны, показали, столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных, столько царей изгнанных, столько возвратившихся или призванных и столько опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворотов произведенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобствами оныя производить...

Да, да, милостивые государи, все сие и ознакомило с возможностями и удобствами...

— Кто из высокопоставленных лиц думал и желал другого устройства в государстве? — спросил генерал Чернышев.

— Ничей из них образ мыслей мне неизвестен, — отозвался Павел Иванович. — Это просто мы рассуждали, что когда революция возьмет свой ход и будет иметь хороший успех, тогда многие к ней присоединятся, даже и из высших чиновников.

— Ну как же так? — удивился граф Татищев.

Вдруг дикая мысль блеснула в голове нашего героя о том, что женщина в сумерках очень просто могла бы выйти из крепости, и никто бы ее не хватился... Она даже могла бы перейти ров, покрытый льдом, меж рavelином и крепостью. А ежели часовые крепко бы спали, она могла бы просто пройти насквозь все коридоры рavelина и тоже выйти вон... Незаметные дровни с сеном в безлунную ночь неслышно пересекут Неву, лишь легкий скрип раздастся в морозном воздухе либо будет и вовсе заглушен свистом метели... О, ежели метель, так тут и вовсе ничего невозможно будет различить... Бабье лицо плацмайора Подушкина, освещенное тревожными факелами, будет мелькать на плацу под звон ключей и грохот набата, и его инвалидам придется попотеть на морозе да пострелять в ночную темень, проклиная свою судьбу и козни злодеев.

А сумерки тем временем сгущались плотнее, и лицо Пестеля, освещенное с одной стороны свечой, другой стороной растворялось во мраке. Он казался одноглазым, и глаз его, отражая пламя, сверкал, стоило полковнику перевести взор с одного предмета на другой. Члены Комитета ничего не замечали, но Авросимов увидел в том дурное предзнаменование, могущее отразиться на судьбе самого полковника, либо его, Авросимова. Почему? А кто ж его знает. Ведь мы всегда, лишь спустя много времени после всяких душевных переворотов, спохватываемся и начинаем лихорадочно искать: с чего все началось, и тут вспоминаем всякие зловещие пустяки, которые, как мы полагаем, и играли ту самую роковую роль, и возводим те пустяки в знамения.

Сообразив это, Авросимов принялся пристальнее вглядываться в одноглазое лицо, и вдруг понял, что глаз обращен в его сторону.

«Ну что ему от меня? — подумал наш герой. — Будто

я что могу... Теперь никто, никто ничего не может... Один лишь государь».

— Государь чрезмерно удручен вашим участием в сем предприятии,— проговорил генерал Левашов.— И дальнейшая ваша участь может зависеть всецело от вас. Вы здесь нарисовали отвратительную картину предполагаемых переустройств, замысленных вами лично в первую голову. Участие в заговоре других лиц не смягчает вашей вины...

Глаз полковника посверкивал, уставясь на Авросимова. Наш герой пребывал в смятении. Ничего нельзя было повернуть. Большая и тяжелая, словно гора, навалилась машина на злодея и перемалывала ему кости. А ежели безвинным пасть под нее?.. Вполне возможно. Вот ведь отчего пребываем мы в страхе, ибо всегда живем поблизости от каземата, либо в его преддверии, ибо не сами мы решаем, а она, наша фортуна. Так, может, прав этот чертов полковник, вознамерившийся избавить нас от вечного страха и от вечного предчувствия беды? Да, но при сем мерещилась ему кровь (вы помните?), без которой не мыслил он будущего благоденствия!.. Так что же лучше-то? Ах, что же лучше?..

— Вы все слишком много на себя взяли,— продолжал генерал Левашов.— Вы заботились о судьбах народов, а связали руки государю в его благих намерениях на целых пятьдесят лет...

«Каково ему возвращаться в каземат,— с ужасом подумал наш герой,— к прусачкам да крысам! Господи, за что ты меня-то помиловал? Вот он весь я, живу на свободе, как голубь лесной. Разве ж это не счастье?..»

И тут же подумал, что сам-то он — кто? Кто? Кабы жил он со своим счастьем в своей глуши прекрасной, а то ведь нет, взялся судить со всеми вместе, и со всеми вместе навалился на одного лежачего, считая себя правым...

Послышались шорох, звон, скрип, шарканье. Единственный глаз полковника вдруг погас. Пестель уже стоял у своего кресла. Затем его фигура, сопровождаемая громадной черной тенью на стене, поплыла вон из следственной, и наш герой успел заметить, как дежурный офицер ловко набросил повязку полковнику на лицо.

Спустя несколько часов, торопясь к выходу, Авросимов вспомнил снова тот сверкающий глаз. К чему бы он? Уж не знак ли печального исхода?

Он торопился, пересекая крепостной плац, страдая, надеясь на встречу с Настенькой. Плац был пуст. Редкие фонари мигали под ветром. Обгоняя Авросимова, пролетали черные экипажи, развозя по домам счастливых избранных государя, и комья снега из-под конских копыт хлестали нашего героя по лицу.

Теперь бы миновать ночную беседу с графом! Вот что еще томило Авросимова. Но экипажи, к счастью, летели слишком быстро, так что была надежда спастись от ужасной этой возможности.

Наш герой миновал ворота, другие, перебежал мост и вдруг застыл в изумлении.

Прямо перед ним, под тусклым фонарем, будто чужая в этом мире, но по-прежнему стройная, как молодая ель, проплывала Настенька Заикина.

Сердце его забилося, заметалось, закричало от радости и безнадежности. Он приближался к ней. А она, будто нарочно, остановилась под самым фонарем в задумчивости и вдруг услышала его шаги.

Ну, вы понимаете, что тут она испугалась, так как встреча с громадным незнакомцем в столь позднее время не могла сулить ничего приятного. Однако вид его был совершенно спокоен, как она разглядывала нашего героя.

Он приближался так медленно, чтобы не потревожить ее, так вкрадчиво, так мягко, словно это был и не он, а некий добрый призрак бестелесный, явившийся непрошеным из февральской ночи. Она же ждала его приближения, стараясь понять, что нужно сему молчаливому великану.

— Сударыня,— выдохнул он едва слышно.— Вы не бойтесь меня... Вы меня помните? Мы на плацу с вами свиделись однажды... У меня к вам письмо от вашего братца, Николая Федоровича...

— Давайте же его,— приказала она без тени удивления или страха.

Письмо подпоручика, измятое в горячей ладони нашего героя, перепорхнуло к ней в руки.

— Я вас пять дней тщился увидеть,— сказал Авросимов.

Она продолжала оставаться в неподвижности. Лицо ее было строго, даже несколько надменно, а он так надеялся увидеть в нем хоть искру благоволения. Он вдруг

понял, что она сейчас повернется и уйдет, не подарив ему больше ни слова. Господи, он же со всей душой! Или нет ему в сем мире счастья?.. Конечно, будь Бутурлин на его месте, он бы знал, что сказать!

— Сможете ли передать ему ответ? — вдруг спросила она, вместо того чтобы уйти.

— Сейчас? — поперхнулся он от счастья, что услышал ее голос.

— Сейчас? — в голосе ее не было ни тепла, ни сочувствия. Одно железо.— Вы смеетесь, любезный.

Он молчал. Слова, будто объевшиеся медом пчелки, не хотели вылетать. Хотя маленькая надежда теперь появилась, что она не сразу уйдет, то есть даже не то, что не сразу уйдет, а ежели и уйдет, то позволит лицезреть ее снова, в другой раз. Разве этого мало?

— Когда вам будет угодно,— сказал он уже иным тоном, чувствуя себя в новехоньком мундире, и ему даже показалось, что шпоры звенят.

— Я извещу вас,— ответила она по-прежнему отчужденно, с недоверием, не слыша звона шпор, и пошла прочь.

И ведь ни слова о брате, то есть как он там, что с ним, не нужно ли чего, можно ли надеяться на великодушные судей, то есть попросту, со всем женским сердцем...

Он медленно двинулся за нею, гадая: оглянется или нет. Нет, она не оглянулась. Едва лишь подошла к Каменностровскому, как из-за угла выползли легкие санки, в которые она молча же и уселась, а кучер, соскочив с облучка, принялся укутывать ее в медвежью полость, затем вскарабкался на свое место, и они исчезли.

И все-таки Авросимов был полон ликования.

И так, ликуя, шествовал он обычной своей дорогой, не считая встречных фонарей, не заботясь — куда ступать, лелея в душе возгоревшийся образ суровой и неприступной Настеньки.

Февраль еще был в самом разгаре, но откуда-то, будто из подворотен, несло едва заметно острой влагой — предвестием весны, и редкие северные звезды, проглядывающие в разрывах облаков, казалось, вот-вот оттают и, наконец, прольются.

И словно это вот слабое предвестье нагнало волну новых забот, и к раздумьям о судьбе проклятого полков-



ника прибавились новые о подпоручике, томящемся в каземате, о его прелестной и недоступной сестре. Ведь явиться в нас хоть одно-единственное, хоть маленькое страдание, как оно тотчас влечет за собою другие, множество, и вот мы уже и не люди, а некие сосуды отчаяния, боли и надежд.

Все сие я и не стал бы вам повторять, ибо вам это и самому прелестно известно, но не могу избавиться от искушения поразглагольствовать о бурях, происходящих в нашем герое, ведь согласитесь — не простая жизнь обступила его, и не легкая доля ему досталась. Уж я и не имею в виду всего прочего, что с ним совершалось постоянно, но даже такой пустяк, как размолвка с ротмистром Слепцовым, ведь это тоже превратилось под рукой такого умелого мастера, как наша жизнь, в событие, полное значения и тайны.

Вообразите-ка, милостивый государь, себя на месте нашего героя хотя бы на минуту. Вообразите, что вы, истратив весь свой гнев, пыл, нервы на сведение счетов с презренным человеком, вдруг убедились, что он — образец порядочности и благородства и что его не то что по щекам бить и звать к барьеру, а следует лобызать и ползать пред ним во прахе... Клянусь, сие повергло бы вас в сильнейшую лихорадку и заставило бы еще раз подумать, что все не так-то просто на белом свете, как об том толкуют некоторые упрямые и лукавые себялюбцы.

Все трусы всегда и во всем трусы да к тому же и подлецы (так принято считать), а что ротмистр струсил, в том Авросимов не сомневался, и в первый же день после возвращения из поездки, столкнувшись с ним в комендантском доме, поглядел на него с презрением и насмешкой, однако Слепцов прошел мимо, даже вида не подав, что они знакомы. Тогда-то в сердце нашего героя угнездилась тревога, ибо ничего доброго не мог сулить этот неприступный вид подлого лейб-гусара: доложи он господину Боровкову о всяких разговорах, которые позволял себе наш герой, и жизнь Авросимова могла перемениться с прелестной легкостью. Тревога же усилилась, когда нашего героя вдруг вызвали к правителю дел. Уж как он спешил, лучше и не вспоминать.

Александр Дмитриевич распорядился относительно очередных дел и между прочим заметил, что донесение, составленное нашим героем, было весьма отменно и

своевременно, и что вообще ротмистр Слепцов отзывался о нем, Авросимове, столь лестно, что он, Александр Дмитриевич, весьма возможно использует в скором времени нашего героя в более щепетильном деле, позабыв некоторые его просчеты, о которых уже они имели честь разговаривать.

Батюшки светы! Как же это произошло? За что ротмистр пощадил своего противника?

И хотя мысль об обидчике колупановском продолжала мучать Авросимова, однако новое происшествие на него весьма повлияло, и он теперь был в еще большей растерянности от раскрывшегося пред ним многообразия человеческой души.

Так переживал он, направляясь к дому, но слышался скрип полозьев, что вовсе не сулило ничего доброго, и, переполненный размышлениями и неистовством, Авросимов кинулся под родимый кров, который, ровно спасительный берег, предстал перед ним.

Ерофеич смотрел на Авросимова, подобно волку, которого вконец уже затравили, а охотники — вот они, рядом. И наш герой вообразил вдруг, что не иначе как Милодора ожидает его с жалобами, или сама Амалия Петровна подъехала душу вынимать, или, может, Дуняша разыскала его в столице каким-то чудом...

Оттолкнув старика, он ринулся в комнату. Дверь отлетела под ударом. Стены содрогнулись. Ерофеич за спиной всхлипнул или засмеялся, старый черт...

Посреди комнаты, упрятав лицо в ладони, в скорбной позе сидел Аркадий Иванович. Господи, что же еще-то стряслось?!

Тут капитан поднял лицо. Глаза его были влажны.

— Господин Ваня,— сказал он.— Вообразите, я должен искать у вас защиты. К дядюшке вашему, к прекрасному Артамону Михайловичу, идти я не могу, ибо он во мне видит героя, но меня бьют по щекам, господин Ваня.

— Как же это?

— За верность мою был я определен в гвардию,— с горечью продолжал капитан,— но господа гвардейские офицеры чинят мне всяческие подлости, и нигде в полках не могу найти я себе пристанища. Что же делать мне, господин Ваня?..

— За что они? — спросил наш герой, обуреваемый

сложными чувствами. С одной стороны, ему, как человеку искреннему и полному всяческих благородств, было жаль капитана, который подвергался преследованиям самодовольных петербургских шалопаев, но с другой — цыганские глаза Аркадия Ивановича уже не возбуждали в нем прежнего расположения, да и смех его был холоден, и рыдания не безутешны... — За что же они?

— Ах, не знаю, господин Ваня, — вздохнул капитан. — Кто за что, по пустякам все, то будто поглядел не так, то словно должен что... Вот нынче, к примеру, в Павловских казармах, вы только вообразите, я уж о прежних случаях не говорю, нет, а вот нынче в Павловских казармах, свеженькое еще: собираются деньги по кругу, ну, знаете, для подарка дочери генерала к свадьбе. Спрашиваю: «Кому деньги сдавать?» Норовлю самым первым, чтобы не подумали чего: мол, армейский нищенка, черная кость... Нет уж, увольте, господа... «Какие деньги?» — удивляется Штуб, этот прапорчишка, проклятый немец, бисова сука. «Да на подарок генеральской дочери», — говорю я, а сам трясусь в лихорадке, господин Ваня. «Ах, на подарок? — говорит он. — А деньги-то ваши? Кровные? Не ворованные?»... Это опять, господин Ваня, презренный намек на ту историю, помните? Ну с казенными суммами... Я же не могу с ним стреляться, черт! Я же только определен! По высшему соизволению! Или лицом я не вышел?.. Ну хорошо. Тут к вечеру, вообразите, квартирмейстер этот, Чичагов, спрашивает меня с расположением: «Как вы, господин штабс-капитан, о полковнике вашем о бывшем думаете? Жалуете его?» «Жалею, — говорю я. — Я любил его и люблю, и боль разрывает мою душу...» «Вот как? — усмехается он. — Любите государственного преступника, и боль разрывает вам душу?..» Представляете? Ставит меня в такое положение перед десятью парами нахальных глаз! Он, подлая лиса, сам, небось, по Галерной маршировал, я знаю, и хватал и вязал тогда в декабре!.. Тут я, господин Ваня, натурально, смешался, потому что не могу понять: с добром он или напротив... «То есть как это я его люблю?» — спрашиваю. Вижу улыбки на лицах. «Это я вас спрашиваю, — говорит он, — вы любите государственного преступника?» «Нет, — говорю я, — не люблю». «Как же это вы его не любите? То любили, а теперь не любите, — говорит он усмехаясь. — Какой вы однако непостоянный...» И уходит

прочь, и все они уходят с ним. Хоть бы один мне сочувствие выразил. В полночь еду в один дом. Хочу развеяться маленько. Еще карты по рукам не пошли, а уже слышу! «Вы передергиваете!..» Помилуйте, какое тут может быть передергивание, когда карты еще по рукам не пошли?.. Тут всей колодой мне по щеке... «Стреляться!» — кричу я, потому что сил моих уже больше терпеть не осталось. «С вами стреляться невозможно, — говорят они, — потому что вы на руку не чисты...» Вы разве меня не знаете, господин Ваня? Вы же меня вот как знаете... Я плакал перед генералом. «Ваше превосходительство, это же невыносимо!» «Голубчик, — сказал он мне, — вы новенький, это со всеми так...» «Ваше превосходительство, а может, неродовитость моя тому причина? Да, пусть я не знатен, разве я государю не честно служу?..» «Что вы, господь с вами, — сказал он. — Какой предрассудок!» Вот вам и предрассудок.

— Вы же сами в гвардию мечтали, — сказал наш герой, вдруг пожалев капитана. — Нет, вам надобно стреляться, стреляться...

Тут он вспомнил собственную свою обиду, и лицо ротмистра Слепцова возникло перед ним.

— А у пистолета вашего курок свернут, — сказал он Аркадию Ивановичу.

— Да это не беда, — ответил капитан равнодушно, не удивляясь, — он и со свернутым курком стреляет, я знаю...

— Да неужто вы всем так не угодили? — спросил Авросимов. — Вот ведь и полковник ото всех терпит, и от врагов своих и от друзей...

И тут перед Авросимовым промелькнуло одно давнее воспоминание, как летом в деревне благословенной наблюдал он совершенно нелепую картину, говорящую о многих неизведанных тайнах природы. Брали курицу, клали ее на спину, прижимая к полу, и проводили мелом вокруг несчастной птицы, а затем отпускали ее. Она вскакивала, дурочка такая, пуча глаза, ноги ее выписывали кренделя, будто она с ночи до утра гуляла в трактире у заставы. Так ковыляла она среди изображенного круга, а выйти из него не смела. Отчего такое? Кто же это шепнул ей, что она не смеет? Все вокруг надрывались смехом, глядячи на хмельную тварь, а кто-то вдруг возьми да крикни:

— Да вы сами в кругу, черти лопаухие!

Может быть, и в кругу, милостивый государь, но ужель возможно сие понять тому, кто сам из круга не вырвался? Нет, невозможно. Вот, вообразите, провели вокруг нас линию, означающую, к примеру, что без казенной палаты жить, мол, нельзя, и мы с тем понятием существуем, и ежели и мелькнет сомнение, так сразу же его гоним прочь: да неужто все дураки, а я один — умник? Такого быть не может. Нужна казенная палата... Вот ведь беда какая. О казенной палате — это я к примеру, а не потому, что я против. Пусть она себе процветает, бог с нею. Но история жизни учит, что лишь немногим из нас удастся вырваться за сию линию, проведенную вокруг, и лишь они-то и могут понять, что сие — просто линия, а не божье установление... Да, лишь немногие...

«Что же я спросить его позабыл, — подумал наш герой о полковнике с тоскою, — что же не спросил, как это он-то смог? Не боязно теперь расплачиваться? А не придется ли в круг тот вернуться?»

— Господин Ваня, — сказал капитан, — есть горилка. Разделите со мною компанию, будьте милостивы.

— А Русскую Правду нашли, — сказал наш герой, ожидая, что капитан закричит от радости, но Аркадий Иванович, напротив, проявил полное безучастие к сему и неохотно так выдавил из себя:

— А я знаю... Видите, как оно? А считали меня бесчестным человеком. А я с детства воспитан в правилах чести, хоть и не знатного рода...

И он принялся извлекать из кармана плоскую зеленую бутылку, в которой булькала жидкость, и тотчас, откуда ни возмись, звякнул в руке его зеленый же стаканчик. Пробка отлетела, и полилось, полилось на славу.

В окно сильно постучали, но наш герой тому не удивился, не вздрогнул. Он поднялся во весь рост перед пьющим и плачущим капитаном. Громкий зов о помощи раздался в комнате. «Бегу, бегу! — крикнул Авросимов в душе. — Бегу!» Он будто и в самом деле побежал не то по снегу, не то по коридору, держа в руке злополучный пистолет со свернутым курком. Фигура в женском салопе метнулась через ров и, задыхаясь, упала в возок. Кони понесли. Авросимов на своих щеках ощущал неистовое жжение ночного ветра. На крепостной стене замелькали

фонари, слышались выстрелы. Забил набат. «Поздно!— подумал наш герой со злорадством.— Поздно, господа!» И выстрелил в преследователей.

Съевшийся на стуле со стаканчиком в руке несчастный капитан ничего этого не видел и не воображал. Вино помаленьку делало свое дело, и скоро его осталось в зеленой бутылки на донышке. Допив остаток, капитан сказал:

— Ваше превосходительство... хоть я и незнатен, но честен. Хочу вам сделать презент... Эта маленькая сучка — сущий бес... Возьмите, ваше превосходительство...

Это было смешно и печально, как человек, теряя свой облик, помнит, какую струнку щипнуть, чтобы раздастся главный звон.

А меж тем фигура в женском салопе продолжала скакать в возке по Петербургу, путая следы, пугая случайных путников...

Капитан уже храпел на кровати нашего героя. Ерофеич вздыхал в своей кухне. А к Авросимову сон не шел. Разгоряченный фантазиями, с трудом дождался он утра и помчался в дом к Амалии Петровне, бросив спящего капитана на произвол судьбы.

15

Человек провел Авросимова в гостиную, отправился доложить, а воротившись, сказал, что барыня просили обождать.

Теперь при свете утра наш герой мог наконец с большими подробностями оглядеть гостиную, ту самую, в которой он уже бывал по неизъяснимым прихотям судьбы, где, словно в древней амфоре, так странно перемешались первое восхищение и первая горечь, надежда и отчаяние; гостиную, где все носило следы ее обитательницы, такой возвышенной и такой земной и хрупкой, что не приведи господь.

Всю дорогу, покуда Авросимов мчался по просыпающемуся Петербургу сюда, на Загородный, в дом господина Тычинкина, невыносимый зов о помощи раздавался в его голове, то усиливаясь, то затухая, отчего наш герой испытывал дрожь в руках, будто больной лихорадкой. И здесь, в этой гостиной с красными покойными креслами, раскорячившимися на золотом скользком паркете,

здесь, под потолком, с которого глядели амуры, здесь, среди стен, обтянутых бледно-зеленым китайским ситцем, этот зов загудел в полную силу, отвергая приличия, не давая погрузиться в ровное течение повседневных забот. А уж тонкий аромат печений, витающий среди всего этого изыска, тех самых печений, сдобренных корицею, которые так хороши к утреннему кофею, и подавно был бессилен погасить зов, который через весь Петербург летел на своих скорбных крыльях. Что ему была сия легкая преграда?

И шумный вздох вырвался из груди Авросимова, и он понял, что зов этот — не случайность, не блажь природы, а прямое указание, идущее, может быть, свыше, требующее от него вмешаться в судьбу несчастного, оставленного в одиночестве полковника.

«Да бегу, бегу же! — крикнул он в душе. — Вот он я. Сейчас, сейчас!»

Внезапно, скрипнув по-кошачьи, поддалась и приотворилась дверь, ведущая в следующую комнату. То ли ветер ее приоткрыл, то ли бог, неизвестно, но до Авросимова долетел голос Амалии Петровны и мужской незнакомый, и он услышал совершенно явственно:

Незнакомец. Да что же теперь об том говорить. Судьбе было неуютно. Но я всегда знал, что вы достойны любви и преклонения. Об одном остается жалеть, что не его удостоили вы своей милостью.

Амалия Петровна. Уж не видите ли вы в том ошибки?

Незнакомец. Какие уж тут ошибки, любезная Амалия Петровна? Простое сожаление, хотя и пустое, ибо он был человеком железных правил и ничего, кроме собственных идей, в расчет не брал. Это общеизвестно.

Амалия Петровна. Но вы хоть цените это в нем? Вы не отворотились от него в своем сердце?

Незнакомец. Помилуйте, господь с вами!

Амалия Петровна. Ведь бывает же так, что за внешней холодностью страшатся различать суть. Вы будете о нем помнить?..

Незнакомец. У меня вызывает слезы ваша преданность ему и ваша непоколебимость. Как вы это умеете, когда все, почти все отворотились, так молиться о нем!

Амалия Петровна. К сожалению, молиться — это единственное, что мне позволено.

«О, нет, не единственное! — подумал наш герой, ощущая за спиной крылья.— Как вы закричите с радостью и страхом, когда узнаете, что есть еще надежда».

Незнакомец. Слухи о милосердии государя меня мало утешают. Я в них просто не верю.

Амалия Петровна. Вы и не можете в них верить. Вы не можете...

Незнакомец. Я бы хотел признаться вам, что укору совести нещадно мучают меня последнее время. Ах, не потому, что мы с ним врозь, сему есть множество логических причин, да к тому же давних; и все же то, что я не с ним, это, согласитесь, печально. У меня был разговор с великим князем, ну, так разговор... вполне приличный. Что с меня взять?

Амалия Петровна. Не касались ли Владимира Ивановича?

Незнакомец. Нет, нет, что вы...

Амалия Петровна. Ну да, естественно...

Ах, кабы знала она, что на следующий же день после страшной экзекуции пожалуют Владимиру Ивановичу флигель-адъютанта, она бы тотчас утешилась; да вот не знала, ибо не дано нам предугадать капризы судьбы.

Незнакомец. Амалия Петровна, я приехал утешать вас, но вижу, как вы мужественны и сильны духом. Вы даже улыбаетесь... Это добрый знак.

Амалия Петровна. Я надеюсь, что ваши друзья будут знать об этом. Даже самые суровые испытания не могут сокрушить сердце, когда оно — любит.

Наконец голоса смолкли. Видимо, Амалия Петровна проводила своего гостя через другую дверь. Прошло несколько мгновений, и она появилась. На лице ее не было ни радости, ни удивления при виде нашего героя, словно они каждый день встречались, словно она ждала его.

Он стремительно шагнул к ней навстречу.

— Что вам угодно? — спросила она.

— Я пришел обрадовать вас, — отвечивал он не очень уверенно.

— Чем же вы можете обрадовать меня? Вам что-нибудь стало известно?

— Амалия Петровна, сударыня, когда бы вы соблаговолили только, а я знаю, как вы заинтересованы в судьбе Павла Ивановича...

— Что такое? — брови у нее взлетели.

— ...мы смогли бы попытаться счастья с вами...

— О чем это вы?

— Медлить нельзя... Ему грозит жестокая участь... Ежели вы готовы помочь мне... Я там все выходы знаю... я уже все решил, любезная Амалия Петровна... ежели вы только...

Тут лицо ее стало бледным, и Авросимов в первый миг даже испугался, он испугался, что ей станет худо, что это он со своей торопливостью причинил ей боль, хотя можно ведь было говорить обо всем мягко, а не рубить с плеча. Но эти сожаления и страх тотчас рассеялись, ибо лихорадка его все усиливалась, и никаким другим чувствам уже не оставалось места. Однако она справилась с волнением.

— Вы сами это надумали? — спросила она.

Он кивнул.

— Ах, вот как... — какие-то таинственные бури бушевали в ней, в самой глубине, но на поверхности было лишь легкое волнение. — А последствия?..

— Сударыня, я все обдумал... ежели вы согласны...

— Да? — растерянно сказала она. — Да, да, это так неожиданно...

Вдруг солнце ударило в окна, и китайский ситец на стенах зашевелился, зацвел, послышалось пение птиц. Амалия Петровна, бережно прикасаясь пальцами к своей родинке, уходила сквозь густую траву, которая достигала до ее груди.

— Вы не поняли меня! — крикнул он. — Вы поняли? Его хотят убить... В острастку нам... Вы поняли?

— Ах, да я поняла вас, поняла, — с ужасом произнесла она, и слезы хлынули из ее прекрасных глаз... — И вы решились?!

Он торопился по улице. Полетел влажный и крупный снег, и, пробираясь в нем, Авросимов с трудом различал редкие расплывчатые фигуры прохожих, втягивавших головы в плечи, поднявших воротники, скрючившихся и крадущихся, словно за ними охотились. Даже богатые экипажи, пролетавшие мимо, торопились все как-то боком. Ваньки, дремлющие на углах, распадались в зыбком тумане.

Крепостной плац был пустынен. Пистолет терся о ребра в неистовом каком-то предчувствии. Встретившийся в коридоре Александр Дмитриевич Боровков на поклон не

откликнулся, а, вытянув острый подбородок, пролетел мимо, отчего у нашего героя в сердце что-то отвратительно щелкнуло.

На мгновение мелькнул в сознании бледный и неустойчивый образ Настеньки, но тут же погас и рассеялся.

Где-то за сырой крепостной стеной, совсем рядом, ловил прусачков мятежный полковник, не подозревая о возможном своем и скором освобождении. Где-то тоже рядом, насупротив полковника, лил слезы бедный Заикин, разуверившись в людях и жалея ротмистра Слепцова, с легкостью выдающего ложь за правду, и завидуя рыжему писарю, верящему в собственное благородство.

Даже получая от Александра Дмитриевича работу, а именно — перебелить набросанные начерно мнения пленных друзей полковника о своем предводителе, он и тут не удостоился его взгляда, ровно это был и не он, Авросимов, баловень и удачник, а некий неопределенный предмет, на который и глядеть-то не стоило. И все это, благодаря душевной чуткости нашего героя, пребольно его задело и встревожило, потому что как ни обольщайся милостивым к себе отношением, а ухо держи остро, ибо никто не знает, где и какие грозные силы шевельнулись, как по-новому расположились звезды, кто руку вознес для удара.

«Мешкать нельзя,— подумал наш герой, нацеливая перо на бумагу,— неровен час — все переменится, а переменится — прощай, полковник несчастный, не жди добра!»

И он сам не заметил, как перо повело по чистому листу какую-то свою линию, рядом — другую, и постепенно нарисовался треугольный коридор ужасного равелина, от дверей упал через ров мостик, потянулась крепостная стена с куртинами, ворота, комендантский дом, похожий на пустую птичью клетку, вторые ворота, кружок несколько поодаль, знаменующий некоего ваньку, мерзнущего в своем тулупе в февральскую ночь.

План крепости со всеми подходами и углами неожиданно получился весьма верно. Затем наш герой, прикусив от напряжения кончик языка, вывел в треугольном коридоре несколько крестиков, которые должны были означать солдат и караульных офицеров, и другой крестик побольше — очевидно, плац-майора Подушкина.

Осуществить готовый план он решил нынче же в сре-

ду, в полночь, ибо в молчании Боровкова почудились ему весьма недобрые, даже грозные предзнаменования. Оставалось договориться с каким-нибудь возницею, что труда не представляло, ежели на рубли не скупиться. Глубоко вздохнув, он намеревался было, тщательно сложив, упрятать свою тайную работу куда подалее от посторонних взоров, но принялся напоследок подсчитывать крестики. Солдат получилось двенадцать да три офицера, не считая плац-майора. Это обстоятельство сильно смешало его намерения. Он торопливо еще раз пересчитал крестики — солдат не уменьшилось. Крестики изгибались под пером, ровно живые, перебежали с места на место, прятались за углами, а когда он начинал радоваться, что их все-таки меньше, внезапно высывались и корчили рожки. По широкому лбу нашего героя струился пот, рыжие его волосы торчали во все стороны, тревожимые нервной пятерней.

Постепенно комендантский дом начал наполняться людьми. Захлопали двери, раздались голоса и шаги, замелькали головы, спины, эполеты. Авросимов упрятал план поглубже и удрученно перенес его осуществление на завтра, то есть на четверг, на полночь же, надеясь что-нибудь придумать со злостными инвалидами, которых развелось, ровно прусачков, великое множество.

Тем не менее следовало заняться делом, которое ждать не могло, и Авросимов, продолжая метаться душою, углубился, как ему показалось, в чтение черновика и снова нацелил перо на чистый лист.

И тут он увидел себя синеглазым поручиком, легко взбежавшим по дрогнувшим ступеням на малороссийское крыльцо, и шпоры его зазвенели, словно это и в самом деле было, да, было летом, прошлым, запрошлым, когда-то, когда он ехал через Малороссию и по странному незадуманному крюку докатился до Линцов, где проживал тогда полковник, впрочем — он именно туда и ехал, и никакого крюка, собственно, и не было.

Они сидели в белой комнате Павла Ивановича, в точности описанной капитаном Майбородой, и Павел Иванович, будучи в расположении, сказал доверительно:

— Вот вы скачете, скачете, пот у вас струится, и щеки у вас пунцовеют, как у барышень, а в глазах — одно дилетантство. Заранее предвижу каждый ваш жест... Вам боязно, да стыдно признаться...

— Хитрец вы, Павел Иванович,— засмеялся Авросимов и погрозил полковнику пальцем.— Вы меня поддеть хотите, да я не дамся. Вы отменный соблазнитель. А у вас щечки-то, глядите, какие пунцовые у самого-то...

— Это на деревенском воздухе,— вдруг смутился Пестель.— Здесь не то, что у вас, в гнилом вашем Петербурге. Или не так? Видели вы мою матушку? Что она?

— Видел,— сказал наш герой.— Она имела со мной откровенную беседу.

— Вот как?

— ...в том смысле, что ваше предприятие... наше предприятие (Пестель засмеялся) обречено...

— Вот как?

— ...неоднократные попытки свергнуть тиранию приводили к новой же... Какая разница?

— Надеюсь,— сказал Пестель,— что вы говорили tête a tête¹. Экая страсть сбивать юнцов с толку!

— Полноте,— обиделся Авросимов,— мне двадцать два, и я намерен жениться на Настеньке Заикиной.

— Мне всегда любопытно было знать вас ближе,— сказал Павел Иванович.— Скажите откровенно: вы очень голодны? Только не стесняйтесь... Савенко!

Тут появился знаменитый денщик. Наш герой тотчас узнал его. Однако ничего отвратительного, песьего, как утверждал бедный капитан Майборода, в солдате не было. Передвигался он бесшумно. Стол накрыл мгновенно. Вина не поставил.

— Это мешает общаться,— усмехнулся полковник.

— Натурально,— в тон ему ответил Авросимов.

— Скажите мне, господин поручик, насколько верите вы в успех нашего предприятия?

— Верю, верю,— слишком поспешно откликнулся наш герой, словно от его ответа все и зависело.

— Отлично. И все элементы его вам понятны и дороги?

— Да.

— И у вас нет мыслей о корыстности моих намерений?

— Господь с вами!

— Как у некоторых моих единомышленников?

¹ с глазу на глаз (фр.).

— То есть?..

— Ну в том смысле, что я, мол, склонен к диктаторству, и ежели все свершится, то...

— Да полноте, зачем так-то?

— Минуточку... Вы проглядывали Русскую Правду? Значит, вы согласны, что после того, как все свершится, необходима будет диктатура власти? Согласны?

— Да,— сказал наш герой, и сердце его похолодело. Небольшие пронзительные глаза Пестеля уставились прямо в него.

Полковник легким движением расстегнул мундир и вздохнул.

Авросимов тем временем ринулся с облаков на землю, очутился в комендантском доме перед исписанными листами и снова принялся за них. Ах, они были горячи! И горьки, неся в себе следы прикосновений страждущих душ. Словно живые встали пред его взором странные силуэты ответчиков, Пестелевых единоверцев бывших, в которых не угасли еще искорки надежды, но на которых лежали скорбные тени казематов, и стрелы недоумения, отчаяния и поздней горечи крест на крест сходились на них. И он слышал их голоса, звонкие и глухие, и перо плясало в его руке...

«...крайние взгляды Пестеля... и надо было противопоставить ему ну, скажем, Михайлу Орлова, имевшего большое влияние во 2-й Армии... требовал, чтобы общества слепо и беспрекословно повиновались одному лицу, подразумевая себя... Петербургское общество боялось ввериться сему диктатору... Северные члены отвергали Русскую Правду, потому что замечали честолюбивые виды и диктаторство Пестеля...»

Господи, а где же слова о благоденствии?! О счастье народа? О солдатских поселениях? О мраке и хаосе, повергшем Россию на колени не в пример Европе?.. Где эти высокопарные мечтания полковника, которые он, Авросимов, сам слышал и сам записывал дрожащею рукою, с тоской и страхом?

Понятия времени и места перемешались, и уже нельзя было решить, то ли Авросимов воистину пребывает в гостях у страшного предводителя заговора, то ли Павел Иванович с отменным тщанием, согнувшись над черно-

виками вместе с нашим героем, помогает ему перебеливать печальные документы.

— Что же вынуждает вас отказаться от роли главы государства? — вдруг спросил Авросимов. — Что же такое может препятствовать?

— Фамилия, — очень строго, не замечая лукавства, ответил полковник. — Моя фамилия. Человек с моей фамилией не может быть во главе Российского государства, — снова вздохнул. — Вы верите, что все сложится удачно?

— Да, — сказал Авросимов, не веря, то есть не то, что не веря, а уже зная о сем...

— Ежели все сложится удачно, — проговорил Павел Иванович, стараясь выговаривать твердо, — и я закончу все дела сии, что, вы думаете, намерен я сделать?.. Удаюсь в Киево-Печерскую лавру и сделаюсь схимником...

— Вздор какой!

— Не вздор. Вы этого не поймете.

— Отчего же не пойму? Все равно вздор...

— Точный расчет и последовательность воспринимаются как безумство честолюбия, — он вдруг засмеялся не без удовольствия. — Разве я похож на диктатора?

— На Бонапарта...

— Бонапарт? — удивился Пестель. — Вы говорите о внешности? Фу, да у него живот до колен был.

Они снова углубились в протоколы.

«На одном из совещаний в Киеве в 1823-м, в квартире князя Волконского в первый раз было говорено об уничтожении императорской фамилии... Пестель... желал истребления всех особ...»

«...Пестель уговорил большую часть членов на истребление императорской фамилии... Ежели останутся великие князья, не избежать междоусобия...»

«...Никто более Пестеля не стремился к исполнению преступных замыслов общества... Он предлагал истребление всей императорской фамилии...»

И снова, как когда-то, молодой государь император, на сей раз в мундире бригадного генерала и красивый очень, вышел из дальнего угла и остановился перед Авросимовым. Но прекрасное его лицо с чертами древнеримского героя не было привлекательно. В то время как губы слегка змеились в усмешке, глаза словно утопали

под тяжелыми бровями, и были эти глаза неподвижны, и вселяли повиновение...

«Предлагал истребить императорскую фамилию...»

И из сего повиновения слепого родилось безумство подлых черновиков, похожих на донос, производимый сильным на слабого.

«...истребить императорскую фамилию...»

Он будет милостив, но не по сердцу, а по расчету, и угодливые его холопы произведут тот расчет с отменным усердием, ибо неспроста запомнилась нашему герою фраза, оброненная как-то генералом Чернышевым вскользь, где-то на ходу: «Полагаю, что государь не унижится до помилования главных преступников...»

«...истребить...»

Господи, а где же слова о благоденствии России, о вольности духа? Почему они не вписаны в черновики?!

— Ложь! — шепотом закричал Авросимов, ломая перо. — Обман!

Обида за несчастного полковника подкатила к горлу. Поверьте, он был страшен в это мгновение, наш рыжий великан, и, кто его знает, может, очутись пред ним сам великий князь, пришлось бы его императорскому высочеству худо, да, видно, господь уберег.

Лихорадочно и, не в пример другим разам, небрежно наш герой справился с отвратительной его сердцу работой и, услышав гром полуденной пушки, выбежал из крепости, вновь положив произвести операцию нынче же, в среду, не откладывая до четверга, словно опять ворвался в его душу пронзительный зов о помощи, от которого не было спасения.

«Так, так, — твердил он про себя, торопясь к дому, — каковы каналы! Значит, ничего и не было? Одно лишь истребление?.. Каналы!»

Так он бежал по Петербургу, бормоча про себя проклятия, словно хворосту подкидывая в огонь, который мог затухнуть на сырой погоде, однако и тут здоровый организм старательно, как верный молчаливый слуга, начал прибирать к рукам отчаяние нашего героя, да еще морозец и ветер делали исподволь свое дело, не в силах глядеть, как разрывается его сердце от всяческих мук, и уже на полпути к дому, на середине Большого проспекта легкое умиротворение вдруг потекло по жилочкам, разрастаясь, позволяя вновь увидеть все вокруг.

Что же увидел он?

Он увидел дома, черные окна, провалы ворот. Вон ванька ждет своего ездока, вон крендельщик стоит на пороге крендельной, разглядывая проходящих мимо, вон чья-то легкая карета, покрытая коричневым лаком, пронеслась вихрем в сторону залива, так что ее беспрестанно заносило, несмотря на тонкие полозья саней.

Что же еще он увидел?

Он увидел гуляющего молодого человека с тихой улыбкой на лице, словно сейчас у него должна была свершиться самая главная радость. Он увидел двух молодых дам, болтающих о чем-то меж собой; они мельком оглядели нашего героя, прежде чем усестыся в удобный возок. Он впервые заметил, что проспект похож на Неву, а дома — на гранитные берега, и сам он, подхваченный ровным неторопливым течением, медленно уносится куда-то вдаль, откуда не захочется воротиться. Угас пронзительный крик о помощи, растаял. Но ванька, дремлющий на углу, вдруг напомнил ему о плане, и не очень торопливо наш герой подошел поближе.

— Милости просим, ваше благородие...

— Недосуг мне сейчас, — откликнулся Авросимов. — Вот бы ночью... ну, скажем, часа в два...

— Ночью?.. Это зачем же, ваше благородие?

— Ты не разговаривай... Я хорошо заплачу... Согласен?

— Может, чего против закону?

— Да почему же против закону? — ужаснулся Авросимов.

— А коли нет, так ладно...

«А ведь в самом деле против закону!» — подумал наш герой и побежал прочь, и вскоре достиг дома.

«Дурень какой, господи, — подумал он, взбираясь по лестнице. — Да я живо другого найду... Уж не с тобой, увальнем, связываться, черт... Еще заснешь на полпути, прощелыга. Найду другого, мордастого такого, с разбойными глазами, да и чтоб лошадь, как лошадь чтоб... Ну не нынче, так завтра уже непременно найду... В четверг...»

Рассуждая так с самим собою, он прошел через кухню, не замечая Ерофеича, остолбенело вытянувшегося перед ним, вошел в комнату и остановился пораженный.

Перед ним, откинув шубу с плеча, подставляя под се-

рый оконный свет строгое лицо, неподвижный, подобный грозному каменному изваянию, стоял ротмистр Слепцов, адъютант генерала Чернышева, недавний спутник, искуситель, обидчик и благодетель.

— Ну-с, так вот, господин Авросимов,— промолвил ротмистр, вдоволь насладившись растерянностью нашего героя.— Вы, конечно, изволили позабыть обо мне, сударь, а я — вот он. Надеюсь, однако, что не забыли оскорблений, которые вы мне нанесли. Вы слышите меня? В те поры мне было недосуг заниматься с вами, нынче я к вашим услугам. Покорнейше прошу прислать ваших секундантов нынче же к господину N., чтобы иметь время договориться об условиях на завтра. Вы слышите? На завтра, сударь.

Кровь ударила Авросимову в голову, ибо, пока он слушал высокопарный вызов ротмистра, тонкая ниточка размышлений, цепляя одно за другое, привела его к образу Дуняши. Воспоминание об этой далекой женщине, недоступной, словно эхо, едва мелькнувшей перед ним в колупановской глуши, окруженной таинственными событиями, возбудило в нем гнев, однако спешу вас уверить, что внешне это состояние выразилось едва заметно, и наш герой оставался неподвижен с вызовом в синих глазах.

— Полагаю, вам нет оснований отказывать мне,— усмехнулся проклятый гусар.

Где-то далеко, в самой глубине сознания Авросимова, вспыхнула мысль о намеченном на завтра, на четверг, плане; вспомнилось вдруг страшное великодушие Слепцова и лестные его рапорты об участии Авросимова в поездке, но вид ротмистра был так вызывающ, держался он так дерзко, да в довершение ко всему коварный поступок ротмистра там, в поездке, был так яростен перед глазами, что лишь чудо удержало руку Авросимова, чтобы разом не покончить с наглецом.

— Я к вашим услугам, сударь,— спокойно поклонился он и в свою очередь тоже с усмешкою глянул в глаза ротмистру.

Брови гусара удивленно взлетели, едва он увидел эту усмешку, но делать было нечего.

И вдруг издалека, сквозь стены и стекла, из февральского полдня пробился и долетел знакомый скорбный зов, отчего наш герой едва не вздрогнул... Мыслимое ли

это дело сознавать, что ты, будучи причастен к высокой тайне, готовясь к благороднейшему поступку, в то же время стоишь пред тем, кто, лишь узнай он, станет твоим преследователем и судьей, гримасой лжесвидетельства не испортив своего лица?

«А как же с тем?..— тоскливо подумал наш герой, хотя почувствовал, как некое странное облегчение коснулось его сердца.— Да не вымаливать же отсрочек у вздорного негодяя! Стреляться!..»

И он положил перенести свой замысел на пятницу, на послезавтра, но уже не откладывая более ни на минуту.

Ротмистр давно покинул дом, а Авросимов все еще стоял посреди комнаты в странном оцепенении.

Нет, мысль о возможной гибели не терзала его, да собственной смерти для него и не было, словно он ежедневно выходил к барьеру и от пули был заговорен. Все это я склонен объяснить опять его молодостью и отсутствием опыта, а в таком возрасте, вы сами знаете, и море по колено.

Нет, не о смерти думал он. Воображение рисовало ему картины одну достойней другой, и распростертое хладное тело ротмистра Слепцова было из них лучшей.

Не буду утруждать вашего внимания подробным рассказом о том, как метался наш герой по Санкт-Петербургу в поисках Бутурлина, которому он решил доверить секундантство, как разыскал его наконец в знакомом вам флигеле у Браницкого, чтобы уж окончательно все обговорить. Позволю себе на самое короткое время отвлечься, чтобы, может быть, в последний раз заглянуть к Павлу Ивановичу, в треугольный его равелин.

Павел Иванович был, должно быть, счастлив, что не знал о буре, поднятой им в душе нашего героя, и о его жарких приготовлениях и метаниях. Когда б он знал о том, ему бы, верно, пришлось несладко: ждать, томиться да терзаться сомнениями.

Он даже смирился с возможностью угодить в солдаты, хотя всякий раз горестно морщился, думая об этом. Пастор Рейнбот, посетивший его вчера, тщетно пытался смягчить полковника. Оба были вежливы и расстались холодно.

Пестель насмеялся над самим собою с величайшей злостью, вспоминая, как за несколько дней до ареста, находясь в полном неведении относительно того, как по-

вернется дело, больше всего переживал не о том, что все рухнуло, а о том, как бы подальше упрятать Русскую Правду — кровное свое дитя. И в суете и поспешности предарестных дней какие-то многочисленные руки передавали друг другу сие собрание идей и размышлений, чтобы предать земле, чтобы сохранить, убереечь, чтобы потом, в скором времени, как только рассеются наветы и раскроются двери гауптвахты (не тюрьмы — гауптвахты, думал он!), тотчас извлечь схороненное дитя на свет божий. И все виделось так, как может видеться в ослеплении самоуверенности: все только на равных, только по высшему счету, только в блеске словесных поединков.

Однако тяжелый взгляд молодого императора выдавал не удивление, а непримиримость, и стадо старых разнузданных следователей уже само по себе говорило о полном пренебрежении к идеям схваченного полковника.

Все это было так внезапно и потому так ужасно, что приученный к точным расчетам и неумолимой логике мозг Павла Ивановича взбунтовался и ударился в панику. Вдруг стало ясно, что блестящих поединков идей и мнений не будет, а будет нанковый халат, крепость и прусачки, да еще будут мрак и безвестность. И свобода, словно коварная разлюбившая женщина, вдруг ушла прочь к живым и счастливым, оставив полковника в полном недоумении. Тогда-то и возникла перед ним его печальная фортуна в образе немолодого солдата, шагающего под веселую и непрерывную дробь полкового барабана.

Да, милостивый государь, именно — солдата.

Вот что навалилось на полковника и что мучало его. Ах, когда б он только мог знать, что предстоит ему на самом-то деле, он воспринял бы эту солдатчину как благо, а не как наказание, и он бы не сидел, согнувшись над столом, колдуя над листом бумаги, и не писал бы торопливо грустных слов генералу Левашову, в тайной надежде, что письмо попадет к государю, и не обещал бы искупить свою дерзость отменным служением на благо отечества... Когда бы знал... Но он сего знать не мог.

Кстати, о дерзости.

Ведь дерзость — слово, может быть, и удобное в письме на имя государя, но весьма неточное. Вы только вообразите себе тех самых судей, которые вдруг услышали сие слово... Да они смеялись бы над ним, ибо с их точки

зрения, с их, как говорится, колокольни, поступки полковника — не дерзость никакая, а преступление. А что касается народа российского, так ведь он ни об чем таком не имеет понятия, ибо занят своей землей, своей наковальной, своим хлебушком насущным, и бюллетеней всяких не читает, а ежели и читает кое-когда, ничего в том не смыслит, а ежели и смыслит, так кроме того, что эти поступки есть преступление, и ничего другого не узнает.

Возьмите-ка, милостивый государь, бюллетени тех лет, почитайте-ка их (а я читал-с, и премного), и вы ничего, кроме понятия преступление, и не вычитаете: ни о том, что Павел Иванович делал свой расчет освободить крестьян, и ни о том, что он предполагал положить конец казнокрадству, дать солдатам облегчение, и множество другого всякого — не вычитаете тоже, а лишь одно: вор, разбойник, цареубийца... Вот как... Так что Павел Иванович, брошенный в сырость и мрак, к прусачкам, оцепенел от такой несправедливости, но по собственному неведению не понял еще, что он в глазах государя — преступник, что он преступление совершил, а не дерзость. Потому-то судьи и не всплеснули руками, прочитав его Русскую Правду, а отложили ее в сторону, а сами забубнили свое про цареубийство, ибо за это легко карать, а за справедливые слова — совестно. Ах, полковник, бедная голова!..

Письмо было закончено, и лист сложен вдвое. И без того темный полдень угасал окончательно. Светильник копил нещадно. Пахло копотью. Не дай вам бог услышать запах копоти в сыром месте! Лети, письмо! Ежели судьбе угодно и государь прочтет его, он не сможет не побороть в себе ожесточения, и тогда все изменится. Конечно, полка не будет, даже — батальона. Может быть, и вовсе выпадет отставка, и тогда осуществится желание татап видеть сына в тишине и покое. А ежели — нет? Ежели прочтет и ожесточится более? Тогда — солдатчина?.. А ежели (о господи!) выпадет сидеть в каземате год, два, много!.. И будет капать вода, греметь железо, будут плясать прусачки при свете коптилки, будут крысы делить меж собою его арестантский хлеб...

Он поднял голову. Серое лицо его было спокойно. Буря бушевала в сердце, под ребрами да на листе бумаги, сложенном вдвое.

Теперь, милостивый государь, извольте-ка заметить, что слово дерзость и со стороны полковничьей, так сказать, тоже не раскрывало сути дела, ибо не дерзостью питались умы мятежников, а расчетом и мыслями о добре. Стало быть, дерзость — вздор, милостивый государь, и те, в ком она будто бы горела ярким огнем, вполне могли оказаться людьми, может и прекрасными, да ненадежными. Павла же Ивановича в таком грехе упрекнуть было невозможно, а словечко это, промелькнувшее в письме, промелькнуло, я полагаю, по причине того, что сильным сего мира оно нравится своей туманностью и безопасностью. Так что простите полковнику эту маленькую хитрость поверженного, но не потерявшего надежд человека. Он каялся, но механизм его мозга был устроен так, что виновным себя признавать он не мог, душа его металась с криком и билась о стены и решетки рavelина... Ах, полковник, бедная голова!..

— Ежели вы получите свободу, будете ли вы упорствовать в своих замыслах? Будете ли стремиться восстановить разрушенное? — спросил он самого себя. И ответил себе же тюремным шепотом:

— Нет, никогда.

— Но почему? Почему? Почему же, о господи?!

— Не знаю... Сие свыше сил...

— Значит, отрекаешься?

— Да нет же, боже мой, нет! Не отрекаюсь!

Когда он сидел, согнувшись там, в Линцах, над своей Русской Правдой, когда обдумывал каждое слово, кочуя по России, когда стучал кулаком по столу, отстаивая ее от сомнений единомышленников, тогда она казалась совершенной, и от нее исходил ослепительный свет добра и счастья — вот что вдохновляло Павла Ивановича и придавало сил. Холодный расчет не мешал воображать будущее блаженство, а напротив, усмирять чрезмерную фантазию, и пусть свобода не казалась райскими кущами, безбрежным океаном неги — прибежищем для дилетантов, — а земной, грубой, с горьковатым привкусом былых страданий; но у него было такое чувство, будто он уже касался ее когда-то, где-то, однажды совершив первый и теперь уже последний глоток.

Самый крупный и упрямый прусачок медленно и достойно танцевал на столе в свете лампадки.

«Ежели он испугается, — подумал Павел Иванович о

танцоре с усмешкой,— стало быть, царь проявит великодушие»,— и протянул к прусачку ладонь. Насекомое продолжало танец. Полковник пощелкал пальцами — таракан метнулся в тень.

Тем временем наш герой разрывался на части. С одной стороны — план, бушующий в сердце, требовал пищи. Это легко себе представить, ежели вспомнить об огне. С другой стороны — завтрашний бой так напрягал все тело, что оно ныло, словно по нему прошлись кнутом. Что касается плана, то тут опять не было ни возницы еще, ни решения, как справиться с двенадцатью инвалидами и офицерами караула, а время шло. Наконец он махнул рукою, положив выполнить сперва свой кавалерский долг на поединке, а уж после, проучив Слепцова, заняться приготовлениями к страшному предприятию.

Как ни уговаривал его Ерофеич откусать, пугая матушкиным горем и отчаянием, Авросимов за стол не сел, а старика гнал. Стоял в одиночестве, глядел в окно, как там вечерело, не слыша ни слов, ни прочих звуков. Одна ненадежная мысль сверлила мозг: ах, кабы кто помог! Кабы можно было на кого положиться!.. Вдруг что-то заставило его обернуться.

На пороге стоял незнакомый господин неопределенного возраста. В одной руке держал он узелок, будто освященный кулич, а другою старательно прикрывал дверь.

— Филимонов,— представился он негромко.

Авросимов поклонился.

— Ежели вам нужна моя помощь в известном вам деле,— шепотом сказал человек,— не побрезгуйте.

— В каком таком деле? — спросил наш герой.

— Вы же намерены спасти узника,— очень просто шепнул Филимонов.— Так я могу взять на себя заботы...

— Что за вздор? — крикнул Авросимов.

— Денег я не возьму,— сказал Филимонов,— так, от души. Вы только прикажите...

Сердце нашего героя было готово выскочить наружу. Филимонов стоял уже рядом. Он оказался ростом с Авросимова; только невероятно тощ и черен, и под черны-

ми свисающими усами нельзя было разглядеть — улыбка это у него там или гримаса. Однако грустные черные глаза глядели прямо, доверительно, без лукавства.

— Значит, в четверг, к полночи,— спокойно сказал он.— Вы не беспокойтесь. Возок где поставим: у ворот али за стеной, на Неве?

— Сударь,— взмолился наш герой.— Об чем вы толкуете? Какой узник? Как вы можете врываться к честному человеку с такими предложениями?

— Да вы не беспокойтесь,— сказал Филимонов.— Я свое дело знаю. Вы, господин Авросимов, можете даже из дому не выходить — мы все сделаем преотлично. Не впервой, сударь.

— Кто это мы?! — крикнул наш герой, отталкивая в грудь наседающего на него Филимонова.

— Граждане,— пояснил тот.— Стародубцев, к примеру, Мешков, поручик Гордон... Вы можете не беспокоиться, мы все сделаем и доставим, куда прикажете...

— Какой еще Гордон? Кого доставите?

— Узника-с.

— Да я ничего не хочу! — крикнул Авросимов.— Я никого ни об чем не просил!

— Да мы сами об этом узнали,— сказал Филимонов спокойно.— Все об ваших муках-с знают. Вам и просить не нужно...— и он зашептал в самое ухо нашего героя: — Только уж вы, сударь, Брыкину не доверяйте. Это ни к чему, сударь. У него все не как у людей. Ежели прикажете, так я скажу Семену, чтобы он Брыкина и близко не подпускал, уж он справится.— Вдруг он улыбнулся: — Вы ни об чем не беспокойтесь. Я пойду, а то ведь дело делать — не зерно клевать-с. До свиданьица...

— Погодите! — крикнул Авросимов.

Но Филимонов уже исчез, словно и не было его.

— Вздор какой,— пробормотал наш герой, измученный фантазией.— К черту Филимонова...

— Ты что это бездельников всяких пускаешь? — спросил он у Ерофеича со строгостью.

— Вы лучше покушайте, а я никого не пускаю,— смело отвечивал старик.— Узнает матушка — будет вам на орехи.

— Пошел прочь,— приказал наш герой.

Он попытался вновь сосредоточиться на своих многочисленных заботах, но мысли заработали в другом на-

правлении, и тут же дверь в комнату приоткрылась, и молодой бравый офицер, крепко сбитый, с чарующей улыбкой, танцуя, подскочил к нему.

— Филимонов был? — спросил он. — Я лишь на одну минутку, господин Авросимов. Моя фамилия Гордон.

— Вы-то еще откуда? — теряя силы, выдавил Авросимов. — Что вам надо?..

Поручик не обиделся на столь холодный прием.

— Господин Авросимов, — шепнул он. — Получается неувязка. Данные не сходятся. Видите ли, сударь, у меня по списку числятся десять караульных, а у вас в списке — их двенадцать... Позвольте-ка ваш список...

Не удивляйтесь, милостивый государь, и не смейтесь. Наверное, все так и было. Во всяком случае — в голове Авросимова. Может, это февральские погоды тому виною или знамение какое, однако нашему герою приходилось туго, и он даже гнева не испытывал, а только ужас да бессилие.

— Значит так, — сказал поручик, познакомившись с планом, — вот здесь у вас ошибка, сударь. Я так и знал. Этого вот солдата вообще нет, а этот вот не здесь располагается... Этот и вовсе офицер, сударь, а не солдат, как у вас обозначено, так? Стало быть, ему тут не место, не место... Пусть вистом займется, так?.. Теперь я побегу, а Филимонов все вам будет докладывать, что да как. Честь имею...

И он исчез, ровно привидение, лишь пламя недавно зажженной свечи заколебалось, зазмеилось, заколобродило...

«К черту, — решил Авросимов, борясь с лихорадкой. — Надо поскорее к Бутурлину. А эти, кто они такие? Откуда они? Почему им все известно? Да эдак и до самого графа дойдет... Да кто им позволил?!»

Ему вдруг захотелось бросить все, нанять кибитку и укатить в деревню, и чтобы вьюга замела следы, и чтобы лица всех стерлись в памяти, исчезли с первым тающим снегом. Весны! Весны! Весны не хватало, зеленой травы, голубой воды, покоя... Ну их всех к черту, пусть передавят друг друга, злодеи, упыри, все, все: и Филимонов этот со своей шайкой, и Слепцов, и Боровков, и граф, и государь, черт их всех раздери! А полковник-то, злодей, злодей! Из-за него, злодея, такая чертова кутерьма,

грех, раздор, плач... да и сам ведь — в железах, в каземате, дурень чертов! Зачем? Зачем?.. Матушка, протяни белую свою рученьку, помоги великодушно своему дитяти...

Стемнело. Вошел Ерофеич, с жалостью поглядел на молодого барина.

— К вам человек господский, батюшка, с письмом.

— Какой еще человек! — заорал наш герой, бросаясь в кухню.

Мужик самого подлого вида топтался возле дверей.

— Ааа, филимоновское отродье! — крикнул Авросимов, поднимая кулаки.— Филимонов прислал?!

— Никак нет-с,— прохрипел мужик с ужасом.— Мы заикинские.

— Какие такие заикинские? Ты тоже, небось, про все прознал, да? Тоже помогать пришел?!

— Никак нет-с. Барышня передать велели,— и протянул розовый конверт.

Тут все оборвалось. Схлынуло. Шум затих. Вдалеке словно песня раздалась. От розового конверта пахнуло духами, умиротворяя, пригибая к полу, к земле, к траве... Лицо Настеньки, окруженное сиянием, возникло перед нашим героем.

— Велели ответ принести,— сказал мужик.

Настенька, ангел, вся выточенная из стекла, из хрусталя, богиня, так что сквозь нее проглянуло пламя свечи... Что-то булькнуло в горле у Авросимова, и он, прижимая к сердцу конверт, громадными прыжками устремился в комнату.

«Любезный господин Авросимов, несчастный Николай Федорович много лестного написал про вас, как вы его опекали и спасали, и какой вы благородный человек, почему мы вас с маменькой ждем в пятницу вечером непременно, и не подумайте, сударь, обмануть наших ожиданий. Напишите ответ и успокойте два бедных сердца.

Н а с т а с ь я З а и к и н а»

Он рухнул на стул, приготовил бумагу, очинил перо (да скорее же, черт!), привычно изогнулся над столом, подвинул свечу поближе и, глядя Настеньке прямо в глаза, спасительнице — в глаза, повел перо по бумаге.

«Милостивая государыня Настасья Федоровна, кабы не моя жалость к Вашему горемычному братцу да не мое перед Вами восхищение, да разве я посмел бы с Вами заговаривать там, на плацу, да возле моста, когда Вы изволили ночью одна со своей печалью возвращаться домой?

Вы такая великодушная простили мою дерзость и желаете вместе с Вашей матушкой меня видеть, на что я очень радуюсь и спешу Вам сообщить, что буду у Вас в пятницу вечером всенепременно.

За сим кланяюсь Вашей матушке

Высочайше учрежденного Комитета
писарь и кавалер

Иван Авросимов».

Почему кавалер — сие осталось тайной даже для него самого, ибо кавалер — носитель ордена, а ордена наш герой не имел, но рука бодро и так вдохновенно вывела высокопарное словцо, что ему захотелось тотчас же броситься перед Настенькой на колени и губами приложиться к самому краешку ее подола.

В пятницу!

Но передав письмо мужику, он ощутил, как ликование в нем задрожало и начало гаснуть, ибо в сознании вновь всплыло страшное замышляемое им дело, которое тоже ведь имело быть в пятницу. Ах, Настенька, судьбе не угодно было свести их, и желанное свидание должно было уже разрушиться, но в последнюю минуту Авросимов, преодолевая отчаяние, решил перенести освобождение узника на субботу!

Не успел он все это решить и взвесить, как снова какой-то господин в добротной шубе, распространяя аромат спиртного, шагнул к нему с порога.

— Стародубцев, — представился он. — Филимонов в отчаянии.

— Знать не хочу никакого Филимонова, — заявил наш герой, опираясь о Настенькино плечо.

— Дело в том, — как ни в чем не бывало продолжал Стародубцев, — что, отказавшись в разговоре с вами от вознаграждения, он понял, что допустил ошибку... Дело в том, господин Авросимов, что за два дня сие приготовить невозможно, согласитесь. А уж ежели готовить, так

надо дать туда-сюда ради скорости... За скорость, сударь.

— Ну и что? — спросил наш герой, чувствуя, что сейчас рассмеется, ибо лицо Стародубцева выражало такую гамму переживаний, словно это он томился в каземате и все предпринимаемые лихорадочные действия направлены на его одного спасение.

— А то, — сказал он, — что извольте деньги, сударь. Без денег Филимонов отказывается.

— Сколько же вам требуется? — засмеялся наш герой.

Но Стародубцев смехом пренебрег, пошевелил пальцами, поглядел в потолок.

— Пятьсот ассигнациями, сударь, — твердо сообщил он.

— А было бы на субботу?

— Было бы на субботу — и без денег обошлись бы, — сказал Стародубцев, — Не было бы срочности... А сейчас извольте денег.

— Переносу на субботу, — сказал, смеясь, наш герой, видя, что и Настенька смеется. Каково-то теперь Филимонову?

Стародубцев стоял как громом пораженный. Лицо его исказилось, глаза полезли из орбит. Он задышался. Авросимова же сие нисколько не волновало, и он терпеливо ждал, когда, наконец, очнется нахальный этот господин.

Наконец все стало на свои места. Буря миновала.

— Нехорошо-с, — промолвил Стародубцев. — Узник надеется, а вы меняете сроки. Нехорошо-с. Ладно, я Филимонову передам, но это неблагородно-с... — и он удалился, пятясь и глядя на нашего героя с укоризною.

Уход его был как нельзя более кстати, ибо образ Настеньки вторгся в душу нашего героя, требуя к себе внимания, и вторжение то было Авросимову сладко.

Дивные картины замаячили пред ним: то будто бы он медленно и бездумно идет с Настенькой по зеленому лугу, и пчелы гудят; то вот опять же они вместе спешат к усадьбе, где матушка уже их ждет; то будто Настенька глядит на него ясными своими глазами, и таинственная многообещающая улыбка шевелится на ее губах... Вдруг он увидел, как обнял ее, и тонкое, горячее тело задрожало, забилося, голова запрокинулась, и откры-

лась белая шея, и голубая жилка шевельнулась на ней. «Ах! — воскликнула она, слабея. — Оставьте!..», а сама прижалась к нему, целуя в щеки, в губы, в лоб быстро-быстро, с отчаянием и любовью.

Эти сцены, увиденные им и прочувствованные, так разгорячили его воображение, но в то же время так смягчили сердце, что он, наконец, позволил Ерофеичу покормить себя, чем старика осчастливил.

Поев, он заторопился, упрятал поглубже, поближе к сердцу розовый конверт и пошел из дому.

Но едва ступил он на мостовую, как тотчас несколько ванек ринулись к нему, окружили, заприглашали прокатиться. Это обстоятельство показалось ему весьма странным, и он, с трудом от них отделавшись, пошел по морозцу пешком. Однако ваньки, как привязанные, тянулись следом, делая какие-то намеки, подъезжая вплотную и даже пытаясь схватить за рукав.

Тут из темени вынырнул неизвестный Авросимову человек и, поравнявшись, шепнул в ухо:

— Филимонов велел кланяться... Ни об чем не беспокойтесь.

Сказав это, он исчез, оставив нашего героя самого во всем разбираться.

«Да что же это такое! — рассердился Авросимов. — Что они, взбесились?!»

— Барин, — окликнул его ближайший из возниц. — Ты в нем не сумлевайся... Правая рука у Филимонова...

Тут Авросимов не выдержал и кинулся бежать. Свернул в проходной двор, несколько раз упал, запутавшись в длиннополой шубе, и, выбежав на Большой проспект, вздохнул наконец с облегчением. Ванек нигде не было видно, да они теперь не скоро смогли бы его разыскать. Освещенная дверь немецкой кондитерской привлекла его внимание, и он вошел. Вечер был в самом разгаре. Едва прозвенела дверь, как все тотчас же на него уставились, а хозяин в оранжевом колпаке — поклонился. Наступила тишина.

«Все про все уже знают!» — с ужасом подумал Авросимов.

— Чашечку кофе? — спросил хозяин.

— Благодарствуйте, — с трудом выдавил наш герой.

— Нынче ветер, — сказал хозяин, многозначительно подмигивая. — А господин Мешков тоже здесь.

— Я не знаю никакого господина Мешкова,— едва не плача, проговорил Авросимов.— Как это можно так бесчестно приставать!..

Весь Санкт-Петербург будто не спал, а занимался делом, хлопоча вокруг известного вам предприятия. Везде Авросимов видел обращенные на него лица, полные тайны глаза. Какие-то незнакомые люди его останавливали, хватали за рукава, уверяли, что все, мол, движется преотлично, чтобы он не волновался и чтобы во всем полагался на гений Филимонова. Наконец терпение его лопнуло, и он вскочил в первого же вывернувшего из-за угла ваньку и велел гнать что есть мочи к флигелю, решив про себя, что ежели возница заговорит о Филимонове, стрелять ему в спину, разбойнику! Он извлек пистолет из тайника, но возница, к счастью, молчал, не будучи, видимо, посвящен в тайну треугольного равелина.

Кони понесли. Ветерок задул, заморозил, и Авросимов совсем было успокоился, как вдруг сани вылетели на Сенатскую площадь, на ту самую, с которой, ежели вы помните, началась необыкновенная карьера нашего молодого человека.

Вид площади многое ему напомнил. Сквозь темень, на фоне чуть светлеющего к северу неба он разглядел шпиль крепостного собора. И сейчас же прежнее мужество вдруг пробудилось в нашем герое, все тело его напряглось, мысли заработали четко, не перегоняя одна другую.

Заспанный будочник был крайне удивлен, увидев, как какой-то полоумный ванька, стремительно взметая снежные вихри, пронесся по площади, сделав круг и едва не разбившись о гранитные глыбы, во множестве нагроможденные одна на другую, и помчался обратно тем же путем, и скрылся из глаз.

Чем ближе подлетали сани к крепости, тем сильнее и призывнее раздавался зов, так что даже кучер стал подергивать плечами, словно от нетерпения. Сразу же померкло Настенькино лицо, и стал казаться нелепым завтрашний поединок, потому что в треугольном равелине метался злодей, несчастный человек, пророк, разбойник, переворотивший всю душу, достойный самой лютой казни и самого возвышенного благоговения, убийца и сеятель добра, один, один из племени людского,

вышедший за круг, покинутый всеми и всем необходимым: и государю, и графу, и ему, Авросимову, прокли-нающему его и плачущему над ним. И эти проклятия и плач были так сильны, что Филимонов тотчас же вме-шался, словно и без того забот ему не хватало.

Вот она, страшная стена, примолкшая, подкараули-вающая новые жертвы, запорошенная снежком, пугаю-щая людей.

«Господи,— с содроганием подумал наш герой,— не обойден я тобою, не обойден! Я жив, на воле, счастье-то какое!»

Сани остановились. Он велел кучеру ждать, а сам двинулся к стене. Страх охватил его. Отсюда, снаружи, была она ужаснее. Казалось, что она дышит, что она живая, что вот-вот и утянет в свою глубину, в сырость, к прусачкам.

Он прошел вдоль стены порядочно далеко, ваньки уже не было видно. Ветер усилился. Снег закрутил пуще.

Как же все это должно свершиться? Как же будет он уходить от сих стен, сквозь решетки, через штыки? Где она, где та счастливая лазейка, которая снилась но-чами? Или действительно есть Филимонов, которому все нипочем? Или воистину весь Петербург только этим и дышит, вздымая свою больную грудь, и будет так, что все, крича и ликуя, хлынут на эту стену, так что она рухнет, и полковник, пожелтевший от раздумий и боли, выкарабкается из-под развалин, чтобы упасть людям на руки?

Пистолет шевельнулся в своем тайничке, английская диковинка со свернутым курком. Может, тоже от страха пред этой стеною шевельнулся?

В этот момент громадный черный экипаж, взвизгнув полозьями, остановился неподалеку, и какие-то фигуры засуетились возле. Зафыркали лошади.

— Да подите вы прочь! — услышал он хриплый голос графа.— Дайте покоя!..

«Пропал,— подумал Авросимов.— Сейчас жилы тя-нуть начнет!»

Заслонившись рукавом, он попятился к стене, в те-мень, и тут военный министр узнал его.

— Ох-хо-хо! — радостно закричал он.— Да иди же сюда, иди! Чего боишься?.. Вот ты какой, гуляка!..— ска-

зал он, когда наш герой приблизился.— Ну, какую даму подкарауливаешь? — и захохотал. Молоденький офицер, высунувшись из-за экипажа, скалил зубы в улыбке. Слава богу, граф был в расположении.— Рассказывай, рассказывай, ну...

— О чем же, ваше сиятельство? — с трудом выговорил Авросимов.

— Я теперь моциону без тебя и не мыслю,— сказал граф.— Каков ты! Весь в тайне... Ну почему это я тебя встречаю?.. А я-то думал: ну перепутает рыжий этот — где добро, где зло... вяжи его тогда.

— За что ж меня вязать? Я, ваше сиятельство, стараюсь, всегда все, что ни прикажут, в точности, чтобы угодить...

«Господи, спаси и защити!..»

— А вязать, вязать тебя, злодея! — засмеялся Татищев.— Да не вязать, а в железа! Хочешь?.. Не хочешь? То-то, любезный. А скажи-ка мне, любезный, почему это в глазах твоих не вижу дерзости? Притворяешься? Или смиренный ты?..

— Не знаю,— протянул Авросимов с удивлением, но без прежнего ужаса.

— Где же дама твоя?

— Не пришла-с,— облегченно выдохнул наш герой, впервые видя такое настроение у графа и радуясь, что разговор складывается легкий, почти приятельский.— Напрасно жду-с...

Граф снова засмеялся, молоденький офицер с почтением вторил ему из темноты, у Авросимова совсем отлегло.

«Не боюсь, не боюсь! — подумал он, ликуя.— Не боюсь да и все тут!»

— А что это, ваше сиятельство, места для моциону какие ищете? Тоже, небось, дама? — спросил он осмелев.

— Цыц,— сказал граф.— Всякий сверчок... знаешь?

— Знаю,— сказал Авросимов покорно.

«Бог милостив ко мне,— подумал он.— Честь это али что другое?»

— Отчего же все-таки,— сказал граф,— именно ты мне встречаешься, а не кто другой?

— Оттого, ваше сиятельство,— с почтением ответил наш герой,— что природа, верно, так определила, не иначе. Я и сам этому удивляюсь, а понять не могу...

— Вот мы сейчас с тобой возле крепости ходим. Чего нам надобно в сем зловещем месте? — граф засмеялся: — Уж не подкоп ли ты умышляешь?

Матушка, ваш рыжий сын с самим военным министром так запросто беседует, и ничего. Вот офицер из-за кареты выйти боится, а ваш сын под высокой куртиной отвечает без промедления на все вопросы графа. Нет, ваше сиятельство, не подкоп, ничего такого... Ничего, никогда, никому, нитакваго... Уж ежели чего — так это все Филимонов!

— Хорош, хорош, — сказал граф милостиво. — Я за тобой, любезный, посматриваю. Хорош. Исполнителен. Смирен. От тебя польза... Я ведь читал твое донесение. Доволен...

— Да что вы, ваше сиятельство! — воскликнул Авросимов, захлебываясь. — Так мелочь какая-то, сущие пустяки-с...

Вся февральская ночь в эту минуту начала опускаться на Авросимова, мягкая и душистая, словно елей. Ветер утих. Будто соловьи ударили с разных сторон свои восторженные гимны. Граф погрозил ему пальцем шутливо и сказал на прощание:

— Чаю я, не миновать тебе Владимира носить, любезный...

Наш герой почувствовал головокружение при этих словах. Тем временем граф удалился, и вскоре черный экипаж исчез во мраке.

Пение соловьев продолжалось. Крепость стояла притихшая. Видимо, полковник-злодей спал на жесткой своей кровати, потеряв всякую надежду.

У знакомых ворот на Мойке наш герой, полный ликования, нежданно столкнулся с господином в богатой шубе.

— Я от Филимонова, — сказал тот вполголоса. — Суббота остается?

Авросимов засмеялся.

— А вы ступайте к Филимонову, — сказал он, отстраня господина, — да у него и спрашивайте.

— Извольте задаток, — не унимался тот. — Без денег какая же работа? Филимонов велел передать, мол, давать приходится туда-сюда... Вы же об том сами знать должны... Пожалуйте задаток... Нет уж, позвольте... Уж вы сначала дайте...

— Да не дам я! — крикнул наш герой, оглядываясь, ибо граф мог вполне очутиться и здесь. — И не позволю!..

— Да я Филимонову буду жаловаться! — предупредил господин. — А вы неблагородно поступаете, ежели хотите знать! Так нельзя, чтобы договориться, а после...

Но Авросимов уже не слушал. Господин, натурально, исчез. Впереди горел фонарь над входом в знакомый флигель, знаменуя начало новых событий.

16

Теперь давайте-ка отвлечемся от нашего героя, как он входил в тепло и сытость, а полюбопытствуем на неугомонную родственницу пленного полковника, не знающую покоя ни днем, ни ночью, ибо она в эту самую минуту, дождавшись возвращения графа Татищева из ночной прогулки, была звана молоденьким адъютантом в кабинет к военному министру. Просидев в ожидании больше двух часов, она никак не верила, что граф так просто ее примет, однако вошла к нему, сохраняя достоинство, с высоко поднятой головой, поигрывая родинкой, и только чрезвычайная бледность выдавала ее состояние, что не укрылось от пронизательного взора графа.

Не желая придавать своему визиту характера сугубо личного, она с первых же минут разговора поделилась с графом своими опасениями насчет возможных страшных бедствий, грозивших и следствию и самому его сиятельству, на что военный министр тут же поинтересовался, откуда сие стало ей известно, хотя серьезной тревоги и не проявил. Тут она напомнила ему о молодом рыжем дворянине, что вызвало у графа улыбку, ибо он тотчас вспомнил свое с ним случайное нынешнее рандеву. Так, между «покорнейше прошу», «не извольте беспокоиться», «чему обязан», «не придаю значения пустякам» и «ваше благородное волнение», проявилось вдруг краснощекое, какое оно им запомнилось обоим, лицо Авросимова с удивленно посаженными глазами, в которых бушевали отчаяние и робость, и граф вдруг различил страх в голосе несчастной дамы...

— Я боюсь за него, — сказала она, ломая пальцы. — Весь этот вздор может стать достоянием... Ваше сиятельство, я уверена, что это вздор, но вздор, поселившись в юном сердце, может привести к несчастьям... Мы

с Владимиром Ивановичем твердо решили спасти молодого человека, и я не преминула обратиться к вам...

— То есть, вы утверждаете, что сей вздор может породить преступные действия? — спросил граф, мрачней.

— Нет, — заторопилась она. — Это фантазии... Я не утверждаю, но вполне возможны подобные намерения со стороны каких-то там лиц...

— Сударыня, — улыбнулся Татищев, — это невозможно. Пустое... — однако присел к столу и, все так же с улыбкою, написал на листке несколько слов, аккуратно сложил листок и позвонил. И тотчас влетел в кабинет молоденький офицер и пухленьким ртом выкрикнул о своей готовности.., на что военный министр, вручив ему листок, велел немедленно отыскать «хоть из-под земли» поручика Бутурлина и передать ему это послание.

Когда офицер убежал, они стали прощаться, раскланиваться и дарить друг друга всякими необязательными словами, выражая надежду на благоприятный исход дела, ибо «Владимир Иванович будет сильно удручен наказанием молодого писаря, ежели вдруг тот невиновен, потому что разговор идет о принципах, а не о конкретных людях...», «Да, сударыня... Кто бы мог подумать!.. Примите уверения...»

А во флигеле тем временем был все тот же восхитительный полумрак, в котором, словно в заросшем пруду, лениво колыхались призрачные фигуры и слышался легкий шелест карт, похожий на редкие всплески воды, да приглушенные неразборчивые слова, тихий смех, вздохи.

Как всегда, никто не обратил на нашего героя внимания, но он вошел в тот густой и ленивый мир уже кавалером, и из тьмы гостиной залы глядел на него багряный крест Святого Владимира, окаймленный золотом и чернью, так что дух захватывало.

Все были разделены на группы, на пары, и никому не было до Авросимова ровно никакого дела. На ковре желтели апельсины. Бутурлин держал банк. Браницкий в неизменном своем халате возлежал на тахте. Гренадерский поручик Крупников одиноко пил перед самым каминном, и от увядающего пламени лицо его казалось медным. Остальные были люди незнакомые.

Наш герой повалился на ковер недалеко от ног Бутурлина, ожидая окончания игры. Все вокруг было, как в первое посещение, однако чего-то все-таки не хватало.

И вдруг, обведя медленным взором всю залу, он понял: не хватало тайны, той самой, которая раньше парила среди людей. Теперь ее не было: либо она еще не прилетела, либо уже померла и лежала где-нибудь бездыханная, и Авросимова потянуло выпить вина, дабы охладить разгоряченное тело, и именно — выпить, а не так, как тогда, когда вино, словно нектар, вливалось без спросу, словно оно было во всем: в мебели, в стенах, в каминном пламени, в воздухе, в табачном дыме.

За круглым столом зашумели. Вист кончился. Бутурлин сполз со стула и улегся на ковре, подперев голову тонкою рукою.

— Не боишься завтрашнего утра? — спросил у Авросимова.

Тут наш герой снова вспомнил о поединке.

— Вы оба прекрасны, — сказал Бутурлин. — Будет худо, ежели один из вас растянется.

«Действительно, — подумал Авросимов, — помирать неохота».

— У меня счеты с ним, — сказал он. — Примирение невозможно.

— Возможно, — сказал Бутурлин. — Все возможно. Обнимитесь...

— Да нет же! — воскликнул наш герой без энтузиазма. — Где же это будет?

— За Новой Деревней.

«Не время стреляться, — подумал Авросимов с тоской. — Кабы я был свободен... Ах, боже мой!»

— Да обнимитесь вы, и все...

— Нет, — сказал Авросимов. — Это невозможно.

— Ну и черт с вами, — вяло ответствовал кавалергард. — Ну, давай.

И он приподнял бокал.

Авросимов выпил. Бутурлин усмехнулся. Бокал в его руке закачался, поплыл и опрокинулся, и меж тонких губ кавалергарда медленно потекло вино.

— Ах Ванюша, ты стрелять-то умеешь?

— А ты, Бутурлин, крепостных прусачков боишься?.. Почему ты, Бутурлин, там не оказался, а здесь вино пьешь?

— Это дело не по мне, Ванюша, — засмеялся кавалергард. — Видишь какие у меня руки тонкие?.. Да чем здесь лучше, философ?.. Ты хоть стрелять-то умеешь?

«Уж ежели я со свернутым курком в унтера угодил,— подумал Авросимов,— так уж из нового пистолета подстрелю Слепцова непременно...»

Тут ему сделалось грустно, и желание убивать ротмистра пропало.

— Если в тебя пулю влечь,— сказал Бутурлин,— ничего тебе не делается: вон ты здоровенный какой, и щеки у тебя налились, ровно яблочки. Тебе бы, Ванюша, в деревню, там жить...

А время меж тем шло, и поединок приближался, и Авросимов только об нем и думал, то есть страдал, потому что, милостивый государь, вообразите-ка, что это вам завтра стреляться предстоит, а у вас уже — ни злости, ни благородного порыва, а лишь одна истома да сожаление, после коих обычно пора течь слезам... И вот в таком состоянии он вспоминал, а вспомнить не мог, что же, собственно, вынуждало его тогда бить ротмистра по щеке? Ну, история с Заикиным, натурально. А что в сей истории было такого, что ротмистра следовало оскорбить? Подпоручик этот сам лгал и ввел в обман других, сам плакал... уж постыдился бы плакать! Плакал бы тогда, когда ручки потираючи, предвкушал легкую победу, когда соблазнам верил и, речами полковника опьяненный, видел себя генералом, что ли... А ротмистр? Он же при исполнении служебных обязанностей, разве он мог быть другим? И в дом свой привез, поил, кормил... Так за что же его?.. Хотя, с другой стороны, Дуняша... Да мое ли это дело?..

Опять начиналась лихорадка. Мысли скакали в голове. Вино не успокаивало, даже не ощущалось, лилось и лилось, подобно воде. И все вокруг казались неживыми, а так — сизыми призраками без глаз и без слов, размахивающими длинными руками. И призраки играли в вист, а над круглым столом висела тишина. Браницкий исчез, а на тахте спал Крупников, раскинув руки.

Наш герой тоже незаметно и счастливо уснул, как это с ним не раз бывало, но громкие голоса заставили его пробудиться.

Теперь все находились в странном возбуждении. Дрова в камине трещали, и пламя буйствовало. Браницкий стоял в шубе посреди залы. Остальные его окружили.

— Это невозможно,— сказал Крупников.— Быть не может. Этого не может быть... Вздор.

— Ну хочешь пари? — спокойно предложил Браницкий. — Я ставлю своих девок, а ты, ежели проиграешь, обос... ворота Строгановского дома... Согласен?

Тут все зашумели.

— Перестаньте, Браницкий, — вмешался незнакомый павловец. — Вы не лжете? А?.. Это же страшно, что вы говорите... Это правда? Клянитесь.

— Чем надоедать с подозрениями, — обиделся Браницкий, — сходите к Зимнему, поглядите, что творится...

— Как же это случилось? — сказал Крупников. — Нужно идти, господа...

— А не сходить ли в самом деле? — сказал Бутурлин. — Это даже любопытно.

— Как это вышло? — зашумели все. — Да тише! Дайте ему рассказать!

— Господа, — сказал Браницкий, сбрасывая шубу к ногам, — рассказывают, будто нынче ночью, ну часа два назад...

— Что случилось? — спросил наш герой.

— Тише!

— Пестель бежал, — глухо промолвил Бутурлин. — Да он лжец, этот толстяк...

Большое мощное тело нашего героя вдруг обмякло, голова закружилась, он взмахнул руками, словно ребенок на неровном месте, но этого, к счастью, никто не заметил, ибо взоры всех были устремлены на рассказчика.

— Надо идти, — сказал Крупников.

— Тише!

— ...пока солдаты спали, опоенные каким-то зельем, — продолжал Браницкий, — он с помощью караульного офицера (черт знает, кто там нынче караулил) выбрался...

— Ага, — воскликнул павловец, — сукин сын!

— Самое удивительное, господа, — сказал Браницкий, — что платье свое он оставил в номере. Очевидно, переоделся. Предполагают, что он отправился в Малороссию, где его ждут в армии...

— Вздор, — сказал Бутурлин. — А как же государь?

— Государь уехал в Царское... Говорят, множество людей принимало участие в сем деле.

— Не может быть! — крикнул Крупников. Черные усы его стояли торчком, вызывающе.

— Очень может быть, — вздохнул павловец. — Отчего же не может?

У Авросимова перед глазами тотчас возникли подлые и таинственные физиономии Филимонова и его сообщников.

— Филимонова не упоминали? — спросил он ослабевшим голосом.

— Упоминали, — быстро поворотился к нему Браницкий. — А что? — и хитро улыбнулся.

— Так, темный человек, — сказал наш герой.

Браницкий засмеялся.

— А может, это и к лучшему, что он бежал, — тихо заметил кто-то. — Его бы не помиловали... Его одного не помиловали бы...

— Вы с ума сошли! — рассердился Крупников. — Опять все сначала?

«Действительно, — подумал наш герой, — неужто все сначала? Никто, никогда, никому, ничего... Теперь уж не до награды...»

— Господа, прощайте, мне следует быть там, — решительно произнес Крупников, направляясь к выходу. В дверях он остановился. — Хотя все это похоже на дурной сон. Вы должны понять, сударь, — сказал, неизвестно к кому обращаясь, — что сия история печально отразится на вас же самом, да на мне... На нас на всех... Мы ответчики, сударь. Он едет в Малороссию, а мы с вами... Видите, как он об нас не подумал...

— Полагаю, что и вы о нем не думали, когда препровождали его в Петербург, — усмехнулся Бутурлин. — Каждый думает об себе...

«Надо уезжать! — подумал Авросимов, теряя силы. — Скорей, скорей от этих перемен, к черту от этих бурь! Скорее, скорее! Надо бы Настеньку... Ах Настенька, ваше душистое письмо не укрепило меня! Я не в себе нынче... — он налил большой бокал вина и с жадностью его осушил. — Ах чертов полковник, об нас-то он и не подумал».

— Да и вы, Бутурлин, с вашим графом о полковнике не очень заботились, надеюсь, — отрезал Крупников, смеясь. — Вы его хорошо в оборот взяли, очень умело...

— Послушайте, — вмешался Браницкий, — перестаньте считаться, ну что за счеты?

Авросимов снова выпил до дна.

— Что же будет? Что же будет? — спросил он у Бутурлина. Кавалергард не ответил.

— Представляю, как граф рвет и мечет,— сказал бледный павловец.

— А я,— вмешался Авросимов,— нынче графа встретил у крепости... нынче ночью...— все уставились на него.— Он меня спрашивал, уж не подкоп ли я веду...

— Не мелите вздора!— сказал Браницкий.— Вы пьяны...

— Ей-богу... Он посулил мне Владимира...

В этот момент Браницкий захлопал в ладоши и поднял обе руки.

— Господа,— торжественно произнес он. Все затихли.— Простите меня великодушно... Будьте снисходительны к старому жеребцу...

— Я так и знал,— равнодушно сказал Бутурлин.— Какая свинья...

— Что? Что такое? — понеслось по зале.

— Он соврал. Я предполагал это.

Авросимов горько зарыдал, уткнувшись лицом в тахту.

— Да, господа, я соврал,— засмеялся Браницкий, очень довольный произведенным эффектом.— То есть не то чтобы соврал...

— Скотина ты, Браницкий!

— Ах, не то чтобы скотина,— смеялся толстяк,— но попал в самую точку... Жаль, Крупников, что ты не спорил... Получил бы сейчас Дельфинию. Дурак...

Кто-то засмеялся тоже, однако общего веселья не последовало. Все разбрелись по своим углам, бокалы зазвенели пуще, со злостью...

Нашему герою стало совсем нехорошо. Шатаясь, он выбрался из залы и, спотыкаясь о брошенные шубы, распахнул входную дверь. Свежий ветер ударил в лицо, наполнил грудь, остудил, привел в чувство. Авросимов шагнул за порог и вздрогнул от изумления: на ступеньках крыльца, под входным фонарем, в желтом кругу света сидел пригорюнившись капитан Майборода.

— Господин Ваня,— всхлипнул он,— какая несправедливость. Вы там в тепле и веселье, а я один на морозе. Жива же справедливо?

— Да чего это вы тут-то сидите? — изумился наш герой, трезвея.

— Не пускают. Велено не пускать...

— Ну домой идите, бог с ними... Замерзнете.

— Нет,— упрямо сказал капитан.— Пусть это им укор

будет... Я скоро из Петербурга уеду, а пока пусть им укор будет...

Авросимов вспомнил, как изящная ладонь Бутурлина хлестала капитана по щеке, махнул рукой и воротился в залу.

Толстяк Браицкий был в восторге от своей выходки, похлопывал друзей по плечам, подносил вина каждому, смеялся, и постепенно черные тучи поднялись к потолку и рассеялись, и снова пламя камина, как единственное их ночное солнце, бушевало, посылая тепло и свет.

И наш герой, устроившись поудобнее в креслах, предался размышлениям о жизни, и крест Святого Владимира снова выплыл из тьмы и засиял пред ним. Однако в высокопарном его сиянии чего-то уже не было, словно камень не до конца свалился с души, в которой продолжался коварный поединок беды и славы. Ах полковник, он ведь рыдал, наш молодой человек, проклиная ложь Браицкого, твое злодейство и жалея об тебе! Ах ротмистр, и он рыдал не из страха за свою жизнь, а потому, что судьба ставила его к барьеру, позабыв, что сердце-то отходчиво. Ах Настенька, и об тебе он рыдал, рыжий наш великан, не веря своим фантазиям и проклиная их. Но тут же перед ним возникла синяя полоса лесного тракта, по которому весело летит его кибитка, в которой он — один, один, один, совсем один, черт вас всех побери!

В этот момент неслышно, на одних носках появился в зале молоденький адъютант графа Татищева, с пунцовыми от ветра щеками, со счастливой улыбкой ребенка на устах, полный надежд на близкое счастье, которому ничто не помеха. Он легко поклонился, кивнул эдак всем и, увидев Бутурлина, еще более засиял, засветился.

— Вот вы где? — воскликнул он звонко. — А уж я-то ищу вас, я-то вас ищу!.. Я уже и надежду потерял... Как дымно у вас, господа, — и с загадочной улыбкой: — Господин Бутурлин, вам письмоцо от одной нашей общей знакомой... Ежели вам будет угодно, у меня возок...

— Ага, — сказал Крупников, — от дамы. Стало быть, жизнь продолжается, господа...

Бутурлин покинул игру и легко, как бы танцуя, подбежал к молодому человеку, и белый листок перепорхнул с ладони на ладонь.

— Вот так...

Все это происходило в противоположном от Авроси-

мова: конце залы, но молоденький адъютант, покуда Бутурлин пробежал листок, разглядел нашего героя и радостно закивал ему.

— Ах сударь, и вы здесь?! Граф очень лестно говорил об вас! Я крайне рад видеть вас и сказать вам об этом.

В этот момент Бутурлин поднял голову и поглядел через зал на Авросимова. Затем вновь пробежал листок и снова глянул, и решительно направился в его сторону. Авросимов увидел глаза кавалергарда, и сердце его шевельнулось.

— Прости, брат,— сказал Бутурлин и пожал плечами.— Я должен тебя арестовать...

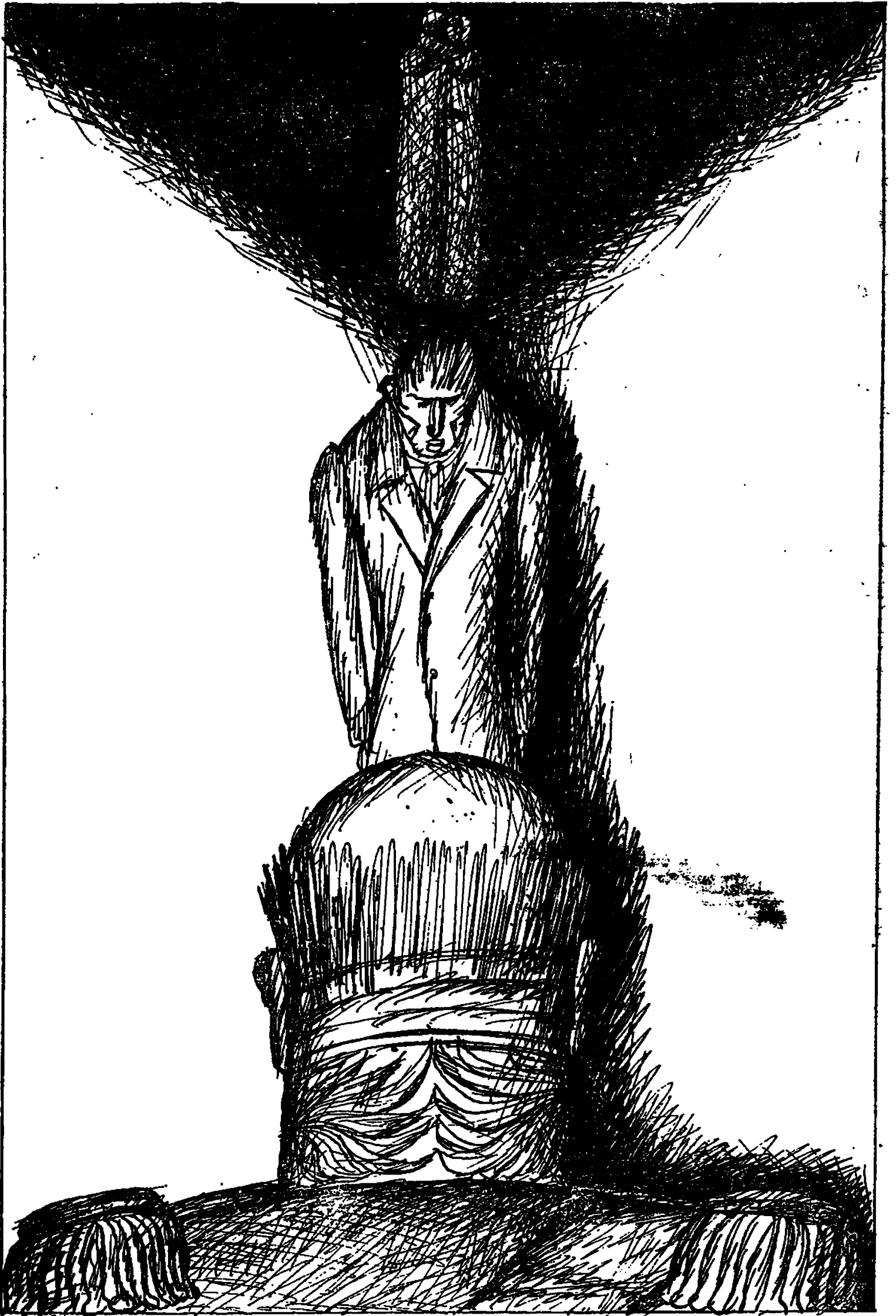
Услыхав сии страшные слова, наш герой вскочил так, что проклятый подарок капитана, вырвавшись из ненадежных своих петель, пребольно ударил его по коленке и распластался на ковре. Проворнее ястреба ринулся к нему Бутурлин. За круглым столом шла игра. Никто ничего не слышал, слава богу, и не видел. Незаметно они покинули сей гостеприимный кров, и сквозь шум ветра и фырканье лошадей то ли воистину сказанное «прости, брат», то ли придуманное в слабости, донеслось до слуха нашего героя.

● ЭПИЛОГ

В разговоре с графом Авросимов все начисто отрицал. Граф слезам его верил. О Филимонове вопросов не было, ибо в чем в чем, а уж в фантазиях собственных мы вольны, и нет нас вольнее. Знатнейшие специалисты проверяли английский пистолет неоднократно, но проклятая игрушка упрямо отказывалась стрелять. Остаток ночи, проведенный нашим героем взаперти на гауптвахте, вызвал в нем такую бурю отчаяния, а случайный прусачок, редкий гость в сем сухом месте, так его возбудил, что граф не стал продолжать разговора, а махнул рукой, дабы избавили его от вида сего зарванного лица.

Однако вышло повеление Авросимову крепости не посещать, а в двадцать четыре часа покинуть столицу и торопиться в свою деревню, что он, сотрясаемый лихорадкой, и исполнил за очень короткое время.

Наступила весна, лето. Как совершилась жестокая экзекуция, наш герой, натурально, видеть не мог, пребывая в счастливом неведении и оправляясь от зимней своей

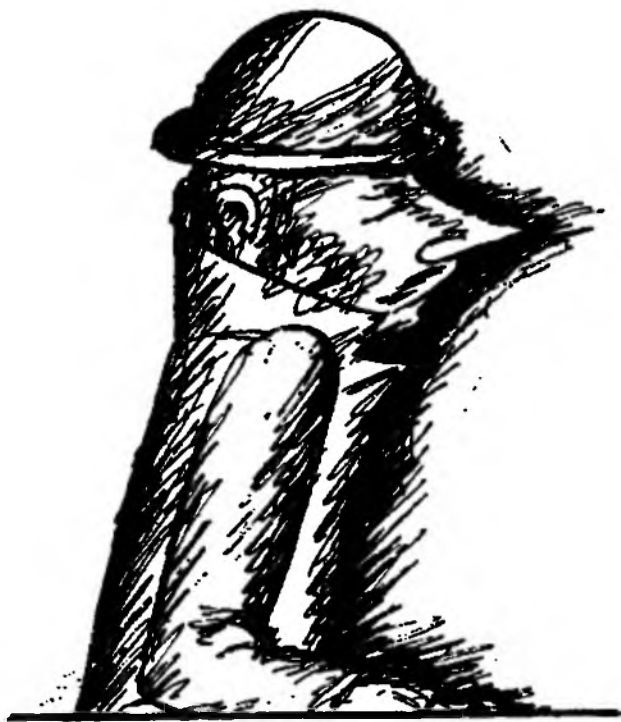


болезни. Уже значительно позже, когда печальная весть пробралась в их медвежий угол, в самую осеннюю пору, сквозь запах липового меда, грибов, опадающей антоновки, она, как ни была печальна, все же не смогла его поразить. Видимо, где-то в глубине души таилось все-таки предчувствие неминуемой жестокой расправы над несчастным полковником, не ко времени родившимся.

Тут, не омраченная ничем, в разгаре осени свершилась свадьба, внезапная как первый снег, и наш герой совсем закружился, завертелся, зараспоряжался, ибо никаких новых печальных известий не возникало больше, а уж слух об том, что Аркадий Иванович где-то в далекой Темир-Хан-Шуре застрелился, слух об том, по малости своей, не дошел и вовсе.

Вот и все, милостивый государь. Простите великодушно. Что же касается меня, то я, представьте, даже рад за нашего героя, что так все у него устроилось, так сложилось ко всеобщему ликованию.

Бог с ним совсем.



**ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА,
ИЛИ
СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ**



● ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Толстой Лев Николаевич, граф, отставной артиллерии поручик, тульский помещик, литератор, 34 лет.

Долгоруков Василий Андреевич, князь, генерал-адъютант, шеф жандармов, главный начальник III отделения, член Государственного совета, 58 лет.

Валуев Петр Александрович, статс-секретарь, министр внутренних дел, 47 лет.

Потапов Александр Львович, генерал-майор, начальник корпуса жандармов и управляющий III отделением, 44 лет.

Тучков Павел Александрович, генерал-адъютант, московский военный генерал-губернатор, член Государственного совета, 59 лет.

Крейц Генрих Киприянович, граф, московский обер-полицмейстер, 50 лет.

Муратов Николай Серафимович, тульский жандармский полковник, 48 лет.

Матрена, московская мещанка, возраст неизвестен.

Каспарич Дарья Сергеевна, Дася, вдова капитана Каспарича, возраст неизвестен.

Карасев, крапивинский исправник.

Кобеляцкий, становой пристав.

Мария Николаевна Толстая, сестра Льва Николаевича Толстого, графиня.

Ергольская Т. А., тетушка Л. Н. Толстого.

Дурново, жандармский полковник.

Шеншин Дмитрий Семенович, подполковник, чиновник особых поручений при московском военном губернаторе.

Шляхтин, частный пристав московской городской полицейской части.

Гирс Амадей, мелкий полицейский сотрудник, доносчик, филер. Грек, а может быть, цыган или итальянец, 30 лет.

Шипов Михаил Иванович (он же М. Зимин), сыщик при московской полиции, специалист по карманным воришкам, бывший дворový человек князя В. А. Долгорукова, 36 лет.

Трактирщики, половые, жандармы, возницы, мужики, бабы, нумерные, горничные, швейцары, гости, студенты, волки...

Действие происходит в 1862 году.

(Из донесения жандармского штаб-офицера)

...**В** Тульской губернии проживает в собственном имении «Ясная Поляна» отставной Артиллерийский Офицер Толстой, очень умный человек, воспитывался, кажется, в Московском Университете и весьма замечателен своим либеральным направлением, в настоящее время он очень усердно занимается распространением грамотности между крестьянами, для сего устроил в имении своем школы и пригласил к себе в преподаватели тоже студентов, особливо тех, которые подверглись каким-либо случайностям, оставили Университет, и, как слышно, у Толстого находятся уже 10 человек, которым он дает хорошее жалованье и готовое содержание.

Нельзя ручаться, насколько справедливы дошедшие слухи, что у Толстого, когда собрались все преподаватели, была сказана речь, в которой весьма многое заимствовано из разных предосудительных изданий...

СЕКРЕТНО

*Управляющий III Отделением
Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии
С.-Петербург*

*Господину Полковнику Корпуса
Жандармов, находящегося в Туль-
ской губернии, Муратову*

Получено сведение, что проживающий в Тульской губернии в собственном имении «Ясная Поляна» Граф Лев Толстой приглашает преподавателями в учрежденную им в этом имении крестьянскую школу студентов, преимущественно таких, которые по каким-либо обстоятельствам должны были оставить Университет.

Вместе с тем сообщено также, будто бы недавно в кругу этих преподавателей, коих, как говорят, в означенной школе до десяти, произнесена была речь возмутительного содержания.

Прошу Ваше Высокоблагородие осторожным образом узнать, в какой степени справедливо вышеизложенное, и о последующем уведомить меня, с сообщением сведений о помянутом Графе Толстом и о помянутой речи, если Вы найдете возможным ее получить.

Кстати, кажется, Граф Лев Николаевич — автор «Детство», «Юношество», «Воспоминание о Севастополе» и проч.

Генерал-майор Потапов

СЕКРЕТНО

*От штаб-офицера
Корпуса
Жандармов,
находящегося в Тульской
губернии, г. Тула*

Управляющему III Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Свиты Его Величества. Г-ну Генералу-Майору и Кавалеру Потапову

Штаб-офицер Корпуса Жандармов, находящийся в Московской губернии, Полковник Воейков, уведомил меня, что Граф Лев Толстой, распространяя грамотность между простым народом, завел школы в имении своем, пригласив в качестве учителей студентов числом до 10-ти человек. Вследствие чего я сделал вновь дознание, по которому оказалось, что в открытые Графом Толстым школы, волостные и сельские, поступали учителями воспитанники, окончившие курс в губернских гимназиях, а также некоторые студенты, находящиеся под негласным надзором.

О чем, в исполнение предписания Вашего Превосходительства, имею честь почтительнейше донести Вашему Превосходительству.

Полковник Муратов

*(Из неофициальной записки Генерал-Маиора
Потанова*

*Начальнику III Отделения, шефу жандармов, князю
Долгорукову В. А.)*

Ваше Сиятельство!

...Известие о том, что в имении Графа Льва Толстого в Тульской губернии в открытых им школах имеют приют находящиеся под негласным надзором студенты университетов, подтвердилось донесением Полковника Муратова.

Ввиду совершающихся фактов, а именно, когда ведется открытая война противу правительства не только демагогами и социалистами, но и людьми, заявляющими свое либеральное направление, должно по мере возможностей считать полученное известие заслуживающим всяческого внимания.

3 часа ночи

*(Из записки князя Долгорукова В. А.
генералу Потанову)*

...и нельзя не придавать этому значения.

Соотнесите с министром Валуевым, а через него, быть может, с графом Крейцем относительно возможностей уточнения факта.

Не полезно ли будет в данном случае заручиться помощью и участием агента, могущего выполнить подобное конфиденциальное поручение с крайней деликатностью?

Переговорите об этом предварительно с компетентными людьми. Окончательно мы решим вопрос при свидании.

Только ради бога следует всем этим распоряжаться так, чтобы ни в коей мере до окончательного установления истины не беспокоить Графа Толстого, ибо не исключено, что предосудительность его занятий окажется мнимой, в чем, кстати, почти уверен...

(Из записки генерала Потапова — министру внутренних дел Валугеву П. А.)

...ибо князь надеется на Ваш добрый совет и весьма рассчитывает на Ваше в сем деле участие...

(Из официального предписания министра внутренних дел Валугева П. А. — Московскому обер-полицмейстеру графу Крейцу Г. К.)

...Особые обстоятельства побуждают меня настаивать на самом тщательном подборе кандидатуры, коей будет это поручено.

(Из письма генерала Потапова — Московскому Генерал-Губернатору Генерал-адъютанту Тучкову П. А.)

...ибо князь надеется на Ваш добрый совет и весьма рассчитывает на Ваше в сем деле участие...

(Генерал-адъютант Тучков — чиновнику Московского Военного Генерал-Губернатора, подполковнику Шеншину Д. С.)

...при этом незамедлительно, отложив все прочее, принимайтесь, милостивый государь, за поиски, учитывая всю сложность и щекотливость данного Вам поручения и основываясь на письме Его Превосходительства Генерал-Майора Потапова...

(Из записки подполковника Шеншина — частному приставу Шляхтину)

...Прощупайте его, что за человек, хотя мне известно, что по части разыскания мелких воров он дока. Кроме того, желательно, чтобы Вы помнили, что он из бывших дворовых Князя Долгорукова, а это, ежели он об том будет понимать, придает ему надежности. Что за резон ему подводить своего всесильного благодетеля? Весьма надеюсь, что князь останется в этом смысле доволен вашим участием.

(Из письма Л. Н. Толстого — Т. А. Ергольской)

...Дела все задерживают меня (в Москве), и я едва ли успею закончить издание раньше половины будущей недели. Здоровье мое хорошо, но скучно ужасно и хочется домой... Всем кланяюсь и целую ваши руки.

2

В трактире Евдокимова уже собрались было гасить лампы, когда начался скандал.

Скандал начался так. Сперва в зале все выглядело благообразно, и даже трактирный половой Потап сказал хозяину, что, мол, нынче бог миловал — ни единой битой бутылки, как вдруг в глубине, в полутьме, в самой сердцевине загудело, будто пчелиный рой.

— Батюшки-светы, — лениво изумился хозяин, — вот, Потапка, сглаз твой, черт! Ну надо ж было каркать, черт!

— Хоп, — весело сказал Потап, — момент. Сейчас переговорим... — И словно провалился в омут, вознеся кулаки над головой.

Тут хозяин вспомнил, как еще до наступления темноты шибко застучало сердце, когда он глянул в дальний конец. Там в мутном, сумеречном сиянии окна сидели за столиком двое. Один, высокий и худой, так себе, не стоящий внимания, похожий на птицу, хватившую лишнего, словно бы спал. Другой, странного вида, в поношенном гороховом пальто, будто барском по покрою, в пышных соломенных бакенбардах, надменно вскинул востренький подбородок. Такой пропившийся барин, допивающий остатки былого благополучия, низвергнутый с казенной службы. Барин, барин, истинно барин — вот как качнул ладонью, подзывая Потапку, хотя угощенье заказал не барское: тертая редька и это... вдруг вот так по-извозчичьи утерся рукой, вместо того чтобы платочком, пусть дырявеньким, да с гордостью. Нет, так вот прямо ладонью и утерся. И пока его компаньон клевал носом да вроде пытался что-то сказать, но не мог, этот, в гороховом, потягивал да подливал из зеленого штофчика и жевал свою редьку, пока не зажгли лампы. И тогда хозяину показалось, что лохматая тень странного человека наклонилась влево, к соседнему столу, где сидели два

аккуратных студента: то есть сам он сидел вроде неподвижно, а вот тень его...

Тут-то сердце у хозяина и застучало. И он сказал Потапу:

— Чего это они сидят, слова не скажут?

— Ох,— засмеялся Потап успокоительно,— да пушай сидят. Другие тубаретками кидаться зачнут, а эти сидят... Пушай их.

Потом Евдокимов отвлекся к своим хлопотам, и так почти до самой полуночи жизнь не обижала его, когда в том конце началось...

— Хоп,— весело сказал Потап,— момент, сейчас переговорим.— И словно провалился в омут, но тотчас же вынырнул обратно, пуская красные пузыри.— Хоп, неудача,— сказал он виновато и закричал на весь зал: — Братцы, наших бьют! Православные, вступайтесь! — И умчался за городовым.

Впрочем, трудно было утверждать с определенностью, что там дрались: дерущихся хозяин не видел, только безумные тени метались по стене. Однако как это вспыхнуло, так тотчас и погасло. Два аккуратных студента пробирались меж столиками к выходу, а тех двоих что-то не было видно.

«Неужто убили? — холодея, подумал Евдокимов.— Эти вот вон энтих...» Опытный его глаз примерился к двум аккуратным душегубам. Они переминались с ноги на ногу. У самого высокого на тонкой шее подрагивал кадык, белые губы были закушены; второй, бородатый, держался за щеку. Хозяин загородил им выход грудью, бородой, лицом, переполненным ужаса.

— А гороховый где?.. А денежки платить, господа хорошие?.. А я-то на что?..

— Что за чушь! — сказал бородатый студент.— Какой еще гороховый?.. Там ваш постоялец свел счеты со своим другом, дал ему по физиономии...

— Вот рукав мне залил,— сказал высокий.— Чего вы от нас хотите?..

— Я знаю, чего хочу,— сказал Евдокимов,— знаем вас...

Он стоял, растопырившись, ошетилившись, умирая от страха, и городовому пришлось его отодвинуть, чтобы войти.

Потап проскользнул следом, прикрывая ладонью разбитый нос.

— Потапушка,— ужаснулся хозяин,— кто ж тебя, черта, эдак?

— Они-с,— сказал Потап.

И все поглядели в темный конец зала. Наступила тишина. Все поднялись со своих мест, трезвея. Никто не уходил. Всем хотелось знать, что будет.

Наконец в глубине послышалась возня, и странный человек в гороховом пальто появился на свет. Он медленно двигался на хозяина, то ли прихрамывая, то ли пританцовывая, и Потап вдруг оживился, похлопал высокого студента по плечу.

— Ничего, ребяташки, держись за Потапа... Смотрите, как нынче подновинские дело делают! — И оборотился к странному человеку: — Хоп, они оживели-с, прочухались... Ну, иди сюда, иди-иди... Это кто ж там идет, такой бриллиантовый? Не вижу, не вижу, кто... Эй, православные, шире круг, по русскому обычаю... Сейчас сделаем...

А странный человек все приближался, наклонив голову с укором, хотя глаза были широко раскрыты и затаенная конфузливая улыбка покоилась на губах.

Теперь хозяин разглядел его. Росту гороховый был небольшого, хотя в самый раз, не широк в плечах, но и не тщедушен; в руке держал измятый кошелек. Из-под распахнутого пальто выглядывали крахмальная манишка в пятнах и черный распутившийся галстух.

— А кто там идет? Кто? Не вижу... — негромко проговорил Потап в тишине. — Сейчас, момент, я только спрошу у них, как они вон этих господ задирали, — и кивнул студентам по-приятельски, — сейчас, сейчас... Асигнациями плачу-с...

Утром хозяин утверждал, что в тот момент он отчетливо видел, как над головой странного человека вспыхнуло и погасло сияние.

— Чего головку-то наклонил? — выкрикнул Потап. — Ай свету боишься?.. Эх, подновинские!

Странный человек остановился, поднял голову и, презирая выставленные кулаки Потапа, сказал негромко:

— Ну, будя, будя тебе... Ну чего вы, ей-богу? Я дружка своего маленько поучил. А вам бы только кулаками махать... Интересно мне, как вы готовы человеку антра-

ша кинуть, ежели он не в себе... Садитесь, господа, по своим местам, пейте, ешьте... Ах, мезальянс какой!

— Позволь, позволь,— сказал Потап,— позвольте, сударь. Я обиды не потерплю-с. Я ассигнациями плачу...

Но странный человек даже не глянул в его сторону, а глянул на двух студентов и сказал:

— Ежели что, пардон, извините... Хотя я вижу ваши благородные лица, эскузе муа, нету в вас ко мне зла. Это хорошо. Это преотлично. Со злом что? Куды с ним?.. А рукавчик почистить можно...— И он повернулся к Потапу и так посмотрел на него, что половиной опустил руки.— Ну вот, теперь вы, мон шер. Пожалейте себя, а то не ровен час сгорите весь...— Тихая улыбка тронула его сухие губы.— Чего уставился? Эвон у тебя нос какой! А ты не суйся под руку, дружок...— При этом он провел ладонью, словно разрубил воздух, и две половины воздуха распались, отлетели друг от друга — так крепко и точно был удар.

«Ладный какой»,— подумал хозяин.

Тут все, неподвижные и притихшие, оборотились к городовому как к последней надежде... Дюжий городской словно очнулся ото сна и медленно направился к странному человеку. Заметив это, Потап ожил.

— Дозвольте-ка мне,— сказал он городовому.— Момент, все сделаем. Вы, значит, с энтого боку заходите-с...— И крикнул странному человеку: — Ты мне зачем по носу дал! — и победителем оглядел толпящихся вокруг.— Теперь мне сколько, значит, причитається получить? А? Никто не знает? А вот глядите, как подновинские дело делают. Хоп,— и он сделал шаг в сторону обидчика.

В это время бородатый студент сказал своему приятелю:

— Да он и не пьян вовсе, этот, в гороховом. Видишь?

— Отдай козлу двугривенный, и дело с концом,— сказал высокий, кивнув на хозяина.

— Отдать я отдам,— ответил его приятель,— да чертовски уходить не хочется. Чего это мне уходить не хочется?

— В результате досталось половому,— сказал высокий.— Сроду не видал ничего глупей... Ну, поглядим, что он теперь делать будет, этот лямур-тужур...



Городовой медленно приблизился к странному человеку и вдруг замер.

— Вы его не хватайте,— посоветовал Потап,— он дерется. Вы его вдарьте сразу. Не бойтесь, я подсоблю. Момент... Господа студенты, сейчас он у нас в ножках валяться будет...

— Михал Иваныч,— сказал городской,— а я вас и не признал-с.

Станный человек опустил голову и тихо засмеялся. И тут же забулькал первый ряд столпившихся, за ним остальные. Все тихо смеялись, кроме студентов.

— Уморили,— глупо сказал Потап.— А я думаю: дай-ка я их пугну-с.

— Михал Иваныч Шипов-с, благодетели мои,— представил городской странного человека.

Шипов поклонился ему. Затем — публике.

— Что же ты это, Потапка,— обиделся хозяин,— подвел меня, черт?

— Ничего-с,— сказал Потап,— момент... Подновинские свое дело знают.— И широко, как чистое дитя, улыбнулся Шипову.— Дозвольте пальтецо, ваше благородие, отряхнуть-с. Хоп...

— Ну, будя,— сказал Шипов.— Много чести. А чего это у вас никто не пьет, не ест? Ай случилось чего?

— Вроде бы вас обидели,— робко сказал хозяин.

— Меня? — удивился Шипов.— Рази меня можно обидеть? Это я Потапку обидел, а меня никто не обижал. Верно, Потап?

— Никак-с нет, шутники вы, Михал Иваныч. Это я, значит, очень просто сам мордой об тубарет-с...

Вздых облегчения прошел по залу. Студенты переглянулись.

— Ну ладно,— сказал Шипов.— Тогда возьми-ка, Потапка, моего приятеля да вынеси его на морозец, пушай он там в себя придет, да последи, чтобы не замерз, сетребьен, беда с ним...

— Момент! — радостно откликнулся Потап и юркнул в угол. Потом он выволок безжизненное тело и потащил его к дверям.

— Да ты неси его, неси! — крикнул Шипов.— Рази благородного человека так можно!

— Слушаюсь, Михал Иваныч... Момент! — еще радостней ответил Потап и понес тело в охапке вон из

трактира.— Им там хорошо-с,— сообщил, вернувшись,— сидят, будто живые-с. Может, еще чего-с?

— А чего еще-то? — сказал Шипов.— Много ли мне надо? Ты вот подай нам штофчик, да речечки не забудь... А вы, судари мои, чего стоите? Вы садитесь, лямур-ту-жур, пейте, веселитесь.— И он медленно оглядел их всех, и все тотчас начали усаживаться за свои столы, словно время и не перевалило за полночь.— А вы тоже садитесь, господа студенты...

— Нет уж, увольте,— сухо ответил высокий студент.— С нас достаточно.

— Отчего же? — сказал его товарищ.— Я бы остался. Ей-богу, мне интересно.

— Уж лучше бы не сядились,— проворчал Потап.— От вас одно расстройство... Вон человека обидели... Не больно много за гривенник-то?

— Ах, обидчивый какой,— засмеялся Шипов,— ну просто сетребьен какой-то. А ведь это я тебя ударил.

— Значит, заслужил,— сказал городской.

— А я-то думаю: как же это об тубарет? — удивился хозяин.

— Значит, не об тубарет-с,— на лету ответил Потап,— значит, вот от них все и случилось,— и кивнул на студентов.

— Пошел прочь,— сказал высокий студент.

— Это я прочь?! — распалился Потап.— Теперь глядите, Михал Иваныч, глядите, как я буду из энтих боро-датых душу вынать-с! — И он шагнул к студентам.— Глядите-с... Значит так, вы, господа хорошие, можете меня по морде, а я, значит, терпи?.. Момент, подновин-ские свое дело знают...

— Да бей их! — крикнул кто-то.

Потом уже хозяин божился, что видел, как глаза Шипова излучали свет наподобие искр.

Потап сделал еще шаг.

— Хоп... А где он, где он, тубарет?.. А вот мы сейчас тубаретом...

— Ну, будя,— вдруг сказал Шипов.— Наговорил, консоме, с три короба. Вы, господа студенты, присаживайтесь... Прошу... Угощаю...

— Ой,— захохотал Потап,— а и напужал я их!

Хозяин глядел из-за стойки на Шипова, не отрывая глаз. Соломенные бакенбарды Михаила Ивановича тор-

чали празднично и как бы с насмешкой. Он ловко разливал из штофчика и любезно пододвигал рюмочки компаньонам.

Все по-прежнему уже сидели за столами, но никто не пил и не ел, только в кругу Шипова кричали, ухали, аппетитно жевали редьку.

— Когда я жил в доме князя Долгорукова,— сказал Шипов,— мне всегда казалось, что жизнь вокруг сплошное удовольствие.

Тут городской замер. Студенты переглянулись.

— Да, да,— продолжал Шипов.— Так я предполагал. Однако должен вам сказать, что тайные сумления обуревали меня, жгли мою душу. Да рази ж такое возможно? — думал я. И вот однажды прихожу к князю. «Ваше сиятельство,— говорю,— дозвоьте на мир поглядеть». — «Изволь, мон шер, гляди». И вот я гляжу. И что же я вижу, господа? Люди все в озлоблении и ослеплении, так и норовят друг друга съесть, так и норовят друг дружке в морду захватить... Вас это не шокирует?

— Ну да,— сказал городской грустно,— покою нет.

— Да они меня не били,— сказал Потап, подавая,— это я сам мордой об тубарет-с...

— А ты, я гляжу, и подавать-то не умеешь,— сказал Шипов Потапу.— Что за манеры, братец! Перед тобой сидят благородные люди, тре жоли, а не какие-нибудь... Срам!.. А ну-ка, воротись да снова, снова... Так... Скользи, скользи... А линии-то нет, нет, срам!.. Ну чистый скот, консоме... Это невозможно!.. Ах ты господи, я не могу этого видеть, этого позора, этого скотства!.. Дай-ка сюда.— И он выхватил из рук обалдевшего Потапа поднос и вдруг замер, затем медленно склонился вперед, одновременно вытягивая правую руку с подносом, словно лебедь крыло, и сделал мягкий вкрадчивый шаг.— Видишь, как рука идет? Видишь?.. Теперь гляди на ноги... Одна... за ней другая... След в след... Вот так, а не в растопырку, дурень.— И он заскользил к столу, плоский, весь вытянувшийся, вкрадчивый, пружинистый.— Полет надобен, полет,— приговаривал он, скользя к столу,— полет летучей мыши, бесшумный полет и...— Поднос, словно сорвавшись с руки, плавно очертил круг над головами изумленных студентов, и медленно пошел книзу, и застыл. Дополнительный штофчик, булькнув, встал в центре

стола, соусник с тертой редькой занял свое место, поднос взмыл в синее небо, посверкивая серебром.

— Эх! — крикнул Евдокимов из-за стойки. — Каналья!

Потап низко кланялся. Бородатый студент зааплодировал. Кое-кто в зале подхватил.

«Дети, — подумал Шипов, — рты поразинули... Ай-яй-яй!»

— Бывало, — сказал он, — мы с князем, да со всем семейством, да из Петербурга понаедут, отправляемся на пикник. Полянку всегда я намечал... Уж тут, пардон, моя привилегия была... Ты бы, Потапка, в тех местах об ство-лы-то и впрямь морду-то расшиб бы при твоей неуклюжести. А уж секли бы тебя, дурака, почем зря...

— Очень вам благодарны за науку-с, Михал Иванович, — кланялся Потап. — Век не забудем.

«Ах, надоели они! — подумал Шипов. — Им только представление и давай, а не дашь — изомнут всего».

— Вы в близких отношениях с князем? — спросил бородатый студент.

— Да как вам сказать, — прищурился Шипов, — хотя теперь чего уж... Проговорился я... А доказательств теперь у меня нет, ну что вам сказать?... Простите великодушно... Быдто и не было ничего... — И засмеялся.

Городовой подмигнул студенту.

— Полноте, — смутился студент, — я ж и не требую доказательств.

— А ежели не требуете, — сказал Шипов, — так понимайте, что я не просто, тре жоли, с вами сижу, лясы точу...

— Вы, господин Шипов, видимо, служите? — полюбопытствовал высокий студент.

— Видите ли, душа моя, — ответил Михаил Иванович благодушно, — все мы служим государю — кто где... Вы вот мою манишку разглядываете, а я ведь могу и фрак надеть-с... — И оборотился к городовому: — Верно?

— Святая правда, — сказал городовой.

Студенты засмеялись.

— Забавно, забавно, — сказал высокий. — Parlez vous français? ¹

— Ах, милый, — покачал головой Шипов, — зачем же

¹ Говорите ли вы по-французски?

так-то? Не надо. Я же тебя наскрозь вижу, мон шер... Эй, Потапка, ты чего ж человека на улице позабыл? Веди его сюда, будя. А что, господин студент, как вам сдается этот трактир? Грязнецо ведь. А вы думаете, он мне по ндраву?.. Я в настоящих ресторациях бывал-с, знаю... Чистый ампир-с... Да ведь там с людьми не поговоришь, а здесь я кое-чего могу и узнать.— И засмеялся, очень довольный.

— Забавно, забавно,— повторил высокий.— Да я, кажется, догадываюсь, сударь...

В этот момент появился Потап, а с ним вместе и приятель Шипова.

— А вот и господин Гирос.— сказал Шипов торжественно,— Амадей Гирос. Итальянец.

Гирос церемонно поклонился.

— Ты ведь из итальянцев? — спросил Шипов.

— Конечно,— сказал Гирос.— Отец итальянец, мать итальянка. Чего же еще?.. Опять редька! А я замерз, как собака...— И он ловко выхватил полную рюмку у бородатого студента и опорожнил ее.— О, страшный напиток! Зачем меня на мороз бросили, как веник? — Он взял рюмку высокого и плеснул содержимое в глотку.— Глупый напиток, глупая традиция: сперва пьешь, чтобы согреться, потом тебя бросают на мороз, чтобы ты прочухался, а потом снова пьешь, чтобы согреться...— И захохотал.

Он действительно напоминал тощую огорченную птицу с длинным лиловым клювом, но смеялся при этом ослепительно.

— У вас в Италии небось жарко? — спросил городской.

— Жарко, жарко,— засмеялся господин Гирос,— уж, как жарко.— И он наклонился к Шипову и зашептал, зашептал...

— Слава тебе господи,— сказал Шипов.— Ступай, Амадей, ступай, голубчик. Все будет пуркуа.

Господин Гирос откланялся, запахнул свое черное добротное пальто, черные рассыпающиеся волосы прикрыл клетчатым картузом и, выставив лиловый нос из-под большого козырька, сказал, поигрывая улыбкой:

— Вы все мне очень пришлись, господа. Беда с вами расставаться. Но долг превыше всего. Избави меня бог позабыть вас!

Дверь хлопнула. Господин Гирос исчез.

Хозяин, не сводящий взора с Шипова, начал понемногу обо всем догадываться. Ах, лиса! Вот лиса! Хотя кто ему нужен-то? Кого он, лиса эдакая, вынюхивает? Кому сети расставляет? Пьет-пьет, а не пьян. Али студенты эти глаз ему колют?.. Дружка своего велел на мороз вытрясти...

— А он и не сидел там вовсе, на морозе-то, — шепнул Потап. — Погрозил мне, да и пошел в гостиницу...

— Уууу, — промычал Евдокимов, — проси гостей по домам расходиться.

— Боюсь, — признался Потап.

— А этот ваш Толстой, граф этот ваш, он что, с ума сошел — школу на свои деньги открывать? — спросил Шипов. — Это где ж такое? Это в Туле, стало быть?

— Отчего же с ума сошел? — рассердился высокий студент. — Благородный человек.

«Все устраиваются — кто как, — подумал Шипов, — суется-суется, а там, глядишь, и жизнь вся... Как мышки серенькие, суется. А ведь никто себя мышкой считать-то не хочет, вот ведь что. Каждый думает: я кошка, — а на самом-то деле он и есть мышка... Вот ведь как».

И тут он вспомнил, как сам три дня назад бежал, распахнув гороховое свое пальто, затребованный самим Московской городской части частным приставом господином Шляхтиным. Ох, уж как он бежал! Господи мой боже, ай беда какая?.. Прыг-прыг по ступенькам... Ффу! Только глаз не отводить, в глаза глядеть... Прицелочку сделать... Ах ты господи! И вбежал...

Пристав Шляхтин, их благородие, вышли к нему навстречу!

— Ну, Шипов, хватит карманников ловить, ха-ха, есть дела поважнее. Приготовься...

— Лямур, — сказал Шипов для пробы.

— Что?

— Это так, по-французски...

— Ты, ха-ха, и французский знаешь? — удивился Шляхтин.

— Приходилось, — сказал Шипов скромно. — Я ведь у князя, у их сиятельства Александра Васильевича, в доме жил-с...

— Знаю, знаю, братец, все знаю. Вероятно, потому и

поручается тебе нелегкое дело... И весьма щепетильное, представь.

— Мерси,— сказал Михаил Иванович смело.— Рад стараться.

Сердце стучало уже спокойно, как и подобает. Шляхтин не садился. Стоял. Михаил Иванович слушал с достоинством.

— ...Граф Лев Николаевич Толстой в своем имении Ясная Поляна открыл школу для крестьянских детей. Не предосудительно. Пригласил учителями студентов Московского и Санкт-Петербургского университетов. Не предосудительно. Однако большинство студентов исключены из вышепоименованных университетов за различные провинности политического свойства и находятся под надзором...

— Чего это он их туда собрал? — спросил Шипов.

— Вот именно. Но ты смотри, Шипов. Дело это деликатное весьма. Упаси тебя бог раззвонить об том... Может, и нет там ничего такого... Смотри!

— Что вы, ваше благородие,— сказал Шипов,— такого мезальянсу не допустим. Благодетеля моего князя не подведем.

— Деньги получишь в канцелярии. Ступай,— приказал Шляхтин.

Тут сердце у Михаила Ивановича дрогнуло, и он помчался...

«...Ах, вот и я мышка несчастная,— думал он, глядя на студентов,— для вас кошка, а для них мышка-с...»

В этот момент скрипнула бывалая трактирная дверь и некий оборванец с лицом испуганного хорька, кутаясь в невообразимые доспехи, скользнул к стойке. Никто из присутствующих не обратил на него внимания, а тем более Шипов, сидевший к дверям спиной. Но именно Шипов не оборачиваясь вдруг сказал:

— Ай-яй-яй, Яшка, на чужие деньги пить собрался?.. На деньги вдовы? Она дома плачет, а ты с ее кошельком по питейным домам ходишь?

Тут оборванец кинулся на колени и, молясь на спокойный затылок Шипова, запричитал:

— Батюшка, Михалваныч, не погуби!

Шипов, все так же не оборачиваясь, сказал:

— А ну, выкладывай кошелек и жди меня, и чтоб не вздумал убежать.

Кошелек, расшитый бисером, почтительно плюхнулся на стол. Шипов потыкал в него пальцем и сказал, обращаясь ко всем:

— Господин пристав велел мне этот кошелек найти. Вот он, нате вам.

Городовой засмеялся, и все в зале засмеялись следом.

— Великий вы человек,— сказал городовой.

Ситуация снова заметно накалилась. Какое-то легкое возбуждение, подобное невидимому электричеству, вспыхивало то здесь, то там. Приглушенный говор усиливался. Все выражали восхищение, глядя, как Шипов вертит в руках спасенный кошелек.

— У меня есть в затылке такая струночка,— засмеялся Шипов.— Как что — она у меня, лямур-тужур, тенькает — и готово. Чей это кошелек? А это, пуркуа, титулярной советницы Фроловой. Она мне сама челом била. Ну?.. Я свою струночку ррраз... И что же вы думаете? Знаю: Яшка украл. Простой мезальянс... А вот он и Яшка. Он-то думал, я за ним по ~~шалманам~~ лазить буду! Много чести. Нет, ты сам придешь да еще в затылочек поклонись. Сам меня найдешь...— Он поднялся со своего места, потряс кошельком перед изумленными посетителями.— Моя струночка натянутая ~~дрожит~~ дрожит ради вас, господа!

— Ура! — закричал хозяин Евдокимов, и все подхватили. Все, кроме студентов.

Они как-то незаметно, бочком-бочком, и выкатились прочь. Шипов только посмеивался им вслед. Тут и остальные посетители, будто получив разрешение, потянулись к выходу, кланяясь Шипову, а некоторые, осмелев, и вовсе подмигивали по-приятельски. Шипов усмехался и отвечал поклоном каждому, словно хозяин бала. Востренькое лицо его покраснелось. Он был доволен.

— Великий человек-с,— сказал городовой хозяину.— Всех жуликов в кармане держит. У нас в участке как что чего — сейчас Михал Иваныча... Незаменимы-с.

— Ох, правда,— шумно вздохнул хозяин,— великий человек.

— А не стыдно тебе, Потапка,— сказал Шипов,— студентов пужать? Это же я тебе по портрету провел, чтобы ты в разговоры не лез, было ты этакое... Ну, тре жоли теперь?

— Нет-с,— ответил Потап глупо,— это не вы-с, а они-с...

«Когда бы вы знали, пустоглоты, на какую я верхушку залетел, вы бы все в ножках у меня валялись»,— подумал Шипов.

Не успел он тогда, окрыленный удачей, выскочить из канцелярии с прогонными и прочими ассигнациями за пазухою, как на него налетел, а кто — он уж и не помнит, не успел разглядеть, и велел снова ему, Шипову, явиться к господину Шляхтину. У частного же пристава выяснилось, что надлежит Шипову лететь что есть мочи к самому обер-полицмейстеру Москвы, его сиятельству графу Крейцу Генриху Киприяновичу. Шипов побежал, ног под собой не чуя. Губы его стали совсем белые, нос еще более заострился.

Беги, беги. Кошка тебя дожидается. В теплых лапках у нее когти спрятаны, во влажной пасти зубки беленькие, один к одному... Только бы не растеряться. Глаз не отводить, глаз не отводить ни за что. А что ж, господа, у вас свое оружие, а у меня свое. А кто сказал, что я мышь? Да я и не мышь вовсе... Я им нужнее. Главное — на рожон не лезть, самому не вступать в разговоры, пускай их сами выговорятся... Поглядим, поглядим... Ах ты господи, боже мой!

Но успокоился. В парадную дверь не вбежал, а вошел. Там его уже дожидались. Велели раздеться. Под гороховым пальто оказался на Шипове темно-серый, мышиный сюртук. И повели Михаила Ивановича по комнатам, лестницам, различным переходам прямо к логову кошки.

Тяжелая дверь обер-полицмейстерского кабинета словно и не открывалась, а Шипов уже стоял перед графом.

Не успел граф опомниться от этого явления, как маленький агент юркнул к его руке и потянулся к ней белыми губами.

— Дозвольте-с...

«Вот бестия!» — возмутился граф, попытался не глядеть в зеленые глаза Шипова и не смог.

— Да как ты смеешь! — крикнул Крейц, багровея.— У меня по отношению тебя... — И замолчал. Шипов едва заметно улыбнулся.— По отношению к тебе,— поправился граф с отчаянием.— Я имею по отношению к тебе

серьезные намерения, а ты черт знает что...— И провел платочком по высокому лбу.

Шипов не шевелился. Граф неотрывно глядел ему в глаза. Потом он все-таки опомнился, поворошил бумаги на столе.

— Ну,— сказал граф,— дай-ка я на тебя погляжу. Говорят, ты у князя Александра Васильевича человеком был?

— До эманципации-с...— прошелестел Шипов.

— Скажи пожалуйста, «до эманципации»! — сказал граф с любопытством.— «Эманци-па-ци-я»,— повторил он насмешливо.— Ну, и что же ты там?

— Служил-с.

— Ну, а что служил?

— За столом служил,— откликнулся Шипов.— Подавал-с.

— Ах, подавал...— Граф помолчал мгновение, примериваясь.— Ну, а как, к Александру Васильевичу все еще питаешь привязанность?

— Ваше сиятельство, душа моя переполнена преданностью и любовью!

Граф шагнул поближе и замер, словно перед прыжком.

«Все равно, мон шер, поверишь,— подумал Шипов,— что я тебе ни скажи...»

— А ты умнее, нежели я предполагал,— сказал Крейц, недоумевая и раздражаясь.— Водку пьешь?

— По праздникам, ваше сиятельство! — крикнул Шипов.

— Князь Долгоруков надеется на твои к нему чувства, что ты, ежели что случись, не выдашь.

— Мерси,— выдохнул Шипов,— пусть они не сумлеваются...

«...Барин, барин,— подумал хозяин Евдокимов, глядя на Шипова,— хотя и за жульем охотник, а барин, полицейский барин, прости господи... А где же трость-то его? Он же с тростью вошел. Трость с серебряным набалдашником, серебро с чернью... Ай в углу позабыл?»

— Потапка,— сказал он,— принеси Михал Иванычу ихнюю трость. Они в углу ее позабыли.

— Хоп,— сказал Потап,— момент...

— Да какую еще трость? — удивился Шипов. — Никакой трости у меня, сетребьен, не было.

«Да как же не было, когда была? — подумал хозяин. — Так еще важно они вошли, чистый барин с тростью...»

— Ну, пора и честь знать, — сказал Шипов и открыл кошелек советницы, и оттуда появился рубль.

Яшка от дверей глядел на кошелек горящим взором.

— Больно много, Михал Иваныч, больно много, — сказал хозяин, принимая рубль.

Яшка застонал, завозился в углу.

— Да рази это много? — засмеялся Шипов. — В самый раз...

«Кабы вы знали, тараканы, куды я поднялси-и-и! — подумал он. — На какую ступенечку всходил! Какому коту в глаза глядел... Выше уж некуды! Тама — небеса одни...»

Действительно, поднялся! Нет, судьба не швырнула Шипова на произвол, не оставила в покое. Она тащила его за собой все выше и выше, тащила за руку, да он и не упирался. Лестницы из чистого мрамора покорно сияли под его ногами. Резные тяжелые двери распахивались перед ним. Среди надменных мундиров как равный мелькал его поношенный мышиный сюртук. И вот наконец такой взлет, который вчера и не приснился бы! И пусть пока не анфилады царских покоев разверзлись перед маленьким агентом, ибо что царь? Царь где-то там, в недосыгаемости, прекрасный неодушевленный образ, робкая мечта... А тут живой, зримый, перенасыщенный плотью, вызывающий благоговение и дрожь, сам генерал-адъютант, генерал-губернатор Москвы Павел Александрович Тучков, член Государственного совета.

И ведь, кажется, следовало бы Шипову заорать, пасть в ноги, ползти, извиваясь, неведомо куда. Но странное дело — чем выше взлетал он, чем вельможнее, недосыгаемее и страшнее возникали перед ним персоны, тем спокойнее становилось у него на душе.

«Это уже не кошка, — подумал он с восхищением. — Чистый кот, котище!»

Губернатор из-за стола не встал. Откуда-то оттуда,

издалека, мельком оглядел Шипова, застывшего у дверей, и отвернулся к пышному адъютанту.

— Бонжур,— смело сказал Михаил Иванович.

— Где вы раздобыли это чудовище? — спросил генерал.

Адъютант наклонился к нему.

— Я понимаю опасения князя,— проговорил генерал, не замечая Шипова,— но разве это надежно?

«Какая суэта-то вокруг идет! — подумал меж тем Шипов.— Граф Толстой школу открыл. Да и пущай он ее открыл... Или там заговор готовят?.. А кто ж это благодетель мой? А, выходит, князь. Да рази я его выдам?! Большая суэта идет. А этот в глаза не глядит, пренебрегает... Да без меня тоже не может. Что он без меня, котище?»

— Он обо всем знает? — спросил генерал адъютанта, имея в виду Шипова.— Это же крайне конфиденциально...— Он тяжело вздохнул.— Однако странно видеть это. Почему охотник за жуликами должен соваться в жизнь графа Льва Николаевича?.. Что?.. Нет, я понимаю желание князя, но я в недоумении.

«Неспроста это они все так,— подумал Шипов, и сердце его забилося.— Ты гляди, какие персоны! Генерал-губернатор сам, князь — благодетель мой, обер-полицейский, да все, все... Петербург — Москва... Держись, Шипов! А может, там, в имении у графа, в Туле в этой, может, у него и впрямь бог знает что творится? Может, воистину заговор?..»

— Хотя, с другой стороны,— продолжал губернатор,— наверное, в этом все-таки есть смысл, иначе князь разве решился бы? Как вы думаете?.. Но этот должен понять, что малейшая оплошность его обернется ему же трехкратной карой... Если он проговорится ненароком или упомянет князя или меня... Что? Вы уверены, что он отдает себе отчет?

«Насчет меня сумлеваются,— понял Михаил Иванович,— хотя сделать ничего не могут: князь велели. А мне-то что?.. А мне ничего... Пардон»,— и он осторожно прикоснулся к груди, где за мышинной тканью сюртука покоились ассигнации.

За громадными окнами губернаторского кабинета сиял январский белый полдень. От голубой изразцовой голландки тянулось легкое тепло. Губернатор был зна-

чителен, адъютант красив и наряден, так что Шипов размяк и зажмурился...

Последняя лампа догорала в трактире.

Шипов шагнул к дверям.

В наступившей тишине слышно было, как за стеной гудит разыгравшаяся метель.

— Эх,— сказал хозяин,— куды ж вы в такую-то метель?

— А мы господу помолимся,— засмеялся Шипов и, подтолкнув оборванца, вышел вон.

И метель тотчас же прекратилась.

— Свят-свят! — закрестился хозяин испуганно. Но тут же ощутил, как ниточка какая-то внутри отпустила. Стало полегче как-то. И он даже подумал, что, мол, за почет такому маленькому агенту, когда в заведении и господа офицеры бывают, и воротилы, и даже тайный советник Яковлев с гостями вот здесь сидели, пили-ели — и ничего, а тут, господи, беда какая!..

Возле трактира была темень. Единственный фонарь с нею не справлялся. Неподвижный женский силуэт чернел в отдалении. Шипов пожал плечами.

— Батюшка, не погуби! — запричитал оборванец.

— А чего мне тебя губить,— сказал Шипов.— Ты ступай себе... На-ка вот денежку да ступай...— И он снова пошуршал кошельком советницы и протянул Яшке ассигнацию.

— Ой-ой! — захрипел Яшка.— Благодетель! Дозволь ручку! — И благодарным носом ткнулся Шипову в грудь.— Радость-то какая. Михалваныч, отец родной! — Он гладил Шипову плечи, руки, целовал локотки, коленки, пуговички на пальто...

— Ну, будя,— устало оттолкнул его Шипов.— Ступай, ступай, шер ами, да гляди у меня...

Яшка исчез за углом, только слышался хруст его опорок по свежему, крупному, сахарному, рассыпчатому январскому снежку.

Женщина шагнула к Шипову и снова замерла.

— Ой, Матрена,— сказал Шипов,— а ты все стоишь?

— Все стою,— едва слышно отозвалась Матрена.

— Небось зазябла на метели-то?

— Как же не зазябнуть? Зазябла...

— Какая же ты, Матрена, упрямая. А я вот тебе сейчас подарочек дам... вот он... денег тебе сейчас...

Он сунул руку в карман, в другой. Лицо его изобразило удивление, затем испуг. Он тихо рассмеялся.

— Ну и Яшка!

— Я видала,— сказала Матрена и приблизилась еще на шаг.

— Человек свое всегда возьмет,— сказал Шипов задумчиво.— Оттуда, отсюда, а возьмет...

— Я бы вас чаем с медом напоила бы... Пожалела бы...

Она зажмурилась и пошла по улице. Шипов медленно шел рядом.

Он шел и пытался осознать, что произошло. Все эти чудеса случились с ним третьего дня. Тогда он выкатился от генерала Тучкова, расправил гороховое пальто и двинулся по Тверской. Он шел медленно, с достоинством, не хуже многих других. Мог и извозчика взять, да воздержался. Теперь глядите на него, глядите, пока не поздно, он через год эвон где будет — не разглядеть.

Снежные сугробы голубели вдоль мостовой. Слышались колокола, чьи-то восторженные крики, визг полозьев. Пахло свежим хлебом. Михаилу Ивановичу даже захотелось снять котелок и поклониться удаляющемуся дому генерал-губернатора. Однако новые заботы уже гудели в его голове, из которых первая была — встретиться с господином Гиросом, назначенным ему в помощники. И вот он шел, минуя чужие подворотни и окна, все дальше и дальше, к Самотеке, где проживал его будущий компаньон.

День был такой прекрасный, что никаких сомнений ни в чем таком же прекрасном не могло быть, и уверенность в успехе, под стать этому яркому, брызжущему жизнью дню, не покидала Шипова. Да он вообще был удачником и, отличаясь в поимке карманных воров, никогда даже не задумывался, откуда у него этот странный талант, этот нюх и интуиция провидца. Все текло, как текло, и, значит, судьба к нему была милостива за что-то, потому что легкость, с которой он обнаруживал пропавшие кошельки, другим полицейским агентам даже не снилась. И, как всякий богато одаренный человек, он не думал трястись над своим талантом, дрожать, что вот-вот это чудо погаснет, а, напротив, раздавал его с блес-

ком, с щедростью, любил благодетельствовать, но и от благодарностей не уходил.

А Москва продолжалась. В Самотечных улочках-переулочках, тупичках, в смешении дерева и кирпича продолжалась она, пышная, январская, снежная, но уже более тихая, более приглушенная, сокровенная, словно именно здесь или где-то совсем рядом, за поворотом, и должно было открыться место проживания затейливой московской души. Даже грохот недалекой Сухаревки был бессилён пробиться сюда, и только колокольный звон, ослабевая, все-таки расплескивался по маленьким дворам и затухал в подворотнях.

Но в этой благостной тишине кипели те же страсти, что и там, в большой Москве, и, подобно рождественским кабанчикам, откармливались и копились.

И в этой благостной тишине вдруг откуда ни возьмись звучали какие-то слабые струны; какие-то неясные звуки вырывались из-за домов, из подворотен; какие-то слова, которых было не понять, не запомнить, разрозненные, сбивчивые: какая-то песня, что ли, которую напевал некий невидимый житель — не пьяный сапожник, не сбитенщик, не бродяга, не вор, не извозчик, но и не тайный советник, или генерал, или князь...

Зачем тебе алмазы и клятвы все мои?
В полку небесном ждут меня,
Господь с тобой, не спи...

Какие алмазы? В каком полку? Почему в небесном? Что, где, куда, откуда?.. Затем хруст снега заглушал эти звуки, и они пропадали... И снова перед Шиповым лежала Москва, извиваясь, прячась за снегом, обжигая морозцем.

Здесь, под самой крышей трехэтажного дома, в каморке с маленьким окном, и встретился Шипов со своим компаньоном.

Михаил Иванович сидел на единственном стуле, а Гирос стоял напротив, размахивал руками и показывал отличные белые зубы.

— Я хороший человек, господин Шипов,— сказал он,— а хорошие люди на улице не валяются.— И захохотал.— Я все сделаю, только прикажите, но уж вы меня и жалейте, Михаил Иванович... Распоследнюю дворнягу и ту нет-нет, а косточкой наградят...— И снова захохотал,

запрокидываясь, словно длинный лиловый нос был тяжел ему слишкѡм.

— А ты из кого будешь, Амадеюшка? — спросил Шипов, любуясь на веселого компаньона. — Из цыган али из греков?

— Ну конечно из цыган, — сказал Гирос. — Впрочем, из каких это цыган? Тьфу, черт... Из греков, из греков... Грек я, конечно.

— Нос у тебя нерусский и волос черный, — сказал Шипов, — вроде бы даже из итальянцев ты или из турков, прости господи...

— Ну конечно из итальянцев, — захохотал Гирос. — Какой я, к черту, грек!.. Я ведь говорю-говорю, а вы и ушки развесили.

«Ловкач, — подумал Шипов, — легкий человек. Пушай его смеется».

— Дозволь, я буду тебя Мишелем звать, а? — вдруг предложил Гирос.

— Мишелем? — поморщился Шипов. — Да как-то это вроде компрене... Все-таки ты помощник мой...

— Да нет, — захохотал Гирос, — господь с тобой! Конечно, не на людях... не бойся. Наедине... А на людях я буду тебя Михаилом Ивановичем звать или даже господином Шиповым... А знаешь, хочешь, я тебя буду сиятельством величать? Мне ведь ничего не стоит... Хочешь?

— Ну-ну, — засмеялся Шипов, — фер ла кур настоящий...

— Чудно, чудно! — обрадовался Гирос.

Затем потекла неторопливая беседа, изредка нарушаемая мощным хохотом Гироса. Они поговорили о том о сем, в частности и о графе Толстом.

— Знаешь, — сказал Гирос, — я ведь кое-что уже нащупал. Даже с графом столкнулся однажды, увидел его. Ну, я тебе скажу, ничего мужчина... Призовой рысак. Может дать по шее великолепно. Каждый день к Пуаре ходит — гимнастикой занимается. В ресторане любит посидеть... или в номера ему подают...

«Да, — подумал Шипов с тяжелым сердцем, — это ведь не карманника за руку схватить. Граф все-таки. С ним-то как?»

— Ну, и что ж ты надумал, Амадеюшка? — спросил Шипов.

— Поверь, ничего, — сказал Гирос. — Да я и не умею

думать.— И захохотал.— Как, почему, куда, откуда — этого я просто не умею, не понимаю... Как скажешь, Мишель, так и сделаю... Ну, хочешь, в лакеи к нему наймусь? Мне ведь ничего не стоит... Хочешь?

Шипов задумался. Маленькое сомнение грозило перерасти в страх. Это уж с Михаилом Ивановичем случилось крайне редко. И теперь от одного сознания такой возможности становилось не по себе. Как же так — за графом следить да еще выявить возможный заговор?! Ведь это же не в подзорную трубу разглядывать человека откуда-нибудь с крыши. Да что подзорная труба? Надо ведь в душу влезть. Но душа — такой инструмент! А тем более графская. В нее всякого не пускают. Как же быть? Вообще с лакейством Гирос хорошо придумал, но, может, графу нужен лакей, а может, не нужен.

Это было почти как страдание. Однако мысль все-таки уже работала в нужном направлении, и можно было ожидать, что решение не замедлит явиться. Да, граф — это вам не карманник, его за руку не схватишь. По шалманам за ним не поохотишься, по ночлежкам тоже. А может, он и не политик вовсе?

Тут Шипов провел рукой по груди, прикоснулся к асигнациям, и вздрогнул, и встрепенулся.

«Ой-ой,— подумал горестно,— улетят, улетят денежки, как гуси-лебеди, улетят. Все до одной».

А Гирос, словно разгадав тайные страдания Шипова, сказал:

— Мы его не упустим. Клянусь богом, не упустим. Ты только подтолкни меня, направь, науськай, а уж я, как легавая, по следу, по следу...— И захохотал.— Я ведь Шляхтину не раз служил. Он меня не зря тебе передал. Я пес лихой, Мишель.

Его бодрый тон, и хохот, и крупные белые зубы, как напоказ, немного успокоили Шипова. От сердца отлегло. Сразу различные фантазии завертелись. Жизнь снова показалась прекрасной.

— Ну ладно,— сказал он со вздохом.— Давай, пермете муа, мозговать. Может, у тебя чего выпить-закусить найдется?

— Что ты, голубчик! — вскричал Гирос сокрушенно.— Откуда? Я жду с упованием, когда ты со мной поделишься, ну хоть часть пустяковую мне дашь.

— Бес ты лохматый, Амадеюшка,— усмехнулся Ши-



пов,— да я вить тоже не дурак... Что ж, ладно, опосля выпьем...

И они принялись выработать свой нехитрый план. Гирос по нему отправлялся крутиться-вертеться возле гостиницы «Шевалье» и не спускать глаз с графа, а буде тот отправится куда, следовать неотступно и все запоминать. Если же представится случай познакомиться — великая удача. Сам же Михаил Иванович тотчас шел к хозяину и одному ему известными способами нанимался в нумерные.

— А денежки? — спросил Гирос.

— А денежки,— сказал Шипов,— ежели все сладится, вечерком, мон шер.

И они отправились.

Дойдя до гостиницы, они сделали вид, что не знакомы меж собою, и господин Гирос принялся прохаживаться по тротуару, с любопытством разглядывая мелькающие мимо кареты, возки и сани, а Михаил Иванович бодро взошел на крыльцо и скрылся за тяжелой дверью.

Но едва дверь гостиницы захлопнулась за ним, как его длинноволосый компаньон подумал: «А пусть он и работает, пусть, пусть...» — и торопливо засеменял мимо крыльца, завернул за угол и вошел в трактир Евдокимова.

Спустя несколько минут Шипов вышел, но Гироса нигде не было видно.

«Хват! — подумал Михаил Иванович с удовольствием, решив, что компаньон помчался по графскому следу, и засмеялся.— Вот пушай он и работает, пушай, пушай...»

Он крикнул извозчика, расселся повальяжнее, велел везти себя к Никитским воротам и поехал к Матрене.

Матрена жила в полуподвале в двух комнатках. Муж ее, сапожник, помер уже давно, оставив ее бездетной, и после некоторого времени слез и одиночества прибился к ней Шипов. Она зарабатывала стиркой, глажкой, вышиванием узоров и еще тем, что отменно пекла именинные пироги по заказу и этим славилась на всю округу. Была она все-таки еще молода, чудо как хороша, а главное — покорна, молчалива и добра. К ней иногда похаживали мужчины, особенно если Шипов исчезал надолго, но любила она одного Михаила Ивановича. Он это ценил и иногда одаривал ее ласкою или деньгами. И хотя, еже-

ли говорить начистоту, Шипову больше нравились другие, помоложе да поблагородней, он Матрену уважал, был к ней привязан, дом ее всегда помнил, как всякий бродяга и бездомник теплую берлогу.

Приехав к ней, он тотчас пересчитал деньги. Денег было целых тридцать рублей. Червонец он тут же вручил Матрене, пять рублей отложил Гиросу, а остальные спрятал поглубже.

Матрена его нежила, холила, поила, уложила спать, почистила ему мышинный сюртучок, сапоги, а когда он проснулся, снова усадила к столу и напоила чаем. Когда придет опять, она и не спрашивала: такой у них был молчаливый уговор.

А Шипов прихлебывал с блюдца и думал, что если у Гироса будет удача, то можно считать, что компаньон у него первостатейный и дело будет, а уж дело будет — денежки потекут, лишь бы не оплошать. Но оплошать он уже почти не боялся — верил в счастливую свою судьбу.

Он допил чай, разморился, и ему снова захотелось вздремнуть, свернувшись калачиком под Матрениным платком, но любопытство пересилило, и они распрощались.

Гирос уже ждал его на самом углу Газетного и Тверской, как и было условлено. Вид у компаньона был довольный, но прежде чем начать рассказывать о своих приключениях, он попросил денег.

Шипов протянул ему злосчастные пять рублей. Амадей спрятал их и рассмеялся.

— Ну ты и хорош, Мишель! Ну просто хорош! Какую косточку мне швырнул!.. Пожалел, да? Я на одних извозчиков червонец извел...

Длинный лиловый нос Гироса покачивался с укором, но Шипов не дрогнул.

— Ну будя, — сказал он, — твое от тебя не уйдет. — И похлопал себя по груди. — Ты, аншанте, рассказывай...

И они медленно отправились по Тверской, уже подернутой сумерками.

РАССКАЗ АМАДЕЯ ГИРОСА

Едва захлопнулась за тобой дверь, как подкатила карета с графом. Голова у меня закружилась от счастья, «Вот оно!» — подумал я, Граф в гостиницу захо-

дить не стал, а просто передал швейцару какой-то пакет и махнул кучеру. Кони понесли. Я — на извозчика и следом.

— Пошел за каретой, не отставай!

Летим. Сначала по Газетному, потом на Большую Дмитровскую. Тут он начал прижимать. Так и есть — к Пуаре. Я проскочил мимо и встал тоже. Граф — в парадное, я — за ним... Ты бывал там? Нет?.. Ну, большой зал, голубчик, всякие предметы для гимнастики... Я ведь туда хаживал, я все это знаю. Большая удача, что граф гимнастику любит... И вот он переодевается. Я вхожу. Раскланиваемся. Ну, думаю, с чего же он начнет? Так и есть — подходит к перекладине. Берется. Руки налились. Ну чистый призовой рысак! Ты не представляешь себе, какие плечи, сколько силищи! Я медленно раздеваюсь, а сам гляжу, что будет. Он начинает подтягиваться — слабовато, пытается крутить — ни черта. Вижу, граф — новичок.

— Ваше сиятельство,— говорю я скромно,— тут не сила нужна, а сноровка.

Он краснеет.

— А откуда вы меня знаете?

— Да так, наслышан,— говорю я,— читал кое-что из ваших сочинений. А на перекладине сноровка нужна. Позвольте-ка...— И я начинаю крутить. Выгибаюсь, падаю будто, ан нет — взлетаю снова. Он глядит, весь красный от смущения, немножко злится. Ничего, думаю, это полезно.

— Да, вы действительно мастер,— говорит он.— Не знаю, достигну ли я когда-нибудь ваших совершенств.

— Полноте,— успокаиваю,— при вашей-то природной силе это несложно. Терпенье. А вы, я слышал, собираетесь в скором времени обратно в свою Тульскую?

— Нет,— говорит,— проживу в Москве.

— Отлично,— говорю.— Перейдем к коню?

— Извольте... Да, боюсь, и тут вы меня превзойдете.

Переходим к коню. Знаешь, эдакая скотина из кожи, набитая чем-то, черт знает чем, на четырех ножках, вот такой высоты. Попробуй перепрыгни через нее... Ну-с?

— Да, я и не представился,— говорю.— Я Амадей Гирос, тамбовский помещик. У меня там сельцо преотличное. Но зимой люблю жить в Москве... Прошу вас, граф...

— А может, вы сначала?

— Нет уж, сделайте одолжение, ваше сиятельство. Да вы не стесняйтесь, вон уж и покраснели... Ну-ка, руку сюда, так, другую сюда, отлично, взбирайтесь порезче... А что же эманципация, как она вас, задела?

— Эманципация? — говорит он, а сам сидит на коне и никак не может отдышаться. — Меня-то не задела, а вот крестьянам каково? Крестьянин без надела — разве крестьянин?

— Да, — говорю, — это же самое мучает и меня. Какой он, к черту, крестьянин, ежели у него земли нет? Лично я возмущен и даже собираюсь написать письмо в Сенат. Напишу большое письмо, страниц эдак на двадцать, все выскажу без стеснения. Позор.

Тут, вижу, глаза у него загорелись. Он сидит на коне, глаза горят, силища играет, ну чистый призовой рысак, поверь.

— Теперь, — говорю, — взмах ногой и перелет в обратную позицию... Рраз... Слабо, слабо, сильнее надо, от корня, граф, от корня. Нет, нет, не годится... Позвольте.

Он сваливается с коня, ровно куль с песком. Я вспрыгиваю — и пошел.

— Ну как? — спрашиваю.

— Да, — говорит, — совершенство.

— Ничего, научитесь... А вы не думаете подобного письма написать? Вы ведь человек известный, граф, влиятельный. К вам бы прислушались:

— Нет, — говорит, — боюсь, это слишком слабая мера.

— Помилуйте, ваше сиятельство, да что же может быть сильнее?!

— Есть различные способы влиять на правительство, — отвечает он загадочно. — Более сильные способы..

Эге, думаю, попался голубчик! Но спугнуть нельзя. Уж как мне хотелось, Мишель, его порастрясти, но потом думаю: все равно он мой.

— Лично я, ваше сиятельство, иных мер и не представляю. Да и что это может быть? Нет, нет, решительно ничего быть не может.

Вижу, он устал. А я хоть бы что, готов еще вертеться сколько угодно. Но пора и честь знать. Одеваемся. Он говорит:

— Прошу вас, господин Гирос, холодного шампанского. Я угощаю.

Переходим в буфетную. Ковры, Мишель, кругом ковры, кресла, вазы с цветами, лакей в ливрее. Хорошо, тепло... Графу я нравлюсь, это сразу видно.

— Отчего же вы угощаете? — говорю. — Уж лучше я. Для меня большая честь угостить вас... Мне ведь ничего не стоит... — А сам думаю: на черта я ввязываюсь, когда у самого ни копейки? Хорош я буду, да и Мишель хорош — пожалел мне денег. Теперь опозорюсь — и конец.

Но слава богу, граф человек благородный, от своего отступить и не намерен.

— Нет, — говорит, — как же так? Это для меня большая честь угощать вас, как совершенного мастера...

Сидим, пьем, я речечкой закусываю... Попили, отдохнули, одеваемся, выходим. Граф — в карету.

— А ваша где? — спрашивает.

— Да я отпустил, граф...

— Может, сядете со мной? Мне будет приятно.

— Премного благодарен. Я, знаете, после гимнастики люблю пройтись...

И укатил.

— Ну и что? — спросил Шипов. — Что же дальше?

— Приглашал в гости...

— Когда?

— Да когда захочу. «Заходите в любое время, говорит, всегда буду рад. А то мне скучно».

«Хват!» — подумал Михаил Иванович с насмешкой, а сам все ждал вопроса от компаньона: а как, мол, он, Шипов, устроил свои дела? Но Гирос, возбужденный собственным рассказом, и не пытался расспрашивать, а Шипов на рожон не лез. Считая, что начало положено и что перспективы весьма радужны, они решили поужинать, благо прогулка разгуляла аппетит.

И вот они завернули в первый же трактир, спросили себе водки, кислых щей, вареного судака. Разлили, чокнулись.

— Ну, с богом.

— С богом, с богом, Амадеюшка. Ля фуршет полный. Теперь завтра пораньше и забеги к нему, компрене...

Постепенно все входило в свою колею, налаживалось. Этот Гирос волшебный мужик, думал, хмелея, Шипов,

Так это он все прикидывался, так все в дурачка играл, зубы белые показывал, а вот тебе и зубы, гляди-ка!

К полночи они совсем порастряслись. Денег не оставалось. Нос у господина Гироса удлинился, налился, еще сильнее полиловел, и Шипову казалось время от времени, что компаньон придерживает нос руками, чтобы не слишком отвисал. На хмельную голову легче почему-то думалось, и Михаил Иванович рассуждал о том, что теперь ему, при таком-то компаньоне, и вовсе без надобности наниматься в нумерные.

Проснулись они поутру на полу в комнате Гироса. Спали в обнимку прямо на досках.

— Ну, Мишель,— захохотал Гирос,— удружил ты! Все косточки болят... А я привык в постельке, в постельке, черт возьми, спать, в постельке!

Он выбежал куда-то, вернулся снова, утирая с губ молоко.

— Ох, ну, теперь, кажется, можно жить, и дворняга от молочка не отказывается...

— Откуда ж молоко, мон шер? — спросил Шипов.

— Это, видишь ли, хозяйка, старуха несчастная, выдает мне кружку молока на день — и ни капли больше. Стерва!

— Вот бы ты мне полкружечки и принес бы, тре жолли... Ну?

— Да было-то всего полкружки,— сказал Гирос.

Шипов посмотрел в его улыбающееся лицо, в черные большие, добрые глаза, в которых вдруг промелькнул маленький огонек недоумения, и отворотился, махнув рукой.

— Ну, Мишель,— засмеялся Гирос,— побойся бога. Или ты поверил? Я дую черт знает что, а он верит! Да какое же это, к черту, молоко, когда вода! Вода, брат, вода. Ну, хочешь, налью тебе воды?

Он говорил так уверенно, с такой страстью и даже отчаянием, что Шипову стало стыдно, и он поверил, и захотелось воды, простой холодной воды — унять пожар души и тела.

Гирос тем временем сел на стул и уставился в окно. Раннее утро играло на его лице, но глаза компаньона были печальны и тусклы, а губы горько изогнулись. Большой лиловый нос тянулся книзу, а нечесанные блестящие черные волосы свисали на лоб. Как будто и не он хо-

хотал минуту назад, такая скорбь была во всем его облике.

— Пора собираться,— сказал Шипов.— Пора в гости к их сиятельству.

Гирос встрепенулся, вскочил, откинул волосы со лба. Лицо его снова играло, сочные губы, словно маленькие красные змейки, удерживали готовую вырваться улыбку, в глазах разгорался огонек.

— Пошла легавая по следу!.. Нет, что ни говори, Мишель, а я тонко с ним обошелся! А уж сегодня ему несдобровать. Сегодня я вытяну из него душу. Ты, кстати, можешь быть спокоен. За меня ты можешь быть спокоен. Ты убедился, что я могу...

«Сейчас спросит про меня,— съежился Шипов.— Как я в нумерные попал...»

Но Гирос и на этот раз ни о чем не спросил.

Приведя себя в порядок, они отправились к гостинице «Шевалье», где приговоренный граф ждал с нетерпением своего нового знакомца.

Любо-дорого было смотреть, как они шли по Большой Дмитровской, два наших следопыта. Один — высокий, черноволосый, в черном пальто, из-под которого показывались узкие, по новой моде, серые панталоны, в клетчатом картузе; другой — пониже ростом, в гороховом пальто и в черном котелке. Возле дома Пуаре они приостановились, потоптались у подъезда, поговорили о чем-то и пошли к Газетному переулку.

Гостиница «Шевалье» встретила их шумом, криками, конским ржанием. У крыльца стояло несколько возков, саней, из которых выходили богато одетые люди, и швейцар помогал заносить вещи, и гостиничные мальчишки крутились тут же, хватая то корзины, то баулы, то чемоданы, и кучера задавали лошадям овса,— видимо, приехало большое семейство. Часть господ была уже внутри здания, а несколько молодых горничных металась среди экипажей с распоряжениями мужикам, что взять сначала, а что потом. И уж такие они были хорошенькие, такие тонкие и славные, так прелестно и со вкусом одеты, что, наверно, уж очень хороши были их господа.

Девушки тотчас заметили, что они произвели впечатление, стали пуще распоряжаться, звонче кричать, да ко всему еще и смеяться. Они, конечно, смеялись не над Шиповым, ибо он выглядел в их глазах довольно сим-

патичным со своими соломенными бакенбардами и зелеными глазами, а смеялись они просто от молодости и потому, что увидели в этих зеленых глазах восторг и это им было приятно.

Когда же Шипов опомнился, Гироса рядом не было. Видимо, компаньон уже пил с графом утренний кофе.

Тут Михаил Иванович несколько заметался, сконфузился: надо было либо уходить прочь и, как уж повелось, все предоставить находчивому Гиросу, либо наниматься в нумерные, как было обговорено. Но судьба распорядилась по-своему. Дело в том, что одна из горничных, а именно смуглая, черноглазая и краснотубая, все чаще и чаще взглядывала на остолбеневшего Шипова и вдруг крикнула другой, той, что посветлее:

— А барин-то на тебя ведь глядит!

— Уж и на меня! — откликнулась светленькая. — На тебя, на тебя...

— А барин-то душенька!

— Московский, — засмеялась светленькая. — А ты у них спроси: может, они потеряли чего?

«Ах, холеры! — изумился Шипов. — Никакой скромности. Бойкие, уточки».

— Вы чего ищите-то? — спросила черненькая. — Высматриваете чего?

— Бонжур, — сказал Шипов и приподнял котелок. — Больно ты бойкая. А не боишься, как я тебя вечерком встречу, а? А ведь у нас с тобой может вполне тре жоли получиться... Не боишься?

— Ой, — вскрикнула светленькая и залилась смехом: — Ну и Москва!

А у черненькой даже сквозь смуглоту пробился румянец.

— Вы бы вон баульчик поднесли, что ли, — сказала она, смеясь.

Шипов тут же очутился рядом, словно перелетел по воздуху.

— А что нам за это?

— Да несите уж, — сказала светленькая.

Он мигнул ей и так легко помчался с тяжелым баулом на плече по лестнице, по ковру, на второй этаж. Там кто-то велел свалить баул в общую кучу вещей, громоздившихся перед дверью в номер, и Михаил Иванович, сгорая от нетерпения, заторопился вниз. Занятый мысля-

ми о черненькой красотке, он и не заметил, как из-за колонны высунулось чье-то круглое внимательное лицо.

Вещей в саях оставалось совсем немного.

— А что нам за это будет? — снова спросил Шипов.

— А вот еще сундучок снесите, — засмеялась черненькая. — Ай устали?

— Видать, воронежские, — сказал Шипов, тяжело дыша, — больно на язычок остры. — А сам подумал: «Ну куды Матрене до этой-то!»

— Воронежские, воронежские, — сказала светленькая, — а может, тверские...

Он уже не бежал ~~вверх~~ по лестнице — сундучок давил на плечи. Наконец он добрался до дверей номера и опустил свою ношу. И вот когда, взъерошенный и взопревший, возвращался он назад, из-за колонны высунулось недоброе и насмешливое лицо частного пристава Шляхтина.

Сердце Михаила Ивановича дрогнуло.

«Не надо было, шерше ля фам, с девицами играть! — горько подумал он. — Теперь непременно призовут, скажут: такой-разэдакой, горничных шшупаешь, а мы тебе деньги за что платим?.. Эх, мезальянс вышел!»

Но он не подал виду, что узнал пристава, и вывалился на крыльцо. Перед входом никого уже не было. Возвращаться искать черненькую Шипов не рискнул. Сетуя на жизнь, он скользнул за угол и побежал подальше от греха.

Но тревога делала свое дело, и вот в голове секретного агента возникла спасительная мысль, и вот уже она облеклась в плоть и кровь, а ноги сами понесли, и не просто так, куда-нибудь, а прямо по назначению.

«Теперь главное чего? — думал Михаил Иванович, торопливо шагая. — А того, чтобы самому успеть раньше частного пристава депеш отбить их сиятельству».

И вот, пристроившись на уголке стола в доме знакомого писаря, спросив чернил, бумаги и перо, он, попытев, сочинил письмо, которое призвано было посрамить частного пристава Шляхтина, буде он начнет жаловаться на нерадивость секретного агента, который, вместо того чтобы следить за графом, носится среди неизвестных девиц, тратя казенные деньги.

Вот это письмо.

Михаила Зимина

СЕКРЕТНО

Московскому Обер-Полицмейстеру,
Свиты Его Величества, Господину
Генерал-Маиору Графу Крейцу

Имею честь доложить Вашему Сиятельству, что, намереваясь отправиться в Тулу по приказанию Вашего Сиятельства, касательно наблюдения за именем Их Сиятельства Графа Толстого, оставался в Москве, а не отправлялся по назначению вследствие нахождения Их Сиятельства Графа Толстого в Москве в номерах Шевалье и по причине наблюдения за ними, что помогло о многом таком узнать, чего Ваше Сиятельство и не мыслило себе а теперь отправляюсь в Тулу по назначению Вашего Сиятельства с сообщением о скором времени всех подробных обстоятельств.

И лихо вывел свою новую, секретную фамилию.

Тщательно перебеленное писанием, это донесение Шипов сдал в канцелярию обер-полицмейстера и, весьма довольный собственной сметливостью, заторопился обратно — послушать Гироза о его приключениях.

На углу Газетного и Тверской, на условленном месте, компаньона еще не было, а стояли два студента, один высокий, а другой пониже, с бородкой. Михаил Иванович оборотился к ним спиною и любовался Тверской в предвечернее время, думая о том, как он ловко все-таки опередил частного пристава Шляхтина и какая была та исчезнувшая, черненькая, с красными губами (куды Матрене-то)...

Вдруг до слуха его донеслось имя графа Толстого, произнесенное одним из студентов. Тут Шипов наострил и стал слушать. Сперва разговор шел какой-то непонятный, так себе, бестолковщина одна, но затем выровнялся и потек, словно быстрая речка. И через пять минут Михаил Иванович, к изумлению своему, понял, что студенты эти и есть из тех, которых граф Толстой приглашал в свое имение учительствовать и о которых беспокоился вчера частный пристав Шляхтин, когда в городской части объяснял ему, Шипову, суть дела. И еще услышал Шипов, что через день-два намерены студенты

отправиться по месту своего нового жительства, а именно — в имение Ясная Поляна.

Тут Шипов заволновался, как бы не упустить добычу, но услышал фамилию Евдокимова и понял, что молодцы намерены перекусить подешевле, а может, и пропустить по случаю отъезда.

Ай да денек! Судьба сама кидала Шипову в руки жареных перепелочек.

В этот момент и появился господин Гирос.

РАССКАЗ АМАДЕЯ ГИРОСА

...Ну вот, Мишель, вхожу, значит, поднимаюсь по лестнице, иду по коридору, а он уже идет. Ждет, представь себе! Дверь в номер распахнута, и ждет.

— Что же так поздно, господин Гирос? — говорит радостно. — Я вас просто заждался!

— Да я спешил, ваше сиятельство, — говорю, — колесо у кареты соскочило, левое заднее.

— Это ужасно, — говорит, — но слава богу, заднее.

Проходим в комнату. На нем вишневый халат, на ногах персидские чупяки из парчи, в руках трубка. Пахнет духами, кофеем.

— Очень рад, что вы пришли, — говорит, — ну, просто очень. Мы с вами так приятно провели вчера время. Я как проснулся, все о вас думаю. Думаю: где этот приятный господин? Где же он? Не угодно ли кофею?

— Можно, — говорю, — отчего же... Мне также, граф, приятно было с вами беседовать. Особенно — об эманципации. Большой вопрос.

Бросил ему косточку. Он не берет. Ничего, думаю, дай бог время. Пьем кофе. А хочется есть чертовски. И он, представь, словно в душу заглянул.

— Простите, господин Гирос, я так обрадовался вашему приходу, что совсем позабыл спросить: изволили вы завтракать?

— Представьте, ваше сиятельство, нет, — говорю. — Эта история с каретой выбила меня из привычного порядка... Но, полноте, не беспокойтесь.

Он очень заволновался, вскочил, захлопал в ладоши. Вошел лакей-старик. Граф ему наговорил, наговорил, наприказывал. Не прошло и минуты — тащит. Весь стол уставил. И графинчик, представь.

— Ну, ваше сиятельство, раз такое дело,— говорю,— не откажите компанию со мной разделить.

— Ах, да я сыт,— сокрушается он.— Впрочем, ежели слегка только, чтобы вам не скучать. Пейте-ешьте на здоровье.

А стол уставлен весь, я тебе говорил. Все сияет, блещет, переливается. Пар идет... Так, думаю, с чего же начнем? Может, с пирога? Очень хороший пирог, с грибами, только что из печки... Нет, думаю, для начала, пожалуй, можно и обжечься.

В этом месте Шипов вдруг вспомнил, как, бывало, выкатывал он в доме князя Долгорукова столик красного дерева, полированный, с перламутровыми украшениями на крышке, весь такой важный, на четырех изогнутых ножках да на колесиках. Крышка его поднималась, опрокидывалась, а из-под нее вылезал на свет божий целый полк графинчиков и штофчиков, тоненьких, пузатых, граненых, плоских, в которых мягко колыхались всевозможные настойки, окрашенные в невероятные цвета то ли сами по себе, то ли от разноцветного посудного хрусталя. Каких там только настоек не было! Затейлив человеческий вкус и безграничны его ухищрения. Пестрая, ароматная, жгучая эта армия вызывала слюну, а рядом, тут же, возвышались хрустальные рюмочки и тихо звенели от малейшего прикосновения... Глазам было больно глядеть на все это богатство, и выбирать было трудно, с чего начать: то ли с хреновочки, слегка мутноватой от соков, выпущенных щедрым корешком, покоящимся на цветном дне; то ли с бледно-желтой лимонной; то ли с чесночной; а может быть, и с зубровки, едва зеленоватой и таинственной, словно русалочки глаза, в которой неподвижно и изящно изогнулась пахучая травинка, сама похожая на спящую русалку... Ах, начинай с которой хочешь!.. Но это не все. Тут же в хрустальных вазочках мелкие кубики ржаных сухарей, или капуста с клюквой, или скрюченный ильменский снеток, или даже сушки, но такие маленькие, что едва на зубок. И это не для того, чтобы есть, а вот именно на зубок положить, придавить и зажмуриться...

— Да ты меня не слушаешь,— обиделся Гирос.

— Давай, давай,— сказал Шипов, проглатывая слюну.— Продолжай, се муа.

— ...Да, с чего же начать? Наливаем с графом по одной. По второй...

— Ваше здоровье, граф.

— Ваше здоровье, господин Гирос.

Теперь можно и закусить. Но я голоден чертовски. Ну что мне грибок там, другой? А плесну-ка я, думаю, щей. Это будет в самый раз... Горяченького, горяченького! Ну, наливаю. Сижу, ем. А время меж тем идет. Пора, думаю.

— Ваше сиятельство,— говорю,— я целую ночь не спал, все думал о сказанном вами. Вы правы, письма в Сенат и даже на высочайшее имя — это все вздор... Но где же та молния, которая способна согреть и озарить мою мятущуюся душу? Где, я вас спрашиваю? Мы с вами просвещенные люди, да неужели же нет для нас благородной почвы, которую мы могли бы возделать?

Буря, Мишель! Я разбудил бурю. По его лицу идут пятна. В глазах слезы. Руки дрожат, водка расплескивается... Ага, думаю, взял косточку, взял все-таки! Теперь легче пойдет. Всегда, знаешь, стоит одну всучить, как остальные и предлагать не надо. Такая жадность просыпается в человеке, что только успевай бросай, брат...

— Я знал, господин Гирос, что вы в высшей степени благородный и смелый человек. Я должен перед вами открыться. А не кажется ли вам, что вполне можно где-нибудь вдали от просвещенных столиц, не произнося зажигательных речей и не мозоля глаза официальным властям, вести тяжбу с режимом?

— Не улавливаю сути,— говорю.— Это в каком же смысле? Как то есть понимать, что вдали, и не произнося, и не мозоля?

— А вот так,— говорит,— где-нибудь в глуши встречаться с людьми, беседовать, собирать деньги в помощь господину Герцену...

— Кому? — спросил Шипов.

— Известный возмутитель, Мишель. Живет в Англии... Да, помогать, значит, этому Герцену, крестьянам жужжать в уши, что больно их притесняют, притесняют... А когда придет, мол, время, молнию-то и запустить.

— Хм,— сказал Шипов,— а полиция, лямур-тужур, на что?

— А полиция, мол, и не заметит,— захохотал Гирос.—

Вот так. А я, брат, намекаю ему, что, мол, не его ли имение эта глушь, где можно подобными делами заниматься.

— Мало ли имений, господин Гирос,— смеется,— где можно... Имений много...

Понимаешь, Мишель, я сижу сам не свой. Понимаю, что я его ухватил. Ухватил ведь. Держу! Ну, думаю, еще одну косточку я тебе швырну, авось не подавишься.

— Ваше сиятельство,— говорю,— дозвожь, я тебя буду Левою называть?

Он, знаешь, сначала удивился немного, даже поморщился:

— Левою?.. А не рано ли?.. Как-то это немного не того, а?

— Да нет, что ты,— говорю,— господь с тобой! Ты меня не понял. Это наедине, наедине. А на людях, если хочешь, ты для меня Лев Николаевич... Мне ведь ничего не стоит.

— Ну ладно,— говорит,— бог с тобой.

— Вот и чудно,— говорю,— вот и чудно! Давай, Левушка, еще по одной?

Еще мы выпили.

— Если хочешь,— говорит,— приезжай ко мне в Ясную. Поживи, осмотришься... Может, и тебе дело найдется. Сегодня вечером приходи непременно, цыган позовем, будем отъезд мой отмечать...

— Когда же он, Амадеюшка, домой-то собирается?

— Дня через два. Говорит, еще кое-какие делишки обтяпать нужно. А сам подмаргивает, каналья.

— Теперь,— сказал Шипов,— завернем-ка мы, трезоли, в трактир.— И он рассказал о студентах.

— А ты, оказывается, не теряешься! — захохотал Гирос.— Мое сердце с тобой!.. Может, ты мне денег дашь? Ну, Мишель, что ж я без денег? Мне ведь ехать не на что...

И они отправились в трактир Евдокимова, где произошли уже известные события.

И вот Шипов шел теперь с Матреной рядом по ночной Москве. Столица словно замерла вся. Прохожих не вид-

но. Только случайный извозчик медленно проплывает мимо, подремывая на ходу; захрипят, залают во дворах собаки, переругиваясь, и тут же успокоятся; какой-нибудь безумный петух, не разобравшись спросонок, вдруг возвестит утро. А так тихо в Москве. Очень тихо.

Молча, не говоря друг другу ни слова (Шипов — раздумывая, Матрена — благоговая), шли они через Газетный на Тверскую. И вот уже злополучный трактир Евдокимова скрылся за углом, и вот уже гостиница поравнялась с ними. Она была темна, только из-за ставен кое-где пробивался свет — в ресторане гуляли. Может быть, и граф с Гирсом опрокидывали сейчас по последней рюмочке, и Шипов представил себе своего компаньона, захмелевшего, веселого, тычущего длинным носом в благородную щеку графа. Может быть, и черненькая, краснотубая молодка видела сейчас третий сон и почмокивала во сне, разметавшись вся...

Вдруг дверь гостиницы растворилась, старый швейцар вышел на крыльцо и принялся для какой-то надобности набирать в миску снегу.

— А что, любезный,— спросил Шипов,— их сиятельство граф Толстой спят-с али в дорогу собираются? А может, с цыганами гуляют?

— Вестимо, спят,— охотно откликнулся старик.— Они, чай, пять дён как уехали. Теперича дома-с у себя спят... Может, спят, а может, и гуляют. Барская воля.

— Как это уехали? — переспросил Шипов с ужасом.— Да рази они не у себя-с в номере?

— А так и уехали. Я сам их провожал... В Тулу-с. Слабость разлилась по телу Михаила Ивановича.

— А может, в номере они? — спросил он без надежды.

— У них в номере господин статский советник Баскаков с супругою,— сказал старик и захлопнул дверь.

Тут страшная ярость охватила Шипова. Он велел Матрене одной добираться до дому, а сам помчался что есть мочи на Самотечную.

С первого удара дверь в каморку Гирса не поддавалась. Шипов нажал сильнее, гнилые крюки не выдержали, планка сорвалась, и путь был свободен...

— Кто? — хрипло заорал Гирс.

Шипов стоял на пороге, тяжело дыша, и не видел во мраке, а только слышал, как с ужасом затаилось где-то рядом, неподалеку долговязое тело компаньона.

— Свечу зажги,— приказал Шипов.

— Сейчас, сейчас...— завозился Гирос,— сейчас, ваше сиятельство... Ох, господи...

Наконец свеча затеплилась, пламя разошлось, печальный ночной свет повис в каморке. Шипов вгляделся, и сердце его упало, и буря неожиданно улеглась, словно ее и не было, и только легкий, грустный туман закачался перед ним, поплыл, обволакивая и расслабляя.

Испуганный, взлохмаченный Гирос сидел в дальнем углу, закрыв ладонями лицо, а на единственной кровати, разметавшись под лоскутным одеялом, знакомая смугляночка спала таким крепким сном, словно и не срывалась дверь с петель, и не метался по каморке безумный от страха Гирос, и не кричал Шипов, словно и вообще не было на свете никакого движения — лишь вечный покой.

Картина эта была так внезапна и так поразила Михаила Ивановича, что он вдруг позабыл, где находится, и никак не мог понять, зачем он сюда пришел, о чем должен спросить и куда ему теперь отправляться.

А она спала, и свеча потрескивала, и за окном грянули первые петухи, и Гирос неподвижно скорчился в углу, как побитый грач, и на столе лежал надкусанный пряник.

— Ну, говори, тре жоли,— прошелестел Шипов, стараясь не разбудить спящую,— рассказывай, как с цыганами гулял.

— Я гулял, Мишель, гулял,— откликнулся Гирос, не раскрывая лица,— клянусь...

— Так,— сказал Шипов, вновь накаляясь.— А граф?

— Это Лева-то?.. Спит, должно быть...

— А в гостинице сказали: мол, пять дён как уехал из Москвы.

— Да не может быть,— сказал Гирос обреченно,— это они спутали спросонок... Как же уехал, когда мы с утра — у Пуаре?.. Клянусь...

— Сейчас бить тебя буду,— сказал Шипов шепотом.

— Бей,— покорно согласился Гирос.

— Сверну нос, антре, на сторону...

— Сворачивай, Мишель, сворачивай...

Шипов сделал тихий шаг. Смугляночка спала не шевелясь.

— Погляди на меня, погляди на меня внимательно, Мишель: разве я могу соврать? — сказал Гирос.

«Можешь, — вновь остывая, подумал Шипов, — и я могу, и все могут. Когда нам чего нужно, мы и соврать, и убить можем. — Он снова глянул на смугляночку. Она причмокнула во сне. — Целуется... мышка. А и не больно-то хороша — одни кости...»

Он медленно возвращался к Никитским воротам.

Утро приближалось стремительно. Уже брел по Москве рабочий люд и заспанные половые открывали трактирные ставни.

«Нет, — думал меж тем Шипов, — силы в ней никакой, так, рюмочка стеклянная».

А Матрена ждала, не ложилась. И снова она накормила его, напоила, не спрашивая ни о чем, уложила в теплую постель, прибрала раскиданные вещи, разделась и легла рядом. Сквозь маленькое зимнее окно пробивался в комнату рассвет, серый и робкий. Матрена неподвижно лежала рядом, но не спала. Шипов осторожно повернул голову и краем глаза глянул на нее. Она ему понравилась. И он представил себе ее сильное тело и высокую грудь, которая медленно и равномерно приподымала перину, и круглые плечи, и две ладони, горячие, как свежие лепешки...

— Взял бы ты меня в жены, Михаил Иванович, — тихо сказала она не оборачиваясь, — все равно ведь пьешь, ешь, спишь со мной... Я бы тебя пуще жалела...

— Эх, Матреша, — сказал Шипов с нежностью, — а летать-то кто ж будет?

— Ну и летай, нешто я помеха тебе?..

«А ведь и впрямь, тре жоли, — подумал Шипов в полусне. — Вполне аншанте, мерси...»

И он обнял ее и закрыл глаза, и ему показалось, что он обнимает ту самую, черненькую, ту самую воронежскую мышку...

СЕКРЕТНО

*От Частного Пристава
московской городской части
г. Москва*

*Его Высокоблагородию Господину
Подполковнику Шеншину Д. С.*

Довожу до Вашего сведения, что М. Зимин замечен мною проводящим время в Москве, вместо того чтобы срочно отправляться в г. Тулу по распоряжению Их Сиятельства Господина Генерал-Майора Крейца.

Сознавая всю важность операции, считаю своим долгом поставить о том в известность Ваше Высокоблагородие.

Пристав Шляхтин

ВЕСЬМА СЕКРЕТНО

*Управляющий III Отделением
Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии
С.-Петербург*

*Господину Московскому Обер-По-
лицмейстеру Графу Крейцу Г. К.*

Из вашего письма III Отделению стало известно, что лицом, долженствующим осуществить наблюдение за просветительской деятельностью Графа Л. Толстого, утвержден секретный агент (М. Зимин).

Сознаюсь, что в первую минуту это известие вызвало во мне некоторое недоумение. Его я знаю лично, он служил при мне. Хорош агент для исполнения такого щекотливого задания, нечего сказать! Я очень удивился тому, как можно было его выбрать,— это просто сыщик для карманных воришек.

Однако в том, что Вы пишете далее, я вижу, Ваше Сиятельство, некоторый резон, именно в том смысле, что поименованный выше являлся в свое время дворовым человеком князя Долгорукова, а значит, лицо доверенное...

Вполне вероятно, Милостивый Государь, что Вы правы, и я хочу надеяться, что князь будет доволен.

Генерал-Маиор Потапов

*(Из неофициальной записки
князя Долгорукова В. А.—
генералу Потапову А. Л.)*

...а посему и полагаюсь на Ваше решение. Я лично думаю, что это будет хорошо, ибо, по всей вероятности, иной секретный агент, имеющий отношение к политическому надзору, благодаря своей профессиональности, может быть, и выполнит поручение отменно, но не исключено, что в трудной ситуации личные интересы смогут в нем возобладать над интересами службы и долга, а это, как Вы понимаете, приведет к излишним печальным осложнениям, вплоть до открытого скандала, чего нам следовало бы избегать пуще чумы.

Вот, Ваше Превосходительство, мои соображения относительно (Зимина), преданность которого мне лично, в бытность его моим человеком, не оставляет почти никаких сомнений, я имел в том случай убедиться. Тем более что все задуманное теперь приобретает характер семейной тайны...

Проследите, Ваше Превосходительство, за соблюдением всех мер крайней предосторожности...

(Из письма Л. Н. Толстого — В. П. Боткину)

...Получил я Ваше письмо в то время, как наверное думал, что умру. Это у меня было все нынешнее ужасное, тяжелое лето. Я ничего не делал, никому не писал... Я издаю теперь 1-ю книжку своего журнала и в страшных хлопотах. Описать Вам, до какой степени я люблю и знаю свое дело, невозможно — да и рассказать бы я не мог... У нас жизнь кипит. В Петербурге, Москве и Туле — выборы, что твой парламент; но меня, с моей точки зрения, — признаюсь — все это интересует очень мало... Я смотрю из своей берлоги и думаю — ну-ка, кто кого! А кто кого, в сущности, совершенно все равно... Прощайте, жму Вашу руку и прошу на меня не серчать. Денег я Вам сейчас не высылаю, потому что у меня их нет, но, как сказано, вышлю на этой неделе... Зубы у меня все

повываливаются, а жениться я все не женился, да, должно быть, так и останусь бобылем... Бобыльство уже мне не страшно...

*(Из письма Генерал-Адъютанта Тучкова П. А.—
Генералу Потапову А. Л.)*

...и естественно, что я не мог одобрить сего выбора с легким сердцем, видя перед собой, как мне показалось, истинное чудовище со странными манерами и в грязной манишке. Однако рекомендация князя Долгорукова позволяет мне надеяться на особые, скрытые достоинства упомянутого агента.

Знаю, любезный Александр Львович, как Вам несладко приходится, как Вы пишете, с новой вспышкой либерализма, однако же я полон веры в благополучный исход нашей с Вами деятельности и уповаю на Всевышнего.

Пользуюсь этим случаем, чтобы уверить Вас в истинном моем уважении и душевной преданности.

ВЕСЬМА СЕКРЕТНО

*Московского
Обер-Полицмейстера
Канцелярия
г. Москва*

*Его Превосходительству Господину
Военному Генерал-Губернатору*

Спешу уведомить Ваше Превосходительство в получении первого сигнала от секретного агента Зимина, полученного мною еще из Москвы, где агент использовал случай войти в соприкосновение с самим Графом Л. Толстым, что позволяет мне сделать заключение, судя по его письму, о небесполезности установленного нами надзора.

Ежели агент не склонен к мистификации, я начинаю понимать рекомендацию князя Долгорукова.

Из письма Зимина следует, что он теперь уже в Туле, а стало быть, в ближайшее время можно рассчитывать на получение дальнейших результатов.

Граф Крейц

(Из письма Л. Толстого — В. П. Боткину)

...Я здесь — в Москве — отдал всегдашнюю дань своей страсти к игре и проиграл столько, что стеснил себя; вследствие чего, чтобы наказать себя и поправить дело, взял у Каткова 1000 рублей и обещал ему в нынешнем году дать свой роман — Кавказской. Чему я, подумавши здраво, очень рад, ибо иначе роман бы этот, написанный гораздо более половины, пролежал бы вечно и употребился бы на оклейку окон. Что было бы лучше, вы мне скажете в апреле...

(Из записки Подполковника Шеншина — приставу Шляхтину)

...мнение Его Сиятельства Графа Крейца относительно задержки Зимина в г. Москве. А вы, сударь, постарайтесь впредь не торопиться с собственным мнением и не сбивать с толку своими необдуманнми донесениями...

4

По Туле гулял ранний, молодой, розовощекий, еще неукротимый февраль и засыпал ее снегом немилосердно, и горе тому, кто остался без крова, или кого дела или собственное безумство погнали в слепую дорогу.

Но в доме вдовы отставного капитана Каспарича было в эти дни тепло и надежно. Умелые, сильные руки Дарьи Сергеевны превратили дом в уютную крепость, ее мягкое сердце в сочетании с сильным характером согрели его и придали ему сходство с пристанью земли обетованной.

Дарья Сергеевна, или, как она сама себя называла, Дася, любила этот дом и то, как она жила, то есть свою бедную, но гордую независимость, хотя крайние обстоятельства и вынуждали ее иногда не пренебрегать путешествующими людьми, загорающимися капризом снять у нее комнаты.

К своим недавним жильцам, галицкому почетному гражданину Михаилу Ивановичу Зимину и тамбовскому мещанину Амадею Гиросу она быстро привыкла и даже успела их полюбить за скромность, простосердечие и вы-

сокопарность, но при этом всякий раз за вечерним самоваром не забывала вспомнить первое впечатление, произведенное на нее их появлением.

— Когда я увидела ваш нос, господин Гирос,— говорила она, смеясь,— я чуть было не сошла с ума: господи, что за нос! Да он же не поместится в комнатах! Да оставьте его на улице, пусть он там сам, один...

— Вы страшная женщина! — обижался Гирос.— Да он и не так уж велик... А без него легко ли?

— Нет, нет,— говорила она,— теперь и я вижу, что и не так уж и велик... Даже и не велик вовсе, а напротив... ха-ха... Это же греческий нос?

— Конечно, греческий, конечно, греческий, а вы думали?.. Я же грек.

— Грек? Ха-ха-ха... А вы же утверждали, что итальянец?

— Ну, конечно, и итальянец... Скажи-ка, Мишель.

Но Шипов в этом пикировании обычно не участвовал, он только молча улыбался да разглядывал Дарью Сергеевну и думал, что она все-таки хороша, не в пример Матрене, и тоже вдова, а Тула — не Москва, конечно, но жить можно.

Все было у Дарьи Сергеевны, у Даси, такое, словно природа заранее позаботилась, чтобы угодить Шипову: маленькое добротное тело, белое круглое лицо, голубые глаза. Кольца русых волос покоились на ее аккуратных розовых ушках. Аромат духов и пудры витал над нею, словно невидимый ангел. Когда она находилась рядом, трудно было усидеть, такой жар исходил от нее.

С тех пор как в доме поселились мужчины, Дасе не стало покоя, то есть не то чтобы именно ей, а они все трое жили в каком-то нелепом полусне или даже кошмаре.

Дело, видимо, заключалось в том, что наши компаньоны со дня приезда еще и не думали заниматься своим государственным делом, а только ели, пили, любезничали с Дасей, отсыпались и уже через несколько дней сладкого своего житья округлились и похорошели. И это было бы прекрасно, когда бы рядом не существовала Дася, когда бы она не разговаривала и не смеялась с ними, не взглядывала многозначительно, не краснела бы; если бы они не слышали ежедневно стука ее каблучков, если

бы не вздрагивали всякий раз, когда ее босые ножки прошлепывали где-то там, внизу, в таинственной ее спальне.

Дася определила постояльцам две светелочки, в которых они проводили ночи, полные тревог и предчувствий, и с полудня до вечера занималась ими, как могла, скрашивая их жизнь, да и свою тоже.

Ей было известно, что постояльцы приехали в Тулу для устройства личных дел, а почему они ими не занимаются и как им надлежит устраиваться дальше, она не спрашивала.

Безоблачность первых дней постепенно исчезла. Дасины многозначительные взгляды обжигали все сильнее и чаще, движения рук становились резче. Она теперь неожиданно прерывала свой смех, и лицо ее на мгновение омрачалось. Правда, справедливости ради нужно заметить, что до наступления вечера она оставалась прежнею, но вот едва опоражнивался самовар, и прислужница Настасья отправлялась спать в свою каморку под лестницей, и они оставались втроем в маленькой кружевной гостиной, как дремавшее в них электричество начинало испускать разряд за разрядом, глаза их вспыхивали, фразы не договаривались, хохот не радовал, а руки не находили места.

Потом, когда не оставалось уже ни слов, ни желания смеяться, а только легкое потрескивание слышалось в тишине то ли от догорающих свечек, то ли от кипения страстей, она вставала и отправляла их по светелкам.

— Ступайте, ступайте,— говорила она, нервно теребя оборки на платье,— мужичье, мужланы. Все вы одинаковы. Вам бы только оскоромиться. Ступайте, ступайте... А Дася пойдет в спальню и будет всю ночь молиться... А вы не топайте там своими сапожищами и не мешайте ей, мужичье! — И она уплывала к себе.

Иногда она оборачивалась в дверях и грозила им маленьким пальчиком.

— Знаю, знаю, что за мысли у вас в головах. Знаю. И не мечтайте, судари мои... Ишь вы!..

Они тоже поднимались в свои светелки, свечи гасли, но электричество продолжало испускать искры и легкое таинственное потрескивание нарушало торжественную тульскую тишину.

Шипов залезал под пуховое одеяло и удивлялся своей новой жизни. За стеной поскрипывала лежанка под Гирсом, но о компаньоне в такие минуты Шипов не думал. Все мысли его откровенно и нагло устремлялись вниз, сквозь пол, туда, откуда доносились различные тихие звуки. И он определял: вот она молится, вот босичком пробежала, вот улеглась — зазвенели пружины, и снова шлепанье босых ножек, и снова звон пружин, и голос (молится), а может, опять те же пружины. Вдруг глухо хлопала дверь, молитва обрывалась, звон пружин возносился к потолку, бился о него, ломал крылья и падал бездыханным... Да что же это такое!

Шипов поднимался и в одном исподнем появлялся в камерке Гирса. Компаньона он заставлял обычно лежащим на лежанке животом вниз, голова его свешивалась к полу так, что черные волосы Амадея касались досок. Однажды так вообще Гирс устроился на самом полу, лежал, распластавшись, словно убитый, и слушал, что делается в спальне у Даси.

Чтобы заглушить ночную тревогу, Шипов говорил:

— Ишь отъелся, кот... А кто же, эскузе муа, будет работу делать?

На что Гирс обыкновенно отвечал:

— Ну, Мишель, ты только прикажи. Я куда ты пожелаешь, хоть в огонь... Мне ведь ничего не стоит. Хочешь?.. Действительно, ты прав; ну, пожили, осмотрелись...

— Завтра езжай к их сиятельству, — говорил Шипов насмешливо, — они тебя ждут, сетребьен.

— Ах, Мишель, — вскакивал Гирс, — ну что ты какой, право! Все поверить не можешь! Да я же не врал тебе, не врал... Вот увидишь, когда я тебя к графу повезу, к Левушке, вот увидишь... Тогда ты убедишься, черт возьми! Вот увидишь тогда... Я же не врал. Это швейцар дурень, соня... А ты уши и развесил! — И он ослепительно улыбался. — Вот ты увидишь, дай срок. Мое сердце обливается кровью, черт...

— Нет уж, лямур-тужур, будя со сроками, — настаивал Шипов, — завтра и отправляйся.

— Ну хорошо, хорошо, — отбивался Гирс, — экое дело, прости господи! Да мне ничего и не стоит. Я даже рад буду встретиться с графом... Ну, гони, Мишель, левавую, гони ее, гони!

Внизу хлопала дверь, звенели пружины, и компаньоны замолкали, и Шипову казалось, что нос Гироса упирается в самый пол и уже готов пробить доски...

— Ну чего,— говорил Михаил Иванович, стряхивая оцепенение,— чего уставился, мон шер? Или позабыл про завтра-то?

Гирос выпрямлялся, гладил нос, смеялся беззвучно.

— Но я-то рад! Я рад чертовски, что ты мне наконец разрешил посетить графа... Ей-богу. Ты знаешь, я скажу тебе: граф, может, и преступник, даже наверняка преступник, но он мне нравится. Он веселый, ни о чем не догадывается... А я люблю игру... Ты мне дашь денег? Просто у меня ни копейки... Ну мало ли что. Я ведь, в конце концов, на службе...

— А вот съездишь,— отвечал Шипов непреклонно,— все тебе будет.

А сам думал с тоской, что не к добру эта сладкая жизнь, и очень просто все это может кончиться, и не прилетят денежки, как белые лебеди из южных стран. Ах, скоро-скоро к ответу призовут, а он и знать ничего не знает: какой такой граф, какая такая Ясная Поляна... Канцелярия денег не шлет, а время придет — все равно спросит, она не помилует.

Да, Москва пока молчала и ни о чем не спрашивала. Шипов все чаще и чаще видел перед собою как бы прикрытые легким туманом ее золотые маковки да зубчатые стены...

И снова внизу раздавалось шлепанье босых ножек, и приглушенный голос, и словно всхлипы, и оба они вновь забывали обо всем, и вытягивали шеи, и замирали.

И опять Шипов погружался в жар своей перины и закутывался с головой, словно спасался от кошмара, но ухо само вылезало на свет божий, чтобы ловить звуки, взлетающие снизу.

«Пушай он прокатится,— думал Шипов,— пушай он с графом кофей пьет... Ах, лишь бы разнюхать все как есть, как там, чего там, донесение послать. Тогда, глядишь, и денежки рекой пойдут, в Петербурге ведь тоже не дураки... Да пушай он завтра отправляется, будя ему, антре, баклуши бить».

Но наступало утро, и все продолжалось по-прежнему. Дарья Сергеевна, Дася, хлопотала по дому как ни в чем не бывало, не замечая в доме мужчин; Гирос после чая

укладывался на свою лежанку и, нацелив нос в потолок, засыпал; а Шипов отправлялся по Туле к почтовой станции в надежде получить деньги или хотя бы письмо. Но ни денег, ни писем не было.

Дася платы с них вперед не просила, а поэтому они пили и ели с размахом, ни о чем не заботясь, хотя, конечно, маленькая, совсем пустяковая тревога где-то там, в самой глубине ворошилась постоянно.

Иногда же ночное безумство достигало предела и сон отлетал прочь, словно его никогда и не бывало, словно они и не ведали, что значит заснуть и забыться, а, напротив, только и ждали вечера, чтобы, подобно сомнамбулам, срываться с отвратительного ложа и, простирая руки, искать друг друга в темном доме. И тогда Шипов слышал, как вскакивал Гирос с топчана, как возился у себя в темноте и наконец выходил из светелки, шурша валяными сапогами, сопя и бормоча проклятия, и осторожно устремлялся вниз по скрипучей лестнице.

«К ней пошел!» — догадывался Шипов и тоже вскакивал, тараща в темноте глаза, сопя и бормоча проклятия, накидывал пальто, совывал ноги в валенки, и бесшумно, подобно кошке, крался следом. На лестнице в бледном мерцании лампадки он видел сторбленную длинноволосую тень Гироса. Затем Гирос исчезал, и тут из своей спальни выплывала Дася, сжимая пальцами виски, и отправлялась на кухню, и слышно было, как она гремит там кружкой и как расплескивается вода, и тогда Шипова вдруг охватывала жажда, но он возвращался к своей лежанке... Потом все это замирало, но спустя малое время повторялось заново.

Случалось, что Шипов все же сталкивался в полумраке лестницы с компаньоном, и тогда едва слышимый шелест разносился по ночному дому.

— Куда это собрался? Али я, ву за ве, не вижу?..

— Да на двор, Мишель. Ей-богу, на двор...

— Али я не вижу?.. А вот собирайся к графу, лямуртужур, с утра пораньше. Будя. И чтобы все мне разузнать!

— Непременно, ваше сиятельство. Дозволь, я пройду — мочи нет.

Или Дася выходила из своей спальни в тот момент, когда Шипов скользил тенью мимо.

— Ах!..

- Бонжур... Это ж я... Водички вот испил...
- Вы подслушивали у моих дверей...
- Упаси бог, я только, антре, водички...
- Нет, нет, вы ко мне ломились. Признавайтесь...
- Я?! Да рази я посмею?..
- Вот господин Гирос спит, а вас носит...
- А они на двор пошли-с...
- Фу!..

И тут он торопливо карабкался по лестнице и слышал, как скрипела наружная дверь...

- Это вы у моих дверей дышали?
- Помилуйте, это невозможно!
- А кто же топтался и ручку дергал?
- Я?.. Вы мне не верите? Клянусь... Не верите? Вот крест святой...
- Значит, это он стоял под дверью, он?..
- Тсс...
- Он?
- Значит, он... Тсс.
- Ах, притворщик!..

И тогда Дасе слышался сверху все тот же шелест:

- Как это я у дверей топтался, мезальянс ты этакий!..
- Да не ты, Мишель, не ты...
- Завтра чтоб у меня...
- Гони легавую, Мишель... А денег дашь?..

И долго еще висело в воздухе, замирая: «Денег... денег... денег? денег?.. денег, денег...»

Это был обычный кошмар. Шорох, шуршание, шелест, шепот. Шу-шу... Шу-шу... Тайное электричество потрескивало голубым пламенем. Приближалась гроза...

В один прекрасный день она разразилась.

Маленький листок бумаги, который Шипов извлек дрожащими руками из синего конверта, вдруг взорвался, и секретный агент услышал голос подполковника Шеншина, грозно и нетерпеливо требующего ответа. О деньгах в письме не было ни слова, ни единого слова. А там-то, оказывается, не дремали, а пришло время спрашивать — и спросили.

И что же?

Михаил Иванович шел по Туле сам не свой, и не замечал ни людей и ни домов, и не слышал, как лают собаки, как гремят колокола, как вылетают из трактиров

голоса и прочий шум, и не чувствовал запаха вареной требухи, ржаного хлеба, щей, кваса, и не видел, какое нынче солнце. Все несло мимо него, обходило его стороной, как зачумленного, и он печально шагал по улицам, бессмысленно уставившись в пространство, словно потерял веру в свою счастливую судьбу. Но она, видимо, не дремала, и когда он, точно раненый пес, ввалился в теплое временное свое жилье, и тихонько прошмыгнул в светелку, и прилег там, она склонилась над ним, поразив его горестным, но великодушным ликом, и вдохнула в него свежие силы.

И вот он поднялся, пригладил соломенные свои бакенбарды. Глаза его, было потухшие, вновь приобрели осмысленный блеск, загорелись, даже засияли. Да что же это такое, в самом-то деле! Да что он, лямур-тужур, и выбраться не сможет? Да что ему, впервой это? А те, их сиятельство князь Долгоруков и их сиятельство граф Толстой, ежели они что друг ко дружке имеют, пушай себе имеют, это их барское дело. А Шипову деньги нужны, а так просто — на-кася!.. А ежели откажут?.. Да не может того быть: вон как носило Шипова из канцелярии в канцелярию, как по волнам. Какая суета шла вокруг! Да как же это так — откажут? Ах, не приведи господи... Тут ведь в их княжеской сваре большие деньги лежат, очень большие... Вы, господин подполковник, ваше высокоблагородие, не сумлевайтесь, мезальянсу не будет. Сейчас, лямур, Амадея пустим, пушай он след берет, будя ему по лестницам-то скрипеть... А вас, господин подполковник, ваше высокоблагородие, мы не обидим: как приказать изволили, так оно и будет. Вам ведь тоже несладко... Как же это вы денег-то не шлете! А за квартиру платить? Я вам за так не нанимался, теперича эманципация...

Окрепнув духом, Шипов проскользнул в светелку компаньона и растолкал его спящего.

— Ну, Амадеюшка, будя спать, серве ву, пора лошадок запрягать, пора поглядеть, как там граф со студентами шалют... Вставай, сударь, господин подполковник интересуются...

— Ах, Мишель, — захохотал Гирос, просыпаясь, — какое счастье! Ты и не представляешь, как я рад! Ведь я нюх начал терять в этом доме. Я все думаю: чего Мишель ждет? Ну чего он ждет? Ну чего он легавую свою

на след не наводит?.. Ты мне не верил! Теперь ты увидишь, увидишь, каков Гирос!..

Размахивая руками, приплясывая, таинственно подмигивая Шипову на глазах у изумленной Даси, Гирос принялся собираться. Сборы его были недолги. Шипов сунул ему последние три рубля, и Амадей, прекрасно возбужденный, выкатился прочь.

«Ваше высокоблагородие, — думал Шипов, сидя в своей светелке, — я из тебя деньги-то выну. Не таков Шипов, чтобы ему хвоста крутили. Како намо, тако и вамо... Нынче вот грек мой воротится, начнет врать, а пушай его врет, я тебе, ваше высокоблагородие, все изображу в подробностях».

Обедал Михаил Иванович в одиночестве, Дася отправилась к родственникам. После обеда он вздремнул, а когда проснулся, было уже темно. В доме стояла тишина.

«Неужто и впрямь поехал? — с удивлением подумал он про Гироса. Но тут же усмехнулся. — Куды ему! Ему бы только ко вдове подкатываться...»

Тут его охватил гнев. Зеленые глаза его сузились, он торопливо оделся и вышел, на ходу сокрушаясь, что отдал Гиросу последние деньги, а надо было бы и себе оставить, потому что тоска по вину становилась все сильней и огорчительней. Но презрение к компаньону оказалось жарче, и ноги сами завели Михаила Ивановича в первый же трактир. И едва он вошел, как тотчас сквозь дым и чад в желтом мареве свечей увидел Гироса. Подлый грек или итальянец сидел спиной к нему в компании с какими-то мужиками и опрокидывал в ненасытную свою глотку рюмку за рюмкой. К сердцу Шипова подкатило, и он собрался было схватить компаньона за горло, как тот поднялся и пошел прямо на Шипова. И это был не Гирос.

Тогда неугомонные ноги вынесли секретного агента из трактира и повлекли его по каким-то улицам, дворам, переулкам, через сугробы, покуда не вывели к следующему трактиру. И тут в дрожащем свете фонаря он опять увидел Гироса. Компаньон стоял у трактирной двери в клетчатом своем холодном картузе и словно не решался войти внутрь.

«Прощелыга! — подумал Шипов, распалаясь. — Сейчас намну!»

— А графа-то где же оставил? — позлорадствовал он.

— А издеся,— пьяно икнул Гирос и указал на дверь трактира. Но это был не Гирос.

«Господи,— испугался Шипов,— али меня нечистый водит?»

Теперь уже на каждом шагу ему встречался компаньон. То он внезапно выныривал из темных ворот, то твердо шел впереди и, едва Шипов пытался его настичь, исчезал неизвестно куда; то Михаилу Ивановичу чудился громкий хохот Гироса, а откуда — догадаться было невозможно.

Наконец Шипов плюнул и, не желая связываться с нечистой силой, отправился восвояси.

Стол был уже накрыт, самовар гудел, гора свежих ватрушек громоздилась перед печальным взором Шипова.

«Сейчас бы пропустить,— подумал он, с ужасом взглядывая на ватрушки.— Пропустить, а опосля щей али холодного с хреном!»

Но Дася этого не любила. Вином в ее доме не пахло.

— Где же ваш друг, господин Зимин? — спросила она.— Что за таинственные у него дела? Уж не женщина ли?

— Ой, господь с вами! — сказал Шипов.— Силь в уле по разным делам. Землю присмотрел. А вы нынче вся консоме...—И вдруг уставился ей в глаза.— Отчего же-с вы никогда вина не пьете?

Она покраснелась чрезвычайно и опустила голову. Это Шипову очень понравилось. Все-таки благородная дама, вдова, белые ручки. Эх, куды Матрене-то...

— Ну, ну, отчего же-с?

Свечи разгорелись ярче. Под лестницей храпела Настасья. Дася мельком взглядывала на Михаила Ивановича, но тотчас отводила взор. Он сидел перед ней в мышином сюртуке и, едва шевеля пальцами в соломенных бакенбардах, прожигал ее насквозь.

— А для чего вы в комнату ко мне рвались? Ха-ха...

— Да рази я посмею? Хе-хе...

— Так уж и не рвались?

— Да рази я...

— Нет, нет, я положительно знаю... А зачем вы... Может, вы что спросить хотели? Спрашивайте... Да ну же...

Она и закричать может. И укусит, поди. И вдруг он

увидел, как его рука начала вытягиваться, вытягиваться, и вытянулась, подобно змее, и поползла по столу, огибая самовар, чашки, сахарницу, гору ватрушек, к ней, к ее белому локотку, ухватила, сжала всеми пальцами (ах, ты мышка!), потянула за собой ее белую руку, упирающуюся, слабеющую...

И тут уже знакомые электрические разряды вспыхнули, легкое потрескивание пронеслось по гостиной, голубые искры озарили все вокруг.

— У вас глаза, как у беса,— засмеялась она и запрокинула голову, выставляя белую шейку. И тотчас его рука, минуя все препятствия, поползла, поползла, и прикоснулась к этой шейке, и придавила ее слегка...

— Лямур? — поинтересовался он.

— Вот вы и по-французски говорите,— вздохнула она, отхлебывая чай,— а меня маменька хотела учить, все хотела, хотела, да померла.

— Когда я жил в доме князя Долгорукова...

— Как же вы так одиноки? У вас и имение, и французский знаете...

«А этот-то, наш, неужто и в самом деле с графом кофей пьет? Неужто в графской карете воротится?..»

— Да и в Туле вам можно подходящую партию сыскать,— продолжала Дася почти шепотом.— Хотите?.. Хотите?.. Хотите?..— И все это зашелестело, зашуршало, ударились о стены, отлетело, поплыло: «Хотите?.. Хотите?.. Хотите?..» — Зачем это мужчины к одиноким женщинам в комнаты рвутся, а? Как вы думаете?..

— Зачем? Зачем? — будто бы не понял Шипов.— Куда они? Зачем?

— А может, вы и не рвались в дверь? — еще тише спросила она.

— Рвался, сударыня,— сказал он едва слышно.— Не велите казнить...

— А дверь-то не закрыта,— засмеялась она.— Или вы к Настасье рвались?..

«Подхожу, руки, шерше ля фам, за спину, целую в губки: Дасичка, голубушка, те-те-те-те-те... Чего сказать? Да ты постой да погоди, Дася, Дарья Сергеевна! Али я одиночества вашего не вижу?.. Да поди ж сюда... У меня вон забот сколько, но я, бон суар, всегда... У меня на шее вон подполковник Шеншин сидит, совсем антре...»



— Когда же ваш Амадей вернется? — вдруг голосом Шеншина спросила Дася.

— Ваше высокоблагородие, — сказал Шипов потерянно, — не велите наказывать.

Она засмеялась сильнее прежнего, сильнее прежнего запрокинув головку, смеялась и никак не могла успокоиться.

Тут он вскочил, и просеменил вокруг стола, и вот уже стоял возле нее, вдыхая аромат пудры, духов и раскаленной ее души, прикоснулся ладонями к ее плечам, она забилась сильнее, слезы брызнули из глаз, ровно сок спелого яблока, а смех все не унимался...

«Настасью бы не разбудить!» — подумал он и обхватил ее, и тотчас две белые руки взлетели и скрестились у него за спиной. — Вот так Дася! Забавница... Куды Матрене-то! Огонь не тот...»

— Чашку не разбейте, мужлан, — простонала она из-под его бакенбард и снова засмеялась, но рук своих не отвела.

Не выпуская добычи, вместе с нею Шипов взлетел к потолку, потом медленно опустился и полетел по комнате, то взмывая снова, то снижаясь к самому столу, к пламени свечи, обжигаясь, среди электрических разрядов и голубого сияния, касающегося их щек, рук, волос; рушилась гора ватрушек; гулко гудел пустой самовар; звенели чашки...

— Ах, — выдохнула она, отлипая, отталкивая его, — мужик, чудовище, да разве так можно? — И замурлыкала: — Уже ночь на дворе, да? А?.. Не бойтесь, что я кричать начну? Нет?..

— Да нет же, нет! — крикнул Шипов, сгорая. — Теперь тре жоли?.. Ли-ли?.. Лю-лю?.. Ля-ля?.. — И успел подумать: «Подождешь, ваше высокоблагородие!»

— Ах, не надо, убирайтесь!.. Какой вы, в самом деле...

— Ле-ле-ле... А шейка на что-с?

— Вы меня любите, безумец?

— Те-те-те...

Вдруг плечи ее затряслись, показались слезы, она прорыдала из-под скомканного платочка.

— А он-то, он... Вам не жалко его? Не жалко?

— Ко-ко-ко! А губки на что-с?

Он отскочил от нее и залюбовался, как она, благородная, простирает к нему руки — зовет. И тут свеча зами-

гала, заполошилась, понеслась вон, и она — за свечою, и Шипов помчался следом, стараясь не отставать, туда, к ее таинственной спальне... И когда она, влетев в распахнутую дверь, остановилась там, озаренная пламенем, и поманила его, смеясь и плача... появился Амадей Гирос, вернувшийся из Ясной Поляны.

Дверь спальни тотчас захлопнулась. Наступила тишина.

— А я на двор собрался, Амадеюшка,— объяснил Шипов, подпрыгивая на месте.— Час-то поздний.

РАССКАЗ АМАДЕЯ ГИРОСА

...Как я ехал, Мишель, неинтересно. Ну, ехал и ехал. Приезжаю. Белый дом с колоннами. Четыре этажа. Дворец. Граф сам выходит. Поцеловались. За ним — лакеи, за ними в самой глубине — студенты. Хмурятся. Я им кланяюсь: здравствуйте, господа. А граф торопит: идем, идем... Ну, идем по коридору. Длинный коридор, от него какие-то коридорчики расходятся, другие, третьи... Полно студентов. И они, заметь, не ходят, а почти все стоят у разных дверей, будто что охраняют. «Гнездышко!» — думаю. Идем дальше. Граф идет быстро, я не отстаю и обеими ноздрями втягиваю воздух, вот так... Пахнет, братец ты мой, отлично: говядиной вареной, рыбкой, грибками и еще чем-то, а чем — не могу разобрать. А ведь должен, должен разобрать, черт! Понимаю, что чем-то несъедобным, но очень знакомым... Да чем же? А может, не думать об этом? Мало ли чем пахнуть может... А не могу, принохиваюсь: что-то вроде машинного масла или краски какой-то... Зачем ему тут машинное масло? Чего ему смазывать? Это меня мучает, понять ничего не могу. Голод, брат, не тетка. И тут входим в столовую. Представь себе вот такой стол... нет, больше, больше... И весь уставлен. «Ну,— думаю,— держись, секретный агент, черт, сейчас попробуем, чем граф потчует!»

Шипов слушал печально, поникнув. Трех целковых больше не существовало. Улетели белые лебеди, три белых лебедя казенных, не воротишь. А Гирос сидел перед ним, потирал свой лиловый нос, похохатывал. Глаза его горели, словно он только что увел чужого коня и славно его продал.

Ладони Михаила Ивановича тонко пахли пудрой и духами. Внизу, под полом, шлепали босые ножки, и тихие всхлипы долетали оттуда. Шипов слушал рассказ компаньона не раздражаясь, спокойно, с грустью, даже почти не слушал; одна назойливая мысль попискивала в мозгу, а о чем — понять он не мог. О чем? О чем?..

Сперва мы с ним по рюмашечке.

— Будь здоров, Левушка!..

Ах, хорошо пошла... Грибок — шлеп, закусил. У секретного агента голова не должна кружиться. Еще по одной — шлеп. Закусили.

— Запах какой-то, вроде бы машинное масло, — говорю и смеюсь. — Уж не грибки ли ты машинным маслом велел поливать?

— Ах, что ты, — говорит, — помилуй, какое еще масло? — А сам бледнеет, бледнеет...

Так, думаю, идет в силок, медленно, но идет. Бро-саю еще одну косточку.

— Хорошо тебе, — говорю, — в имении, в глуши... А каково мне-то в Москве, среди полиции, жандармов, чинов всяких, негодяев... Так бы, кажется, и бросил бомбу... Иногда думаю в отчаянии: пойду к социалистам, черт... брошу бомбу в губернатора!.. Я ведь, Левушка, на все готов. Мне ведь ничего не стоит...

Он еще сильнее бледнеет, но молчит. Я его добиваю:

— Веришь мне, граф? Погляди на меня внимательно: разве такие глаза могут врать? Вру я? Нет, ты скажи — вру? Да я же пес, Левушка. Преданный пес, верный...

...Ну вот, пьем, закусываем. Как дома. Я о тебе думаю: как, мол, он там, Мишель? Ему бы тоже пропустить не мешает да грибочек... Ах, нельзя!.. Просто плачу за тебя, братец. А он молчит. Что-то, думаю, я у него разбередил своим разговором, несомненно. Но что это за запах? Где же это пахло точно так же? Где? Где?

...Шипову показалось, что он куда-то проваливается. Речь Гироза долетала обрывками. Внизу все чаще и чаще хлопала дверь — Дася бегала в кухню пить воду.

— ...Чувствую, что на сегодня хватит. А тут как раз подходит хозяин, говорит: мол, пора по домам. Встаем. Отправляемся...

— Ну, будя,— сказал Шипов грустно.— Ступай прочь, сетребыен. Мне делом заниматься надо.

Гирос исчез, а Михаил Иванович придвинул свечу, достал перо, чернила и бумагу и сел к столу.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

От М. Зимина

*Его Высокоблагородию Господину
Подполковнику Шеншину Д. С.*

Объявивши согласие следить секретно за действиями Графа Льва Николаевича Толстого и узнать отношение Его Сиятельства к студентам Университета, живущим у Его Сиятельства под разными предлогами, я отправился в имение Его Сиятельства. Граф Толстой живет Крапивенского уезда в сельце Ясная Поляна, и я узнал, что при Графе находится более 20 студентов разных Университетов и без всяких видов, большая часть из сих студентов проживают в Волостных Правлениях участка Его Сиятельства и занимают должности учителей крестьянских детей, по воскресным же дням собираются все у Графа, а для чего — мною еще не установлено...

В доме Его Сиятельства имеется много коридоров и комнат, двери в кои заперты на замки, а что там в комнатах — постараюсь разузнать.

Что же касается денег, полученных мною от Вашего Высокоблагородия, то они все давно вышли, а никакой мочи нет без оных обходиться, одни прогоны чего стоят.

М. Зимин.

«Авось не обеднеешь, ваше высокоблагородие», — подумал Шипов, отправляя письмо, и через несколько дней от Шеншина пришли деньги. Угрызения совести Михаила Ивановича не мучали. И хотя в письме подполковника крайне сурово приказывалось выяснить фамилии студентов, какой деятельностью заняты, кроме учи-

тельства, Шипов с легким сердцем уложил деньги за пазуху.

Он возвращался домой, где Дася глядела на него недвусмысленно, где перо и бумага служили ему надежно, можно было жить не тужить в полное удовольствие, только головы не терять.

«Теперь и выпить можно», — подумал Шипов и почувствовал, как вино скользит по горлу, как щекочет там чего-то такое, как вслед за ним торопится туда же молодой скользкий грибок.

Вдруг скрипнула какая-то калитка. Тонкий звук струны заколебался, и пока шло это колебание, неизвестный голос пропел шепотом:

...Зачем тебе алмазы и клятвы все мои?
В полку небесном ждут меня.
Господь с тобой, не спи...

Шепот растаял, будто не был.

Дома Шипов снова перечитал письмо подполковника. На этот раз оно прозвучало угрожающе, и даже настолько, что секретный агент побледнел и сжался. Он пересчитал деньги. Денег было всего сорок рублей. Да неужто граф поболее того не стоит? Ведь граф!.. На грека этого чертова надежды плохи. А что, как сам его высокоблагородие прискачет в Тулу: а ну, показывай, такой-сякой, какая такая Ясная Поляна? Чего ты успел? Чего разнюхал?.. Да я, ваше высокоблагородие... да мы, господин подполковник... вот какое дело... да я, да мы... Те-те-те... Чего говорить?

Он и Гиросу поведал свои страхи, но Гирос не испугался.

— Вздор какой, чего бояться? Ну, я возьму его с собой, повезу к графу. Граф, скажу, вот братец мой двоюродный... ну? И пусть сам убедится.

А может, он и не врет, длинноносый цыган?.. Но настоящей веры к Гиросу не было. Так, надежда маленькая была, а настоящей веры не было. Ух, граф, беда с тобой! Хоть бы ты карманником объявился...

«Ох, надо бы, надо бы съездить самому, — подумал Шипов с тоской. — Надо бы поглядеть. Холодно в дровеньках-то, замерзнешь, поди. Летом бы, налегке, как хорошо! На травку прилег, в ворота заглянул, туда-сюда...

Бонжур, куда путь держите? Позвольте, се муа, водицы испить...»

Он опять поднес к глазам грозное письмо. Оно слепило пуще солнца. Глаза болели на него глядеть. Попалась, мышка! Придавил тебя маленький кот лапкой. А там уж и большие кругами ходят, косятся, показывают белые зубы.

— Полноте, ваше сиятельство,— сказал Гирос.— Была бы голова на плечах. Вон у меня какая голова, погляди...

«Да голова-то есть,— подумал Шипов,— а что толку?»

— Была бы голова, Мишель, а веревочка всегда найдется,— захохотал Гирос.

— Не мели, черт! — рассердился Шипов.— Что за манеры, мон шер? Дело сурьезное... Вези-ка меня в имение к графу!

— С радостью,— откликнулся Гирос.

«Прощельга чертов,— подумал Шипов с досадой.— А ведь придется ехать, придется...»

И в следующий полдень они собрались. От предстоящего дух захватывало: как? куда? зачем?.. Гирос мурлыкал что-то, ни о чем не беспокоясь. Дася поглядывала на них с недоумением, но не спрашивала. Под глазами у нее лежали синие круги. Шипов напоследок посверлил ее зелеными глазами, даже мигнул. Она запунцовелась вся и схватилась за виски. Он покачал головой. Она пожала круглыми плечами.

— Как же вы в дорогу, господа, и без обеда? — спросила она с надеждой.

— Действительно! — обрадовался Гирос.— Хотя на охоту ехать — собак кормить... — И захохотал.

«А хорошо бы закусить», — подумал Шипов, расслабляясь. Но подполковник повелительным жестом пригласил выйти, и они отправились.

Раздобыть сани было делом несложным. За целковый любой из мужиков согласился бы гнать в Ясную Поляну и обратно. Но Шипов долго примеривался то к саням, то к лошадям, то к возничим. Что-то его все не устраивало: то в санях сена мало, то лошадка больно неказиста, то мужик хитер. Наконец, провозившись часа с два, они все-таки срядились, и теперь в их распоряжении были свежеструганые дровенки с ароматным сеном, с овчин-

ным тулупом, молодая веселая кобылка и мужик с белыми бровями и ресницами.

— Значит, поехали? — сказал Шипов, оглядывая экипаж.

— Ага, — согласился возница.

— Туда-сюда — и дома...

— Ага...

— Как она у тебя? — спросил Гирос. — Резва?

— Чего? — не понял мужик.

— Хорошо обернемся — набавим, — пообещал Шипов.

— Ага, — сказал мужик.

Денег вперед у господ он не спрашивал — побоялся. Они уселись в дровенки, погрузили ноги в сено и покатали.

День был отличный. Солнышко едва только перевалило через небесную гору, и поэтому еще было высоко и сияло, навевая приятные, радостные мысли. Подполковник был теперь где-то там — и не видно, яркий день обещал удачу, ассигнации шуршали на груди. Дася ждала со своим самоваром, с ватрушками... Шипов глотнул и почувствовал, словно виноцо скользнуло по горлу, обжигая и веселя, и тут же он зажмурился и словно откусил пирога с рыбой. Открыл глаза — мелькнул трактир, из дверей его вышел мужик, пошатываясь и озираясь.

«Те-те-те, — подумал Михаил Иванович, — уже хватанул, мезальянс этакий...»

Шипов покосился на Гироса. Амадей выглядел вполне достойно даже в своем клетчатом незимнем картузе. Нос его налился, черные волосы прикрывали высокий лоб, из-под волос поблескивали итальянские глаза. Шипов приосанился.

И снова мелькнул трактир, дверь была распахнута, из нее вышли двое мастеровых, обнялись, запели и пошли. Шипов зажмурился и налил себе целый стакан, понюхал, отхлебнул и запрокинулся. Пошла!.. Потом похрупал грибками, утерся ладошкой... Гирос вздохнул.

— Ты чего? — спросил Шипов.

— Ничего, — сказал компаньон.

Город уже кончался. Впереди виднелся овраг, за ним шло поле.

Гирос поежился.

— Ты чего? — спросил Шипов.

— Трактир, — сказал компаньон.

— Видел,— сказал Шипов.— Ну и чего?

— Мужики гуляли,— сказал Гирос.— Ничего.

В доме князя Долгорукова иди себе в буфетную, наливай чего хочешь, не спрашивай, покуда не увидели... Закусывай. После лимонной, например, хорошо холодной стерлядки. Для начала. Потом, значит, берешь еще порцию, в хрустальном бокальчике она булькает, просится... Так, теперь можно поросеночка с чесночком, ножку... хруп-хруп... Вроде бы хватит?.. Нет, давай еще одну, рябиновую, румяную, под балычок, под балычок...

И тут, как на грех, последний дом повернулся боком и здоровенный рыжий деревянный крендель закачался перед глазами путников.

— Стой! — закричал Шипов.— Стой, тебе говорят!

Кобылка уперлась в снег. Шипов вывалился из дровней. Гирос за ним.

— погоди, братец,— сказал Михаил Иванович вознице торопливо,— дай лошадке овса... Мы сейчас.

И они скрылись в дверях.

Они вошли в знакомую пахучую полутьму, и головы у них закружились от тепла, от запахов, от предчувствий. Выбрали стол поаккуратней.

«Вроде бы господа»,— подумал хозяин, оглядывая вошедших. Что-то холодное пробежало у него за пазухой. Он вздрогнул: Шипов смотрел на него пристально, не отрываясь. Тогда он кинулся к столу и отер его собственным рукавом. Все в трактире тотчас перестали есть-пить, разговаривать. Душа у Шипова звенела, как натянутая струна. Он распахнулся. Гирос подхохатывал вожделенно. Был праздник.

Через мгновение стол был уставлен, и они припали к нему, не дожидаясь особой команды, тем более что жгучая влага не хотела ждать. Теперь она действительно потекла по горлышку и ледяной студень обволок язык, нёбо, душу и провалился внутрь.

В этот момент, никем не замеченный, вошел в трактир здоровенный мужик в ладном, с иголки, новехоньком овчинном тулупе, розовощекий, черноусый. Счастливая улыбка озаряла его лицо. Не снимая смушковой астраханки, он легко прошагал мимо столов и опустился на лавку как раз напротив секретных агентов. И вот уже он тоже пил, и закусывал, и улыбался то Шипову, то Гиросу, и подмигивал им, и вертелся на своей лавке...

Через полчаса компаньоны гуляли уже вовсю, а хозяин едва успевал поворачиваться, поднося все новые и новые кушанья, хотя прежние стояли нетронутые или едва пригубленные, а он все нес и нес, подгоняемый окриками Шипова и хохотом Гироса.

И весь трактир тоже пил, гулял, орал вместе с секретными агентами.

— Господа,— говорил Шипов,— пушай, лямур-тужур, обо мне память будет! Веселитесь, господа!..— Трактир гудел одобрительно.— Вот, господа, как у нас с вами идет... стол широкий... всего много. (Подполковник Шеншин не очень одобрительно глядел из угла.) Ваше высокоблагородие, не велите казнить!.. Хлеб мягкий— рот большой... За сорок целковых еду для вас душу вытягивать у его сиятельства!.. За сорок целковых...— Трактир вздохнул сокрушенно.— За сорок целковых я вам служу, шерше ля фам, бог вам судья!.. (Шеншин погрозил ему с небес.) А, пропади ты!.. Вот твои сорок целковых...— Михаил Иванович выхватил деньги и швырнул их хозяину. Тот подхватил ассигнации и стоял, держа их в растопыренных пальцах, не зная, что делать. Вдруг Шипов сказал очень спокойно в наступившей на мгновение тишине: — Еще по бутылочке на каждый стол...— И усмехнулся.— Секретный агент Шипов гуляет...— Трактир замер. (Подполковник Шеншин растворился.) — Меня сам его сиятельство князь Долгоруков знает...— И добавил очень тихо, словно ничего и не было, словно и не пили-ели: — Меня сам генерал-майор, се муа, Потапов к вам сюда послали...

Черноусый мужик весело загоготал.

— Ты это чего? — спросил Шипов.— Аншанте?

— Ничего,— сказал мужик,— приятное занятие. Люблю закусить с морозца,— и ловко плеснул в свой розовый рот водочки,— а у нас пономарь Потапов есть, вот я и смеюсь...

— Ну и чего? — не понял Шипов.

— Да ничего,— сказал мужик, разгладил черные усы, глянул осовело и вдруг запел:

...Зачем тебе алмазы и клятвы все мои?

В полку небесном ждут меня.

Господь с тобой, не спи...

«Готов,— подумал Шипов,— готов поросеночек красногубый...»

Трактир продолжал гудеть, звенела посуда, душное облачко снижалось с потолка, задевало головы. Черну-усый мужик поднялся и, покачиваясь, отправился к двери. И хотя ну что в том мужике Шипову, а будто просторнее стало вокруг и задышалось легче.

Вошел возница, озябший весь. Шипов его узнал, поднес ему — не забыл, и вдруг все вспомнилось, и дрожь охватила Шипова. Он глянул на Гироса — компаньон спал, откинувшись, раскрыв рот, указывая носом на дверь. Предстояла дорога, а не радости с Дасей, и даже не остатки барского кофея в людской, и даже не душная темень трактира...

И вот уже все осталось позади, словно был это сон, только голова кружилась да ассигнации не шуршали на груди, а Гирос спал, натянув картуз на малиновый свой указатель, прикрывшись овчинным тулупом. Солнце давно зашло. Сумерки густели. Впереди было поле, поле, поле.

«Успеть бы до сельца добраться, — трезвея, подумал Шипов, — покуда темень не пришла».

Но не проехали они и пяти верст, как длинноногая февральская темень настигла их, ухватила и поволокла. Задул откуда ни возьмись ветер. Пошла поземка. Набежали лохматые, низкие тучи, и все переменялось.

Уже не было вокруг прежней бодрящей радости от крепкого бега кобылки по легкому морозу и предвкушения чего-то неизвестного, но заманчивого; и не было желания наслаждаться окружающей природой, что свойственно иногда даже секретным агентам; и не было праздника в душе; и не были натянуты нервы, как перед полетом через пропасть; ничего этого не было, а было несчастье отрезвления при виде этих лохматых туч, несущихся, словно голодная волчья стая за добычей.

Даже луна, то появляющаяся, то исчезающая вновь, была ничтожной и несчастной, и молодая кобылка бежала уже как-то по-иному, с неохотой.

Кругом была пустыня из крутящегося снега и темени, лишь кое-где вдали проплывали темные пятна — то ли облака, то ли случайные деревья. Не слышался лай собак, не пахло жильем. Метель все усиливалась.

Шипов с начала пути задремал было, отяжелев от трактирного баловства, но вскоре проснулся. Гирос спал, совсем зарывшись в тулуп и сено. Мужик сидел рядом

неподвижно и лишь изредка пошевеливал вождями — кобылка бежала сама.

Выпитое вино покуда не давало остынуть, и мрачные мысли еще не закопошились в голове, не загудели. И все-таки что-то уже на душе было не так, какая-то тяжесть успела ее коснуться, какой-то неведомый крик копился уже в ее глубине, намереваясь выпорхнуть на волю.

В холоде всегда вспоминается тепло, и Шипову вспомнились комната в доме князя, огонь в камине, фонарь из разноцветных стекол, барская кровать, широкая, словно на четверых, медвежья шкура на полу, и молодой князь, белолицый, с черными большими глазами, насмешливо поджавший сухие губы, в белой кружевной сорочке с распахнутым воротом. Шипов сидит спиной к пламени прямо на шкуре — ему дозволено. Спине тепло. Молодой князь рассказывает ему о своих петербургских похождениях, как равному. Князь Василий Андреевич и княгиня в отъезде. Дворецкому велено людей из людской не выпускать — пусть спят. За окнами ночь.

— Ну, Мишка, — говорит князь тихо, — она согласна? Не плакала? — Руки его при этом дрожат, и он краснеет.

— Рада без памяти, ваше сиятельство, — говорит Мишка.

— Ну, тогда, — говорит князь нерешительно и вздыхает, — тогда ступай за ней... только тихонько, смотри... Ежели капризничать начнет — не уговаривай, я этого не хочу, слышишь?

И вот он ведет ее по темным залам, по коврам. Он обнял ее за плечи, они подрагивают.

— Боишься?

— Не...

— А чего дрожишь?

— А так...

Он ее поглаживает на ходу, будто ободряя, поглаживает, трогает, а сам сгорает: как оно там сейчас будет?.. И строит свои скромные планы.

— Ты чего это руки распускаешь? — говорит она шепотом. — Гляди, пожалуйста князю-то...

— Ничего, ничего, — торопливо бормочет он, — ты иди, иди, те-те-те-те... — А сам трогает, поглаживает.

Он впускает ее в комнату к молодому князю и запирает дверь. Стоит в темноте, слушает, но дверь дубовая, вековая, ничего не слышать. Вот уже ноги занемели со-

всем, голова кружится, мочи нет, тут она выходит. В одно мгновение, покуда не захлопнулась дверь, он видит в разноцветном тусклом сиянии фонаря, что она чуть встрепана, а так вроде бы и ничего. И снова темнота, и мягкие ковры, и он ведет ее по комнатам.

— Ну как там? Те-те-те?..

— А тебе чего? — усмехается она. — Али сам про то не знаешь?

— Знаю, — смеется он, останавливает ее и валит на черную софу. — Те-те-те-те...

Но она сильная, вырывается и отталкивает его.

— Да куды тебе, козел!

И вот она, уже брюхатая, стоит перед старым князем, а молодой князь тут же, а Шипов при нем — ему дозволено.

— Ну, — хмуро спрашивает у нее сам, — кто же это тебя так?

Она молчит. Молодой князь густо краснеет и что-то говорит по-французски. Ее отпускают. Тянется молчание. И вдруг Шипов выходит из своего угла и встает перед князем на колени.

— Виноват, ваше сиятельство... Не удержался...

Старый князь поджимает губы, руки его дрожат. Молодой вовсе к окну отворотился. Василий Андреевич глядит то на сына, то на Шипова. Он все понимает.

— Что за разврат? — говорит не очень сурово. — Как это дурно все и отвратительно... — И Шипову: — Ладно, ступай... Но я должен тебя женить на ней.

А тут, слава богу, эманципация...

Вдруг дровенки трянуло, и кобылка пошла шагом, широко взмахивая головой. Тучи бежали так низко, что казалось — сейчас заденут. Метель усиливалась. Какой-то ноющий звук пробился сквозь вой ветра и замер. Гирос уже не спал. Он поднял голову настороженно и всматривался в темень. Холод начинал прошибать.

— Эх, — сказал мужик, — душегубы.

— Кто же это душегубы? — рассердился Шипов. — Мы, что ли?

Возница не ответил.

Дровни проплывали мимо двух дубов. Они стояли возле самой дороги, полузаметенной снегом, по обе ее стороны. Один старый, кряжистый, а другой молоденький и пока еще стройный.

— А ну, постой,— приказал Шипов.

Он соскочил с саней и, проваливаясь в снег, заторопился к молодому дубу, который был поближе. Там, за ним, за его спиной, он присел и увидел краем глаза, как Гирос, словно заяц, поскакал к старому дубу за тем же делом. Снова донесся ноющий звук, но уже ближе. Шипов поглядел на Гироса с неодобрением и вдруг понял: волки!

Они приближались. Вой нарастал. Кобылка всхрапнула.

— Эх! — крикнул возница пронзительно и стегнул кнутом. И дровенки вместе с теплым сеном исчезли в метели.

— Стой! — закричал Шипов, застегиваясь.— Стой, черт!.. Да куды ж ты!

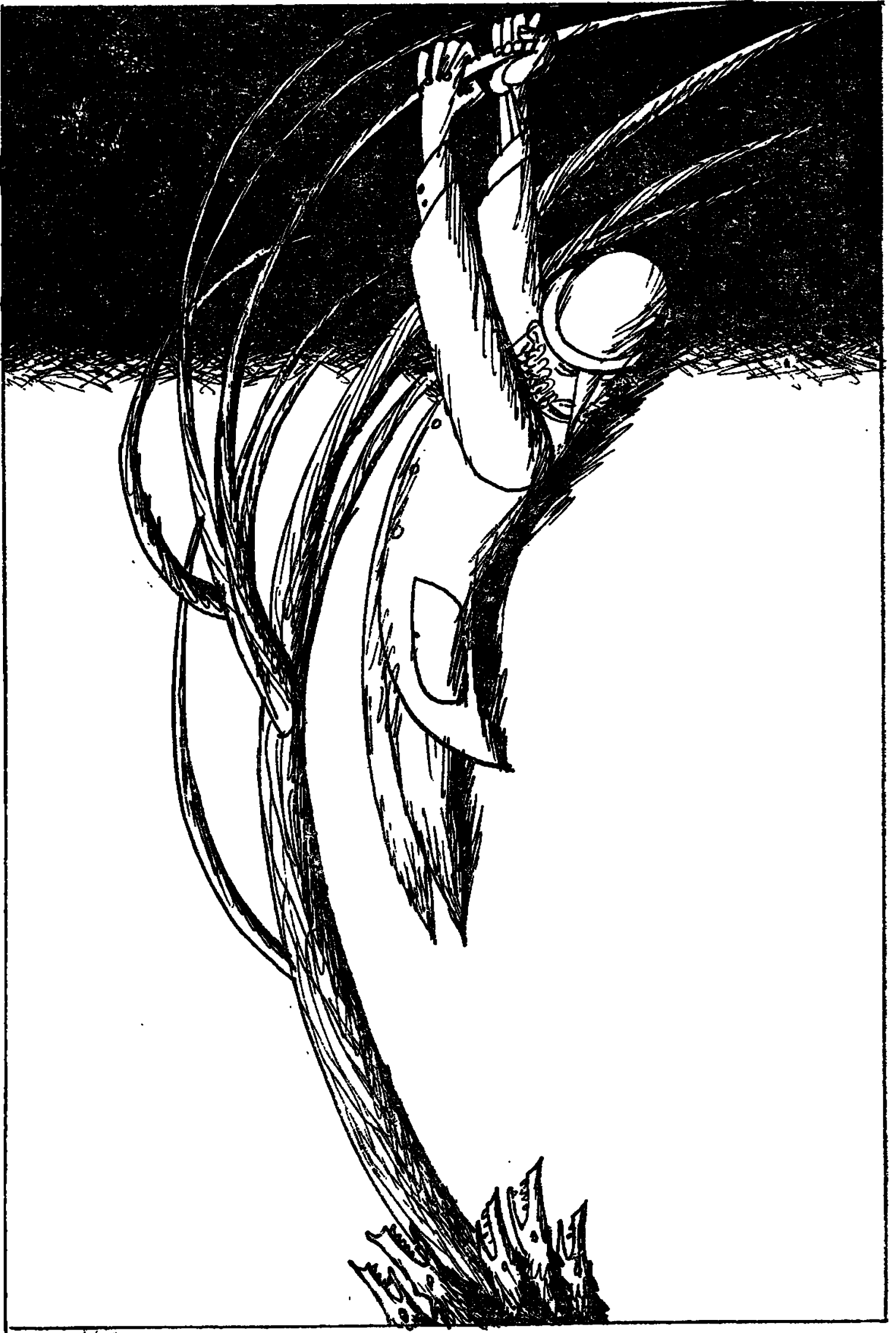
Но саней словно и не было, а вечно была только эта пустыня, наполненная свистом ветра да нарастающим воем волчьей стаи.

«Так чего же я жду? — с ужасом подумал Шипов.— Покуда навалятся и раздерут в клочки?»

И он заверещал пронзительно, по-заячьи, ухватился за ствол и закарабкался, срывая ногти и кожу, по обледенелому стволу, по сучьям вверх, вверх, словно решил во что бы то ни стало достигнуть неба и никогда не возвращаться обратно. Тонкий ствол прогибался под его тяжестью, тонкие веточки обламывались, тонкие льдинки врезались в ладони, а он лез и лез. Казалось, что прошла уже целая вечность, а пролетело мгновение. Вдруг ствол изогнулся, не выдержав его тяжести, и Шипов повис, болтая ногами. В этот момент выглянула луна. Под ним была метель, и в ней, в ее карусели, он увидел мелькающие поджарые тени. Они были далеко внизу, то уменьшаясь в размерах, то увеличиваясь, и выли, и приказывали ему спуститься.

Он наконец смог ухватиться ногами за ствол, сплелся с ним, и приник к нему щекой, и замер. Луна исчезла вновь. Слышался тяжелый хрип хищников, прерываемый воем, рычанием и ударами лап по стволу.

Слезы замерзли на щеках. Будто бы издалека донесся крик Гироса, но о чем кричал компаньон, понять было невозможно. Теперь оставалось одно — ждать, ждать и успокаивать сердце, норовящее взломать грудную клетку. Теперь бы не упасть, а там поглядим. Он боялся ше-



велиться, чтобы тонкий замерзший ствол не хрустнул вдруг, не подломился. Так он висел, почти не ощущая рук, скосив глаза к земле, и когда выкатывалась желтая, подлая, безучастная луна, успевал приглядеться к происходящему под деревом. Теперь он уже твердо знал, что его караулят пять волков; он видел, что одни сидели, задрав морду кверху, и подвывали при малейшем его движении, другие же угрюмо и беззвучно прохаживались взад и вперед под дубом, словно обдумывали дальнейшие планы. Они ждали, когда секретный агент, устав висеть, подобно спелой вишне, оторвется и полетит к ним.

Первый жгучий, тоскливый страх прошел. Шипов сообразил, что он недосыгаем, и молил бога, чтобы скорее наступило утро и светом своим разогнало мохнатых дьяволов.

Большой дуб оказался совсем рядом, рукой подать, но Гироса Михаил Иванович различить не мог — ветви были толстые, в обхват, и тело компаньона, видимо, сливалось с ним.

Вдруг Шипову показалось, что один из хищников поднялся на задние лапы и прошелся на них, словно человек.

— Ты чего, — спросил Шипов, — ай рехнулся?

Волк не ответил. Остальные завывали.

— Мишель! — крикнул Гирос из темени. — Подо мной ветка трещит.

— Сунься к стволу поближе! — крикнул Шипов, едва разжимая замерзшие губы.

Волки снова грянули хором свою песню.

«Складно поют», — подумал секретный агент.

— Мишель! — снова донесся голос Гироса. — Скажи, голубчик, дуб ломок или гнуч?

— Да спустись ты пониже! — рассердился Шипов. — Куды ты на макушку-то взобрался, мезальянс!

А сам подумал, что не мешало бы и ему самому тоже податься пониже, — того и гляди макушка обломится. Куда это взлетел он со страху? Тоже жить хочется?.. И он медленно, сдерживая дыхание, пополз по стволу вниз. Ствол качнулся, начал крениться, но Михаил Иванович успел проползти опасную зону. Ноги его нащупали толстый сук, под рукой оказался другой, в этом месте ствол был несколько изогнут, на счастье, природой, и Шипову удалось устроиться сидя. Теперь он даже мог руки су-

нуть в карманы, что и сделал. Потом он отдышался, зажмурился, налил себе маленькую, выпил, откусил ба-
лычка... Пожевал, снова налил, снова закусил... Печь по-
гасла, что ли: в спину дуло, под ледяным котелком за-
мерзала голова.

...Зачем тебе алмазы и клятвы все мои?
В полку небесном ждут меня.
Господь с тобой, не спи...

Волки пели по очереди. И снова Шипов увидел того самого, он его успел заприметить, с белым пятном на большом лбу,—наверно, атамана всей шайки. Атаман кружился на снегу, вскидывал лапы, воистину плясал.

— Эй! — крикнул Гирос.— Ну как ты там, не замерз?

— Не-ет,—откликнулся Шипов, уже не чувствуя холода.

И он заплакал.

«Эх, ваше высокоблагородие,—думал он,— за сорок-то целковых! Сами на дубу этом повисели бы... Эх вы... вместе с графом вашим чертовым... пропаду теперь за сорок целковых... Господи, коли жив останусь, ни в жисть в дровенках на ночь глядя не покачу... Пропаду я, гос-поди...»

Внезапно метель улеглась. Тучи исчезли. В небе стояла полная луна. Стало теплее вроде. Шипов даже не удивился, что бог так сразу снизошел к его слезам.

Луна была серебряная, игрушечная, а свет от нее исходил зеленый, призрачный. Волки то увеличивались в размерах, то уменьшались. Дуб, на котором устроился Гирос, был могуч и подпирал небо. Михаил Иванович, уже не зажмуриваясь, налил себе винца, понюхал — пахло хорошо, крепко, медленно выпил и плавно отправился из буфетной... Он шел на носках, чуть подавшись вперед всем телом, вытянув руку с подносом. Соломенные бакенбарды топорщились, соломенный хохолок подрагивал, зеленые глаза освещали дорогу, овальный стол, княжескую семью, приготовившуюся обедать. Молодой князь ему мигнул, и Шипов ответил едва заметно уголком рта. Блюда веером расходились по столу, будто их никто и не ставил, а они сами. И ни звона, ни бряканья, ни стука. А он все шел и шел, и вот уже луг зеленый, гу-си бегут, стрекоза летает...

Волки запели снова, двое—фальцетом, остальные подтягивали баском, получалось действительно неплохо, и хотя слов Шипов никак разобрать не мог, но улавливал тоску, и от этого снова хотелось плакать.

Под старым дубом другая группа серых разбойников караулила компаньона, но тех было вроде поменьше, и сидели они неподвижно, и пения с их стороны не слышалось.

Вдруг белобрысый атаман перестал плясать и сказал, обращаясь к товарищам:

— Ну, будя, пора и выпить. Пущай энтот посидит пока, а мы выпьем. Озяб я чего-то...— И он кивнул на Шипова.

«Неужели не поднесут?» — подумал Шипов.

— Эй,—позвал атаман,— не хочешь пропустить махонькую?.. А то давай, лямур-тужур, слазь...

Михаил Иванович обрадовался, засуетился, но спуститься не смог — не получилось.

— Ладно, сиди,— сказал атаман,— сейчас поднесут... Руку-то протянуть можешь?

Шипов кивнул утвердительно.

Атаман подошел к дубу, поднялся на задние лапы.

— Держи, что ли...

Михаил Иванович протянул руку, как мог, взял рюмку, осторожненько понес, чтоб не расплескать.

— Bravo! — крикнул атаман, и волки тотчас запели.

«Молятся»,— догадался Шипов и выпил.

И он стал размышлять о том, как много мук за сорок-то целковых, как много суеты и хлопот и там у них, у их сиятельств, у их благородий, и у волков, и у него, у Михаила Ивановича, и только граф Толстой спит сейчас неподалеку, ни о чем не догадываясь, спит в графской своей спальне, со своей графиней и не знает, что и за ним охота идет, и за Шиповым охота идет, и на волков ведь тоже охотятся.

— Вы Амадею поднесли бы,— сказал он волкам,— он, знать, тоже зазяб... грек он...

— У него свои серые есть,— засмеялся атаман,— пущай они ему, тре жоли, и подносят...

Шипов спорить не стал и закрыл глаза.

Вдруг словно кто его в бок пихнул, и он проснулся. Стояло серое февральское утро. Волков не было, они ушли с атаманом вместе. Правда, под старым дубом те

четыре все так же сидели неподвижно, но страшно не было.

«Всю распили и ушли, мой-то,— подумал он,— слава богу, мне хоть поднесли...»

— Эй! — прокричал кто-то.

Шипов глянул нехотя: на дороге свежеструганые дровенки, молодая кобылка перебирает ногами, вчерашний возница машет рукой:

— Живы ай нет?

— Живы, живы! — откликнулся со своего дуба Гирос.— А ты чего нас бросил, каналья? Грех замаливать пришел?

— Тулупчик-то мой цел ишшо?

Волки под старым дубом сидели неподвижно. Мужик подошел ближе.

«Вот сейчас они ему, аншанте, устроят!» — подумал Шипов беспомощно. Но волки не пошевелились. Последнее, что успел увидеть Шипов, было чудо: со старого дуба спрыгнул Гирос прямо на серых зверей, развел их руками и пошел к мужику. Тут Шипов закричал, или ему показалось, и рухнул с дуба в снег.

Очнулся он в избе, на печке. Пахло щами и хлебом. Шипов лежал, укутанный в тряпье, и истекал потом, но это его не беспокоило. Он глянул вниз. За столом сидел Гирос и хлебал щи. Кончик его носа утопал в миске. Рядом сидел возница, вздыхал и часто моргал белыми ресницами.

— ...а я, понимаешь, завернулся, лежу, как в люльке.— Гирос захохотал.— Прощаю тебе, братец, потому что тулупчик твой меня спас... А не тулупчик — я бы тебе показал, черт тебя возьми! Как же ты посмел нас бросить, черт! Это же непорядочно. Хотя что с тобой об порядочности разговаривать, свинья...

— Ага,— сказал мужик.— Больно кобылу пожалел я. Молодая ишшо.

Шипов слушал этот разговор и вдруг вообразил, как будто не он висел на дубу, замерзая, умопомрачаясь, а подполковник Шеншин. И он засмеялся втихомолку.

Ваше высокоблагородие, человек свое всегда возьмет, а как же. Как вы там его ни унижайте, а что природой положено, он возьмет. Из чужого кармана вынет, а возьмет. Вы, конечно, можете на него сапогами топтать, грозно кричать, вы даже можете напустить на него глу-

пость или же, предположим, серых волков, от которых только чудо и может спасти, и он спасется и свое возьмет, а как же. Он отогреется, обтерпится, а возьмет. Ежели ему полагаются от природы сто рублей, он их возьмет, где бы они ни лежали. Даже ежели вы их запрятали в самую глубину, ваше высокоблагородие, он возьмет. Вы ему сорок целковых кинете — на, мол, подавись, — а он не подавится и те остальные шестьдесят целковых возьмет, у вас ли, в другом каком месте, а возьмет, а как же. Почему это так, он не знает, он об этом не думает, он просто беспокоится весь, мучается, мечется, места себе не находит; он весь вытягивается, шею свою вытягивает, принюхивается и так вот бегаёт по жизни из конца в конец днем и ночью, пока не возьмет того, что ему определилось природой. И он тогда не знает, не понимает, что же это с ним произошло, отчего это он успокоился (подумаешь, какие-то шестьдесят целковых!), глаза стали ласковые, руки не трясутся. Да неужто ему больше не нужно? Значит, не нужно. Вы не можете сами на себя поглядеть и не можете знать, что это и вам выпадает, и их сиятельству князю, и их высокопревосходительству генерал-адъютанту, и всем на этом свете. И никто не знает, кому что определено и сколько, и в этом большое счастье. Ежели бы мы точно знали, мы бы давно поубивали друг друга и все бы кончилось. И вот чтобы этого не было, нам об этом знать не дано, даже догадываться... Стало быть, нельзя человека за это судить. Это не воровство, не разбой, не грех, а природа. Вы мне эдак — я вам так, вы мне так — я вам эдак. Чего же сердиться-то? Вы мне просто так отдать мое не хотите? Ладно, я вам, ваше высокоблагородие, письмо напишу по всей форме. Чтоб было вам приятно мне деньги отдавать...

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

От М. Зими́на

*Его Высокоблагородию Господину
Подполковнику Шенину Д. С.*

Довожу до сведения Вашего Высокоблагородия, что многократные мои поездки в «Ясную Поляну» раскрыли мне глаза на тайные приготовления, которые ведутся в доме Его Сиятельства Графа Льва Николаевича Толсто-

го... Сообщу Вашему Высокоблагородию как все есть по порядку.

В доме Его Сиятельства Графа Льва Николаевича имеются потайные ходы и комнаты под замками, в коих, как мне удалось установить, приготовлено место для размещения станков для печатания противузаконных сочинений.

На четвертой неделе минувшего Великого Поста, когда я находился в Туле, к Его Сиятельству Графу Толстому были привезены литографические камни со шрифтом и какие-то краски. На этих камнях, как я узнал, и собираются печатать, а что — пока не знаю.

Как вы, Ваше Высокоблагородие, велели мне узнать о студентах, проживающих без видов в имении у Графа Толстого, так они живут действительно без видов количеством 30 человек...

Ваше Высокоблагородие, дорога в «Ясную Поляну» трудная. Метели все позаметают...

...Мужиков ехать и не упросишь. А то и волки встречаются, а зимой волк свиреп... Но я, Ваше Высокоблагородие, по Вашей воле все исполняю и забочусь, чтобы Его Сиятельству Князю Благодетелю моему не было бы досады или пуще того — беды. Как тех злодеев изобличить — пока не знаю, но можете, Ваше Высокоблагородие, не сумлеваться в моем старании...

М. Зимин

...Вы ведь тоже пишете, ваше высокоблагородие, а зачем? А затем, чтобы взять свою долю. Я бы мог вам не писать, когда бы вы сами отдали мне мое, но вы-то думаете, что оно ваше, а оно мое, а как же. Сколько там у вас, ваше высокоблагородие, моего — не знаю, но не сорок же целковых, с чего же я тогда мучаюсь и плачу? Вы бы попробовали сами на дубу повисеть в мороз, на глазах у волков, перед их острыми зубами, а все ради чего? Да ради вас же... за сорок целковых... Покуда граф там кофей пьет с супругою, я жизнью рискую...

(Из письма Л. Толстого — графине А. А. Толстой)

...Я все жив и все люблю вас. Я давно не писал вам вот отчего: я провел дурное, тяжелое лето. Я кашлял и

думал — был уверен, — что скоро умру. Я доживал, но не жил. В октябре я был в Москве и ожил... На днях вышел 1 № моего журнала, я сделал дурной поступок и почти влюбился — все это вместе заставило меня опомниться и привело в почти нормальное состояние. И я пишу к вам, и хочется вас слышать, видеть и думать... Нынче еду назад в деревню. Дела у меня пропасть и по школе, и по журналу, и по роману, который я обещал напечатать в нынешнем году в Русском Вестнике...

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

*Канцелярия
Московского Военного
Генерал-Губернатора
г. Москва*

*Управляющему III Отделением Соб-
ственной Его Императорского Вели-
чества Канцелярии, Свиты Его
Величества, Г-ну Генерал-Маиору
и Кавалеру Потанову*

Препровождаю к Вам, почтеннейший Александр Львович, донесение секретного агента М. Зимина из Тулы по известному Вам делу Гр. Льва Толстого. Представьте себе, этот агент, не имевший доселе заслуг в политическом сыске, проявил себя с самой неожиданной стороны. Его указания на особую обстановку в доме Гр. Толстого уже вызывают различные недобрые предположения касательно умысла деятельности Графа. Я уж не говорю о литографских станках, красках и проч.

Меня эти обстоятельства крайне обеспокоили, и, хотя место пребывания Гр. Толстого вне района вверенного мне Управления, я не могу оставаться безучастным.

Многое несомненно будет зависеть от тонкости и умения агента в дальнейших изысканиях, но и полученных сведений весьма достаточно, чтобы подумать о решительных мерах.

По свойственной мне откровенности с Вами я могу признаться, что сие известие поставило меня как бы перед пропастью, ибо, ежели подобной деятельностью могут увлекаться лица из славных родов, обладатели почтенных имен и титулов, следовательно, дурные веяния достигли до такого размаха, что надо об сем крайне беспокоиться. Нынче, оказывается, нельзя быть вполне уверенным в людях, даже имеющих положение. Нас ужаснули Чернышевский и К^о, но это, оказывается, лишь цветочки. Какой спрос, в таком случае, с разночинца, ежели дворяне позволяют себе нигилизм?

Очень прискорбно все это, и это, любезнейший Александр Львович, делает нас с Вами еще более ответственными за состояние нравственности в обществе.

Пользуюсь этим случаем, чтобы уверить Вас в истинном моем уважении и душевной преданности.

П. Тучков

(Из письма генерал-майора А. Потапова — князю В. Долгорукову)

...Теперь, когда Вам известна в общих чертах суть происходящего, хочу добавить от себя, что меня лично это известие окончательно убедило в напрасности сомнений. Я вижу, что дело приобретает характер весьма тревожный и, боюсь, может обернуться самой отвратительной своей стороной, превзойдя даже историю с г. Чернышевским и К^о.

Мне весьма близки и понятны огорчения Генерала Тучкова по этому поводу, в том смысле, что даже такая часть Российского дворянства, к которой относится и Гр. Толстой, может быть заражена революционными мечтаниями. Впрочем, боюсь, что мечтания слишком слабо сказано по нынешним временам.

Странно, что Полковник Муратов при его опыте и умении не придавал значения все увеличивающемуся количеству студентов, получивших место в имении Гр. Толстого. 30 человек — это уже не безобидная группа учителей. Это должно было бы насторожить Полковника Муратова.

Жду Ваших указаний.

(Князь В. Долгоруков — генералу А. Потопову)

...Вы правы, Александр Львович, что ситуация, сложившаяся в связи с делом Гр. Толстого, может привести в отчаяние. Да как же это так случилось, думаю я, что и сей Граф оказался причастен к возмутительному направлению!

Полагаю, любезный Александр Львович, что следовало бы заняться этим вплотную, не откладывая, ибо каждая минута дорога, не дай бог упустим что-либо.

Соблаговолите, Ваше Превосходительство, отдать распоряжение об усилении надзора за деятельностью означенных лиц, по-прежнему сохраняя в глубокой тайне наше вмешательство, ибо хотя теперь уже сомнения мои рассеялись, но опыт велит соблюдать осторожность.

В настоящее время не представляю себе возможностей выявления злоумышленников наилучшим способом, поразмыслите над сим.

Тяжело сознавать, что при докладе сие известие вызовет огорчение Его Величества, но, с другой стороны, мы можем быть уверены, что своевременность всего предприятия и четкость, с коей оно будет осуществлено, вознаградит и за эту горечь и за наши с Вами волнения и хлопоты...

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

*III Отделение
Собственной
Его Императорского Величества
Канцелярии
г. Санкт-Петербург*

*Г-ну Полковнику Корпуса Жандармов
Муратову*

В III Отделении Собственной Его Императорского Величества Канцелярии получено сведение, что в имении Гр. Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна» проживают не 10 студентов, как было означено в Вашем

донесении за № 817 от 12 января 1862 г., а до тридцати человек, что не может уже само по себе не вызвать подозрения при нынешних обстоятельствах. Кроме того, стало известным, что в имении Графа оборудованы тайные помещения для устройства типографии и получены шрифты и краски и проч. И что идет подготовка к печатанию противузаконных изданий.

Весьма удивительно, Милостивый Государь, что Вы, находясь в непосредственной близости от означенного имения, не располагаете всеми сведениями, тогда как деятельность Графа давно уже вышла за рамки дозволенного.

Считая долгом уведомить о сем Ваше Высокоблагородие для надлежащего с Вашей стороны наблюдения по этому предмету, прошу Вас незамедлительно сообщить мне со своей стороны Ваше мнение к изысканию способов раскрытия и предотвращения готовящегося злоумышления.

*Управляющий III Отделением Свисты Его Величества Генерал-Маиор
Потапов*

*(Из письма полковника Муратова — полковнику
Воейкову)*

...Каково же мне было все это читать? Представь себе, оказывается, некий или некие наблюдатели орудуют по указанию Генерала Потапова у меня под носом, порют несусветную чушь, там им верят, и я же за это должен расплачиваться.

Попробуй-ка, братец, наведи справки каким-нибудь неофициальным способом, в чем там дело? Или мне перестали доверять, что через мою голову направляют агентов во вверенный мне район.

Жизнь моя, кроме всего этого, слава богу, протекает тихо, и даже появилась надежда соединить узы с одной достойной дамой, к которой я нашел пути, и теперь многое время намерен тратить на подготовку сего акта. Ну, подробности о ней позже.

Так не забудь же, братец, о просьбе...

*От Штаб-Офицера
Корпуса Жандармов,
находящегося
в Тульской губернии,
г. Тула*

*Управляющему III Отделением
Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии, Свиты Его
Величества, Г-ну Генерал-Маиору и
Кавалеру П о т а п о в у*

Честь имею донести Вашему Превосходительству, что секретное предписание за № 85 от 8 февраля сего года за подписью Вашего Превосходительства получил и предпринял срочные меры ко раскрытию перечисленных Вами действий.

Я произвел секретное дознание через Крапивенского исправника, по которому оказалось, что число студентов в имении Гр. Льва Толстого «Ясная Поляна», проживающих там в настоящее время, составляет девять человек, а не десять, как я об том докладывал Вашему Превосходительству. Это объясняется тем, что, как видно из вечерней записки, представленной мне Тульской Градскою Полициею, Кандидат Елагин, проживавший в имении «Ясная Поляна», 31 января поехал в Москву.

Осмелюсь предположить, что сведения, полученные Вашим Превосходительством, не совсем точны по причине того, что поступили от источника, не очень информированного в наших делах, поскольку мы тут постоянны и за всем имеем глаз.

Что же касается до подземных катакомб, тайных помещений и типографских предметов в имении Гр. Толстого, то я сведений пока не получал, хотя предпринял уже соответствующие действия и в самом скором времени буду иметь честь почтительнейше донести о сем Вашему Превосходительству.

Полковник Муратов

(Из письма Л. Толстого — А. Е. Берсу)

...Как вы поживаете, надеюсь, что хорошо и что Софья Андреевна уже здорова и все по-старому... Я не здоров, журнал идет скверно, хозяйство еще хуже, помещики ненавидят меня все больше и больше, но я чувствую себя таким довольным и счастливым, как никогда... И только оттого, что работаю с утра до вечера и работа та самая, которую я люблю...

(Из письма М. Зимина — графу Г. Крейцу)

...А Его Высокоблагородие Господин Подполковник Шеншин выслал мне только пятьдесят пять рублей, что на одни разъезды не хватит никак, а теперича студентов числом до сорока наберется, и за всеми нужен глаз...

(Из письма П. Тучкова — подполковнику Шеншину)

...просьба его Сиятельства Графа Крейца Г. К. должна быть незамедлительно удовлетворена. Соблаговолите распорядиться об отправке М. Зимину 300 (триста) рублей на расходы и не забывайте ставить меня в известность о финансовых просьбах агента...

(Из письма Матрены — М. Шипову)

...премного благодарны батюшка Михайла Иваныч. Я те деньги пятьдесят рублей никуда на ветер пущать нибуду а палажу в чулок тот самай, пушай они там лижат и вас дожидаются а то может вы бальной будитя и вам они пригадятся али вам удачи небудит али ище чиво...

(Из письма полковника Воейкова — полковнику Муратову)

...По имеющимся у меня сведениям в Тульскую губернию командирован некто М. Зимин. Командирован же он по личному распоряжению Его Сиятельства Князя В. А. Долгорукова и является его ближайшим родственником и специалистом по политическому сыску.

Мой тебе добрый совет ничего противу этой лично-

сти не предпринимать. Упаси тебя бог навлечь гнев Князя.

Что же касаемо до уз, то мы все под богом ходим...

И крайне рассчитываю, что это останется строго между нами...

(Из предписания генерал-майора Потапова — полковнику Муратову)

...кажется мне более чем странным. Сведения, имеющиеся у III Отделения, говорят за то, что в связи с активизацией деятельности в имении «Ясная Поляна» число лиц, проживающих там, должно увеличиваться, что и подтверждается донесениями секретного агента. Вы же пользуетесь старыми сведениями. Потрудитесь, как Вы обещали, милостивый государь, незамедлительно перепроверить Ваши сведения...

(Из письма В. Долгорукова — А. Потапову)

...вообще же говоря, странное это расхождение в цифрах меня несколько настораживает. Что это — просчет Полковника Муратова или мистификация Зими́на? О последнем думать этого не хочется. Что же касается неудовольствия Полковника нашими действиями без его непосредственного участия, то потрудитесь внушить ему, что его амбиция совершенно напрасна, ибо мы руководствуемся высшими интересами, о чем ему следовало бы знать... Вместо обид надлежит ему одному ему свойственными путями участвовать в общем деле, выполняя свой долг.

С чего бы это, как Вы думаете, Ваше Превосходительство, Зимину заниматься обманом?..

Не нашли ли Вы решения, каким образом выявить тайную деятельность злоумышленников так, чтобы не оставить хвостов впоследствии?..

(Из письма Л. Толстого — С. Н. Толстому)

...Журнал остановился на 200 подписчиках и как будто не существует для публики, а работы по нем все больше и больше, с студентами тоже возня усложняется, денег еле достает, хозяйство требует, чтобы что-нибудь предпринять...

(Из предписания подполковника Шеншина —
М. Зимину)

В III Отделении весьма беспокоены увеличением числа студентов, проживающих в имении Гр. Толстого, ибо сведения от других источников опровергают Ваши. В связи с этим Его Превосходительство Генерал-Маиор Потапов поручает установить следующее:

- 1) Какова надобность в увеличении числа студентов?
- 2) Связано ли сие увеличение с расширением школьной деятельности?
- 3) Как употреблены литографские принадлежности?
- 4) Каковы возможные сроки начала печатания?
- 5) Есть ли реальные возможности выявления заговорщиков?
- 6) Что Вы по сему пункту успели предпринять?

6

...А розовогубый улыбчивый мужик, недавний свидетель шиповского гулянья в окраинном трактире, румяный, как ангел, с черными усами, в новом овчинном тулупе и смушковой астраханке, вбежал на крыльцо полковничьего дома, рванул на себя тяжелую дверь, ног не отер и, никем не остановленный, не спрошенный, не окликнутый, будто в своем доме, подобно лесному зверю, пронесся через прихожую, взлетел по лесенке, бесшумно проскользнул по коридорчику и в самой последней комнате без окон рухнул в кресло. И тотчас, словно бы тень его, влетела за ним столь же бесшумно сухопарая экономка, и на двери щелкнула задвижка.

Две толстые свечи кидали желтый свет на молчаливых людей, запершихся от прочего мира. Экономка застыла в ожидании. Ее накрахмаленный розовый чепец гордо вздымался над седоватыми буклями. Ее круглое, уже немолодое, но розовое лицо в точности напоминало лицо мужика, сидевшего перед нею, будто она была его сестра, но внимание, с которым она застыла перед ним, и сквозившая в ее облике готовность тотчас же откликнуться на первое его слово — все это отрицало родственные отношения, хотя чего на свете не бывает.

Так они помолчали, разглядывая друг друга, затем

мужик вдруг поднялся, и новехонький тулуп легко соскользнул с его плеч...

...Зачем тебе алмазы и клятвы все мои...

Она поняла, что он не в расположении, уж коли двигался так резко, так стремительно, и эти слова, смысла которых она никогда понять не умела.

Черные усики мелькнули в воздухе и шлепнулись на инкрустированный столик.

В полку небесном ждут меня...

Смушковая астраханка вместе с черными разбойничьими космами очутилась в руках экономки... коты, портянки, армячок...

...Господь с тобой, не спи...

Из-за армячка появилась белая батистовая сорочка. Экономка ловко подала ему коричневый халат с широченными, по польской моде, рукавами. Он облачился в него, лысую голову прикрыл красной феской, сунул ноги в парчовые шлепанцы...

...Зачем тебе алмазы...

— Чаю.

И пошел вслед за экономкой вниз, в гостиную, чаевничать.

Шаг у полковника Муратова был легкий и пружинистый, несмотря на солидную фигуру и явные признаки серьезного возраста.

Он прихлебывал чай, наслаждаясь вечерней тульской тишиной, но улыбки не было на розовых его губах, а были они огорчительно опущены книзу. Недавнее письмо полковника Воейкова относительно таинственного лица, присланного в Тулу в обход его, полковника Муратова, а затем и встреча с тем лицом в трактире — все это удручало, намекая на новые козни петербургского начальства.

От пехотного капитана до жандармского полковника — вот какой путь прошел Николай Серафимович Муратов, и не просто ступая мягкими лапами из должности в должность, от звания к званию, а переверотив существовавшие доселе сыскные представления на свой

особый лад, придав им законченность и изящество научного труда, переверотив их, в отличие от своего предшественника, ленивого и тупого, склонного к обжорству и самодовольству.

Полковник Муратов гордился собой, неукротимой своей энергией, службой не за страх, а за совесть и благодарил бога, вручившего ему ключи от дверей в человеческую тайну.

Отныне тайны не было. Не могло быть. Был только кропотливый, тяжкий и вдохновенный труд. И жалкие дилетанты, восседающие в своих креслах в Петербурге и Москве, представляющие собой смесь необразованности и самоуверенности, живущие по старинке, были ему смешны.

Крушение этих высокопоставленных божеств началось еще тогда, когда совсем молодой майор Муратов, обучаясь жандармским премудростям в недрах III Отделения в Петербурге, столкнулся с толпой пьяниц и развратников, стяжателей и лжецов, именуемых частными осведомителями. Тогда это его поразило, и он понял, чего не должно быть. Разбираясь в делах Первой экспедиции, он вызвал их всех, и они продефилировали перед ним, вызывая омерзение своей ложной многозначительностью. Боже мой, кого тут только не было! Отставная советница, не имеющая понятия о сыске, с надеждой взирающая на ежемесячный конверт с ничтожными наградами; купец третьей гильдии, распухший от вина, известный щеголь и болтун, промотавший все свое и все чужое; испуганная дура из пансиона для благородных девиц; даже генерал в отставке...

Нет, подумал тогда Николай Серафимович, это ужасно и этого не должно быть. И начал посещать лекции по элементарной психологии и римскому праву в Петербургском университете.

Человеком правят злость и зависть, гнев, и презрение, и страх. Выпущенные на волю, они могут привести к неслыханным последствиям. Их нужно приструнить, приспособить, дать им направление, тогда они принесут пользу. Деньги — это слишком мало. Человек должен жить, зная, что он на виду, что положение его безвыходно, что единственное спасение для него — это он, полковник Муратов, круглолицый и розовогубый. И вот тогда все свойства души этого несчастного, все его струночки

зазвонят ради одного, что определил ему Николай Серафимович.

Так размышлял он, совершенствуясь в мастерстве, разрабатывая свои теории, и спустя уже год ликвидировал два нелегальных пропагандистских кружка с помощью новых своих сотрудников, обработанных по новой методе. История с раскрытием была великолепна по своей легкости и изяществу, а пот и труд, как во всяком добротном деле, были скрыты в глубине.

Старания его заметили, но с легкой руки некоего знатного завистника он был объявлен чудаком и даже психом (по аналогии с психологией, которой он увлекался). Несмотря на явные его успехи, сомнение, посеянное недоброжелателями, осталось, и при первой же оплошности, не имея сильного заступника, он был переведен в Тулу. Неудача не обескуражила его, даже наоборот. Вдали от высокопоставленных невежд ему легче было проверять свои открытия и было много простора для фантазий. Да, перемена обстоятельств не обескуражила его, ибо что для ученого интриги царедворцев? Только большее презрение к ним и страстная уверенность в собственной правоте возгорелись в его сердце.

Он делал свое историческое дело, и на круглом, гладком его лице царило мудрое спокойствие человека, уверенного в собственной правоте. Дух захватывало от картин, раскрывающихся перед ним, и ощущение полета сопровождало его, и легкость в крылах была великолепна.

В такие минуты он взлетал на второй этаж, в комнату без окон, и сухопарая экономка являлась тотчас же, и он говорил, весь клокоча от возбуждения:

— Они там бегают по улицам, юркие, как выюны, быстрые, как легавые, на своих тонких ножках, с преступными листками за пазухой и вынашивают в душах безобразные планы переворотов и катастроф и прочих безумств, они спасаются от собственной тени: топ-топ-топ... А извозчик едет рядом: «Куда, сударь, изволите?» А они болтают восторженно: «Вези туда, стой здесь, возьми то, подай это...»

Тут она начинала вынимать из шкафов какие-то рубахи, тряпки, овчины, помогала ему напяливать все это, и постепенно из неразберихи под ее ловкими руками, словно из мертвой глины, рождался человек, облачен-

ный в извозчичьи доспехи, весь в бороде и усах. Он оглядывал себя в зеркало, пытаясь при желтом мерцании свечей отыскать изъяны в одежде, но не находил. Кивал удовлетворительно и бесшумно выскользывал. Спустя некоторое время из ворот полковничьего дома неторопливо выкатывал подержанный экипаж с благообразным извозчиком на козлах...

Или же он говорил:

— А сделаем-ка немолодую торговку, да чтобы с лотком, с пирожками там или с леденцами, а?.. Они там бегают по улицам, юркие, как выюны, быстрые, как легавые, на своих тонких ножках, с преступными листками за пазухою и вынашивают в душах безобразные планы переворотов и катастроф и прочих безумств, они спасаются от собственной тени: топ-топ-топ... А торговка — рядом: «Пирожка, сударь, не желаете?» А они болтают восторженно друг с другом, не боясь торговки, не обращая на нее внимания.

Руки экономки начинали производить свои невероятные проворные пассы, одежда летала по комнате, изредка слышалось приглушенное: «Да не тяни ты, дура... сперва грудь взбей, не видишь, что ли?.. Разве это чулок?.. Не колись булавкой, я не ватный!.. Что-то парик съезжает...» И вот немолодая торговка с пышным бюстом и круглым лицом уже выходила из дверей дома и медленно направлялась в сторону кремля, держа перед собой нагруженный леденцами лоток.

Так прожил он в Туле немало времени, беспрестанно холя и лелея свои новшества и вожделенно ожидая, когда же наконец наступит час и звонкая, невидимая постороннему глазу труба призовет его к действию. Но труба молчала. Видимо, московские шалости не перекинулись еще на этот городок. Тайные костюмы и платья ветшали в шкафах. Мастерство перевоплощения гибло. А ведь было оно так отшлифовано, доведено до такой крайности, что войди к полковнику ночью и крикни: «Извозчик!», как он тотчас же вскочит и пригласит: «Пожалуйста, сударь». Или спроси его спящего: «Почем леденцы?», как он бабьим простуженным голосом, не раскрывая глаз, проговорит все цены и рукой сделает вот эдак, будто норовит ухватить тебя за полу.

Гибло мастерство, гибло, выдыхалось. И не только это. Ведь какие хитроумные теории были им понастрое-

ны и приготовлены, чтобы обрушиться на политического разбойника, смять его, сделать податливым и мягким, подобно воску, и лепить из него, что тебе заблагорассудится.

Отсутствие этих отчаянных сорвиголов, с одной стороны, конечно, радовало его и успокаивало, как всякого истинного патриота радует непоколебимость монархии или даже тишина и спокойствие во вверенном ему округе, но, с другой стороны, это же причиняло боль, ибо угроза потерять сноровку, утратить чутье становилась все реальнее. Верно, и какой-нибудь костоправ без клиентуры должен был бы переживать те же самые чувства, не имея возможности орудовать скальпелем и с ужасом ощущая, как постепенно и неотвратно деревенеют пальцы, слабеет мозг, пропадает решительность и нет уже былой точности у руки и у глаза. Так, наверное, и полководец, радуясь, что нет войны, то есть смертей, крови, разлуки и т. п., огорчается, лишенный возможности совершенствовать свое полководческое искусство, ибо хождение на парады, блистанье эполетами и даже маневры, где все как будто взаправду, тоже не спасение, и полководец в глубине души понимает, что напади враги, сразу-то и не придумаешь, что, куда, зачем, как, а когда придумаешь — глядь, и в плену или в могиле.

Вот почему, когда пришло распоряжение от генерала Потапова, от этого хорька в очках, относительно выяснения личности студентов, он кинулся к исполнению и живо все разузнал, но тут тонкого мастерства не потребовалось: все в Ясной Поляне было и без того на виду.

...И вот он прихлебывал чай, наслаждаясь вечерней тульской тишиной, но возбуждение от встречи еще не остыло.

«Значит, так,— рассуждал он под пение самовара,— родственник князя Долгорукова переодевается в гороховое пальто, напяливает в январе котелок и в таком странном виде, в простых дровнях, в обществе подозрительной личности отправляется в Ясную — и что вовсе невероятно,— вслух орет о своей тайне, будто для собственного реноме, и надеется таким путем выполнить весьма секретное, по всей вероятности, распоряжение князя!.. Да и князь-то хорош: обойдя меня, посылает кого-то, кто, не докладываясь мне, хочет что-то вынюхать...»

И вдруг обожгла страшная мысль: а не против ли него самого, полковника Муратова, все это? Уж не затихшая ли было столичная интрига воспряла вновь, и набирает силу, и в скором времени готова засиять еще страшнее? Как прохладно звучат последние письма генерала Потапова, как странно, не по-приятельски, отписывается полковник Воейков... И черт дернул его открываться полковнику Воейкову в сердечных делах! Как последний мальчишка, выболтал сердечные тайны — вот уж будет над чем посмеяться столичным коллегам...

Впервые сердце полковника дрогнуло с месяц назад при следующих обстоятельствах. До него дошел слух, что некая молодая дама, вдова прелестной наружности, будто бы говорила в узком кругу всякие лестные слова в адрес полковника в том смысле, что вот наконец повстречался ей человек, может быть, и не очень видный собой, но такой, за которым (ах, она и сама не знает почему) можно идти хоть на край света.

Николай Серафимович не был избалован женскими комплиментами, и дошедший до него слух не оставил его равнодушным. Засим наступило тягостное молчание, словно и не было никакой вдовы. Он продолжал заниматься службой, переодеваниями, мистификациями, психологическими тренировками, но втайне надеялся, что слухи возобновятся. Ожидание его не пропало даром, и спустя около двух недель (а ведь целых две недели она молчала, словно испытывала его, а может, и себя) стало ему известно, что снова где-то, в каком-то обществе, с большим пристрастием и с большой откровенностью она повторила свое о нем мнение.

Тут полковник заметался. Ему захотелось увидеть ее, предстать пред нею во всем своем служебном блеске и в блеске прочих своих достоинств, окончательно покорить ее, и ввести в свой дом, и развеять злостный миф о своем закоренелом холостяцестве. И вот он поручил молчаливой своей экономке выяснить все обстоятельства, за что она взялась с буйной энергией, и в скором времени знал адрес, положение и кое-что о внешних данных прекрасной и словоохотливой незнакомки. Новые заботы несколько смягчили грозные служебные предчувствия.

Время шло. Страсть и нетерпение возрастали. И решение пришло само собой. Однажды, переодевшись извозчиком, он выехал из своих ворот и направил лошадь

к дому вдовы. На углу напротив дома он остановился, опустил голову, словно в дремоте, и принялся ожидать. Ему повезло. Не прошло и получаса, как она сошла с крыльца. Он сразу же догадался, что это она. Скосив глаза, сквозь густые заросли парика, затаив дыхание, следил он за нею, и только чудом можно объяснить, что взгляд его не прожег ее насквозь. Да, она была хороша собой, даже лучше, чем он рисовал в воображении, и вздох облегчения и радости вырвался из его груди... Она отправилась вдоль по улице, а он тронул лошадь, развернул сани и, поравнявшись с ней, хрипло выдавил:

— Милости прошу, сударыня...

Вдова слегка удивилась, услышав столь вкрадчивое и изысканное приглашение. Видимо, поездка на извозчике не входила в ее планы. Но день был морозен и чист, экипаж удобен, извозчик добр, и она не раздумывая уселась в сани, сказала куда, и они понеслись.

...Зачем тебе алмазы и клятвы все мои!..

Снег скрипел под полозьями. Полковник был доволен, хотя трудно было понять — чем: то ли вот вдова попалась так удачно и была собой хороша сверх ожидания, то ли искусство перевоплощения сослужило добрую службу наконец...

А Дася (а это была именно она) сначала дивилась, что извозчик попался такой учтивый да чистый, не в пример обычному тульскому хамью, а после уже дивиться перестала, а просто с легким сердцем отдалась на волю волн, не заботясь о деньгах, которые грозились с нею расстаться, и, расслабившись по-женски, понеслась по городу, делая в лавках покупки, раскланиваясь со знакомыми и думая о предстоящем вечернем чае и о Михайле Ивановиче, почетном галицком гражданине, о том, как он шутит, рассыпая сладкозвучные французские слова, и как обнимает, и горит весь, и сгорает, хотя пламень у него недолгий и ненадежный. И она думала о господине Гиресе, носатом итальянце, или греке, бог его разберет, тайно вздыхающем у нее под дверью; и как они, два соперника, всегда натянутые, словно две струны, ловкие, словно борзые, вожделенно провожают ее взглядами... Давно Дася не жила так весело, так бездумно, ничего не видя перед собою и не задумываясь, что там может еще случиться...

Что же касается полковника Муратова, о котором она действительно имела смелость отзывать в обществе весьма недвусмысленно, так он волновал ее все меньше и меньше, ибо что ей журавль-то в небе?..

«Лошадь-то какая!» — думала она, наслаждаясь быстрой ездой.

Наконец путешествие подошло к концу. Она велела остановиться и вышла из саней. Но едва она успела раскрыть свой парчовый кошелек, как услышала свист и увидела, что полозья ускользают прочь...

— Куда же ты? — крикнула она.

Извозчик рассмеялся с козел, взмахнул кнутом и был таков. И ничего не запомнилось, кроме розовогубого, изогнутого в смехе рта, да черной бороды, да красного кушака...

С того самого дня полковник Муратов с упрямством богомольца и с постоянством маятника с утра и до вечера подремывал на своих козлах напротив прелестного дома с тайной надеждой повстречать ее вновь. И все бы теперь было хорошо и полно обаяния и каких-то сладких предчувствий, ежели бы не глупая история с Ясной Поляной и с таинственным родственником всесильного князя, да и он сам, полковник Муратов, лысый череп, развалина, хорош — затеял переписку с III отделением, а теперь машина заработала, колесо закрутилось, теперь они там бог знает что затевают: письма, распоряжения, приказы, инструкции идут одно за другим, ему не доверяют, его обходят, резвый родственник князя, прощелыга, тычет нос в чужие дела, бездарность, вынюхивает, запоминает, кретин, выскочка! А Дарья Сергеевна, вдова, — над всем этим, белолицая княгиня, прелесть, которой и спешить-то некуда, двери открывает редко, выходит и того реже... Где-то там, в ароматном своем гнезде... Чем же она там занята?.. О чем там все думает, вздыхает?.. На что надеется?.. Кого ждет?..

И вот однажды скрипнула знакомая дверь, полковник выглянул из-под черных косм. Сердце его остановилось, по спине пробежал холодок. С крыльца развязной походкой сошел человек, одетый не по-зимнему, в клетчатый картуз, запахнул в черное пальто и отправился по городу. На смуглом лице выделялся изогнутый, наподобие клюва, красный, необычный в этих местах нос.

Полковник обомлел. Крик отчаяния готов был вы-

рваться из его груди, и только крайним усилием Николая Серафимович удержал его. Нет, не странный вид человека взволновал полковника, но нерушимая, неземная крепость, где прелестная вдова предавалась печали, подверглась осквернению. Кто этот ужасный человек с птичьим носом и с походкой молодого лабазника, так просто сошедший с ее крыльца? Какая еще новая тайна сокрыта в этом внезапном явлении?

Полковник заскрипел зубами и, не спуская ненавидящего взгляда со спины незнакомца, тронул лошадь.

Едва свернув за угол, незнакомец ускорил шаг и помчался на своих длинных ходулях по Дворянской и по другим улицам, вытянув нос, не глядя на прохожих. Полковник Муратов подхлестнул лошадь. Теперь она бежала легкой рысцой. Незнакомец еще принажал, словно догадывался, что за ним погоня, затем побежал и вовсе, быстрее, быстрее. Лошадь уже скакала во всю прыть, снег летел из-под копыт.

Долго ли, коротко ли длилась скачка, а с версту они протянули. Внезапно незнакомец приостановился перед дверью харчевни и скрылся за ней. Сани замерли. Полковник вертелся на козлах, сгорая от нетерпения. Ждать пришлось недолго. Снова распахнулась дверь, и носатый господин, подобно черной непричесанной птице, с шумом вылетел прочь. Смутное лицо его выражало удовольствие. Он поглядел на извозчика. Взгляды их встретились.

«Теперь или никогда», — подумал полковник.

— Прокатимся? — спросил он, замирая.

— А давай, — легко согласился клетчатый картуз и рухнул в сани.

Поехали.

— Хорошо пропустить в морозец, — сказал незнакомец, икнув, — внутри горит, тепло...

— Ай вы нездешний, ваше благородие? — спросил полковник.

— А почему ты знаешь?

— Да уж больно шинок-то черный... Есть и почище заведения.

Незнакомец захохотал. Полковник оборотился. Белые крупные зубы — полон рот, черная челка, глаза горят, пахнет спиртом! Истинный дьявол!

— У нас торговать приезжают,— сказал полковник, напрягаясь,— кожа идет, пенька, тоже вот самовары...

— Ну, ты скажешь,— снова захохотал незнакомец,— да разве я похож на купца? Похож?.. Да ты погляди, погляди — разве похож?

Полковник снова оборотился.

— А кто вас знает... Всякие к нам ездят. У нас гостиниц да постоянных дворов много.

— Дурак ты, братец,— сказал господин в картузе,— нужен мне твой постоянный двор, как же...

— Славная птица,— подумал полковник с содроганием,— ничтожество, прощелыга, мерзавец...— И вдруг его осенило: — Да он у нее живет! У нее! Я ежедневно мерзну на углу, а он так просто живет у нее, обхохатывает ее дом, жрет, храпит... может быть, даже... Что?»

— Какой же я купец? — сказал незнакомец, едва ворочая языком.— А ежели я секретный агент из Петербурга?..

Полковник резко оборотился на эти слова и сказал с гневом:

— Да разве бывают такие секретные агенты?!

И вдруг осекся, увидел, что глаза прощелыги заволокло пленочкой, губы искривились.

— А что, барин,— спросил Николай Серафимович с подходом,— у тебя антирес какой?

— Дурак,— пробубнил незнакомец.— Помалкивай... Да поторапливайся. Их сиятельство господин Зимин ждет меня... начальник мой, командир, отец... и брат... А далеко ли до Ясной Поляны?

— Не, недалече,— сказал полковник, холодея.

И вот он доставил пьяную эту скотину обратно к тому месту, откуда и увез, и этот прощелыга, и не подумав расплатиться, взобрался на волшебное крыльцо и вскоре скрылся за дверью, мерзавец!

Спокойной жизни Николая Серафимовича наступал конец. События сошлись одно к одному, словно линии судьбы на ладони. Удивительно было то, что все завертелось вокруг дома, в котором жила вдова. Теперь любовные томления полковника слились с новой бедой и растворились в ней, отчего, кстати, он рук не опустил, а, напротив, выпрямился, напружинился, приготовился дать сдачи. Взмыленная его лошадь носилась по Туле, и он со

своих козел вглядывался в обывателей, прожигая их взглядом, и в голове его созревал план, который он в недалеком будущем и осуществил. Преследуя изредка красноносого своего прощелыгу, он со злорадством отмечал, что мерзавец этот никуда, кроме как в трактиры и в шинки, не заглядывает, но вот начальника его полковнику встретить не приходилось; родственник князя был воздушен, прозрачен и невидим.

И вот нынче бог помог полковнику Муратову. Какая была сумасшедшая скачка, какой вихрь... Зато не даром.

С утра он, как обычно, дежурил на своих козлах, как вдруг скрипнула вожделенная дверь и смуглый, красноносый прощелыга вывалился на крыльцо. Не успел полковник этому обрадоваться, как следом показался другой, в гороховом пальто, в черном котелке, в соломенных бакенбардах. С крыльца он быстро обежал взглядом прилегающее пространство, и маленькие его глазки впились в полковника. Николаю Серафимовичу даже нехорошо сделалось от этого, даже настолько, что ему показалось, будто этот новый спустился с крыльца, не касаясь ступеней, как бы по воздуху. Не успел полковник опомниться, как они скрылись за углом.

Так начал разматываться клубок. Они шли. Сани поскрипывали следом. На Сенном рынке они долго рядились с мужиком, наконец выбрали дровенки, сговорились и покатали. Дорога шла на Ясную! Вот тут-то и наступили сложности. С чего это, скажем, пустой извозчик торопится по пустой дороге? До сих пор опыт и бдительность помогали полковнику избежать разоблачения. Но теперь что было делать? На его счастье, дровенки притормозили у трактира, уже за городом, и путешественники отправились выпить и закусить. Теперь второе препятствие выросло перед полковником: слишком приметен его извозничий наряд! Тогда, недолго думая, помчался он в город, в свой дом, переоделся простым мужиком, впряг лошадь в дровни и полетел обратно... И успел, и даже перекинулся словами с родственником князя...

...И вот он сидел теперь дома, и отхлебывал чай, и наслаждался вечерней тульской тишиной, и, пережив первую злость и первые огорчения, уже спокойно разбирался в происходящем. План, вспыхнувший было в его голове, облекся в реальные формы. Он кликнул экономку...

«Ах ты господи боже мой,— подумал Шипов, открывая глаза,— время идет, а денег все нету... Кабы их побольше, а так и тепло не в радость. Еще, ваше сиятельство, я всего не взял... Рыбья кровь,— подумал Шипов о компаньоне,— одна суета в нем». Тоска охватила душу. Вот оно, суетливое счастье: словно паучок, соткавший паутинку, кинулся вниз головой, таща за собой серебряную ниточку, ветер подул — и паутинки нету. Та жизнь, яркая, полная тайны, сытая, как сбитые сливки, вся из лилового бархата, та жизнь, которая мерещилась, тоже, ровно этот маленький паучок, висела на серебряном волоске, манила, а не давалась. И Дасина любовь словно карасик в тине — и мягкий, да не ухватишь. А как же ухватить? Как изловчиться? От последних денег опять мало осталось. Опять надо письмо стряпать, выуживать у их сиятельства свое законное...

Стояла глубокая ночь.

Михаил Иванович сунул ноги в валенки, набросил пальто и заскользил вон из светелки, вниз, на двор, через кружевную гостиную в коридор, мимо молчаливых Дасиных дверей, мимо каморки, где блаженствовала Настасья, через сени, проклиная свою судьбу, компаньона, Тулу... Потом он возвращался со двора, не чая, как бы скорей добраться до постели и под одеялом забыться, забыться, забыться...

Но не успел миновать сеней, как сон будто рукой кто смахнул и тут же опасное намерение слегка укололо в груди и ноги встали как вкопанные.

«Напрасно так мучиться,— подумал он, принюхиваясь к ночному дому,— али я не помню, как она звала?.. У каждого свой интерес...»

Тут в его воображении возникла Дася в чем-то голубом, прозрачном, таинственном, как она утопает в перине, как разметала белые руки, грудь ее высоко вздымается, спальня наполнена ароматом духов (куды Матрене-то!..), едва слышным, легким звоном пружин, откуда-то из глубины, из тумана, губки горячие, еще горячее, чем в тот раз, и покуда в мире идет суета, кто у кого цапнет побольше, торопись, Шипов! Вот она, дверь, а там, за нею, господи боже мой, да есть ли что прекраснее?..

Он сделал легкий, бесшумный шаг, пальто, брошен-

ное на плечи, заколыхалось, подобно крыльям, половицы скрипнули, пламя лампадки дрогнуло.

Дверь в спальню была величественна, словно райские врата пред грешником.

Он сделал второй шаг.

«А как закричит?» — усмехнулся Михаил Иванович нервно.

И он шагнул снова, и лоб его уперся в дверь, и тут же послышался звон пружин из-за двери, сладкое почмокивание, бормотание... Ну, Дасичка, голубушка, открой глазки... Чудище в рыжих валенках трется жесткой бакенбардой об дверь, будто об твое плечико.

И он собрался было надавить плечом, как внезапно за спиной что-то звякнуло и дверь в Настасьину каморку распахнулась. Сердце Михаила Ивановича оборвалось: дородная незнакомая старуха стояла перед ним, внимательно, без страха его разглядывая. На ней было что-то черное: то ли платье, то ли панева, то ли ряса. Голову покрывал белый платок, из-под него торчали редкие седые космы...

— Бонжур,— сказал Шипов едва слышно.

— Ты кто таков? — сердитым шепотом спросила старуха.

— А ты? — содрогнулся Шипов.

— Я гостья, странница,— сказала она,— а ты чего тут?

— А я граф Толстой,— легко сказал Михаил Иванович, пряча страх, и попятился от нее.

Старуха перекрестилась.

— Батюшка,— проговорила она,— ты уж меня не обижай, бедную.

— Мерси,— откликнулся Шипов и взлетел в светелку.

Проснулся он поздним утром. Внизу хлопали двери, звякало железо, гудели голоса. В светелке у Гироса что-то тяжело рухнуло. Шипов усмехнулся, одним прыжком сорвался с постели, влетел к компаньону. Гирос распластался на полу, ухо по привычке вдавил в половицу.

— Фу,— сказал Михаил Иванович,— срам какой!

Гирос медленно поднялся с пола.

— Срам?.. Это твои посулы, Мишель, боком у меня выходят...

— Какие посулы? Какие посулы?

— А вот,— и компаньон ухватил со стола измятый



червонец и помахал им перед носом Михаила Ивановича, — вот они, все твои шесть тысяч серебром. Забыл?.. Ах, Мишель, не дай тебе бог меня обидеть...

— Забыл? — изумился Шипов. — Чего я забыл? А вот не забыл, се муа. А у меня они есть? Есть?.. Нет, я не забыл, лямур-тужур...

— Так дай мне их! — потребовал Гирос. — Не обижай меня, дай. Тогда я тебе не то что графа, я тебе тогда, Мишель... Я для тебя тогда...

— Помолчи, мон шер, — поморщился Шипов. — Срам какой... За серебро стараешься али для государя?

Гирос уселся на постель, обнял острые коленки, не откликнулся. Глаза наполнились тоской, нос указывал в оконце, будто собирался улететь из этого несправедного мира в иной, где шум людского моря, где весна вот-вот начнется, где шесть тысяч серебром устилают ровные широкие пляжи и горячи от солнца...

«Нет, — подумал Михаил Иванович, выходя, — толку мне от него мало. Корми, пои, а толку мало... Экий носатый черт!»

И тут ему захотелось снова вбежать к компаньону и дрожащей рукой хлопнуть его по красному носу, и еще раз, и еще раз, покуда проклятый пес не встанет на четвереньки и не завилает хвостом.

«А оттого, что в церкву не хожу, — подумал он мрачно, — чужая воля мною правит... Не в себе я...»

И вспомнил ночную старуху.

Когда медведя, хозяина нашего леса, раньше срока подымают из берлоги, где он до того сладко спал, посаывая теплую лапу, видел сытые сны из меда и земляники и вздыхал с шумом и благодарностью перед матушкой природой, и вот когда его подымают люди, которым до всего есть дело и которые не могут пройти мимо чужой берлоги, ежели там спит медведь, и им обязательно нужно его поднять да пырнуть рогатиной, потому, видите ли, что они ходят, а он спит, и вот когда они его подымают, отрывают от снов и благоговения, душа его не знает ни скорби, ни боли, а только один гнев.

Вот так и Михаил Иванович ощутил в груди жжение, будто горячий, расплавленный сок в нее пролили, а это и был гнев. И, переполненный этим гневом, он спустился вниз пить молоко с опостылевшими ватрушками, чай с медом, но сквозь гнев все, и прошлое, и настоящее, ви-

делось ему чужим, и постылым, и придуманным: и кружевная Дасина зала, и стол с самоваром, и сама Дася, глядящая на него с многозначительной грустью, и князь Долгоруков, и граф Толстой, и жизнь до Тулы и в Туле, и лишь волки, те самые дорожные разбойники, виделись ему настоящими, во всей своей ночной разбойной красе.

Давешняя старуха уже была за столом и прихлебывала с блюда. Дася сидела рядом, словно именинница.

Михаил Иванович церемонно поклонился, будто он и в самом деле граф. Дася сделала ему ручкой: мол, не мешайте. Старуха молчала. Наконец чай был допит.

— Поживу у тебя до завтра, — сказала старуха, — а там и обратно пора...

— Пожила бы еще, Серафимовна, — сказала Дася с огорчением. — Куда тебе торопиться?

— Нет уж, милая, нет уж... У тебя мужчин много. — И она неодобрительно взглянула на Шипова.

Лицо у нее было круглое, слегка обрюзгшее, взгляд тяжелый.

Дася вздохнула.

— Благодарствуйте, — сказала старуха обиженно и пошла из комнаты в Настасьину каморку.

Дася снова вздохнула.

— От самого Киева пешком идет, от святых мест, — сказала с благоговением и вдруг рассердилась: — А вот прогнать бы вас, мужланов, а самой помолиться сходить!.. И зачем я мужчин в дом пустила? Грязь, суета... разговоры кругом...

— Дормир? — удивился Михаил Иванович. — Чем же я перед вами провинился?

Она прикоснулась пальчиком к пухлой губке: вот, мол, куда целовал, или позабыл?

— А почему вы скрывали, что вы граф? А?

— Виноват, — заспешил Шипов, — растерялся, се муа...

Ее рука качнулась, показывая какой-то тайный знак. Было непонятно.

— Ну, — сказала Дася, — говорите, где она вас застала?

Дыхание ее участилось. Шипов молчал. Водил глазами по комнате.

— Где? У моих дверей?.. Да говорите же...

«Хороший дом, — размышлял Михаил Иванович, —

кабы денег поболее, можно было бы очень просто с Дасей договориться. И зажили бы счастливо. Вот, мол, Дасюшка, мои деньги, с имения моего, я его продал, моя, мол, доля. И зажили бы счастливо. Приехал бы вдруг подполковник Шеншин: ты что же это, мол, от дела отстал? Ах, ваше высокородие, мое дело теперь, аншанте, издеся. У меня вот дом свой, супруга-с... А об государе, мол, кто думать должен?.. Нет, ваше высокородие, вы уж меня увольте. Я этого наелси... И жили бы счастливо».

— Я слышала, как вы о дверь мою бакенбардами скреблись,— сказала она шепотом.— Чудовище! Другая бы давно вас прочь прогнала, а я терплю...

— Ей-богу, не виноват...

Тут вышла из каморки странница, оглядела их, хлопнула дверь и направилась в кухню, где Настасья гремела посудой.

— А у вас имение большое? — вдруг спросила Дася, задыхаясь.

— Пятьсот душ.

Она провела ладонью по круглому плечу и поглядела на Шипова.

— Гм,— пробормотал он,— нынче март уже, солнышко...

— Солнышко, солнышко,— прошептала она и запрокинула голову, обнажая шейку.

«Те-те-те-те,— подумал он,— началось...» И вскочил.

Странница вышла из кухни, уставилась, будто сова. Гирос спустился сверху. Он старался не смотреть на Шипова и вдруг увидел странницу.

— Ох,— сказала она, крестясь,— черен-то, черен-то!.. И нос крючком... Да откуда ты, милая, их берешь?

— Я же грек,— захохотал Гирос.— Вы не бойтесь, не бойтесь.— И Дасе: — Она ваша матушка? Да неужели матушка? Какая радость!.. Вы Дарья Сергеевны матушка?.. А Дарья Сергеевна наш ангел...

«Каналья,— подумал Шипов,— нос бы тебе своротить... За что я ему деньги-то даю? За что?»

— Какая радость! — кричал Гирос, распалаясь.— Да вы со мной не церемоньтесь... Хотите, я вас буду матушкой звать? Мне ведь ничего не стоит... Хотите?

— Сгинь! — гневно крикнула старуха, и круглое лицо ее покрыл румянец.

Она исчезла в каморке. Дверь хлопнула.

И вот пришел вечер. В это время суток, как о нем ни судят с пренебрежением, всегда больше озарений. То ли темнота тому способствует, когда ничто не отвлекает взгляда, то ли окончание дневных забот... И еще не успело, как говорится, мраком наполнить углы, как что-то кольнуло Шипова в темечко и хоровод внезапных озарений заставил его вздрогнуть. Тревога и печаль, обуревавшие его последнее время, не смягчились, но внезапно стало полегче, словно потолки поднялись. Он почувствовал, как некая неведомая ему доселе сила напрягла мускулы, мысли завертелись, одна другой соблазнительней и прекрасней, впереди, не скрытая, как обычно, туманом, проглядывала его конечная пристань, к которой ему должно стремиться: все было необычно как-то, невероятно, и даже его соломенные бакенбарды, когда он к ним прикоснулся, ответили легким потрескиванием.

«Амадей за червонец может удавить. Стало быть, надо побережись,— решил он легко и просто.— К Дасюшке скорее проникать, хватать ее за белые плечики, покуда она горит вся... Вот, Дасюшка, капитал мой — тыща рублей. Хочу в Туле жить, рядом с графом Толстым... А чего граф? За него ведь деньги дают. Ну, вроде бы он со мной делится доходами своими...»

Среди множества отчаянных комбинаций, лихорадочно бившихся в его воображении, одна вдруг стала обретать формы, цвет и запах и загудела, застонала, привлекая к себе внимание, и он, словно утопающий, рванулся к ней навстречу, пуская пузыри, барахтаясь, плача, простирая руки, и наконец коснулся ее и понял, что спасен.

Он вскочил с кровати, на которой мучился с самого обеда, изобретая новые радости для себя, вскочил, полный неизъяснимого восторга и просветления, разложил на столике бумагу, чернила, перья и пустился в спасительный вояж.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

М. Зимина

*Его Высокоблагородию Господину
Подполковнику Шеншину*

Ваше Высокоблагородие не извольте беспокоиться уж коли я взялся дело будет. Вы мене выговариваете что дескать я не шибко расторопен, а время мол идет и что ради Государя нашего надобно стараться, а я и стараюсь Ваше Высокоблагородие и вот чего придумал.

Вы волнуетесь Ваше Высокоблагородие что мол никак невозможно заговорщиков тех изобличить, нет Ваше Высокоблагородие очень даже возможно. В Туле имеется у меня знакомый наборщик который говорил мне что можно незадорого купить готовые станки для печатания, набрать людей за плату, откупить какой подвал, прибрать в нем, поставить станки, бумагу купить, краски и прочее.

За таким делом можно очень даже просто войти в сношения с заговорщиками будто у нас тоже тайная типография, то есть можно привезти к нам ихнего Графа Толстого, пушай он убедится своими глазами будто мы тоже противу властей стараемся. В етом убедившись почнет он нас считать за своих, и мы за таким делом будем с ними связаны.

Ваше Высокоблагородие поверьте что я не за себя стараюсь и ночей не спал все думал, как их получше раскусить. Вы может подумаете что я ради денег стараюсь, а я ради Государя как Вы меня учили и ради Князя Благодетеля моего. А не будет денег так я ишо чего-нибудь придумаю да время-то уйдет, вот чего жалко.

А в Ясную Поляну попасть очень трудно, у них там двадцать мужиков сторожат днем и ночью, а уж поймут — псами затравят, палками забьют, я конечно Князя не выдам благодетеля моего, да зачем же зря помирать? Денег надобно по первому счету 1000 рублей.

*Остаюсь Вашего Высокоблагородия
Покорный Слуга*

М. Зимин

И вот письмо, расправив крылышки, полетело в Москву пугать и тревожить высокое начальство и добывать Шипову хрустящие ассигнации, без которых ничего не могло осуществиться.

Амадей Гирос гулял где-то на свой печальный червонец, как бы вовсе и не заботясь о будущем.

Ночь, как говорится, входила в свои права. Постепенно затихали шаги, скрип половиц, приглушенные разговоры.

Старуха улеглась, вздыхая, в Настасьиной каморке, в то время как Настасья прикорнула в кухне на топчане.

Одна Дарья Сергеевна, Дася, в кружевной гостиной напевала с недоумением, но вскоре и она ушла, хлопнув дверью, и Шипов услышал, как она шлепает по полу и разговаривает сама с собой, и изредка что-то похожее на тихий стон пролетало по умолкнувшему дому.

Михаил Иванович засыпал в страдании и беспокойстве. То проваливался куда-то, то возникал снова. Дыхания не хватало.

Прохладная влага выступила на лбу. Он попробовал открыть глаза — ничего не получилось, а вокруг стало светлее, и даже сквозь тяжелые веки пробивался этот свет. Страх охватил секретного агента. И он вспомнил про бога и потянулся к нему обеими руками... Защити и помилуй!.. Он просил тысячу рублей, которых ему не хватало для полного счастья. Но бог был милостив на то, чтобы успокоить вьюгу, или мороз ослабить, или спасти от голодных волков, а к деньгам же он был безучастен. Тысячу рублей — чтобы встать на колени перед Дасей, а потом, сменив манишку, и котелок, и сапоги, выпив кофею, идти с бывшей вдовой по Дворянской, по Миллионной, туда, туда... А куда? А кто ж его знает, куда? Туда, туда, туда...

Свет все усиливался, стал ослепительным, невыносимым, и тогда кто-то тяжело опустился рядом и помог Михаилу Ивановичу приподнять веки, и Шипов увидел подполковника Шеншина.

— Ну-с,— сказал Шеншин,— в Ясную Поляну поедем али что будем делать?

Михаил Иванович кивнул согласно.

— Будем ради ассигнаций стараться али ради государя?

Шипов снова кивнул.

«Бог не слышал, чего я ему говорил,— подумал он с отчаянием,— кричать надо». И закричал. И проснулся. В светелке было темно. За стеной похрапывал воротившийся Гирс. Вдруг дверь распахнулась, и влетел ангел.

— Ты чего это? — спросил Шипов. — Спать надо.

— Я тебе денег дать хочу,— сказал ангел. — На-ка вот, послужи мне.

Он увидел пачку ассигнаций и протянул руку. Ангел засмеялся.

— Ты для денег стараешься али ради господа нашего?

Михаил Иванович ухватил пачку, потянул к себе и обжегся. И тут же проснулся.

В светелке было темно. В доме было тихо. Дверь тихонечко скрипнула, растворилась, кто-то большой и расплывчатый бесшумно ввалился в светелку и задышал в самое ухо.

«Кто? Кто?» — подумал Михаил Иванович, но тут же понял, что это граф Толстой.

— Я тебе дам тысячу рублей,— сказал граф,— а ты уезжай в Москву...

— Да за что же это, ваше сиятельство? — удивился Шипов и заплакал.

— К Матрене езжай, а ко мне не езди... Больно ты мне надоел...

— А как же подполковник-то?

— А я его убил...— сказал граф.— И губернатора убил. Скоро и до государя доберусь...

«Да пропадите вы все!» — подумал Михаил Иванович, напружиниваясь, протянул руку и взял деньги.

— Премного благодарен, мерси,— сказал он.— Я сейчас к Дасичке бы полетел, да старуха, лямур-тужур, мешает.

— А я и старуху убил,— засмеялся граф.

И Михаил Иванович проснулся.

В доме стояла тишина, но она была такая, словно сон продолжался, и какие-то призрачные раздумья и картины возникали в больной его голове, и ему представлялась спальня, где спала вдова, облаком, источающим свет, небесной крепостью, а себя самого Михаил Иванович представлял в образе сатаны и даже потянулся рукой к пят-

кам и нащупал копытца. И тут вдруг стало ему легко, и ничто не болело, и он уже ощущал пол босыми ногами и уже стоял в начале скрипучей лестницы, готовый ринуться на грешную землю, где все дозволено и все возможно.

Так он стоял в одном исподнем, валенки, против обыкновения, позабыв в светелке, пальто тоже.

И вот он сделал шаг. Ступеньки легонько вскрикнули. Дальний свет лампадки вздрогнул и погас: Он шагнул снова. В светелке Гироса что-то громынуло. Шипов понял: компаньон уже воротился домой и теперь припал к замочной скважине. И верно, Гирос следил за ним, но сначала ничего не мог разобрать в темноте, а затем — то ли луна заглянула в окно, то ли глаза по привычке — перед ним закачалась белая зыбкая фигура Шипова, медленно крадущегося вниз по ступеням.

В этот момент случилось невероятное: Шипов замер, затем взмахнул руками и плавно слетел в кружевную гостиную. Гирос чуть было не закричал.

Куда же ты, полночный дьявол с повадками ангела?

Снизу донесся шорох, и Гирос вырвался из светелки, готовый единоборствовать с кем угодно за свои права. Что случилось с греком? Или и ему пришел черед показывать когти? Или там, внизу, в таинственной тишине, действительно обреталась самая высшая из надежд, перед которой все ничтожно — и слава, и почести, и деньги?

Высоко вскидывая худые коленки, Гирос торопился схватить соперника на месте преступления. Распаляя себя, он ясно видел опостылевшие бакенбарды, востренький недоверчивый подбородок и зеленые глаза Шипова, способные иногда привести в отчаяние.

Уверенности в успехе, как всегда, не было, но ноги несли, худые коленки взлетали с остервенением. На какой-то миг он снова увидел перед собой белую фигуру, окруженную зеленоватым сиянием: Шипов застыл на распутье, голова растворялась в темноте. Безголовое чудовище едва дышало, а может, просто подкарауливало чересчур ретивого компаньона.

«Идет, прощелыга, торопится!» — подумал Михаил Иванович с досадой.

Ему показалось, что он мышка, а норка забита, не спрятаться. И в этот момент норка растворилась и вдова,

зевая и крестясь, выплыла из нее, едва не задев Шипова. Гирос застыл, подобно монументу. Дася исчезла на кухне. И тогда Михаил Иванович качнулся и пропал в спальне.

Гирос присел на последнюю ступенечку и тихонько завыл.

Тут из Настасьиной каморки вывалилась громадная старуха и, озираясь на Дасину дверь, протопала во двор.

Пробравшись в спальню, Шипов совсем одурел, вдохнув аромат духов, теплой постели и сна. Перед ним возвышалась Дасина кровать, подобная лобному месту. Палач в красной рубахе похаживал в душе Михаила Ивановича и манил его пальцем. Михаил Иванович пал на колени, голову положил на взбитое одеяло и, слабея, стал ждать. Но минуло много ночей, а Дася не появлялась. Видимо, старухина святость была сильнее его страсти. Он погладил одеяло, дотронулся до простыни: она постепенно теряла тепло, холодела, становилась равнодушной.

Когда б он знал, что его компаньон бесшумно кружится за дверью, ломая руки и шепча проклятья, он бы, наверное, не стоял, коленопреклоненный, у Дасиной кровати, а принял бы вызов и в замершем доме грянули бы звуки борьбы, но Михаил Иванович о том не думал, а словно воин, вернувшийся после долгих скитаний, никого не заставший, ждал и терял надежду.

Тем временем Гирос, покружившись, приблизился к Дасиной спальне и, содрогаясь от печали, припал ухом к дверям, чтобы услышать наконец торопливое перешептывание ангела и сатаны. Так он стоял, ожидая удобного момента, чтобы ворваться туда и в единоборстве решить свои права, и не заметил, как за его спиной, испуганно всплеснув рукавами пеньюара, вдова отскочила от него, кинулась вверх по лестнице и укрылась в светелке у Шипова в надежде найти у него защиту.

Михаил Иванович всего этого не знал и не слышал. Простыня была совсем уже холодна, аромат духов смягчился, дурман постепенно рассеялся, и в его голове возникла вдруг совершенно отчетливая картина: Дася, обливаясь слезами, стоит перед собственной дверью, не зная, как войти, потому что перед нею, расставив длинные подлые ручищи, раскачивается красноносый грек, и прибли-

жается, и скалит зубы, и сопит, и еще мгновение — он обхватит ее и понесет в охапке в свою светелку... И в этот момент Шипов услышал стон, глухой и далекий. Он вскочил, вслушался. Стон повторился. О дверь что-то терлось — то ли ухо Гироса, то ли Дасин пеньюар. «Обнимает!» — догадался Шипов и одним прыжком пересек комнату и распахнул дверь. Послышался удар. В полумраке коридора перед Шиповым стоял Гирос, держась за щеку.

— Сейчас бить буду, — шепотом сказал Шипов.

— Бей, Мишель, — будто насмешливо откликнулся Гирос и загородился тонкими руками.

Но что могли эти несчастные жердочки перед напором урагана? Они разлетелись в разные стороны, ограда рухнула, и жилистый кулак Михаила Ивановича свободно долетел до длинного носа компаньона. Нос хрустнул. Компаньон, отброшенный к стене, ахнул. Всего одно мгновение продолжалась буря. Не успел кулак взлететь еще раз, а Гирос уже мчался по лестнице, пригнувшись, перебирая ступеньки ногами и руками. Окрыленный успехом, Михаил Иванович бросился было следом, чтобы пригвоздить мерзавца к позорному столбу, но пройдоха успел уже заскочить в свою светелку и задвижка щелкнула. Шипов, как поджарый хищник, испуская в душе сладкий клич победы, затрусил обратно к Дасиному логову, куда его влекла природа.

Видимо, уже начинался рассвет: все в доме приобрело смутные очертания, все как-то уже виделось, виднелось, различалось, обретало названия, и Шипов в своем исподнем переставал походить на привидение, хотя об этом не думал, а рвался туда, туда, в аромат духов, в объятия, в тайну.

И вдруг он замер. Ужасная картина раскрылась перед ним. Из распахнутых дверей Дасиной спальни, осторожно и вкрадчиво ступая, показался Гирос, словно это не он только что ускакал на четвереньках в свою спасительную, заоблачную светелку...

— Ааааа! — зарычал Михаил Иванович и ринулся на врага.

Они сцепились, рухнули и покатались по полу, разрывая одежду, и в тот момент, когда Шипов уже было дотянулся кулаком до отвратительного носа, нос дрогнул и легко отделился от лица компаньона. Затем в полу-

бреду Михаил Иванович видел, как сполз с головы врага черный косматый парик, и круглое, розовогубое лицо проклятой старухи открылось перед секретным агентом.

— Ай да граф! — едва слышно захохотала старуха, поднимаясь с пола. — Испугались! А ведь ночью не то еще бывает... — И, ловко вскочив, исчезла в Настасьиной каморке.

Ничего уже не понимая, Шипов попятился и снова очутился в Дасиной спальне, возле кровати вдовы. Розовое одеяло неподвижно громоздилось на холодной простыне. Сломленный всем происшедшим, Шипов свалился на пол и замер. Теперь ему хотелось одного: прижаться щекой к Дасиным коленкам, и закрыть глаза, и уже никогда не открывать их. И тут, словно услышав его желание, она тихо вошла в спальню. Она увидела его, распростертого у кровати, но не испугалась, и не закричала, и не кинулась прочь. Медленно, едва касаясь пола, подходила она, и Михаил Иванович расслабленно ждал, когда же она совсем приблизится и положит прохладную маленькую свою ладонь на его горячий лоб. Она приближалась. Голубой ее пеньюар явственно просматривался в сером утреннем свете. Он зажмурился. Половицы слегка подрагивали. Затем все смолкло и Шипов ощутил на лбу прохладную ее ладонь. Он потянулся к ней. Она вздохнула и присела на кровать.

«Те-те-те-те, — подумал он, успокаиваясь, — ко-ко-ко-ко...»

И тут былая страсть вспыхнула в нем, и, полный восторженной благодарности и любви, он вскочил и обнял вдову, и тут же ее ручки обвились и скрестились у него за спиной.

— Ле-ле-ле-ле, — горячо зашептал Шипов, и она обняла его крепче. — Лю-лю-лю-лю? — спросил он, млея, и она сжала его так, что перехватило дыхание. — Дасичка... — прохрипел он удивленно и рванулся, чтобы заглянуть ей в глаза, и закричал в ужасе — перед ним маячило розовогубое лицо старухи. Она сжимала его все сильнее и сильнее и при этом не переставала беззвучно смеяться.

— Что, граф, какова моя любовь? — спросила она и вдруг оттолкнула его.

Не помня себя, он вылетел из спальни и, подобно

своему компаньону, на четвереньках заскакал вверх по лестнице.

Там, наверху, казалось, было спасение. Но разве мы знаем, что может ожидать нас за ближайшим поворотом? И Михаил Иванович, ворвавшись к себе, увидел, что проклятая старуха уже здесь и уже сидит на его постели, кутаясь в голубой пеньюар, и не оборачивается, чтобы Михаил Иванович, упаси бог, раньше срока не заметил ее круглого, розовогубого лица.

Когда смертельное кольцо сжимается, загнанный зверь становится страшен. Отчаяние правит им. Тогда для него не существует ничего. И Михаил Иванович, вместо того чтобы кинуться прочь, закусил бледные губы и решительно навалился на обидчика. Удар был так силен, что старуха взвилась, натолкнулась на комод и закричала в полную силу:

— Мужик! Свинья! Как ты смеешь! Вон из моего дома! Настасья! Да Настасья же!..

— Дасичка...— ахнул он и в беспомощности грянулся об пол.

Компаньон за стенкой все слышал. Он глянул в щель. Дася бежала по лестнице, рыдая и зовя на помощь. Амадей Гирос не выдержал. Страх перед Шиповым померк. Он видел только удаляющуюся спину вдовы, видел ее мелькающие пяточки, и это придало ему смелости. Уже не таясь, быстрыми прыжками понесся он вослед, чтобы наконец очутиться перед нею, перед плачущей и оскорбленной, и вымолить себе снисхождение. Он видел, как голубые крылья мелькнули в дверях спальни, будто призывая его, Гироса, но дверь захлопнулась. И в этот момент чья-то тяжелая рука опустилась на плечо итальянца. Он попытался отскочить, но рука держала крепко.

«Неужто Мишель?!» — подумал он, холодея, и оглянулся. Старуха странница стояла перед ним, вперила в него холодный взор, поджав розовые губы.

— Я жандармский полковник Муратов,— сказала она непреклонно.— Следуйте за мной.— И подтолкнула его.

Они сбежали с крыльца. Красный, побитый нос Амадея стал еще багровее от раннего мартовского морозца. Черная челка безобразно сползала на лоб. Страх мешал Гиросу соображать, а уж надеяться на чью-то помощь здесь, на пустынной улице, не приходилось и вовсе. Сильная рука полковника сжимала плечо. Впереди откуда ни

возьмись из серой дымки возникли лошадь, пустые сани. Полковник подтолкнул его к экипажу. Гирос собрался было занести ногу, но от толчка подлетел кверху, и перевалился через край, и замер на самом дне.

— Лежать и не шевелиться,— сказал полковник жестко и исчез в утренней дымке.

«Пошел за кучером»,— догадался несчастный Гирос.

Вдруг невероятная мысль обожгла его: ухватить поводья, крикнуть, свистнуть — и ищи ветра в поле!.. Но пошевелиться было страшно. Дася позабылась мгновенно, но тошнило то ли от мелкого страха, то ли от холода. Вдруг слышались шаги. Чернобородый кучер легко вскарабкался на облучок, и сани тронулись. Полковника не было.

«Ай-яй-яй,— подумал Гирос, коченея,— радость какая!..»

Кучер взмахнул кнутом, и застоявшаяся лошадь пошла крупной рысью. Гирос, осмелев, выглянул из саней, и ему привиделась зыбкая фигура полковника, вынырнувшего из-за угла, и даже слышался истошный крик..

— Гони! — крикнул Гирос кучеру.

Кнут свистнул. Лошадь понеслась галопом.

— Гони! Гони! — орал Гирос, захлебываясь от счастья и страха.

Где они скакали, определить было трудно. Безнадёжно отставший полковник бесновался где-то там, позади, за каким-то там углом. В довершение удачи Гирос вспомнил, что в кармане еще осталось немного денег, и велел кучеру гнать к ближайшей харчевне. И тотчас сани послушно свернули за угол, за другой, пошли медленней, и не успел Гирос осмотреться, как они въехали в ворота и остановились. Кучер проворно слетел с облучка...

Зачем тебе алмазы и клятвы все мои?..

— Ну, молодец,— сказал Гирос, вываливаясь из саней.— Хорошо гнал, ух, как хорошо! — И подрыгал затекшими ногами.

Тут кучер подошел к нему, взял его за плечо и сказал:

— Я жандармский полковник Муратов... Следуйте за мной! — И потащил опавшего Гироса в дом.

Все остальное происходило как в тумане. Они прошли по каким-то коридорам, лестницам, переходам, миновали несколько комнат, пока не остановились в большой и



просторной, с высокими окнами, с мягкими креслами, с большим пузатым столом, загроможденным книгами. Полковник велел Амадею ждать, а сам вышел. Отчаяние овладело Гирсом. Он поминутно вздрагивал и озирался, словно теперь уже отовсюду мог возникнуть страшный полковник, и даже в неподвижной мебели чудились ему подвох и тайна. Мозг уже не искал спасения. Просто хотелось скулить, ни на что не надеясь. Тошнота усиливалась. Вдруг вошел полковник. Одет он был на сей раз в длинное серое платье с буфами, на нем был седой, хорошо забранный вверх парик, лицо было круглое, уже немолодое, светлые глаза безразлично оглядывали Гирса. В руках полковник держал поднос, уставленный тарелочками, вазочками и двумя большими чашками, над которыми поднимался пар. Сильный аромат кофея донесся до Амадея, и он очнулся.

— Ваше высокоблагородие,— сказал он жалобно,— да вы со мной не стесняйтесь, бейте меня, ваше высокоблагородие, я пес... Я все могу, вы меня не стесняйтесь... Вы только приглядитесь ко мне, какой я пес... Хотите, я на четвереньки встану? Хотите? Мне ведь ничего не стоит, ваше высокоблагородие...

В это время действительно вошел полковник Муратов, свежий, розовогубый, в служебном мундире.

— Ай! — крикнул Гирс и заслонился обеими руками.

Экономка поставила поднос и удалилась.

— Ну-с,— весело сказал полковник,— будем дружить?

...Утро совсем занялось. В окно полилось солнце. Март-то ведь был на исходе, то есть почти уже был апрель, и зима не могла заявлять своих прав, она сдавалась перед весной, и только остатки почерневшего снега, да мороз по ночам, да северные ветры еще напоминали прошедшее. Но уже было новое в природе, и деревья готовы были стрелять в синее небо первой зеленью, и вода освобождалась ото льда, и люди распахивали сундуки, и пора уже было ждать первых цветов, первых пчел и всяких весенних ароматов и звуков.

И, может быть, поэтому, когда полковник Муратов весело сказал, что, мол, будем дружить и Гирс увидел солнце, он не стал падать на колени, а поверил полковнику и согласно кивнул, и кивок этот означал, что, мол, я киваю вам в знак того, что мне незачем перед вами скры-

ваться и таиться, ибо мы с вами дети одного племени и, хотя мы обманываем друг друга, пока нам обманывается, но как только обстоятельства хватают нас за локоть, мы готовы и признаться, и повиниться, и руки друг другу протянуть.

Вот что означал этот кивок поверженного итальянца, и полковник встретил его новой улыбкой.

— Ну-с,— сказал он,— будем дружить. Я по лицу вашему вижу, что вы измучились. Верно? Вы пейте кофей, пейте...

— Верно, очень верно,— сказал Гирос.— Он мне сулил золотые горы, шесть тысяч рублей серебром, серебряные горы, шесть тысяч, а дал червонец.

— О,— сказал полковник,— здорово вы попались! Да я попробую вас выручить...

— Он все себе брал, а мне ничего.

— Нынче совсем весна... А вы воротитесь домой, будто нигде и не были, верно?

— С превеликим удовольствием, ваше высокоблагоро...

— Ваш компаньон — граф?

Гирос захохотал.

— Пейте кофей, остынет. Я так и знал. В Ясной вы не были?

— Ваше высокоблагородие,— сказал Гирос, окончательно приходя в себя,— дозвоьте, я с вами на «ты» буду?

— Нет,— сказал полковник и скривил розовые губы,— не дозволю. Вы существо маленькое, зависимое. (Гирос захохотал.) Ну, правда же, правда же... Вы лучше старайтесь быть мне полезным. Я, правда, шести тысяч вам не обещаю (Гирос захохотал), но вы старайтесь, старайтесь, и все будет хорошо, видит бог. А не будете стараться...

Гирос. Господь с вами! Да я для вас...

Полковник. А не будете стараться — у меня, видите, какая рука?

Гирос. Да что вы, ей-богу! Я пес! Вы меня только поманите, только прикажите: «Ату!» И я готов. Мне ведь ничего не стоит...

Полковник. Ну хорошо. Я дам вам немного денег. Он вам тоже ведь обещал? Сколько он обещал?

Гирос. Шесть тысяч.

Полковник. Ну, это слишком. Я вам дам четвертной. А?

Гирос. Благодарен, благодарен! Конечно...

Полковник. Что «конечно»? Будете стараться, черт вас подери?

Гирос. Расшибусь. Как пес. Вы только кликните... Ваше высокоблагородие, дозвоьте, я вас на «ты» буду?..

Полковник. Теперь так, слушайте. Чтобы полное молчание. Вы меня не знаете, дома у меня не были. Скажете вашему другу, что должны вы отправляться в Ясную, пусть он вас отправит... А вы отсидитесь в трактире. Я вас сам найду, сударь, понятно?

Гирос. Понятно, понятно. Пошел Амадей по следу!

Полковник. Все его письма скопируйте, храните для меня. Понятно?

Гирос. Ваше высокоблагородие, да вы пинайте меня, пса, бейте... Я ведь было совсем нюх потерял... А вы велите мне идти по следу! Я готов, ваше высокоблагородие...

Полковник. А что, сударь, очень он хозяйку вашу охаживал? Не было ли там чего?..

Гирос. Было, ваше высокоблагородие, было. Как же не было, когда было! Разве я посмею сказать перед вами, мол, не было, ежели оно было...

Полковник. Черт возьми! А вы-то что же? Вы-то на что же?.. Черт вас подери!

Гирос. Я мешал, ваше высокоблагородие, видит бог. Ничего не было. Да вы бейте меня, бейте, не стесняйтесь...

Полковник. Было или не было?

Гирос. Не было...

Полковник. Допивайте кофей...

Гирос. Кофей у вас вкусен!.. Ваше высокоблагородие, дозвоьте, я на «ты» вас буду?

Полковник. Что еще за манеры?

Гирос. Это я так, да вы меня не слушайте.

Полковник. А что он в Петербург сообщал?

Гирос. Страшно говорить. Дозвоьте, я вам пошепчу... (шепчет).

Полковник. Ничего себе! Какая ложь! Да он-то сам там бывал, в Ясной? Он сам-то видел?..

Гирос. В том-то и дело, что не был...

Полковник. А вы?

Гирос. Я, конечно... То есть не то чтобы был... То есть я был.

Полковник. Да и вы не были, черт вас возьми!

Гирос. Я? Ваше высокоблагородие, я там не был,

Полковник. Чего же вы мне врете?

Гирос. Я вру?! Да вы бейте меня, ваше высокоблагородие, пинайте меня, ежели я посмею. Я не вру, ваше высокоблагородие. Он там не был и графа не видал.

Полковник. А вы?

Гирос. Я был... То есть где? В Ясной? Не был, ей-богу...

Полковник. Как же вы, черт возьми, донесения пишете?

Гирос. Я не пишу. Это он пишет, Шипов.

Полковник. Значит, он там был?

Гирос. Он? Он был. Несомненно.

Полковник. Как же он был, когда вы только что утверждали, что не был?

Гирос. Он? Он не был, ваше высокоблагородие. И я не был...

Тут полковник вскочил.

— Ай! — крикнул Гирос и заслонила обеими руками...

Николай Серафимович принялся выхаживать по кабинету, не говоря ни слова, да так стремительно, что давний неведомый мотив не поспевал, летя за ним следом, и ударялся об стены, и разлетался в мелкие брызги, часть из которых попадала на Гироса.

...В полку небесном ждут меня...

«Какое свинство! — думал полковник. — Какая грязная возня! И вокруг чего?.. Навозные жуки высасывают из пальца историю, чтобы доказать мне, что я свинья! Кому это надобно?..»

...Зачем тебе алмазы?..

— А что, — вдруг оборотился он к Гиросу, — значит, ежели вы правы, стало быть, я полная свинья?

— Упаси бог! — испугался Амадей.

— То есть вы получаете деньги и умываете руки, а я — ничтожество и бездарность, ибо я никакой угрозы от Ясной не наблюдал, а вы наблюдали?

— Упаси бог, ваше высокоблагородие...

«Она энергична и умна,— продолжал размышлять полковник.— Слава богу, я в том убедился. Добра, женственна... Чего же тянуть?»

— Вы, не прикладывая усилий, развратничая и пьянствуя, оказываетесь зоркими охранителями порядка, а я — дурак и ротозей — проворонил подпольные станки и всякие козни графа Толстого?.. А может, вам поручено меня дискредитировать?

— Да что же это такое! — в отчаянии крикнул Гирос.— Ваше высокоблагородие, куда же это годится? Это же напраслина!..

«Просто я отправлюсь к ней,— подумал Николай Серафимович,— и скажу, и все ей скажу... Что же будет? Укажет на дверь? Не укажет. Одинокая, беззащитная, белорукая... Не укажет, не укажет...»

— Вы славный человек,— сказал он Гиросу, отчего итальянец даже просиял.— С вами можно иметь дело... Жаль, что вы успели уже себя немного очернить, когда пустились в ложь... Тамбовский мещанин и все такое... Жаль.

— Ой-ёй-ёй! — захохотал Гирос, запрокидываясь.— Я им заливал, а они и ушки развесили! Да ведь я так это. Дай, думаю, ляпну...

— А жаль, а жаль...

— Да господи, это ж я так, пулечку пустил... Ну, пустил маленькую... ну, простите, ваше высокоблагоро...

«Ах, да что мне ее пенсион? Или она будет об том убиваться? Дурочка, голубоглазая птичка... Да я распутаю этот зловещий клубок, не беспокойся, ради тебя, котенок, царевна-лягушка, Золушка, бог свидетель и судья...»

...Зачем тебе алмазы и клятвы все мои?
В полку небесном ждут меня...

Уже давно Гироса не было, он исчез, едва ему было позволено, а полковник все вышагивал по кабинету.

«Какая грязь! — думал он.— Значит, ежели вы виноваты, граф Лев Николаевич, стало быть, и я виноват, что недоглядел? Так я докажу им, докажу вашу порядочность и непричастность...»

...В полку небесном ждут меня.
Господь с тобой, не спи!..

Наконец явилась молчаливая экономка и сырой тряпкой протерла кожаное кресло, в котором восседал еще совсем недавно несчастный грек.

8

(Из неофициального письма Московского генерал-губернатора Тучкова П. А.—управляющему III Отделением генерал-майору Потапову А. Л.)

...Просто диву даюсь на Вашу прозорливость. Вы прочтите, Вы только прочтите донесение этого агента, и Вам станет ясно, какое бесценное сокровище у нас в руках. Не скрою, я долго мучился в поисках благоприятного решения ужасного вопроса, связанного с Графом Толстым и со всей этой историей, но ничего обнадеживающего никак найти не мог, как вдруг этот маленький человечек, это чудовище, возьми и придумай способ, достойный быть рожденным лучшими умами. Да что это со мной? А достоин ли я своего места? А может, мне лучше удалиться в свою подмосковную, да и не тешить себя зря? Вот какие мысли рождались во мне, покуда я размышлял над предложениями, полученными из Тулы. Но это я так, почтеннейший Александр Львович, из пристрастия к самоубиванию. А Вы-то неужто обо всем знали заранее, то есть знали, что он такой ловкач? Ведь я-то думал: ну что это почтеннейший Александр Львович затевает с эдаким-то чудищем? Быть беде. Теперь же, однако, представляю гордость Государя за Вас да за Князя, когда он узнает, как тонко и неумолимо был погашен сей отвратительный очаг политического распутства.

Теперь Вы спрашиваете, что мне лично известно о Графе Толстом, и верно ли, что он автор перечисленных вами книжек, и что я об этом думаю. Действительно, Граф пописывает, и, как говорят, не без успеха, что-то там такое действительно у него есть, хотя в нынешние-то времена у нас все ведь пишут, кто во что горазд. Ужасно не само писание, а ежели оно оборачивается против существующих порядков. Вот Граф и сподобился. И видите, почтеннейший Александр Львович, оказывается, неспроста это пристрастие Графа к исключенным и всяким прочим сомнительным молодым людям: среди них, вероятно, ему легче сеять зерна зла.

Предвижу Ваше решение и уже распорядился об отправке денег известному Вам лицу, чтобы не задерживать хода предприятия...

*(Из неофициального письма
Тучкова П. А.—неизвестному)*

...и Вы за этим хорошенько проследите, ибо Генерал Потапов несомненно раздувает это дело и все лавры попытается присвоить себе, несмотря на то, что Ваше участие в сем деле не второстепенно и именно от Вас в свое время мы с Графом Крейцем и получили предписание споспешествовать...

*(Из официального письма шефа жандармов,
главного начальника III Отделения,
генерал-адъютанта князя
Долгорукова В. А.—Потапову А. Л.)*

...В главном не могу не одобрить блестящей выдумки. Это именно то, что было нам так необходимо. В нашей с Вами работе случайностей не бывает, и вот Вам наглядный пример. Мы не случайно обратили внимание на первое донесение о Графе Толстом и не случайно распорядились отправить туда именно этого агента. Опыт и интуиция с очевидностью подсказали, что он не простой пройдоха, но, обуреваемый жаждой принести пользу Государю и лично мне преданный, он выполнит поручение с тщанием, чего бы это ему ни стоило.

Распорядитесь, Милостивый Государь, об немедленной отправке денег, ежели это еще не сделано.

Не сомневаюсь, что Вам не миновать Владимира, а мне благосклонного взора Государя.

*(Из частного письма Московского обер-полицмейстера
графа Крейца Г. К.—неизвестному лицу)*

...Говорят, что Тучков совсем a perdu sa raison du bonheur¹, утверждает, что во всем его заслуга, что будто бы это он нашел того секретного агента, о котором я Вам писал, и теперь только остается ждать страшных разоблачений.

Представьте себе, каков этот Толстой, и, говорят, сов-

¹ Потерял голову от счастья (фр.).

сем еще молод. А уж в Петербурге и подавно дым коромыслом — шутка ли, такое дело!..

(Из неофициального письма подполковника Шеншина Д. С.— полковнику Воейкову)

...Я уже получил указание об отправке денег. План-то этот хорош, остроумен, да долог. Я докладывал Его Превосходительству, да он и слышать об этом не желает. Обложился письмами Генерала Потапова, перечитывает их и прищелкивает языком.

Сдается мне — будь ваше ведомство попроворнее, послали бы туда парочку-другую жандармов, да и дело с концом. У нас же, как на грех, обожают пышные и долгие церемонии и всякий таинственный вздор...

(Из письма Л. Толстого — М. Н. Каткову)

...Я принялся только на днях за свой запроданный роман и не мог начать раньше. Напишите мне, пожалуйста, когда вы желаете иметь его. Для меня самое удобное время — Ноябрь, но я могу и гораздо раньше. Ежели вам это неудобно, напишите прямо, я вам возвращу деньги (я теперь в состоянии это сделать) и все-таки отдам роман только в Русский Вестник. Ежели бы и вовсе раздумали, то я с удовольствием бы и вовсе отказался. Пожалуйста, напишите мне обстоятельно и совершенно откровенно. Я, главное, желаю сделать так, чтобы вы были довольны...

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

*Управляющий III Отделением
Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии
С.-Петербург*

*Господину Полковнику Корпуса
Жандармов, находящегося в Туль-
ской губернии, Муратову*

В III Отделении до сих пор нет Вашего четкого ответа о наличии студентов в имении Графа Толстого Ясная По-

ляна. Последнее Ваше донесение имело поверхностный характер и никак не совпадает по своим данным с донесениями упомянутого секретного агента.

Вы, Милостивый Государь, пользуетесь старыми, непроверенными сведениями, и эта разноголосица вносит в нашу работу разноречивой.

Его Сиятельство Князь весьма озабочен сложившейся ситуацией и выражает крайнее недоумение по поводу Вашей странной бездеятельности.

Генерал-Маиор Потапов

(Из письма полковника Воейкова — полковнику Муратову)

...Ты спрашиваешь черт знает что такое. Да как же ты можешь разоблачать и уличать М. Зимина, коли у него все нити в руках? Посуди, весь Петербург напряжен до крайности, все застыли в ожидании благополучного окончания истории, Москва трепещет, будто девка, которую вот-вот должны... Тучков страдает бессонницей — все ждет, в политическом сыске — полнейший переворот, М. Зимину дадут дворянство, помани мое слово; и вдруг ты со своими разоблачениями, и при своей репутации! Нет, нет, твои обиды, право же, несостоятельны и неуместны. Ты — муравей перед телегой. Да она тебя раздавит и не заметит.

Пишу тебе, уважая тебя и памятуя о нашей былой славной совместной жизни и нынешней нашей дружбе, успокойся ради бога и не делай глупостей, или тебе всего мало, что уже было?

Когда бы ты имел возможность хоть краем глаза глянуть на Тучкова да почитать письма Потапова, ты бы бросил свои затеи и не носился бы с пустыми фантазиями...

(Из частного письма частного пристава Шляхтина — неизвестному лицу)

...Молю бога, чтобы этот пройдоха чертов все сделал хорошо, а то ведь, не дай бог, ежели чего у него сорвется, так мне голову оторвут за все про все, ты, мол, такой-

сякой, все затеял, с тебя, мол, все началось, и прочее, и прочее!..

Кабы ты знал, какие я ему деньги отправляю, ты бы ахнул. Вот игра природы!..

9

Ранним вечером конца апреля из прекрасной гостиницы Севастьянова выскочил владелец лучшего трехкомнатного номера галицкий почетный гражданин М. Зимин и помчался что есть мочи по начавшей зеленеть Туле.

Он бежал, обгоняя прохожих. Знаменитое гороховое пальто было, очевидно, брошено в номере. Коричневый сюртук и черный цилиндр придавали фигуре секретного агента значительность. Свеженакрахмаленная манишка радовала взор, соломенные бакенбарды сверкали под солнцем.

Он бежал, вытянув шею, словно торопился по следу. Глаза его источали зеленые лучи. На груди под сюртуком хрустели ассигнации.

Рядом с ним по мостовой катила извозчичья пролетка, и громадный розовогубый извозчик приглашал с улыбкой:

— Барин, а барин, садись — подвезу.

Но секретный агент продолжал свой бег, не обращая внимания на экипаж.

Как же сложилась жизнь Михаила Ивановича после той злополучной ночи? А вот как. Лишенный чести, былого могущества, славы, компаньона, он вылетел, подобно пробке, из дома вдовы, сопровождаемый слезами и проклятиями, ничего не понимая и ничего перед собой не видя. С маленьким узелком близких его сердцу вещей поскакал он сперва по лестницам, а затем по утренним мостовым негостеприимного города. Уже дом Дарьи Сергеевны скрылся из виду, а в ушах его все еще звучали проклятия.

Долго ли, коротко ли колесил он по улицам и переулкам, но усталые ноги привели его к гостинице Севастьянова, и он, пересчитав жалкие остатки денег, снял себе маленький полутемный номерок, единственное оконце которого упиралось в старый, изъеденный временем забор.

Не обращая внимания на бедное убранство номера, он бросился на жесткую кровать и мгновенно уснул. Проснулся бодрым, но с ощущением печали и тут же вспомнил, что с ним произошло.

Крепость, которую он так долго, тщательно и любовно создавал, рухнула — подвел один кирпичик. Будущая счастливая жизнь с Дасей была погребена под обломками сырых стен. Компаньон исчез. Только тут Михаил Иванович понял, как печально одиночество, как отвратительно одному, даже без этого красноносого подлого грека, прощелыги, без этого итальянца и пса. Где ты, Амадеюшка? Откликнись!..

В каморке стояла тишина. В желудке отчаянно засосало, и, странное дело, захотелось ватрушек.

Наскоро одевшись, Михаил Иванович вышел из номера. Вдруг навстречу мальчик в красном казакине, с подносом, на подносе пустые бутылки, горка грязных тарелок, объедки... Шипов повеселел.

— А ну-ка, се муа, притащи-ка мне щей,— сказал он вдохновенно, с улыбкой.— Что-то мне есть охота. Да погорячей.

— Ух ты! — засмеялся мальчик и побежал прочь.

Михаил Иванович даже рассердиться не успел. Заглянул в тусклое зеркало: он стоял там весь измятый, словно его долго выжимали, соломенные космы глядели в разные стороны, как у черта.

— Беда,— сказал он, ощупав лицо,— не подадут.

Поднял воротник горохового пальто, надвинул котелок и бочком-бочком пошел к выходу. Там из самых сеней, из вестибюля, на второй этаж вела ковровая лестница, и гладкие круглые перила просили проскользнуть по ним ладонью. Там, за белыми дверьми, спокойно ели щи, обсасывали куриные кости и, зажмурившись, опрокидывали рюмочки. Ах... Это, конечно, не «Шевалье», но жить можно. Полный сетребьен. А тут, значит, нужно бежать до Кремля, там в торговом ряду спросить горячей требухи на пятак с куском хлеба и опять бежать обратно? Мерси. Для чего же тогда было огород городить?.. И Михаилу Ивановичу показалось, что пахнет ватрушками. Торопливой рысцой кинулся он к торговым рядам, озираясь по сторонам в надежде встретить Гироса, но того нигде не было.

Ночная история уже успела слегка поостыть, но не

совсем. Камень с души не свалился. Так и хотелось свернуть к Дасиному крыльцу, ворваться, упасть в ножки или, напротив, подхватить на руки: да прости же, прости, слышишь? Дарья, ау, голубка, перепелочка, ко-ко-ко, это все старуха чертова, Гирос этот, грек, Лев Толстой этот, ау-ау...

Сердце тянулось к крыльцу, а ноги торопились к торговым рядам, и вот он уже пристроился на досках и одной рукой закидывал в рот горячие, ароматные куски, а другой придерживал сползающий на глаза котелок.

То ли пятак был мал, то ли торговка скупа, а пришлось снова раскошелиться. Шипов ел, а перед глазами маячила столовая в доме князя — чисто, тихо, благородно, мерси, сильвупле, мерси, сильвупле... А знает ли князь, каково ему, Мишке Шипову, здесь, в Туле? Здесь, в торговых рядах, с полным ртом горячей требухи — и ни стола, ни стула? За что же такой мезальянс? Нынче эманципация. Ежели я чего вам не по душе, так премного благодарны и разойдемся. Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте... Надо вам чего, так вы меня в холе содержите, а за так, лямур-тужур, кому охота спину ломать? Ну?..

Наконец он насытился, позвенел мелочью в кармане и двинулся обратно. Теперь следовало все спокойно обдумать и решить, как жить дальше. Неужели подлый грек воротился после бегства и преспокойно спит в своей светелке? А может, даже в ее спальне?.. Возмущенное сердце повлекло его за собой, и он остановился на Дасином крыльце. Дверь отворила Настасья. Из дому потянуло знакомо-знакомо. Душа Михаила Ивановича затрепета.

— Пущать не велено...

— Настасьюшка,— попросил он как мог поласковой,— ты компаньона моего кликни, итальянца...

— И их не велено,— сказала Настасья.— Нету никого.— И захлопнула дверь.

Шипов оглянулся с грустью. Улица была тиха и пустынна. Все вокруг было знакомо, словно жизнь прошла у этого крыльца. Напротив на углу громадный извозчик с розовыми губами дремал на козлах. Черный петух с забора разглядывал секретного агента.

«Секретный, секретный,— подумал Шипов с досадой,— а что проку?»

Он воротился в свой номер, бочком-бочком проскользил мимо хозяина, так, на всякий случай, и улегся спать.

Шли дни. Не было ни писем, ни денег. Михаил Иванович совсем изголодался. Душу охватили страх и отчаяние. Он попытался вспомнить старое, эдаким барином завернуть в трактир, но едва вошел, голова закружилась, глаза потухли.

— Тебе чего? — спросил хозяин неласково.

— Да ничего, — тихо ответил Шипов. — Это я так.

— Ну и ступай, коли так...

Что деньги делают с людьми! С ума сводят... А что безденежье? Еще хуже! И не потому, что голодно, а потому, что страшно.

«Может, наняться куда?» — думал иногда Михаил Иванович, но не решался. Ложился на койку, закрывал глаза и тотчас видел: вот, сытый и ленивый, сходит он по лестнице, и уже сверху ему видны блюдо с ватрушками, и самовар, и золотой мед, и молоко с коричневыми пенками... В животе гудело, челюсти сжимались, но вот беда — едва он подходил к столу, как тотчас засыпал. И так всегда. Лишь закроет глаза — идет он по лестнице, сытый да ленивый, не торопится, а Дася глядит на него, словно белая кошечка, ждет, а он идет, идет...

«Что-то граф денег давно не шлет, — думал иногда Михаил Иванович, — али оброк собрать не успел, али еще чего...»

Тут еще новый страх прибавился: вдруг сам Севастьянов нагрянет, денег за номер спросит? Михаил Иванович в такие минуты совал голову под подушку и думал: «Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте...»

А с Гирсом тем временем произошло вот что. Он вышел тогда от полковника полный сил и спокойствия. В кулаке лежал четвертной. В лавке он долго перебирал фуражки и, наконец, вместо клетчатого своего картуза купил фуражку сливочного цвета, с большим козырьком. Так изысканно преображенный, отправился он к дому вдовы, где Настасья произнесла решительное «нет». Не смущаясь и не падая духом, свернул он в хороший трактир; не жалея денег, пышно, вволю пообедал, выпил, даже не отказал себе в бутылке шампанского, а затем, и не пытаясь отыскать компаньона, и даже позабыв о нем, да и о Дасе, да и о полковнике и обо всех ужасных событиях, откупил узкое местечко на нарах ночлежного дома,

заплатив за неделю вперед все деньги, что еще оставались, аккуратно разделся, сунул одежду под голову, растянулся на грязном, соломой набитом тюфяке, зарылся в неизвестное тряпье, вдохнул столетних ароматов и, не обращая внимания на шум и суету подвала, крепко уснул.

Шли дни, а он не просыпался, и никого это не тревожило. Дыхание его было ровным, щеки порозовели, длинный нос издавал мелодичные звуки.

Вот что произошло с Гиросом, покуда Шипов голодал и мучился, ломая голову, как помочь беде.

Однажды прекрасным апрельским утром (а оно воистину было прекрасно, это утро, ибо кончался апрель, было много солнца, первая трава лезла из всех щелей, молодые клейкие листочки начали распускаться) в дверь его сильно постучали. Он похолодел. Денег уже не оставалось, даже мелочи, но, к счастью, это был не хозяин, а мальчик в красном казакине. Он протянул Шипову большой синий конверт и удалился. «Господину Зимину» — значилось на конверте. Что было предположить? Кто знал о его пребывании в гостинице? Деньги? Но они летали иными путями, через иные руки... Долго Михаил Иванович вертел в дрожащих руках злополучный конверт, пока наконец не решился вскрыть его.

«А ежели все-таки деньги?» — без всякой надежды подумал он и надорвал край. Из большого конверта выпал маленький, аккуратный, вдвое сложенный листок. Денег не было. Несколько фиолетовых строк заплясали перед глазами Шипова, сплелись, расплелись, перемешались, буквы лезли одна на другую, получилось хитрое кружево, смысла которого нельзя было понять. Вдруг кружево распалось само, и Михаил Иванович прочел:

«Милостивый Государь,

зная о цели Вашего приезда в наш город и будучи хорошо знаком с нравами и обычаями здешних жителей, спешу предупредить, что против Вас замышляется ужасное предприятие. Торопитесь, Милостивый Государь, опередить злоумышленников и постарайтесь покинуть город до рокового часа.

С истинным почтением, Ваш доброжелатель».

Он не испугался, просто удивился: «Какой еще доброжелатель?» Холодное, вежливое предупреждение было ему непонятно. Эпистолярный жанр в таких формах был ему чужд. Ему не хватало во всем этом простого крика ужаса: «Спасайся, убьют!» Нет, чувства его не всколыхнулись от прочтения, было немного обидно, что все-таки нет в конверте денег. «Деньги!» — подумал он и ринулся на почту уже в который раз.

Михаил Иванович не был сентиментален и слезлив. Его дубленая кожа не пропускала тонких посторонних звуков, и стоны, жалобные вздохи, всякие там причитания — все это не касалось его души. Но в этот день он ощутил, что душа взорвана изнутри, комок подступил к горлу, в носу защекотало, зашипало веки, и что-то легкое, на тонких лапках, побежало по небритой щеке вниз, вниз, к подбородку, добежало до самого его краешка, повисело и сорвалось. И тут же точно такое же, словно их была целая стая, покатилося по востренькому носу и остановилось на самом кончике...

«Ровно муха», — улыбнулся он и смахнул это ладонью.

Вот и пришел этот день, этот благословенный день, когда ровнехонькие ассигнации улеглись на его ладонь. Он торопливо вернулся в свой номерок, накинул крючок на дверь и выложил свое богатство. Сорок четвертных билетов, ровно сорок, ни больше ни меньше, лежали перед ним на полу, освещенные уходящим солнцем. Забылось все. Все несчастья разом кончились. Сердце застучало с прежней силой. Руки налились, плечи раздались. Голос окреп, ибо едва, спрятав деньги, он кликнул коридорного, тотчас коридорный прибежал, за ним мальчик в красном казакине, потом сам хозяин Севастьянов, и все закружилось, загудело, запричитало вокруг Михаила Ивановича. А ведь о деньгах он еще не сказал ни слова, но они словно почуяли что или действительно окреп его голос, и он теперь стоял гордо, с легкой улыбкой на тонких устах, и едва поводил плечами или взмахивал рукою, как суета усиливалась, а бросал одно только слово — и с ним непременно соглашались: «Вестимо, сударь...», «А как же-с, ваше благородие...», «Не извольте беспокоиться...»

И его повели наконец на второй этаж, по той самой ковровой лестнице к самой дальней, самой белой двери и распахнули ее. Господи боже мой, комната, вся голубая,

бескрайняя, раскинулась во все стороны — не видно берегов, за ней другая, а там уж и третья! И тут же хозяин выкатился прочь — расноряжаться, а коридорный ловко повесил в гардероб единственное гороховое пальто Михаила Ивановича, а мальчик в красном казакине, словно красный кузнечик, поскакал на худеньких ножках за всякой любимой снедью для секретного агента.

«Какой еще доброжелатель? — вспомнил он, как в полусне. — Какие еще угрозы? Эвон куда я поднялси-ии! А выше-то куда? Тама — небеса одни!..»

Начиналась новая жизнь.

Покуда мальчик бегал в соседнюю ресторацию заказывать то-это, Михаил Иванович решил не терять времени, то есть он не мог поступить иначе, он, как застоявшийся молодой, полный сил жеребчик, рвался с привязи, манишка душила его, сюртук шокировал. Легко и радостно сбежал он по лестнице, выскочил на улицу и тут же, за углом, в магазине Жерве, с помощью мадам выбрал себе все самое лучшее, велел упаковать, дал адрес, расплатился и отправился в обратный путь.

Посыльный из магазина мчался следом, так что и ждать-то пришлось недолго. Он ловко влез в белую шелковую сорочку, натянул клетчатые панталоны цвета беж, повязал черный галстук, надел коричневый сюртук из альпага, обшитый по бортам коричневой же тесьмой, взбил бакенбарды, и ринулся к зеркалу, и застыл перед ним с бьющимся сердцем при виде чудесного красавца с немного исхудавшим, измученным лицом, с синими кругами под глазами, наблюдая, как он изящно отставил одну ногу, словно приготовился шагнуть, как руку слегка изогнул в локте...

Прискакал кузнечик в красном казакине, сгибаясь под тяжелым подносом. Круглый стол заполнялся всякой снедью. Глухо звякал фаянс, выпевали бокалы, рюмки, серебро. Пар клубился над судками, сотейниками, кастрюлочками, наполняя комнату туманом. Михаил Иванович погрузился в изучение снеди, в узнавание, принюхивался, раздражал себя пуще, пуще, а сам все подкрадывался ближе, ближе, пока не коснулся края стола, и тогда чинно, неторопливо уселся, повязал салфетку (а как же), и налил из пузатого графинчика в граненую рюмку, и, еще не успев выпить, почувствовал, что захмелел.

— Когда я жил в доме князя Долгорукова, — сказал

он мальчику,— у нас без салфеток никто за стол не сел.— И выпил.

Грибки были ничего себе, есть можно. Редечка тоже. Хруп-хруп...

— А ты чего? — сказал он мальчику.— Садился бы тоже. Вот грибочки, се муа, какие...

Но мальчик исчез за дверью.

Шипов потянулся налить вторую, как вдруг явился сам хозяин и вручил ему синий конверт. Что-то неприятно заворошилось в груди у секретного агента. Но на сей раз он не стал раздумывать и вскрыл конверт. И снова маленькая четвертушка бумаги выпала ему на ладонь.

«Милостивый Государь,

Вы, надеюсь, все-таки в здравом уме, чтобы понимать, как неустойчиво Ваше положение. Мы знаем о Вас все, Вы раскрыты. Никакие ухищрения Вам не помогут. Покиньте наш город, покуда еще не поздно. Берегитесь.

Примите уверения...

Ваш недоброжелатель».

Тут страх юркнул Шипову в рукав, проскользил по руке, по спине, оставляя прохладный, влажный след, и замер где-то на шее, под воротом. Он снова перечитал короткое письмо. В дверь тихонечко постучали. Михаил Иванович вскочил, подбежал к двери, прислушался. Ничего не было слышно. Стук повторился, мягкий, дразнящий, едва слышимый... А что, как сам Шеншин? Кому же еще стучать так вкрадчиво, так упрямо?..

«Надо бы съездить в Ясную,—подумал Михаил Иванович, дрожа.— Посмотреть, как там, чего...»

И снова послышалось: тук-тук-тук-тук...

подавив дрожь, он выглянул. Коридор был пуст.

«Какие еще недоброжелатели? — вспомнил он про письмо.— Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте»,— и запер дверь.

Затем затаив дыхание, на цыпочках воротился к столу. Поел куриную ножку. Выпил. Пододвинул тарелку со щами... Но есть не стал. Элегантный, благоухающий вином и духами, осторожно заскользил в следующую ком-

нату, заглянул под диван, пошарил под креслом, немного успокоился, вдруг вспомнил, что есть еще комната, вошел. Широкая кровать под одеялом малинового шелка звала утонуть в ней, но он пренебрег ею. Пошарил и здесь — никого не было, да и не должно было быть, однако полковник Шеншин, вероятно, стоял где-то совсем близко, идол!

«Чего мне там, в Ясной-то, надо? — попытался вспомнить Михаил Иванович. — Чего? — И тут же вспомнил: — Да граф же Лев Толстой, господи! А я-то... — Что-то влажное шевельнулось под воротником. — А чего Толстой-то, чего? Чего я ему?.. Чего я должен?..»

Он заскользил обратно в столовую, по пути глянул в окно. Улица была пустынна. Вечерело. Шипов снова налил рюмочку, выпил, повязал салфетку. Какая-то невидимая ниточка пролегла в сознании между графом и им, пролегла, натянулась и зазвенела. Ему стало душно, и он распахнул окно, и тотчас вместе с прохладой, с запахом дымка и свежей липы вплыла в комнату едва слышная знакомая мелодия:

...Зачем тебе алмазы и клятвы все мои?..

«Господи, хорошо-то как! — подумал Михаил Иванович. — Совсем антре».

В дверь снова постучали.

— Кто там еще?

Он опять подкрался к двери. Легкое дыхание из-за нее слышалось ему. Уж не Дася ли? Дася, Дарья Сергеевна, голубка, Дасичка... Лямур? Мур-мур-мур?.. И открыл дверь. Коридор был пустынен и тих.

— Эй! — крикнул он.

Появился мальчик в красном казакине.

— Ты чего? — спросил Шипов подозрительно.

— Ничего-с.

— А кто стучал?

— Никого не было-с, ваше благородие.

Щи уже остыли, уже не было в них прежней прелести. Белая пленочка застывшего жира напоминала осеннюю корочку льда на тихом пруду где-нибудь в Веденееве, Чапчикове или в Ясной, у самой барской усадьбы, которая еще недавно отражалась в этом пруду, а теперь вот — лед.

...В полку небесном ждут меня.
Господь с тобой, не спи!..

«А я и не сплю,— засмеялся Шипов и похрустел ассигнациями.— А кабы не граф Лев Николаевич, не видать бы этого богатства...»

Он налил рюмочку и с умилением выпил за графа.

Вошел Севастьянов:

— Может, чего надо?

— Ничего не надо,— сказал Шипов расслабленно.— Не побрезгуйте, любезный...

Хозяин присел, удивляясь одинокому барину.

— А что,— спросил Михаил Иванович,— граф Толстой Лев Николаевич у тебя живал?

— А как же-с,— сказал Севастьянов,— непременно-с. Как в Тулу приезжают, завсегда у меня-с...

«Ах,— подумал Шипов, снова умиляясь,— совсем аншанте...»

— Ну, и что он? Как он?

— Нумер, значит, у них,— сказал хозяин,— завсегда поменее вашего, в одну комнату-с.

— О? — удивился Михаил Иванович.— Подумать только!

— Человек он молодой, обходительный, одеваются просто...

— Ах ты господи...

— У них и имение тут недалеко-с, Ясная Поляна, дедушки ихнего-с...

— Это мое имение,— вдруг сказал Шипов,— вот так-то, брат.

— Как же-с,— засмеялся Севастьянов,— они там живут, я знаю.

— Они живут, а имение мое. Я и доход с него получаю...

— Попролам, что ли? — удивился хозяин.

— Да,— сказал Шипов.— Ваше здоровье...

«Эх, Матреша,— подумал он,— поглядела бы ты на меня!..»

Севастьянова уже не было. Жизнь продолжалась.

И вдруг нестерпимое, как огонь, желание увидеть Дасю овладело Шиповым. Увидеть, повиниться, похрустеть ассигнациями. Голова была легка, никаких тревог уже не было — одна надежда на успех, одно упование,

И вот он бежал, вытянув шею, в коричневом сюртуке и в цилиндре, а вровень с ним по мостовой катила извозчичья пролетка, и громадный, чернобородый, розовогу-бый извозчик приглашал и приглашал прокатиться:

— Барин, а барин, садись — подвезу.

Но Шипов бежал, не обращая внимания на экипаж.

Вот и дом, вот и крыльцо, и дверь. Настасья отворила и не узнала. Он отпихнул ее плечом; не снимая цилиндра, ринулся в кружевную гостиную, стараясь не потерять, не позабыть каких-то никому не известных доселе слов, витиеватых построений, вдохновенной высокопарности раскаявшегося и жаждущего прощения. Он знал, с чего начнет, но прежде... этот элегантный господин в клетчатых панталонах цвета беж, в коричневом сюртуке, обшитом по бортам шелковой тесьмой, в цилиндре, сверкающем и переливающимся, подобно нимбу, бросится на колени и поползет к ее ногам с видом паломника перед гробом господним.

«Дарья Сергеевна, вот он я! Голубушка, бонжур! Я озолочен и вас хочу озолотить на всю жизнь... Вы подумайте, сетребьен, как можно этим распорядиться! Лямур?.. Ручку, ручку, пожалуйста-с...»

Она вскрикнет, отступит на шаг, закроет на мгновение голубые глазки: «Ах!» Белая ручка упадет невзначай на широкое, коричневого альпага плечо...

«Ночей не спал, изголодался... Великий пост у меня был, Дасичка, перепелочка, о тебе молился, вымолил вот... Тысяча рублей!»

Она зарыдает, запрокинет головку, выставив, слабея, белую шейку.

«У меня имение здесь неподалеку, да, да, рядом совсем... Да не плачь ты, не плачь, не реви, консоме, вот, ей-богу! Ну чего ты? Али я тебе не люб?»

«Люб, люб... Иди сюда, дурачок. Встань с пола, не пачкай новых панталон, дурачок, мужлан, чудовище. Настасья, пошла прочь... Ах, ты мне все платье измял, сумасшедший...»

Он влетел в кружевную гостиную и остановился. Она стояла перед ним, вскинув брови, приоткрыв ротик, готовая крикнуть. От него исходило сияние, слепило. Она прикрыла глаза.

Вот и стол, приготовленный к вечерней трапезе, и самовар гудит, и ватрушки золотисты, как праздник... А вот

я тебе еще чашечку, еще ватрушечку... Ах, что-то я нынче пермете, переел... Ну, тогда спать пора... Спать? Хе-хе-хе... Ну, так чего же, спать так спать, хе-хе...

Все забыто, все прощено, все кануло. В мире нет ничего, кроме ликования двоих. Я бросаю к твоим ногам свою честь, имение, тысячу рублей ассигнациями... Сколько нам еще осталось жить на этом свете? Пустяки...

Господин в коричневом сюртуке полез за пазуху за ассигнациями, чтобы развеять их по кружевной гостиной.

«Ну? Что? Каково? Сроду таких денег в руках не держал... Мезальянс! Когда я жил в доме князя... Еще одну пару мне купим: сюртук черный, панталоны в полоску. Тебе накидочку из соболя али еще чего... Чего сама хочешь? Ну, чего?..»

— Настасья,— позвала она едва слышно.

«Гости приедут... Милости просим, милости прошу. Бонжур, мадам... Усаживайтесь, пейте-ешьте, сейчас граф приедут, Лев Николаевич — мой, пуркуа, троюродный братец...»

— Да Настасья же! — позвала она громче.

— Дасичка,— сказал он, задыхаясь,— не пужайся, это ж я.

— Вон! — указала она на дверь.— Вон из моего дома!

Перебирая ватными ногами, он покинул кружевную гостиную и очутился на крыльце.

Он брел по вечерней Туле, а за ним, и перед ним, и вокруг него звенело, переливалось то печально, то будто бы даже насмешливо:

...В полку небесном ждут меня.
Господь с тобой, не спи...

И чернобородый извозчик катил следом медленно и упрямо и время от времени повторял свои призывы:

— Барин, прокатимся?.. Милости прошу, ваше благородие... Лошадку не обижайте...

В ресторации Шипов сидел, не снимая цилиндра, не замечая присутствующих, пил, пил, пил, и когда почувствовал, что находится совсем в другом мире, а вдова далека и придумана, твердой походкой направился к гостинице.

Круглый стол уже был чист от посуды. Мальчик в красном казакине стоял в дверях — если что прикажут.



Господин в сюртуке из альпага с помятыми бакенбардами тускло маячил в зеркале.

...Зачем тебе алмазы и клятвы все мои?..

На круглом столе, на самом виду, лежал синий конверт. Уже не заботясь о своей судьбе, покорно и вяло Шипов извлек из него записку.

«Милостивый Государь,

да Вы еще в Туле?! А ведь завтра уже будет поздно!..

С почтением».

— Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте! — крикнул Шипов, и тотчас мальчик в красном казакине исчез за дверью.— Эй! — крикнул секретный агент, трезвея и наполняясь страхом, но никто не явился на зов.

Тем временем чернобородый извозчик соскочил с козел у своего дома и скрылся в нем.

Через десять минут Николай Серафимович Муратов в халате и феске вошел в свой кабинет и пристроился у стола. Перо приплясывало в его пальцах, по выпуклому лбу прокатывались волны, розовые губы смеялись.

ВЕСЬМА СЕКРЕТНО

*От Штаб-Офицера
Корпуса
Жандармов,
находящегося
в Тульской губернии,
г. Тула*

Управляющему III Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, Свиты Его Величества, Господину Генерал-Маиору и Кавалеру Потанову

Галицкий Почетный Гражданин Михайло Иванович Зимин, прибыв в г. Тулу 17-го минувшего Февраля с Тамбовским мещанином Гирсом, распустил слухи, что он

агент Правительства и что ему поручены важные секретные дела.

Как установлено, Г. Зимин имеет свидетельство, выданное ему Приставом Московской полиции Городской части г. Шляхтиным за № 101 сроком на два месяца. У Господина Гироса — паспорт, выданный ему из Тамбовской Градской Думы.

Господин Зимин все время пребывания своего в Туле вел разгульную, нетрезвую жизнь, посещая трактиры низшего разряда, и наконец дошел до такой крайности, что оскорбил беззащитную почтенную женщину, вдову капитана Каспарича, за что и был изгнан ею из ее дома.

Между тем Зимин болтливостью своею обнаружил секретное поручение, данное ему будто бы Правительством следить за действиями Графа Льва Толстого и за лицами, живущими у него в имении в с. «Ясная Поляна».

Узнав об этом, я пригласил к себе Г. Гироса, который подтвердил все, относящееся до Г. Зимина, и прибавил, что Господин Зимин обещал ему дать шесть тысяч рублей серебром, если он откроет что-нибудь о Графе Толстом. Но во все это время ни Г. Гирос, ни тем паче Г. Зимин ни разу в «Ясной Поляне» не бывали и не открыли ровно ничего.

Об этом обстоятельстве я лично сообщил Господину Начальнику Тульской губернии, который вполне разделяет мое мнение, что Г. Зимин (если ему и дано было какое поручение) болтливостью своею много повредил к узнанию истины и действию лиц, живущих в имении Графа Толстого, за которыми ему, быть может, поручено было следить.

Господин Гирос в настоящее время исчез в неизвестном направлении, а Господин Зимин, обзаведясь деньгами, продолжает предаваться разврату и разгулу.

О чем долгом считаю почтительнейше донести Вашему Превосходительству.

Полковник Муратов

Николай Серафимович так был доволен всем происходящим, что его нисколько не удручало исчезновение Гироса. Две безумные ночи, проведенные в доме вдовы в образе старухи, вдохновляли на новые подвиги, тем более что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Во-первых, как важны были решительность и сноровка, как

ворвался он бурей в это уютное гнездо, волею негодяев готовое было превратиться в логово разврата и преступления, как эта буря во мгновение ока выкорчевала дурные корни и вдохнула свежего воздуха. Во-вторых, неоднократные намеки и искры любви, источаемые полковником, попали в цель, и вдова уже была готова принести себя в жертву. Да, едва с ее глаз спала пелена, едва рассеялся зловещий туман, она вдруг увидела, в каком ужасе прежде находилась, и потому, едва он протянул руку, она тотчас за нее ухватилась, сжала своими признательными белыми ладонями и поклялась себе самой никогда уж не выпускать.

Полковник представлял себе вытянутое, напряженное лицо галицкого почетного гражданина, зеленые глаза, полные страдания и даже страха, и розовые его губы растягивались в удовлетворенной улыбке.

Он кликнул экономку, вручил ей три конверта: один громадный, белый, под сургучными печатями, адресованный в Петербург, другой поменьше, синего цвета, для господина Зимина, и третий, совсем маленький, розовый, для вдовы капитана Каспарича,— и экономка исчезла, распространяя благоухание недорогих духов.

«Каков негодяй,— думал полковник, посмеиваясь,— присосался, прилепился, прикоснулся грязными лапами к женщине. Она существо слабое, может и не выдержать».

...Бежали дни. Гирос все спал на жестких ночлежных нарах, укрывшись душным тряпьем, под гомон и топот ног, розовея, округляясь и не подозревая, что происходит в божьем мире, как вдруг будто какая сила подтолкнула его и он проснулся.

В новой фуражке сливочного цвета, округлившийся, с заплывшими глазами, вперив длинный нос в пространство, он сразу же как-то догадался, где может находиться в эту минуту Шипов, и, проспав почти двадцать дней, покинул гостеприимную ночлежку, чтобы продолжать жить, надеяться и избегать опасностей. Сливочная фуражка недолго маячила среди майского тульского люда, бредущего по своим делам; скоро ее обладатель вошел в гостиницу и, никого ни о чем не спрашивая, направился прямо к белой двери трехкомнатного номера.

В первой комнате увидел он круглый стол, загроможденный всякой снедью и бутылками. Ни слова не говоря, Гирос присел к нему поближе и запустил длинные паль-

цы во что-то румяное и еще теплое — то ли в курочку, то ли в поросенка... Он ел неторопливо, но плотно, с хорошо нагулянным аппетитом, запивал шампанским и рейнским, утирался крахмальной салфеткой, распускал пояс на панталонах, чтобы легче было дышать, и придвигал, придвигал очередные блюда, благо их было много.

Жизнь снова казалась прекрасной, и только давний расплывчатый сон о встрече с полковником слегка отравлял ее.

И вот уже есть стало невозможно, желудок был набит до отказа, и тогда где-то вдалеке слышались осторожные шаги и перед Гирсом возник некто в изрядно помятом сюртуке из коричневого альпага и клетчатых панталонах неопределенного цвета — настолько они были грязны. На изможденном лице человека лихорадочно блестели зеленые глаза.

— Амадеюшка! — воскликнул человек, и Гирс вспомнил его.

Они обнялись, как старые друзья. Когда закончились первые приветствия и первые рассказы о том о сем, Шипов сказал:

— Ну, брат, за мной охота идет — беда. Я уж пять ночей не сплю — жду. Ты теперь покарауль малость, а я, компрене, посплю... Я уж и двери закрывать перестал: пушай, думаю, входят. Устал я.

— Мишель, я не узнаю тебя! — захохотал Гирс. — Ты богат, знатен... Да плюнь ты на все... Езжай в Москву, в Ревель, в Тамбов, куда-нибудь... Ну? Дай мне денег, Мишель. Псу тоже нужно косточку... Кинь мне косточку...

— Ах, Амадеюшка, — вздохнул Шипов осторожно, — а уеду я — кто же будет за именем-то присматривать? Видит бог, глаз нужен. Левушка-то твой того и гляди все к рукам приберет. — И засмеялся внезапно. — Дурачок ты, лямур-тужур, итальянец... Я же с имения доход получаю. Аншанте?.. Эх ты...

— Кинь мне косточку, Мишель...

И тут на протянутую ладонь Гирса слетели вдруг, как два кленовых листа, два четвертных билета.

— Грибной дождичек в четверг, — обрадовался Гирс. — А ну, Мишель, еще одну!

— Нет, — сказал Шипов строго, — будя. Поистратился я, мон шер. Обойдешься.

— А ведь и верно,— захохотал Гирос,— обойдусь. Мне ведь ничего не стоит. Меня ведь только допусти, пса, я за глотку возьму... Да ты не стесняйся, Мишель, пинай меня, черта!

Мальчик в красном казакине подал синий конверт и вышел. Компаньоны прочли:

«Милостивый Государь, терпение мое истощилось. Все.
Недоброжелатель».

Шипов побледнел, усмехнулся.

— Это граф твой, прощелыга твой, старается,— сказал он,— я-то знаю, се муа. Не хочет делиться. Бить будет?

— Мишель,— сказал Гирос,— плюнь ты на них... Уезжай отсюда.— И потянулся к еде.

Шипов дрожащей рукой налил себе водочки, выпил.

— Ты гляди не уходи никуда,— сказал он Гиросу.— Вместе будем отбиваться...— И заглянул в глаза компаньону, но там, в карих кружочках, гуляли тоска и холод.— Ты чего? — спросил Михаил Иванович.— Ты чего, ай уйти хочешь? Уйти хочешь, меня одного бросить? — И ему захотелось ударить компаньона по длинному пунцовому носу.— Куда же ты пойдешь, куда, мезальянс ты этакий!..

Гирос медленно попятился, заслоняясь обеими руками.

— Ну, куда?

Он продолжал пятиться. Вдруг с улицы грянуло:

..Зачем тебе алмазы и клятвы все мои?..

— А ведь деньги-то взял,— сказал Шипов.— Эх ты...

— Взял,— сказал Гирос шепотом. Он продолжал пятиться, а сам глядел куда-то мимо Шипова, перебирал бесчувственными губами — то ли жевал, то ли говорил что — и пятился, и наконец распахнул дверь, и вышел.

— Амадеюшка! — крикнул Шипов, но все было напрасно.— Эй! — снова крикнул он, но звук его голоса беспомощно растаял в коридоре.— Эгей! — В соседнем номере распахнулась дверь, и показалась испуганная дама в кружевном чепце.— Эй, кто тут есть?!

Хлопнула другая дверь, появился хозяин Севастьянов.

— Вы чего это, батюшка Михаил Иванович? Чего изволите, сударь?

— Посиди со мной,— попросил Шипов.

— Как же-с?

— А вот так же-с... Выпей-ка вот.

Они уселись в кресла. Шипов выпил рюмочку. Севастьянов отказался.

— Руки у вас дрожат,— сказал он.

...В полку небесном ждут меня.
Господь с тобой, не спи...

— Слыхал? — спросил Шипов хрипло.

Но Севастьянов ничего не слышал.

— Вы бы цилиндр сняли,— сказал он,— голове-то полегче-с.

— Полегче-с,— засмеялся Михаил Иванович.— А вино пропадает. Выпей, ну, выпей...

— Вы бы гостей позвали,— сказал хозяин,— погуляли бы с людьми-с...

Шипов снял цилиндр, швырнул его в угол, взбил бакенбарды.

— А ведь верно, вузаве,— обрадовался он.— А эти, что грозятся, пушай их, верно?.. «В полку небесном ждут меня...»

— В самом деле,— сказал хозяин,— ждут-с.

— Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте, верно?.. Зови гостей, зови гостей, се муа, мон шер!

Наверное, ни в одном номере не осталось ни души, так притягательны были трехкомнатные апартаменты утомленного красавца в коричневом сюртуке из альпага. И едва лишь прозвучал клич, как все тотчас ответили согласием и начали наряжаться. «Господин Зимин просят пожаловать на именины-с». Так приглашал всех Севастьянов, и все отправились.

Через час комната была полна. Гости сидели вокруг стола, на диванах, в креслах, два молодых человека пристроились на подоконнике, поставив меж собой тарелку с сыром и бутылку шампанского. Окна были распахнуты, майская прохлада лилась с улицы. Шипов командовал поначалу, а после само пошло. Какие-то немолодые дамы сидели по правую от него руку, слева — громадный поп в серой рясе, с седеющей бородой, с розовыми губами.

Было очень по-домашнему, просто, сердечно и мило,

поэтому никто не чинился, и каждый сам хватал еду и сам наливал, что хотел, и пил, а легкая застольная беседа скрашивала досуг. Все перезнакомились, даже завязали отношения, а один из двух молодых людей очень активно переговаривался с единственной в этой компании прелестной барышней, и там, видимо, что-то такое уже намечалось.

Мальчик в красном казакине сбился с ног, унося объедки и расставляя новые блюда, откупоривая новые бутылки.

Шипов. Когда я жил в доме князя Долгорукова...

Михаловский. Да что вы врете-то? Не ввали бы...

Шипов. Ну и ну...

Дама (Михаловскому). Успокойтесь. Не грубите. Что это с вами?

Михаловский. А чего он врет? Кто он такой, что врет? Почему я должен выслушивать?

Шипов. Ну и ну...

Дама. Это сам именинник.

Михаловский. Пардон... Так рассказывайте, что там такое было, у князя?

Шипов. Ну и ну...

Поп. А что, любезный Михайло Иванович, нравится вам быть на людях? Вон скольких вы назвали. Нравится?

Шипов. Нравится, батюшка. У меня нынче сильное мандраже, се муа... Что-то я последние дни хвораю. А с людьми веселей.

Поп. Говорят, у вас имение недалеко?

Шипов. Да, Ясная Поляна. Слыхали? Хорошее сельцо.

Поп. Чего же вы сами там не живете? А там ведь граф Толстой обитает... Не родственник ли?

Шипов. Вестимо. Двоюродный брат. Я по материнской линии из Толстых... Эй! Пей-гуляй! Зимин денег не жалеет!

Дама (соседу). Фу, как он кричит в самое ухо! Как извозчик!

Сосед. Положить вам клубнички?

Дама. Мерси. Я еще холодную телятину хочу попробовать....

Шипов. Пей-гуляй! Мы вас не трогаем, и вы нас не трожьте!

Сосед. Ура!

Барышня (*молодому человеку*). Не скрою, вы мне тоже симпатичны.

Молодой человек. Я счастлив!

Барышня. В самом деле? Отчего же вы так робки все эти дни? Пригласили бы меня на прогулку или еще что-нибудь...

Молодой человек. Что что-нибудь?

Барышня. Перестаньте...

Молодой человек. Нет уж, вы договаривайте: что что-нибудь? Что-нибудь — это что, это материальное или духовное?

Барышня. Ну, пошла философия...

Поп (*Шипову*). Да вы сами-то чего не пьете? Ну-ка.

Шипов. Мерси. Пущай другие тоже пьют.

Поп (*смеется*). Пущай, пущай... А что это вы такой бледный?

Шипов. Устал я...хлопот много. Имение ведь... Хе-хе!

Поп. Ха-ха!.. А что у князя, как вы там жили? Это ведь интересно, любезный. Ну-ка, расскажите, расскажите...

Михаловский. Теперь я перехожу на шампанское, господа.

Сосед (*даме*). Да мое имение ведь граничит с Ясной, в самом деле...

Дама. Ну и что он?

Сосед. С графом мы не кланяемся... Вздорный человек.

Молодой человек. Он ваш сосед? Говорят, книжки сочиняет?

Сосед. Сочиняет, вот именно. (*Даме.*) А вам нравятся его сочинения?

Дама. Мне нравится Тургенев, у него есть основное направление, а у графа Толстого нет основного направления... Вы читали у него про войну? Меня, например, тошнит...

Сосед. Что вы разумеете под направлением? Он перессорил меня с моими крестьянами, вот что я вам скажу...

Дама. Нет, в самом деле, вам нравится у него про войну?

Молодой человек (*барышне*). У нас, например, его терпеть не могут... А вы?

Барышня. Я об этом не думала... (*Шепотом.*) Ах, да перестаньте же...

Михаловский. Ничего, ничего, он свое получит...

«Нехорошо,— подумал Шипов,— чего это они Левушку-то обижают?»

Молодой человек (*барышне*). А если что случится?

Барышня. Да что же может случиться?

Молодой человек. Ну, мы с вами, к примеру, останемся наедине...

Барышня. И что же? И что же?

Молодой человек. Господи, а вы не знаете, что бывает, когда двое страстных молодых людей остаются предоставленные самим себе? Не знаете?

Барышня. Догадываюсь.

Молодой человек. Ага! Догадываетесь... И не боитесь?

Барышня. Чего же?

Молодой человек. Ну, знаете... А разговоры о бесчестье? А слезы родителей? А проклятья?

Барышня (*долго смеется*). Сударь, сударь, я была замужем... Ха-ха! А вы считали, что я... ха-ха-ха...

Молодой человек. Ах, вот как... А я считал...

Поп (*Шипову*). Покайтесь, батюшка, покайтесь. Растворитесь...

Шипов. Ну, будя, отец Николай, будя... Эй! Чего приуныли?

Дама. Фу, как он кричит!

— Господа! — вдруг крикнул Михаловский, и с губ его полетели крошки.— Граф, положим, человек ничего себе... Но у него есть воззрения, свои собственные мнения. Конечно, и у меня есть свои взгляды, но эти взгляды вот какие: исполняй свой долг. А он еще до реформы давал своим крестьянам вольности, не задумываясь, в какое положение он ставит всех нас... Нас с вами, господа... Верно ведь? — обратился он к Шипову.

— Те-те-те-те,— сказал Шипов.— Бонжур.

— Теперь,— продолжал Михаловский,— он устроил у себя школу на свои деньги. Помилуйте: школу для крестьянских детей! И сам — в качестве учителя! Граф — учитель? И после этого он требует к себе уважения, которое ему подобает как графу, помещику и бывшему офицеру! Ну, я стараюсь с ним в обществе не встречаться —

я весь в негодовании. Да и о чем с ним беседовать? Он доказывает, что отмена крепостного права — закон природы!.. погоди, как бы тебя самого не двинули! Ха-ха-ха-ха! Как бы не двинули по-нашему!..

— Будя! — сказал Михаил Иванович. — Это же се-требьен получается. Чего вы его честите?.. Ты вот, ты... Ну?

— Пардон, — сказал Михаловский, утирая губы салфеткой, — пардон.

Все затихли.

— Пей-гуляй, — сказал Шипов, грустя и сникая, — пей-гуляй...

Постепенно стало темно от спустившегося вечера, и кто-то крикнул зажечь свечи. Начали все это проделывать сами, спотыкаясь, и падая, и все опрокидывая, пока все тот же вездесущий мальчик не дотянулся до каждого канделябра, до каждого подсвечника. И словно из былого, словно со дна безумной чьей-то памяти, всплыли и проявились забытые медные лица. Колеблющиеся, неверные, ускользающие, они то пропадали, то возникали вновь.

Голоса стали тише, приглушеннее, шутки откровеннее, неприязнь звонче. Но едва желтое пламя свечей заявило свои права, как перед Михаилом Ивановичем оказался большой синий конверт. Шипов вскрикнул едва слышно. Но все были увлечены беседой и потому никому до него не было никакого дела.. Он привычно вскрыл конверт, чувствуя, что трезвеет и вновь начинает мелко подрагивать. В конверте, как всегда, была четвертушка бумаги, но на сей раз она была пуста.

— Ууууу, — тихонечко завыл секретный агент, — беда какая!

— Хорошо, когда люди кругом, — сказал Севастьянов, почему-то оказавшийся рядом с Михаилом Ивановичем. — А как одному-то остаться? Не дай господь-с...

П о п (шепотом). Видно, письма ужасные у вас...

Ш и п о в. Пужают.

П о п. Вон вы дрожите весь.

С е в а с т ь я н о в. Задрожишь тут... У меня и то голова гудит-с...

П о п. Одного не понимаю — вы с вашими-то деньгами могли бы в Америку, например, съездить, а вы тут, в Туле, сидите.

Ш и п о в. Да ведь у меня имение... Должон я доход собирать? Я ведь, лямур-тужур, не могу от дохода отказываться.

П о п. Парле ву франсе?

Ш и п о в. Ах ты, ей-богу... Да зачем уж так-то, отец?.. Обидеть меня желаете?..

С е в а с т ь я н о в. Конвертик-то синий. Придумают же.

Ш и п о в (слабым голосом). Пей-гуляй... Зимин за всех платит... (Попу.) У меня же имение. За ним глаз нужен.

С е в а с т ь я н о в. Жизнь — она дороже-с.

Ш и п о в. Какая еще жизнь?

С е в а с т ь я н о в. Ваша-с. Они в конверте могут и отраву прислать. Все могут-с.

Ш и п о в. Не могу я имение бросить...

«Чего мне в Ясной-то надо? — снова подумал он.— Чего? Чего? Ну, я съезжу туда, а чего я? Чего мне там?.. — И вспомнил: — Ах, да граф же там, граф! А я-то думаю: чего? Граф Толстой... А чего граф? Я должен ему чего али он мне?.. Итальянца нет, черта, прощелыги, а то бы он сказал. Он знает...»

П о п. Что-то неприятное есть в этом номере, не правда ли? Гляньте-ка, как комнаты расположены: одна, потом другая, а потом и еще одна... Вы велите и в тех комнатах свет зажечь, велите.

Ш и п о в. Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте.

С е в а с т ь я н о в. А прошлым летом здесь одну молодую даму убили-с...

П о п. Фу, страсти какие! А вам разве приятно, Михайло Иваныч, такое слышать?

Ш и п о в. Мы вас не трогаем, и вы нас не трожьте.

С е в а с т ь я н о в. Какие же это страсти? Сама жизнь. Покуда здесь купцы гуляли, ее в той комнате, во-он в той, подушкой накрыли — и все.

М о л о д о й ч е л о в е к (барышне). Я, наверное, влюблен в вас. Со мною черт знает что происходит...

Б а р ы ш н я. А вы не боитесь, что кто-нибудь увидит?

М о л о д о й ч е л о в е к. Что увидит?

Б а р ы ш н я (шепотом). Вашу руку... Милостивый государь, уберите руку! Вы не смеете...

М о л о д о й ч е л о в е к. Ну вот, ей-богу...

С е в а с т ь я н о в (даме). Вам клубнички-с?

М и х а л о в с к и й. А кто он такой? Что ему надо?

Дама. Да это же хозяин гостиницы.

Михаловский. Пардон...

Севастьянов. Это ничего-с.. Может, еще чего хотите?

Дама. Мерси. Я хочу вон от того гуся немного.

Пустое письмо повергло Шипова в полный трепет. В зыбком пламени свечей мерещились всякие страсти. Он был почти совсем трезв, но слабость сковала его, а грузный поп и Севастьянов сидели так плотно, что не хватало воздуха. А праздник продолжался. Кто-то выходил, появлялись какие-то новые, незнакомые люди, их угловатые тени металась по стенам, длинные руки тянулись к блюдам, слышались чавканье, сопенье, смех. Дверь уже вовсе не запиралась. И Шипову вдруг захотелось подпрыгнуть, вырваться из этого душного, цепкого круга, выскочить в окно и лететь выше, выше, выше... Он приник щекой к горячему плечу отца Николая и тихо сказал:

— Батюшка, куды же выше-то? Тама — небеса одни...

На круглом лице отца Николая играли тени, и нельзя было понять, смеется он или плачет, жалея Шипова. Сквозь серебряную бороду поблескивали влажные губы, два маленьких темных внимательных зрачка будто бы сострадали.

— А вы сходите, Михаил Иванович, в ту комнату,— сказал Севастьянов шепотом,— во-он в ту, и сами увидите-с...

— Зачем? — испугался Шипов.— Зачем это мне туда ходить?

— Ежели не верите...

— Вроде бы там и сейчас кто-то есть,— сказал поп.

— Эх,— вздохнул Севастьянов,— продам все — и в Москву...

«Верно,— подумал Шипов,— и я в Москву! Вот радость... Пущай они тут сами, без меня...»

Тут он приподнялся, заработал локтями, начал выбираться из душного круга.

— Позволь, позволь... Да позволь, се муа!.. Да подвинься...

— Куда это вы? — засмеялся поп.— Уж не в Москву ли собрались?

— В Москву, в Москву,— твердил Шипов, выбираясь.— Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте... В Москву...

Он лез через стулья, через кресла, наступал на чьи-то ноги, отбивался от чьих-то рук, пытавшихся его удержать. Ему казалось: еще шаг — и Москва откроется перед ним, и все несчастья кончатся. Он видел перед собой широкую, теплую, мягкую Матренину постель и торопился, карабкался — скорей-скорей под пестрое одеяло, обо всем позабыть...

...Очнулся Михаил Иванович в незнакомой каморке со сводчатым потолком. Он лежал на жесткой койке. Прекрасный его костюм, вычищенный и отутюженный, аккуратно висел рядом на спинке стула. В окно было видно, что майское утро в разгаре. Голова бóлела. Воспоминаний не было. Возле стояли Севастьянов и мальчик в красном казакине. У Севастьянова было суровое, непроницаемое лицо, будто маска.

— В Москву собрались? — спросил он без интереса.

— Ага,—вспомнил Шипов,—в Москву, Матрена там у меня.

— Надо бы рассчитаться,—сказал Севастьянов и протянул счет.

Шипов схватил бумажку, вспомнил про ассигнации и чуть было не закричал, но едва прикоснулся к сюртуку, они захрустели успокоительно. От сердца отлегло. Скомканые бумажки посыпались на койку. Шипов засмеялся.

— Лямур?..— И принялся считать.

Но сколько он ни считал, как ни пересчитывал, не хватало сорока рублей.

— Не знаю-с,—сказал хозяин и отворотился,—сами гуляли-с...

Шипов засуетился, вновь расправил все бумажки, разгладил их, отогнул загнутые уголки, но денег не прибавлялось.

— Может, я из Москвы пришлю?

— Не знаю-с,—сказал Севастьянов,—нам это ни к чему-с. Извольте платить.

— Может, гарнитуром не побрезгуете? — спросил Шипов, кивая на панталоны цвета беж и коричневый сюртук из альпага, обшитый по бортам шелковой тесьмой.

— Ладно,—вздыхнул хозяин,—посчитаем-с.

— Цилиндр там, в номере...

— Посчитаем-с.— И приказал мальчику в красном казакине.— А ну, слетай живо...

Мальчик улетел.

— Больше ничего нет,— сказал Шипов.

— Ой ли?

— Пальто гороховое?

— Пойдет-с...

— Ну, будя?

— В расчете-с...

И вот Михаил Иванович облачился в старую свою одежду и пошел к выходу. Хозяин проводил его до дверей и на прощанье сунул ему в руку полтинник.

— Мерси,— сказал Шипов и побрел в сторону Москвы.

10

*(Из письма генерала Потапова —
генералу Тучкову)*

...сохранять полное спокойствие. Ничего еще не известно с достоверностью. Полковник Муратов — фигура увлекающаяся, я его хорошо знаю. Теперь не время для вздохов и восклицаний. Не могу вспомнить, Милостивый Государь, как родилась идея с этим агентом. С несомненностью помню, что выдвинули его у вас, в Москве, расхвалили, приукрасили, вознесли. Кто он такой? Откуда? Почему надо было ему доверять столь важное дело?

Было бы очень кстати установить, кто непосредственно этим распорядился. Ведь Вы только представьте: мы и в дальнейшем будем пользоваться подобными сомнительными рекомендациями, и это будет повергать нас в постоянные неудачи.

В конце концов, я не вижу ничего предосудительного в главном направлении наших стараний, хотя сознаюсь, что избранный нами метод оказался слабым и даже вредным.

Я рассуждаю так: ежели, предположим, Полковник Муратов по каким-то личным соображениям вводит нас в заблуждение, то, стало быть, эта каналья М. Зимин все-таки провел работу, во всяком случае, устроил типографию. (Вы мне писали об этом.) То, что он пьянствовал, это еще ни об чем не говорит... Важен ведь результат, не так ли?..

Отлично помню, что я был против его кандидатуры.

Серьезное дело политического сыска нельзя поручать безвестным пьяницам: агентам, не прошедшим специальной подготовки, не имеющим большого опыта...

(Долгоруков — Потапову)

...Кто такой этот Зимин? Мне эта фамилия неизвестна. Неужели нельзя было проследить, чтобы это весьма щепетильное дело было поручено агенту понадежнее? Установите, кто непосредственно ведал всем этим в Москве.

С ужасом представляю лицо Государя, когда он узнает об этом скандале!..

(Тучков — графу Крейцу)

...Вот вам, пожалуйста, Милостивый Государь Генрих Киприянович, какое ужасное происшествие! А я ведь чувствовал это, когда это чудовище с манерами лакея появилось в моем кабинете. Я уже тогда знал, как оно все будет. Я предупреждал Генерала Потапова, предупреждал Вас, но меня не послушались.

Генералу Потапову угодно теперь все перевернуть наизнанку и представить дело таким образом, что, мол, Петербург к назначению этого чудовища не имеет отношения. Это неслыханно! Князь Долгоруков сам одобрил эту кандидатуру по причинам, всем нам хорошо известным, а именно потому, что это чудовище — из его дворовых людей.

Вот и представьте себе, что же нынче: Граф Толстой оболган, и мы подставили его под удар. Слава богу, что не дошло до действий. Ведь могло бы случиться самое ужасное.

Вот что получается, когда люди начинают стараться ради себя, а не ради Государя и Отечества.

(Из письма Л. Толстого — Т. А. Ергольской)

...Я нынче еду из Москвы, сам не знаю куда — в Бугуруслан или в Елтон, решу в Самаре... Мальчики здоровы, Москва нам не нравится. По журналу слава Богу. Целую ваши руки...

(Тучков — Шеншину)

...и в течение полугода Вы, Ваше Высокоблагородие, не могли распознать сего недоразумения, а аккуратно докладывали мне весь этот вздор да еще отправляли деньги этому чудовищу неизвестно на что...

(Крейц — Тучкову)

Кто конкретно предложил эту кандидатуру, теперь установить трудно, почти невозможно, и единственное, что я позволю себе утверждать, что решение это созрело не в моем ведомстве...

(Крейц — Неизвестному)

...Мы можем быть спокойны. Это III Отделение перемудрило по своему обыкновению. Они имеют обыкновение входить в раж, когда представляется возможность схватить одного-другого злоумышленника или даже невинного, лишь бы доказать свою деятельность. О средствах они не беспокоятся. Вот отчего сие и получилось.

Что же касается нас, Полиции, то, предоставь они это дело нам, мы бы повели его совсем иначе, и был бы успех.

Конечно, ежели это все обман с Графом Толстым, то не исключено, что опасения все-таки не напрасны, ведь вы подумайте, Ваше Превосходительство, все безумные идеи, все возмутительные прожекты рождаются не в головах простого народа, а в головах именно просвещенной части общества. А Граф Толстой к тому же и пишет, говорят. Так почему же ему и не проповедовать в письменной форме различные нигилистические мнения? Ему и карты в руки. Так что, думаю, нет дыма без огня...

(Тучков — Потанову)

...ибо это более чем странно. Тула не входит во вверенный мне район, и я участвовал во всей этой истории на правах, так сказать, наблюдателя и помощника. Теперь же, после установления мерзкой деятельности агента, направленного в Тулу Вами, я становлюсь по чьей-то воле чуть ли не главным действующим лицом! А ведь я, Александр Львович, неоднократно выражал сомнения относительно личности этого чудовища и даже слышал

упреки в свой адрес по поводу моей мнимой нерешительности.

Теперь же дело оборачивается так, что будто бы это именно я придумал кандидатуру этого М. Зимина...

(Жандармский полковник Воейков — Муратову)

...Что же ты натворил, брат? Теперь тут целая буря, и конца ей не видно. Представляю, что делается в Петербурге, если у нас — полная вакханалия.

В дело это нынче втянуты все, все до него причастны, кроме, пожалуй, меня да еще кой-кого, хотя теперь уж и не поймешь, кто причастен, а кто нет.

Как же тебе удалось уследить за этой образиной? Вот еще чудо девятнадцатого века! Я в тебе никогда не сомневался, как ты, надеюсь, помнишь, и рад, что ты смог утвердить себя, несмотря на всяческие козни высших чинов. Пусть знают, что мы тоже не лыком шиты и у нас за спиною — Крымская.

Однако, Николай Серафимович, милейший, должен тебе признаться, что все-таки не надеюсь на полный твой успех, ибо ты есть разоблачитель, разоблачитель зла, но разоблачитель такого рода, который поставил под сомнение предначертания наших «богов», а они сего страсть как не любят.

Слышал я, будто собираются тебя к Ордену представлять. И поделом...

СЕКРЕТНО

*Управляющий III Отделением
Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии
С.-Петербург*

*Господину Полковнику Корпуса
Жандармов, находящегося в Туль-
ской губернии, Муратову*

Господин Полковник, Ваши донесения разоблачительного свойства поставили под угрозу исход выполнения ответственной операции.

Надеюсь, что все сообщенное Вами будет иметь подтверждение. Во всяком случае, предпримите срочно следующие меры:

1) Немедленно арестуйте М. Зимина и отправьте его с фельдъегерем в Москву для дальнейшего препровождения.

2) Постарайтесь разыскать агента, именуемого Гирос, и также арестуйте его и препроводите в Москву также.

3) Предпримите все необходимое, чтобы слухи об операции, имевшей место, никоим образом не достигли до Графа Толстого во избежание неприятных последствий.

Генерал Потапов

(Князь Долгоруков — генералу Потапову)

...Что делать, Любезный Александр Львович, надо бы представить Полковника Муратова к Ордену и вообще попечья о нем...

(Из письма Л. Толстого — М. А. Маркович)

...Зимой я поправился, но теперь опять кашляю и нынче из Москвы уезжаю на кумыс...

(Из письма Л. Толстого — Т. А. Ергольской)

...Я нынче еду из Самары за 130 верст в Каралык, Николаевского уезда... Путешествие я сделал прекрасное, место мне очень нравится, здоровье лучше... Алексей и ребята живы и здоровы, что можете сообщить их родным...

*От Штаб-Офицера
Корпуса Жандармов,
находящегося
в Тульской губернии*

*Управляющему III Отделением Соб-
ственной Его Императорского Вели-
чества Канцелярии, Свиты Его Ве-
личества, Г-ну Генерал-Маиору и
Кавалеру Потанову*

Спешу донести, Ваше Превосходительство, что еще до получения Вашего распоряжения об арестовании М. Зимина последний исчез из Тулы.

По наведенным справкам выяснилось, что он направился в Москву сам, хотя цель его путешествия мне неизвестна.

Что же касается Гироса, то, как я уже докладывал Вашему Превосходительству, сей господин исчез уже с месяц назад в неизвестном направлении.

По непроверенным слухам стало известно, что некто похожий на этого господина скрывается якобы в одном из тульских ночлежных домов. Дознание, произведенное моими людьми, ничего установить не помогло. Был обнаружен человек, действительно напоминающий Гироса, но он оказался известным бродягой Симеоновым.

Как мне удалось установить, Граф Лев Николаевич Толстой в полном неведении о происходящем вчера отправился через Москву в Казань для лечения кумысом.

О чем имею честь донести Вашему Превосходительству.

Полковник Муратов

Майский полдень был великолепен. Особенно это ощущалось на Московском тракте, в той его части, которая отстоит от Тулы верст пятьдесят и не достигает еще Серпухова с его взгорками, колокольнями и свежезеленой поймой Оки.

Сосны попеременно с березами, осинами и дубами, по-



крытыми молодым, но уже крупным листом; густая трава, которой еще не коснулись июльские жары; кое-где мелькающие голубые ручьи, речки, озерки; поляны, переполненные цветами, легкий звон насекомых — все это было праздником природы, от которого кружится голова и забываются несчастья. Да еще ко всему же аромат земли, воды, леса. Какое удивительное счастье! Да к тому же еще невозможная тишина, словно и нет в целом мире уже ни голосов людей, ни шума брани, ни звуков труб, ни грохота молотов, ни плача, ни хохота — ничего.

Вот в это время в сторону Москвы, утопая колесами в песке, бесшумная, словно фантазия, медленно катила почтовая карета, выкрашенная когда-то в коричневый цвет, старая и уже кое-где пооблупившаяся. По обеим сторонам тракта высился бескрайний чистый лес, и казалось, что он тоже медленно движется, сжимая дорогу, сясь перекинуть через нее свои ветви.

В карете сидели трое — мужчина средних лет, бородастый, одетый скромно, и два крестьянских мальчика.

Все трое, почти по пояс высунувшись в окна, раскрыв широко глаза, с наслаждением любовались дорогой и всем карнавалом майской природы, понимание которой было им, видимо, доступно.

В самом узком месте тракта, где песчаная дорога, казалось, вот-вот совсем исчезнет под натиском тянущихся друг к другу деревьев, за несильным поворотом они вдруг увидели странного пешехода.

Он шел по самому краю дороги тоже по направлению к Москве. На нем был крепко поношенный, мышиного цвета сюртук, на голове черный котелок, он легко ступал по песку босыми ногами, а через плечо были перекинуты сапоги, и свежесрезанная палка, зажатая в руке, четко отбивала шаг.

Путники в карете переглянулись с улыбкой. Экое странное создание! Экипаж поравнялся с пешеходом, даже обогнал его несколько. Человек головы не поворотил. Лицо его в бакенбардах было устремлено вперед, словно какая-то тайная, неотвратимая мысль руководила его движениями и влекла его, босого, по тракту.

— Эй! — крикнули мальчики.

Но он продолжал вышагивать, словно никого, кроме него, и не было среди этого безмолвного лесного океана.

Наконец карета обогнала его.

— Эй! — снова закричали мальчики. — Садись к нам, подвезем!

Тут он, как бы проснувшись, глянул в их сторону, и улыбнулся тонкими, сухими губами, и покачал головой. И едва он успел увидеть два счастливых детских лица, да недлинную бороду мужчины, да спину кучера, как все это тотчас же скрылось в кустах за поворотом.

Двое суток шел Михаил Иванович, ночуя на случайных сеновалах, питаясь захваченным с собой караваем и запивая его ключевой водой. Двое суток дорога благоприятствовала ему, оберегая от разбойников и лишних встреч. Идти босиком было легко и даже приятно. Дикий лес, начавший почти забываться в городской жизни, вдруг словно ожил, вернулся, напомнил о себе, и сердце Шипова дрогнуло. Он шел, дыша лесными испарениями, стараясь держаться в целительной тени, и мысли его, почти все, были чистые и звонкие, как серебряные колокола.

Конечно, когда за спиною осталась будто целая жизнь, а впереди неизвестная, пустая глухота, где возможно все — кнуты и пряники, — будешь, будешь наслаждаться этим лесом, этой погодой, этими пестрыми цветами, далекими от людской суеты и страданий. Конечно, Москва приближается неотвратимо, но пока она где-то там еще, здесь царит покой и тянется следом неугасимое недавнее прошлое, в котором ты был прекрасен, ловок и умен. И хотя там тоже бывало всякое, но ведь Дася-то была, она ведь не придумывалась, белую шейку подставляла. А как же... И были деньги, и был сюртук из коричневого альпага, и трехкомнатный номер у Севастьянова, и был Гирос, шельма... А он ничего себе был, итальянец этот, этот грек чертов, а может, и цыган, кто ж его знает... На дуб полез, тулуп захватить не позабыл, вот прощелыга! Волки вокруг ходят, а грек этот спит себе в тулупе, будто в люльке, ну и грек!.. А старуха-то чуть косточки не сломала — как обняла. Эвон какая вымахала на подаянии-то! Да вон и я иду, ровно богомолец какой, однако у меня впереди, се муа, Москва, да их высокоблагородие Шеншин с их благородием Шляхтиным готовятся душу из меня вынуть. На молебствие иду, на поклонение!

Так он шел, браво опуская в пыль и песок босые ноги, смеясь и плача, содрогаясь и не теряя присутствия духа,

пока не повстречалась ему почтовая станция с постоянным двором. Возле крыльца увидел он давешнюю карету и ближе подходить не стал, а присел на опушке, привалился спиной к стволу, погрузил разгоряченные ноги в прохладную траву и принялся с почтительного расстояния созерцать людей. А люди суетились возле кареты, запрягали лошадей, беседовали на крыльце о чем-то, и этот был, с негустой бородою, высокий, сильный, и два крестьянских мальчика стояли возле него, и он одному из них ладонь положил на русую голову. А напротив стоял стационарный смотритель, а из-за плеча его выглядывала растрепанная баба, и шел какой-то веселый разговор, и обрывки смеха долетали до секретного агента.

А ведь мог и он, Шипов, распрекрасно катить себе в карете, когда б не пустил на ветер хрустящих ассигнаций. И спал бы на постоялом дворе, на мягких бы перинах, и кучеру бы кричал: «Пошел, пошел, голуба!» Или же еще в Туле сговорились бы по странной случайности ну хотя бы с этим бородатым: вы, мол, куда? Уж не в Москву ли?.. Так точно, мол, в Москву... Вы не будете возражать, ежели я, например, с вами?.. Помилуйте, буду только рад... Вот так и поехали бы. Мальчики — ангелы, а этот, с бородой, к примеру, сам граф Лев Николаевич... Ну вот, едем. Едем, едем. Он ни об чем не догадывается, я ни об чем таком не говорю. Вот и постоянный... Не угодно ли перекусить?.. Садимся за стол, туда-сюда... Шампанского приказываю... Шампанское пить будете?.. Граф жметя... Э, граф, силь ву пле, я же плачу за все. Щеки у него идут пятнами. Да что вы, мол, да как можно... те-те-те-те, ко-ко-ко-ко... Можно, граф. Я за все плачу, ибо вы мой благодетель... Как? Каким образом?.. А вот таким, говорю, это великая тайна... Ну, тут все смеются, потому что какая может быть тайна в таком деле?.. А она может быть. Ну, значит, едем дальше. А вот и Москва...

В это время карету уже, видимо, подготовили к дороге, потому что кучер полез на козлы, а затем и путники один за другим уселись. Дверца захлопнулась, кнут просвистел, и экипаж покати. Стационарный смотритель и его баба замахали, замахали руками что есть мочи, будто тоже следом намеревались улететь, а потом ушли в дом. Тогда вот Михаил Иванович натянул сапоги, предвари-

тельно обтерев их лопухами, приосанился и медленно поплыл к станции.

Внезапно, как это бывает на лесной поляне, накатил вечер. Легла на траву роса. Насекомые угомонились. Деревья затихли. Красное солнце мазнуло по верхушкам деревьев и провалилось куда-то до самого утра.

Михаил Иванович подошел к крыльцу, занес было ногу на единственную ступеньку, как вдруг послышались голоса и на крыльце появился смотритель со своей бабой. Следом за ними вырвался аромат щей и пошел гулять у Шипова под носом.

— Здравия желаем, сударь,— сказал смотритель, удивляясь на невысокого господина в сюртуке, котелке и с палкою.— Милости просим, сударь.

— Что это, они будто пешие пришли?— изумилась баба.

— Бонжюр,— сказал Шипов не очень решительно,— а ведь и впрямь пеший.

Смотритель понимающе засмеялся.

— Колесо сломалось версты три отсюда,— пояснил Шипов,— пущай кучер там того-сего, а я пешочком... Погода царская.

— Милости просим щей горячих.

«А что ж,— подумал Шипов,— была не была. Уж больно дух от них сильный. Авось не подавлюсь». И шагнул в избу.

И тотчас голова у него закружилась, в животе грянула музыка, когда он вошел в горницу, озаренную красноватым огоньком сальной свечки.

Шипов как был в котелке, так и уселся, борясь с голодной слюной. И тут же расторопная баба загремела за печью, заплескала, облако пара промелькнуло в пламени свечи, и перед Михаилом Ивановичем возникла миска, и отполированный многими руками черенок деревянной ложки оказался в кулаке.

«Эх, теперь бы в самый раз опрокинуть одну-другую!» — подумал секретный агент, но постеснялся просить смотрителя и со вздохом погрузил ложку в горячую жижу.

Что там будет, как оно там случится дальше, Шипов не думал, занятый едой. Ложка летала неистово. Миска заметно опоражнивалась. По жилам побежал огонь.

Жить стало легче. Баба с грохотом понесла со стола грязные миски.

— Граф Лев Николаевич вечеряли,— сказал смотритель,— с мальчиками тут были...

— Какой граф? — вздрогнул Шипов.

— Толстой,— сказал смотритель,— граф Толстой, тульские они, у них там имение.

— А,— сказал Шипов, содрогаясь,— это я знаю, а как же... Я думал, кто другой...

— Завсегда, как мимо едут, остановятся... Шутить любят.

— Знаю, а как же,— пробормотал Шипов,— с бородой. Знаю...

«Господи,— подумал он,— это что ж такое? Стало быть, сам граф из кареты меня звал подвезти?»

— Он мимо ехал,— сказал Михаил Иванович,— все к себе в карету приглашал, хе-хе...— И почувствовал, что немного отлегло.— А я ему: мол, нет уж, пуркуа, езжайте с богом, я пройдуся.

— Во-он как! — обрадовался смотритель.

— Родственники мы,— заявил Михаил Иванович,— братья.

«Вот и свиделись с графом!» — подумал он с умилением.

— Крестьянских детишек на кумыс лечить повез,— сказал смотритель.

— Знаю, а как же,— выдавил Шипов, работая ложкой,— это помогает... Они мне тоже кричали все: «Давай к нам, дядя Миша!..» Нет уж, шельмецы, мне пройтись охота...

— Душа у него добрая,— сказала баба,— нешто другой кто будет об людях своих так заботиться?

— Добрая,— отозвался Михаил Иванович,— а как же. Он и деньгами всегда поделится. Просто сетребьен.

— Во-он как,— сказал смотритель.

«Господи,— подумал Шипов,— надо бы мне в карету к ним сесть! Ручку бы поцеловать благодетелю... Да что вы, да зачем это вы?.. А это, мол, ваше сиятельство, великая тайна. Эх, недотепа, побрезговал в графскую карету сесть, а уж звали-то как, звали-то!»

И тут капризная память распахнула крылья и стремглав перелетела за многие годы назад, ибо только ей это доступно, и Шипов увидел, как он сам, четырнадцатилет-

ний, бежит по княжескому двору, сгибаясь под тяжестью подноса, и дымчатые рюмочки звенят, и голубые бокалы с золотыми вензелями покачиваются... Голова у Шипова сдавлена железным горячим обручем, в глазах рябит, ноги не слушаются, но он бежит или ему кажется, что бежит, он плывет, скользит, как был обучен, и у самого стола, где вся княжеская семья в сборе, чуть изгибается, и на ореховый паркет летит хрустальное богатство — вдребезги.

Ловкая пятерня дворецкого сгребает его ухо, крутит, и Мишку ведут вон. И вдруг вся княжеская семья приходит в движение, все вскакивают из-за стола.

— Не смей! — кричит князь Василий Андреевич. — Как ты смеешь!

И дворецкий выпускает ухо Шипова. Все сбиваются вокруг, что-то говорят, кричат, толкаются.

— Боже мой, — говорит княгиня, щупая его лоб, — да он же совсем больной!

— Он совсем больной!

— Это горячка!

— Как вы смеете хватать мальчика за ухо! Отведите его сейчас же в людскую, пусть его там уложат...

Его медленно ведут по голубым осколкам.

— Ничего, — смеется молодой князь и подмигивает ему, — битая посуда на счастье.

И все облегченно смеются.

Мишку укладывают в людской. Он бредит. Дворецкий ходит на цыпочках. Кухарка кладет больному на лоб мохнатую тряпку... Проходит неделя-другая, и вот он здоров и, худой, зеленоглазый, бежит с подносом в княжескую столовую, где все уже сидят по своим местам, и все очень рады его выздоровлению, и все улыбаются...

«А может, — подумал Михаил Иванович, — кабы мне тогда кумысу, мне бы и полегчало? Кто ж его знает... Кумыс, аншанте...»

— А что, ваше сиятельство, — сказал смотритель, — а велю-ка я людям съездить за каретой вашей... Да и сам с ними поеду, так оно верней будет...

— Да что за беспокойство? — забеспокоился Михаил Иванович и сказал как мог снисходительней: — Мой Петруха привычный в лесу ночевать.

— Прикажи, прикажи, — сказала баба, — видишь, их сиятельство скромные какие.

И смотритель ушел распоряжаться.

«Теперь не переночевать на перине,— понял Михаил Иванович.— Теперь давай бог ноги».

Под окном всхрапнули лошади, и копыта глухо забарабанили по траве.

— Да вы не скучайте,— сказала баба,— они мигом обернутся. Может, вам еще чего подать? Может, каши?

— Мерси,— сказал Шипов, холодея.— Пойду-ка я перед сном погуляю. Больно вечер хорош.— И неторопливо вышел.

Стемнело уже основательно. В ночной темноте да в тишине четко слышался удаляющийся в сторону Тулы конский топот. Нужно было поторапливаться. Михаил Иванович медленно, вразвалочку, дошел до тракта, оглянулся на окна станции и, подобно ночному хорьку, скользнул в придорожные кусты.

Разгребая руками ветки, он заспешил, заспешил, почти что побежал, да нет, и впрямь побежал вдоль Московского тракта, чуя за спиной опасность. Попробовал выскочить на дорогу, чтобы легче было, но тут откуда ни возьмись вывалилась здоровенная луна, и снова пришлось красться лесом, натыкаясь на кусты и корни. Скорей, скорей, покуда добрые люди не разгадали обмана... А какой, собственно, обман? Ну, миску щей съел, ну, денег не дал, а где их взять? Ну, про графа закрутил... Да будя уж вам серчать-то!

Лес внезапно оборвался, открылось бескрайнее поле, озаренное лунным светом.

«Нельзя на свету, нельзя,— сообразил Шипов, задыхаясь,— нельзя! Увидят!» И вдруг вдалеке засеребрилась копна. И он поскакал через поле, пригибаясь, черным комочком, попрыгунчиком, придерживая рукою котелок, при последнем издыхании добрался до твердой, прошлогодней копны и закрутился весь, завился, заработал руками и ногами, зарываясь в душную нору. Лицо его горело от множества острых и безжалостных стрел, рот был полон горькой пыли, обезумевшие насекомые снова ли по его телу, щекотали его и кусали, а он был счастлив, что нашел себе такое укромное логово. «Мышка, мышка,— подумал он,— серенькая мышка. Какая охота идет!»

И действительно, в скором времени слышался топот, приблизился. Всадники подскакали к самой копне и остановились,

— Куда ж ему здесь уйти? — слышался голос смотрителя. — Здесь ему не уйти, некуда. Он, видно, через лес, наискосок, пошел, шельма.

— Топают сейчас, ушкуйник, небось верст с десять отмахал, — сказал другой.

— Вот жулье! — отозвался третий. — Креста на нем нет. Оглоблей бы его...

— Нет, — сказал смотритель, — зачем оглоблей? Я бы его раздел, медом бы всего обмазал да в муравьиную кучу...

— За такие дела не медом мазать, — сказала второй, — на кол сажать.

— Я как чувствовал, — сказал смотритель, — деньги, спрашиваю, дал? Нет, говорит, гулять пошел... Ах, ты, такая-сякая, эдак мы щей не напасемся, даром кормить. Гулять пошел, каналья... Я и смотрю, он мне разыгрывает: граф, мол, он...

— Я его давеча за приметил, — сказал третий, — пока мы, стало быть, запрягали, он, стало быть, на опушке сидел, за кусточком, котелок еще на нем черный...

— Ах ты пропасть, — сказал смотритель, — паралик его расшиби, ну, погоди, попадись только... Я из него душу-то выну...

— Да ладно уж, — засмеялся третий, — чего уж там. Поехали обратно. А ты считай, слышь, будто страннику щи скормил...

Голоса начали удаляться и постепенно затихли.

«Спас господь, — подумал Шипов, — пожалел. — И полез аккуратно из норы на волю. — И чего меня носит по полям да по лесам? Али я зверь какой?»

Теперь уже было не до сна. Нужно было уходить подалее, а не то и впрямь медом вымажут да в этот самый... Ах ты, мезальянс какой! Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте...

И с этим криком в душе, подставляя горящее лицо ночной прохладе, он двинулся к Москве. Она возникла не сразу. Еще нужно было помытарствовать не одну ночь и просить хлеба, прежде чем перед ним не замаячила она на рассвете седьмых суток путешествия, когда, обувшись в сапоги, обтерев их от дорожной пыли старой бумагой, приосанившись, пустился он легким шагом из деревни Верхние Котлы вниз по внезапно раздавшемуся в ширину тракту, к белым стенам Даниловского монастыря. Ли-

кование Шипова было так велико, что все страхи и дурные предчувствия приутихли на короткое время, забылись, словно только и не хватало ему добраться до этих белых стен, чтобы навсегда уже оказаться под их защитой.

Тут Москва и оборотилась к нему лицом, загрохотала телегами, возами, кузницами, закричала на разные голоса, запестрела разноликим окраинным скарбом. От боев потянуло горячей, свежей кровью, от мастерских — кожей, от харчевен — едой; рев скотины перемежался с криками людей, и непрерывно звенело что-то: то ли бубенцы на дугах, то ли коровьи колокольчики, то ли наковальни под молотами, то ли чей-то рассыпчатый смех; и от белых стен монастыря уже виднелась она, матушка, вся в розовой рассветной неге, поблескивающая золотыми куполами церквей, устремленными в синее небо.

Все живое тянулось в этот час к Серпуховской заставе — в Москву, в Москву. И мастеровые артелями топали по пыльному тракту, и цыгане с ручными медведями — потешать и обманывать столицу, и возы с дарами природы, чтобы забить до отказа бесчисленные торговые ряды. Все тянулось к Москве, словно бурная река текла в неведомую прорву, безуспешно пытаясь наполнить ее.

И Шипов шел как бы в окружении большого оркестра, и знакомая музыка московской окраины гремела вокруг, вдохновляя его и балуя. Ах, мало выпадало баловства на долю Михаила Ивановича, мало, ну, может быть, лишь то, что он сам принимал за баловство по собственной бесхитростности, а тут сразу и толпа, будто полная к нему любви, будто ради него собравшаяся, и музыка, и всякие там надежды, которые запорхали вокруг, подобно сонму прозрачных мотыльков.

Вот он миновал Серпуховскую заставу, пересек поле, пошел по Мытной. Открывались лавки, кричали разносчики, пахло свежими пирогами, потянулись первые пролетки.

До Никитских ворот оставалось добрых три версты, а то и поболее, однако белое шелковое лицо Матрены начало постепенно возникать из утренней пыли, и ничто уже не могло его погасить — ни шум толпы, ни грохот колес. Оно лишь подрагивало, колебалось от каждого стука и крика, но не исчезало и даже, напротив, становилось все отчетливее, яснее, чище.

Где-то там, за тридевять земель, куда теперь уж нет возврата, жила прекрасная вдова Каспарич, так странно оборвавшая любовь и возможность будущих наслаждений. Да теперь уж отсюда ее и не видать совсем, поблекла, потускнела, растаяла. Да и разве сравнить ее с Матреной? Вдова со всем своим благородством и изяществом была все-таки чужой, странной, оттого и ненадежной. Разве узнаешь, что у нее на уме? Разве нынче определишь, как она завтра улыбнется, да и улыбнется ли? А Матрена открыта, бесхитростна, рассудительна, и жарка, и мягка, и певуча. Бог с ним, с их благородством. Да разве у меня, се муа, его нет? А вот погодите, схожу в баньку, попарюсь, приглажусь... Эх, Матреша, да почисть ты мне перышки, будя тебе слезы-то лить, вот он я. Да не реви ты, не реви, не пойду я к господину частному приставу Шляхтину, не пойду, пускай он меня ждет, пускай он ждет, покуда мы с тобой друг на дружку-то не наглядимся!

Постепенно расстояние до Матрены сокращалось. Михаил Иванович, полный торжественной радости, шагал уже по Белому Городу. Июньский полдень был в разгаре. Голод, бывший много дней его спутником, смягчился и ослаб и уже не мучил, как прежде. Видно, преддверие скорого и обильного Матрениного угощения мешало ему разбушеваться в полную силу. Так Михаил Иванович и дошел бы, наверное, до своей любезной, как вдруг среди пестрой уличной толпы выросла перед ним высокая сутулая фигура частного пристава Шляхтина. Пристав стоял спиной к Шипову, но сердце секретного агента в ту же минуту подскочило и замерло. И вот он уже не вышагивал, а бежал по каким-то совсем не тем улицам, переулкам и пустырям, кружил кольцами по-заячьи, и не было в нем ни прежнего ликования, ни радости, ни ожидания счастья, а только страх, отчаяние и тупая боль в затылке. Вот как немного нужно человеку, чтобы всего его изменить и унижить.

«Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте!» — думал Михаил Иванович, а сам все бежал да бежал.

И случилось так, что подкашивающиеся ноги вынесли его прямо к трактиру Евдокимова и, вконец расслабленный и беззащитный, он ввалился прямехонько в знакомые душные ворота.

В трактире было пусто и тихо. Хозяин, Евдокимов, ши-

роко зевая, крестился на образа. Непонятно отчего, то ли Михаил Иванович вкатился слишком стремительно, то ли глядел встревоженно, то ли что еще тайное проступало в его облике, но Евдокимов навстречу не кинулся, как бывало, не поклонился с почтением, не рассыпался, а молча оглядел секретного агента с головы до ног и лениво спросил:

— Ну, чего желаете, Михал Иваныч?

Тут же, ровно заводной, выскочил из глубины Потап и, купаясь в хозяйских интонациях, проговорил в лицо Шипову:

— А мы тут по вас скучали, иссохлись совсем.

— Бонжур,— тихо сказал Шипов.— Что это вы, будто не признали меня?

— Как же вас не признать-то,— засмеялся Потап,— чего изволите, вмиг подадим-с.

— А мне ничего,— еще тише сказал Шипов.— Я бы, лямур-тужур, съел бы, пожалуй, чего... шей бы...

— Мур-мур,— засмеялся хозяин.— Потапушка, поди вынеси им шей да денег стребуй...

Но Михаил Иванович уже отошел к дверям и спиной отворил их.

— А щец-то? — крикнул вдогонку Потап.

«Вот беда,— думал Шипов, пробираясь с оглядкой мимо Страстного монастыря,— а как выскочит их благородие частный пристав, куды ж мне тогда? Антре? Попалась, мышка?»

До Никитских ворот, то есть до Матрены, было рукой подать. Главное — добежать бы до спасительного крыльца, скользнуть бы туда, в дом, в теплое гнездо, затаиться, а уж там, в тишине и безопасности, утолить голод, развежиться, отдышаться, покрыться глянцем, а уж тогда воротится былая удачливость, а уж там можно и заново все обдумать, все решить, как лучше, и пусть тогда господин Шляхтин кругами ходит вокруг да около, пусть, не увидать ему секретного агента, пропал Шипов. У Матрены горячие руки, у Матрены деньги... А уж после-то всего можно будет и в Петербург мчаться, упасть в ножки князю: да я же за вас старался, ваше сиятельство! Ну, может, недоглядел чего или там чего не так... Так уж вы, ваше сиятельство князь благодетель, батюшка, отец родной, се муа, милостивец... Да неужто мне теперь аншанте? Али я ради себя старался?..

У самого Тверского бульвара показалось ему, будто снова мелькнула сутулая спина частного пристава, и Шипов стремительно нырнул за угол. Но не успел он сделать и нескольких робких шагов, как перед ним возникла шестерка лошадей цугом под черной траурной сеткой, похоронные дроги и за ними медленная процессия — экипажи и так, пешие.

Скорбное шествие преградило путь секретному агенту, и он прижался к стене дома, приподнялся на носки, стараясь разглядеть лицо покойника. На черном бархате возвышался посеребренный гроб, и белые цветы неведомых названий густо покрывали его и рассыпались по всему бархату, словно росли из него. Как Шипов ни тянулся, лицо усопшего, скрытое ими, не являлось ему. Толпа хранила скорбное молчание. Шипов снял котелок и медленно пошел со всеми.

— Хороший человек был Амадей Васильевич, царствие ему небесное,— сказал немолодой господин, идущий рядом.

— Призвал господь,— вздохнул Шипов и тайно вздрогнул, услышав столь знакомое имя, и снова попытался разглядеть покойного, но помешали цветы...

— Какое несчастье,— проговорил господин,— молодой, полный сил, уже статский советник и действительный — и нате вам... Какой-то лишенный разума волк — и конец!

— Какой волк? — не понял Шипов.

— Как какой волк? — удивился господин и заторопился, зашептал: — А вы не знаете?.. Амадей Васильич едет в Тулу по служебным делам. Это на крещение, кажется... впрочем, точно, на крещение. Отправляется с ямщиком в знакомую усадьбу, тут, представьте, начинает выюжить, и тут появляются волки! — В этом месте Шипов споткнулся неизвестно обо что, но господин поддержал его за локоть и продолжил: — Два безоружных человека — и стая разъяренных хищников! Они разрывают лошадей, возницу, принимаются за Амадея Васильича, но идущий мимо обоз отгоняет стаю... — Михаил Иванович в этом месте, весь содрогаясь, увидел совершенно отчетливо громадного вожака волчьей стаи с белой отметиной на лбу. — Полумертвого нашего друга везут в лазарет, лечат, везут в Москву, снова лечат, но все напрасно...

В этот момент Шипов все позабыл. Не было ни спа-

сительных дубов, ни чужого тулупа на компаньоне, ни февральского рассвета, разогнавшего стаю, а было лишь одно: лохматые чудища треплют и рвут худое тело Гироса, кровь брызжет по снегу, слышатся стоны и хрип...

Возле Михаила Ивановича произошло легкое движение, и к нему подлетел молодой, расторопный, грустноглазый человек с рукою за пазухою и спросил горячим, страстным шепотом:

— Как, вы еще не отправились? Да вы же не успеете, сударь, Анна Францевна будут гневаться. Что это с вами?

— Пардон,— застигнутый врасплох, засуетился секретный агент,— сейчас отправлюсь. Значит, чего мне там распорядиться?

— Фу, боже милостивый, да вы в своем ли уме? Да ведь вам же объяснили!.. Да что же это такое! Вам и денег дали... Ну, торопитесь же...

Михаила Ивановича обуял бес, он тоже засуетился, смеясь и поражаясь в душе, тоже задержался.

— Ступайте,— зашептал молодой человек,— значит, велите всем встать вдоль забора, за ограду не заходить ни в коем случае, как в храм понесут, дадите знак... Ступайте, ступайте же!..

— А деньги? — спросил Шипов.

— Вам же дали деньги,— еще пуще заторопился молодой человек,— дали же...

Немолодой господин с интересом прислушивался к разговору.

— Нет, нет, не дали,— усмехнулся Шипов.— Они у вас в кулачке-с.

— Где? Где? В каком кулачке?

— А выньте ручку из пазухи...

Молодой человек густо покраснел и вытянул руку. В кулаке действительно были зажаты бумажки.

— Ну вот-с,— сказал Шипов и взял деньги.

Господин покачал головой укоризненно.

— Фу,— рассердился молодой человек,— совсем забегаюсь! Но чтобы все как следует, слышите?.. И без всяких там сокращений. Чтобы полностью: Амадей Васильевич Гирос, действительный статский советник... И никаких сокращений...

Шипов побледнел, услышав фамилию компаньона.

Так, значит, это не случайное совпадение имен! И это

не безумная фантазия смерти! Значит, была тайна в компаньоне, от которой он бегал, ровно заяц? Чего ему было нужно? Меж Тулой и Москвой чего он искал? Действительный статский советник... А чего нам всем надо? Чего мы все ищем?.. Это ж надо такому случиться, чтобы действительный статский советник — этот прощелыга, Амадеюшка этот, пустозвон этот, заяц трусливый, друг дорогой, сопящий за стеной в своей светелке, крадущийся по скрипучей лестнице, пьющий с графом кофей!.. Вот и твоя кошка нашлася!..

— Амадеюшка! — простонал он и, не стесняясь, заплакал.

Немолодой господин погладил его по плечу с участием.

Едва переставляя ноги, Михаил Иванович все же обогнал процессию, зашел с другой стороны и глянул на гроб. Здесь цветов почему-то совсем не было. В посеребренном гробу лежал старый человек с редкими русыми волосами надо лбом, широколицый, с розовыми щеками, словно разоспался. Нос у покойного был маленький и луковкой.

«Слава богу!» — подумал Михаил Иванович и даже подмигнул покойнику. Чужие — бог с ними, своих жалко.

Из первого экипажа, из-за опущенных шторок, слышался тихий плач.

Знакомое, почти родное имя вновь донеслось до слуха секретного агента, и он снова глянул на почившего. Нет, нет, сомнений не было. Не тот, не тот!

Михаил Иванович облегченно вздохнул, отошел в сторону и торопливо пересчитал мятые бумажки. Денег было сорок пять рублей. Судьба снова смилостивилась над ним. Сюртук из коричневого альпага повис, словно видение, в воздухе, шевеля крыльями рукавов. Уют, тепло и сытость представились на мгновение. С легким сердцем пустился он к Никитским воротам, но тут снова возникла перед ним сутулая спина частного пристава, гуляющего по бульвару.

«Караулит!» — догадался Шипов и забежал в первый же двор. Там, на пустынном этом дворе, он нашел сарай с выломанной дверью, скользнул внутрь и пристроился на останках какой-то телеги. «Это что такое! И до Матрешки не добраться... Вот беда. Нет, нет, отсидеться у нее, да и лететь в Петербург, падать князю в ножки: ваше

сиятельство, наговор! Я всем сердцем, ваше сиятельство! Да вы велите проверить... А чего проверять? Чего там, в Ясной-то? Чего?.. Граф Толстой там... А чего у графа-то? Чего я ему должен? Али он чего должен?.. Ах, ты господи, в Петербург надо. Подальше от частного пристава, подальше!..»

Изнывая от страха и голода, просидел он так, покуда спасительная темнота не опустилась на город, и тогда он вышел из своего укрытия и с упрямством безумца заскользил вдоль домов снова к Никитским воротам.

Наконец он осторожно постучал в темное Матренино окно. Никто не ответил ему. Он постучал снова и вздрогнул. За воротами в полночной тишине слышались чьи-то медленные шаги — топ-топ, топ-топ. Может быть, сам частный пристав прогуливался там, терпеливо ожидая появления злополучного секретного агента.

Вдруг что-то белое, расплывчатое прильнуло из комнаты к оконному стеклу, и голос Матрены ахнул:

— Батюшка, да неужто вы?!

— Матреша, — с радостным отчаянием зашептал Михаил Иванович, — открывай скорее... Вернулся я...

Едва раздался его голос, шаги за воротами участились, приблизились.

— Да открывай же! — крикнул Шипов и тут же услышал из комнаты глухие голоса, один — Матренин, другой — мужской, незнакомый.

М а т р е н а. Они мои благодетели... Так что уж вы не гневайтесь.

М у ж ч и н а. Ну, Матрена!.. Ну, гляди, Матрена!..

М а т р е н а. У нас с вами уговор был... Поживее соберайтесь.

М у ж ч и н а. Пожалеешь... Ох, пожалеешь, смотри. Где жилетка моя? Я этого не люблю.

М а т р е н а. Вот ваша жилетка... У нас с вами уговор был.

Михаил Иванович вслушивался в эту горячую ночную перебранку, и непонятные чувства одолевали его, и какая-то неясная боль возникала в нем, и ему чудилось, что он стоит посреди двора, а дом с темным окошком во-он где.

М у ж ч и н а. Свечу бы зажгла... Ну, погоди, Матрена...

М а т р е н а. У нас с вами уговор был.— И прильнула к окну.— Сейчас, сейчас, скоро уж...

«Эх, Матреша,— подумал он с горечью,— как же это ты?» Но тут же смахнул слезу с души и сжал сухие губы поплотнее. За что было корить? Был и у него с нею неписанный уговор, чтобы все налегке, чтобы все весело, словно водяной жучок с пузырями на лапках бежит по воде, а пяточки-то сухие. Было. Мы вас не трогаем, и вы нас не трожьте... Было? Верно, было. И счастья от этого не прибавлялось, но было. Покой был. А нынче? Чего ж ты плачешь нынче, галицкий почетный муж? Вон как она для тебя старается, или тебе сего мало?.. Воду на тебя не льет, дурным голосом не прогоняет, не клянет тебя в окошко...

М у ж ч и н а. Ну, Матрена, гляди...

М а т р е н а. А чего глядеть? У нас с вами уговор был.— И снова в окно: — Да сейчас же, сейчас...

Двор расширился еще больше. Дом почти исчез. Печаль охватила Шипова. Шаги за воротами отдавались, как в колодце. Михаил Иванович отступил от окна на шаг, потом еще на шаг, затем повернулся и кинулся к воротам, прямо на частного пристава... За воротами никого не было, под дальним фонарем дремал извозчик, и едва Шипов уселся, он зачмокал, занукал, и лошадка тронулась. Прощай, Матрена!

Ранним июньским утром из здания Николаевского вокзала, что в Петербурге, вышел галицкий почетный гражданин и расправил плечи. Небо над площадью было голубое, раннее солнце окрасило крыши домов, люди только подымались со своего ложа и еще не принимались за дела, было тихо, пустынно и благостно.

Первое живое существо, которое возникло перед Шиповым, была рябая курица. У самого вокзального порога она рылась в навозе деловито и самозабвенно. После всего пережитого Михаилом Ивановичем она показалась ему чудом, явившимся, чтобы успокоить и намекнуть на надежду. Она была одна на громадной пустынной площади, и глухой свисток чугунки не пугал ее. Как славно она работала, ранняя труженица; как немного ей было нужно, чтобы радоваться жизни самой и быть случайным утешением для других. Что-то от мирной деревенской тишины, от утреннего деревенского солнца, от свежей травы и шороха первых, наливающих колосков, от сохну-

щих на заборе крынок и прохладных сеней было в ее гребешке и в каждом движении. Ну, трудись же, трудись, рябая деревенская дурочка, образина ты эдакая, хохлаточка, трудись одна на широкой булыжной петербургской площади, покуда тебя не испугали да не выгнали.

Солнце поднялось над крышами и коснулось рябенькой головки. Шипов глядел на нее и не мог оторваться. А город постепенно проснулся. Секретный агент махнул хохлатке рукой, будто старой своей подруге, и шагнул в столицу. Но тут же, едва он миновал это рябенькое деревенское чудо, все изменилось вокруг и благостность и уют исчезли. Что-то такое вдруг будто надломилось с тонким хрустом, и перед Шиповым выросли высоченные каменные великаны и преградили ему путь. Потянулись дешевые ваньки, но синие, красные и зеленые поддевки на извозчиках были почище и построже, чем у их московских собратьев; замелькали пролетки и экипажи пошикарнее, и кучера в блестящих цилиндрах глядели мимо секретного агента куда-то вдаль; зашагали гвардейские офицеры, поблескивая своим добром и пугая недоступностью; даже торговцы пирожками кричали не во всю грудь, не от горла, не с прибаутками, как в Москве, а вполголоса, достойно, будто читали молитву; вдоль Невского засияли дворцы, радостные, мрачные и холодные, подобные неприступным крепостям, и черный, аккуратный, прохладный поток чиновного люда побежал мимо них, обтекая их и шлифуя.

Михаил Иванович направился к Фонтанке, в тот дальний ее конец, где розовое, точно утренний голубь, раскинуло крылья тихое здание, послушное князю Василию Андреевичу. Скорее к нему, скорее. Падать в ножки, глядеть жалостно, говорить срывающимся, покорным голосом, с придыханием, легко отскакивать, подскакивать, ползти, не обращая внимания на насмешки, укоры, угрозы, ползти прямо, видя перед собой разноцветные плитки паркета... Ваше сиятельство... Ваше сиятельство!..

Возле Шереметевского дворца он пошел медленнее. Опять будто что-то надломилось с тихим звоном. Лица прохожих были спокойны и отчужденны.

«Эх, мышка грязная,— подумал он про себя,— куды ж ты так летишь-то?»

Помятый, потускневший, с изможденным лицом, семенил он по Фонтанке, окруженный чугунными оградами,

мраморными стенами, за которыми — во множестве сытые коты, атласные, мягкие, лакированные. Они не поднимаются со своих подушек, а ждут, когда серый хвостик мелькнет али бочок, чтобы лениво круглой цепкой лапкой погладить по дрожащей мышинной шерстке.

Михаил Иванович почувствовал резкую боль в спине, возле поясницы, остановился, хотел выпрямиться — не смог. Но вот боль как вспыхнула, так и прошла, а спина не разгибалась. Так, скрючившись, и пошел он вперед, навстречу своей гибели.

Никто не обращал на него, согнутого, внимания, лишь одинокий солдат на деревянной ноге проскакал мимо и прохрипел, то ли смеясь, то ли плача:

— Вступило? Гляди не разогнись — треснешь! Прикажи бабе утюгом провесть...

Какой бабе? Каким утюгом?.. Шипов шел уже совсем медленно, а когда показалось розовое пристанище, остановился и вовсе. Он встал у парапета, мысли его были печальны. От розовых стен исходил такой холод, веяло такой поздней осенью, таким молчанием, что хотелось рыдать, как рыдают солдаты, не стесняясь.

Тут вспомнилось ему, как, еще молодой, гибкий, весь как на пружинах, скользит он с подносом по княжескому дому в столовую, где в сборе уже вся семья за обедом. В окна бьет солнце. Поднос вспыхивает ослепительно. На душе у Шипова праздник — так просто, неизвестно с чего. Поэтому он держит поднос на одной руке. Поднос неподвижен, а сам он в движении, словно французский танцовщик, и он любуется собой, каждым своим шагом, каждым наклоном, как он легко выгибается, точно льется, как ставит ноги, едва касаясь пола, как прекрасны на нем малиновый венский камзол, и кружева на манжетах, и туфли с пряжками, и белые чулки на деревенских ногах. Ловкач, ловкач, ну и ловкач! И ему слышится музыка, и он почти танцует под нее, и так в танце подлетает к столу и в танце, почти не прикасаясь руками к блюдам, раскидывает их перед сидящими, словно сдает карты. Поглядите на него! Ай да Мишка!.. Он делает круг, обегая стол, и еще один, и снова, и все это в танце, под музыку, а что, как оглянутся и увидят, и восхищению не будет конца, и дадут ему пять рублей за вдохновенный танец. Но никто не смотрит, у них там свои разговоры вполголоса, не замечают. Он делает четвертый круг. Поднос пу-

стеет, затем начинает уставляться вновь, использованные тарелки ложатся на него сами, вилки с вензелями, соусницы, бокалы... Никто не смотрит. Он делает пятый круг, в зеленых глазах его тоска, отчаяние. Поднос летает над головами сидящих, он почти касается их, звенит посуда, музыка играет громче. Каков ловкач! Артист!.. Погляди-те, ваше сиятельство, да погляди-те же, как я умею, ровно птица, а ведь раньше, помните, ничего такого не умел, все норовил упасть, вы еще гневались, а нынче-то погляди-те, гляньте... Он пошел на шестой круг. Никто не глядел. И, последний раз взмахнув подносом, подобно раненому журавлю, он полетел прочь...

«Неужто к частному приставу в Москву возвращаться? — подумал он с ужасом и шагнул к розовому дворцу, но тут же представил брезгливое лицо князя и вновь прижался к парапету. За спиной текла сонная, холодная Фонтанка, за нею благоухали деревья, за ними белел дворец, доносилось пение птиц.— Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте».

Он попробовал разогнуть спину — не смог. Боли не было. Вдруг от розовой стены отделились два офицера и решительно направились в его сторону. Лица их были зловещи, движения резки.

«Эх, хохлаточка, — с тоской вспомнил Шипов, — надо мне было на чугунку садиться да в Москву обратно! Пропал, дурень!..»

Он уставился на них зелеными глазами, втянул голову в плечи, но офицеры прошли мимо, слегка задев его, и зашагали вдоль парапета, неся всякий вздор. Шипов вздохнул с облегчением, даже усмехнулся, но тайная рука поворотила его и подтолкнула в обратный путь. В Москву! В Москву! Там, в ней, пыльной и голосистой, в городской полицейской части жил-был долговязый частный пристав Шляхтин, насмешник и хитрец, связанный с Шиповым одной веревочкой; по этой-то веревочке и следовало возвращаться, а не лелеять безумные мечты о снисходительности князя и его генералов; эх, сколько денег зря проездил, спасаясь от кары! Искал у волка защиты от лисы, недотепа! А что он, частный пристав! Какое от него зло? Ну какое?..

Теплый ветер ударился о розовую стену, охладился, нагнал Шипова, проник под сюртук и прикоснулся к телу ледяной ладонью. Михаил Иванович припустил рысью.

Берлога князя пропала из виду, затерялась за домами, за углами, за деревьями. Изогнутый, как воскресный крендель, добрался Михаил Иванович до Николаевского вокзала и напоследок оглянулся: Петербург бесшумно крался за ним, тянул руки в кружевных манжетах, смотрел враждебно, будто Шипов и не русский, а грек какой-нибудь или турок. И когда тронулся поезд и столица исчезла за болотами и лесами, прикосновение цепких, железных пальцев продолжало ощущаться на горле, и даже на другой день возникшая Москва не избавила от этого: ни шум ее, ни пыль, ни привычный карнавал, ни запах горячей требухи и гречневиков, ни вид молодых кухарок из купеческих домов... И лишь тогда, когда в душной харчевне он наелся до отвала щей и бараньей варенины и осушил с достоинством графинчик, только тогда железная пятерня разжалась и освободила горло, спина выпрямилась, и Шипов поглядел на мир вокруг себя и вдруг понял, что денег больше нет, у Матрены не спасешься, призрачный граф на кумысе, князь Василий Андреевич холоден, как камень. И тут ему стало легко и просто, набрав по карманам медяков, он сунул извозчику последний гривенник и велел ехать в городскую часть.

Он ехал, наслаждаясь Москвой, не думая ни о ее великодушии, ни даже о снисходительности, радуясь, что лошадка бежит, что колеса грохочут по булыжнику, что на сиденье слева от него, на выцветшем зеленом сукне, изогнулась белая ниточка, нежась на солнце, что какая-то барышня, оставив зонтик, глядит на него с удивлением, а может, и с восторгом, тоненькая барышня с нетронутыми губками. Он откинулся на сиденье, с благоговением вспомнил себя самого в сюртуке из коричневого альпага, в клетчатых панталонах цвета беж. Вдруг возник перед ним призрачный, едва уловимый образ Даси, возник и исчез... Да и господь с ней, пускай она там себе устраивается... Потом он вспомнил о Гиресе и подумал, что в гробу, вполне возможно, лежал именно он, а что курнос, да круглолиц, да действительный статский советник, так в смерти чего не бывает...

Наконец лошадь остановилась и вздохнула. Михаил Иванович легко, как давно уже не хаживал, направился к знакомой двери, не испытывая ничего, кроме покоя и удовлетворения. Зеленые глаза его вспыхнули, соломен-

ные бакенбарды распушились, на тонких, сухих губах шевельнулось нечто неуловимое.

Частный пристав Шляхтин вздрогнул и даже привскочил на стуле, когда перед ним неизвестно откуда, точно из стены, возник Шипов.

— Бонжур,— промурлыкал Михаил Иванович,— не пужайтесь, это я.

Шляхтин нервно засмеялся, увидев себя в зеленых зрачках Шипова.

— А ведь я тебя жду, каналья...

Шипов. Пардон. Уж я и так торопился, ваше благородие.

Шляхтин. Он торопился! Куда же ты торопился, шельмец?

Шипов. А как же, ваше благородие, за графом. Они из имения в Тулу, а я за ними-с, они из Тулы в Москву-с, а я за ними... Так до Петербурга и добрались...

Шляхтин. Каков, каналья... Он еще разговаривает! Он за мной, я за ним, он за мной...

Шипов. Ей-богу, глаз с него не спускал. Он в карете, а я пеший-с.

Шляхтин. Порет всякий вздор... *(Кричит.)* А он не знает, что есть предписание его арестовать!

«Бойтся,— подумал Михаил Иванович удовлетворенно,— бойтся, мышка серенькая... В глаза не смотрит, бойтся. Сейчас пужнем...»

Шипов. Ваше благородие, я ить из Петербурга только что... Их сиятельство князь...

Шляхтин. Врешь!

Шипов. Да ей же богу.

Шляхтин. Врешь! Подойди сюда. Подойди, кому говорю! Подойди.

Шипов. Да я и так вот он.

Шляхтин. Подойди, совсем подойди.

Шипов. Куды ж еще-то? Аншанте? Стол ваш в пузо уперся.

Шляхтин. Стой и не шевелись. Прохвост, ты решил продолжать свою комедию? Ты хочешь, чтобы я прослыл дураком? Кто тебя нашел, говори. Ну, говори...

Шипов. Кто меня нашел? Да я почем знаю?

Шляхтин. Я тебя, каналья, рекомендовал?

Шипов. Так точно...

Шляхтин. Врешь!

Шипов. Истинно вру... Меня их сиятельство рекомендовали... как верного человека.

Шляхтин. Ага, значит, признаешься? Значит, еще совесть есть...

Шипов. А как же.

Шляхтин заходил по кабинету, не в силах скрыть волнения.

«Главное — это чего ему известно, — подумал Михаил Иванович, легонько улыбаясь. — Может, еще орден дадут, се муа...»

Лицо Шляхтина смягчилось, глаза словно потухли, но Шипов был настороже.

Шляхтин. А типография как? Работает? Надеюсь, в лучшем виде?

Шипов. Это какая? У графа?

Шляхтин. Ну зачем же у графа, любезный? У тебя. Твоя...

Шипов. Какая типография?

Шляхтин. Вот прохвост... Ты деньги на станки получил?

Шипов. А как же, ваше благородие. Все сполна. Премного вам благодарны.

Шляхтин. Станки купил?

Шипов. Так точно-с. Какие станки?

Шляхтин. Типографские, разумеется, для печатанья.

Шипов. А как же-с, знаю...

Шляхтин. Купил, я спрашиваю?

Шипов. Так точно-с.

Шляхтин. Установил?

Шипов. А как же-с.

Шляхтин. Ну, пошла работа? *(Смеется.)*

Шипов *(смеется)*. Пошла, ваше благородие. Как еще пошла...

Шляхтин. Где же ты все это устроил?

Шипов. Чего?

Шляхтин. Типографию, чего!

Шипов. Не могу знать-с...

Шляхтин. Как не можешь знать? Станки купил или нет?

Шипов. А как же-с...

Шляхтин. Где же типография?

Ш и п о в. А-а-а, вон про что! У графа, ваше благородие, в Ясной Поляне.

Ш л я х т и н. А твоя где?

Ш и п о в. Моя? У меня нет...

Ш л я х т и н (смеется). Вот то-то, что нет... Ему, прохвосту, посылают деньги, он их пропивает, а после несет всякий вздор. Так?

Ш и п о в (смеется). Никак нет-с...

Ш л я х т и н. То есть что значит нет? Куда деньги девал?

Ш и п о в. Все вышли, ваше благородие. Я отчет могу сделать. Как велели, так я и потратил...

Ш л я х т и н. Тебе, шельмецу, велели типографию устроить! Устроил?

Ш и п о в. А как же-с...

Шляхтин хотел было крикнуть, но подошел к окну и показал Шипову сутулую спину. Гнев клокотал в нем, воротник мундира глубоко врезался в красную, напряженную шею.

«Может, пронесет,— подумал Шипов с надеждой,— покричит-покричит, да и выгонит. А там, лямур-тужур, пущай они все хоть треснут. Значит, чего я там, кому?.. Графу Толстому чего? Али он мне чего? Полный сетребьен...»

«Каков бестия! — подумал в этот же момент Шляхтин.— Ежели глядеть в его кошачьи глаза, все как будто сходится, все справедливо... И бровью не поведет, лжец, нахальная свинья!.. Отправить его в арестантскую — и все тут...»

Ш л я х т и н. Значит, типографии нет, деньги пропиты, весь департамент введен в заблуждение, и ты еще здесь, прохвост, пытаешься мне втирать очки и воображаешь, что это тебе удастся?

Ш и п о в. Лямур?

Ш л я х т и н. Ну?..

Ш и п о в. Ваше благородие, я чего видал, того и писал вашей милости. Зря вы меня честите... Я могу отчет сделать.

Ш л я х т и н. Мало того, что надул меня,— надул почтенных людей, государя... Я уж не говорю о князе, а он меж тем...

«У-у-у,— подумал Шипов с ужасом, вспоминая розовый дворец,— ежели князь не поленятся, они меня со-



гнут!.. Ах, да уж разом бы все... А может, помилуют? Может, и обойдется? Чего это он кричит, а в глаза не смотрит? Может, не нужен я ему, а это он так?»

Шляхтин. ...за тебя заступался рекомендовал, скотину этакую... Он этого не простит.

Шипов. Да я ж всем сердцем.

«Эх,— подумал он,— а ведь надо бы было в Ясную съездить, надо было».

Шляхтин. Вот они, твои донесения. Видишь? Говори начистоту, что правда, а что соврал...

Шипов. Ага, значит, так... (Плачет.) Эх, разнесчастный я человек! Стараисси, стараисси, а все равно мордой об тубарет!

Шляхтин. Говори, в чем солгал... О душе подумай, каналья!

Шипов. Да я и так думаю... Ничего я не лгал, ваше бла...

Шляхтин. Последний раз: станки купил?

Шипов. А как же.

Шляхтин. Сколько штук?

Шипов. Ах ты господи... Значит, так...

Шляхтин. Ну, соври, соври. (Смеется.) Значит, так...

Шипов. Да вы бы не дражнились, ваше благородие, я же волнуюсь...

Шляхтин. Где же ты типографию устроил?

Шипов. Какую типографию?

Шляхтин. Ладно, хватит! Дурака будешь в подвале разыгрывать. Эй, кто тут есть?

«Кажись, пронесло,— вздохнул Михаил Иванович.— И поплакал, и посмеялся. Теперь-то уж все равно. Вон они и промеж собой никак не решат, кто, да что, да почему...»

Вошел унтер со связкой ключей. Шляхтин кивнул ему устало. Унтер тронул Шипова за локоть и повел его в арестантскую.

«Какая чушь! — подумал частный пристав.— Как я мог так долго унижаться? Однако он явился сам, а что ежели все не так, как расписали из Тулы? Глаза зеленые, нос вострый, помесь хорька с лисой, но и что-то человеческое в нем все-таки... какое-то даже благородство, хотя этот чудовищный котелок, да и по всему, жулик...»

Едва за Михаилом Ивановичем захлопнулась дверь и прогромыхал железный засов, как сердце его забилося ровно, дыхание успокоилось, и он, не обращая внимания на прочих арестантов, присел на нары, чтобы насладиться собственной участью. Теперь можно было никуда не бежать, ни от кого не спастись. Он решил вздремнуть, пока дают. Снял сюртук, постелил на нары, собрался было улечься, как вдруг увидел перед собой Яшку.

— Здравствуй, благодетель,— сказал Яшка, не очень удивляясь встрече.— Ты чего это, Михалваныч, ай украл чего?

— Почему это украл? — смутился Михаил Иванович.— Это ты, Яшка, по карманам охотник, а у меня дела государственные.

— Эх,— сказал Яшка,— быдто не всяк ворует. Один из кармана, другой из ларца, а третий и из сундука... Всем жить охота. А ты, благодетель, стало быть из сундука потянул?

— Из сундука,— засмеялся Шипов, укладываясь.— Ах ты, мышка серенькая.

— Не уберегся, значит,— сказал Яшка серьезно.— Мне тебя жалко.

12

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

*Канцелярия
Московского Военного
Генерал - Губернатора
г. Москва*

Управляющему III Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, Свиты Его Величества, Господину Генерал-Маиору и Кавалеру Потанову

Препровождаю к вам, Почтеннейший Александр Львович, бывшего секретного агента Михайлу Шипова со всеми показаниями, сделанными им по известному Вам делу гр. Льва Толстого.

Хотя, как известно, Шипов есть такого рода личность,

на которую полагаться совершенно нельзя, но важность показаний его требует особенного внимания и не должны остаться без тщательного исследования.

Требуют особенного внимания и указанные им новые личности в окружении Графа.

Все это побудило меня отправить к Вам Шипова для подтверждения всего им доказанного лично и для принятия необходимых мер со стороны Вашей.

Пользуюсь случаем, чтобы уверить Вас в истинном моем уважении и душевной преданности.

П. Тучков

*Управляющему III Отделением Его
Превосходительству Генерал-Майору
Потанову*

Сего числа в 12 часов дня по приказанию Вашего Превосходительства в Штабе Корпуса Жандармов принят мною арестованный, временно обязанный крестьянин Князя Александра Васильевича Долгорукова, доставленный из Москвы от Московского Военного Генерал-Губернатора Подпоручиком Ловягиным. И помещен в № 2 старого здания.

О чем Вашему Превосходительству имею честь почтительнейше донести.

Дежурный по штабу прапорщик Латухин

№ 1558

Квитанция

Дана сия Квитанция из III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии служащему в Штате Московской полиции Г-ну Подпоручику ЛОВЯГИНУ в том, что доставленный им в сие Отделение крестьянин имени Князя Долгорукова Михаил ШИПОВ в сем Отделении принят 29 Июня 1862 г.

*Дежурный чиновник
Коллежский Регистратор Полонянкин*

*(Из письма Московского генерал-губернатора
Тучкова — Московскому обер-полицмейстеру
Крейцу)*

...Милостивый Государь, Генрих Киприянович. Нынче же все свершилось и наше с вами несчастье отправлено в Петербург. Вроде бы и с души спало, и вот почему: усмотрел я, любезный мой, в путаных и престранных показаниях этого чудовища некую правдоподобность. Не могу Вам точно всего объяснить (пока), но что-то мне подсказывает, говорит, что нельзя ото всего отмахиваться разом. Хотя я, Вы знаете, относился и отношусь ко всей этой затее скептически, без должного доверия, однако чувствую нутром, что что-то там такое есть, что это не просто лживые домыслы, а нечто отчасти справедливое. Полагаю, что Генерал Потапов со свойственными ему обхождением и опытом сумеет лучше разобраться, что к чему. Я жуликов видал на своем веку, Милостивый Государь, но этот другого сорта, и я даже усмотрел в отдельных его действиях старание и усердие.

Вообще же я, признаться, устал от этой истории, и только маленькая надежда на успех, рожденная не разумом, не сердцем, а чем-то более высшим, побуждает меня продолжать тяжкий мой труд и соучаствовать в сем поиске...

*(Московский жандармский полковник
Воейков — Тульскому жан-
дармскому полковнику Муратову)*

...снял показания. Представь себе, случай гораздо сложнее, чем казался на расстоянии. Когда я его допрашивал после дурака Шляхтина, в нем не было ни страха, ни обреченности, а какой-то даже порыв и даже детское недоумение. Судя по всему, положение в «Ясной» не так уж невинно, ведь дыма без огня не бывает. И тебе следовало бы, оставив фантазии, заняться этим как следует, покуда не грянуло.

Шеншин также недоумекает после допроса и говорил мне, что мы погорячились, считая его мистификатором.

Конечно, доля вымысла и вранья в Зимине, как и во всяком мужике, присутствует, но это легко отделимо

одно от другого, ложь и истина, у него это все на ладони.

Покуда из Петербурга вестей нет. Представляю, какой там вновь начнется ураган. Шутка ли, только что решили его арестовать, а он исчез, только решили изловить, а он сам является и вновь подтверждает свою историю со всей правдоподобностью! Ты теперь самый основной его антагонист в глазах высшего начальства. Боюсь, он тебя (ежели ты не примешь мер) осилит...

(Из записки князя Долгорукова — генералу Потапову)

...по глазам Вашим видел, что Вы тоже поддались общей панике и склонны сомневаться в общем нашем деле. Ну что ж, любезный Александр Львович, я, как говорится, умываю руки. Теперь Вы видите, что дело было затеяно не зря и, что самое главное, вовремя. Что же касается донесений Полковника Муратова, то я рекомендую Вам разобраться в этом. Ни о каких наградах и поощрениях не может быть и речи. Этот человек безумен, и вот Вам достойное подтверждение сему.

...Я помню Шипова как преданного слугу и теперь раскаиваюсь в минутном сомнении, охватившем меня. Побольше бы таких людей, и мы бы гарантировали полное спокойствие в Отечестве...

(Из неофициального письма полковника Муратова — Московскому жандармскому полковнику Воейкову)

...прочел твое письмо с крайним изумлением. Сами вы все, Дмитрий Семенович, пообезумели. Вы все безумцы! Теперь я говорю это с полным пониманием, ибо других слов у меня уже нет. Вы все сошли с ума. Я, чтобы не помешаться в рассудке заодно с вами со всеми, испросил нынче у Начальника Губернии разрешение на отпуск и убываю в неизвестном направлении, подальше от вашего безумства, туда, где покой, тишина и только хоры птиц да ангелы слышны. Начальник Губернии разрешил мне нынче отпуск, и я исчезаю в неизвестном направлении, подальше от вашего безумства туда... Хорош Потапов, нечего сказать, поверил пройдохе, которого я здесь вывел на чистую воду... в неизвестном направлении подальше от ваших безумств туда... Представь, нынче же отправляюсь в отпуск!

СЕКРЕТНО

*III Отделение
Собственной
Его
Императорского
Величества
Канцелярии
г. Санкт-Петербург*

*Господину Полковнику Корпуса
Жандармов Муратову*

В III Отделении считают возможным продолжать руководствоваться показаниями секретного агента М. Зимина. Положение, создавшееся в имении Графа Толстого, стало угрожающим. Благодаря Вашему попустительству деятельность известной группы лиц превзошла все предположения. Его Сиятельство Князь Долгоруков крайне недоволен Вашей службой.

Предписываю Вам впредь до особого распоряжения не вмешиваться своим участием в деятельность III Отделения и Жандармского Корпуса, направленную на искоренение известного Вам заговора.

За сохранение тайны операции несете личную ответственность.

Генерал-Маиор Потапов

(Из письма Л. Н. Толстого — Т. А. Ергольской)

...Вот уж месяц, как я без всяких известий о вас и из дома, пожалуйста, напишите мне о всех... Мы с Алексеем толстеем, в особенности он, но кашляем немного, тоже в особенности он. Живем мы в кибитке, погода прекрасная... пишу мало. Ленъ одолевает при кумысе. Через две недели я намерен отсюда выехать и потому к Ильину дню думаю быть дома... Целую ваши руки...

(Из официальной записки генерала Потапова — князю Долгорукову)

...Я полностью с Вами согласен, Ваше Сиятельство, что время проектов и наблюдений должно наконец смениться решительными методами. Нельзя откладывать ни

на минуту их проведения. Полагаю, что наилучшим способом пресечь заговор может быть непосредственное установление истины на месте, то есть в имении Графа Льва Толстого Ясная Поляна, с каковой целью отправить туда опытных в дознании людей для производства осмотра имения.

Ежели Вы одобряете сию меру, позволю себе рекомендовать для осуществления ее Господина Полковника Дурново, человека, на мой взгляд, весьма решительного...

ВЕСЬМА СЕКРЕТНО

Господину Полковнику Корпуса Жандармов Дурново

В III Отделении Собственной Его Императорского Величества Канцелярии получены следующие сведения:

В принадлежащем Графу Льву Николаевичу Толстому, в Тульской губернии, сельце «Ясная Поляна», проживают около 30 (40) студентов разных Университетов, некоторые без письменных видов, занимая там должности учителей сельских школ и писарей в волостных правлениях; по Воскресным же дням собираются все они у него, Графа Толстого, и хотя цель этих собраний и предмет бывающих там суждений не известны, но собрания сии возбуждают подозрение, тем более, что Граф Толстой других своих знакомых и соседей принимает вообще очень редко.

На четвертой неделе Великого Поста привезены были к нему в означенное сельцо из Москвы литографические камни и краски для печатания, как говорят, запрещенных сочинений. Предположено начать печатание в Августе месяце, и предполагается печатать какой-то материал, который был предварительно посылаем за границу.

Дом Графа Толстого охраняется в ночное время значительным караулом, а из кабинета и канцелярии устроены потайные двери и лестницы.

К Графу Толстому приезжают часто продавцы разных товаров из Стародубских слобод, остающиеся у него иногда по два дня.

При нем находится человек в качестве курьера, посылаемый часто по трактам к Москве и Харькову.

Находя по настоящим обстоятельствам сведения эти весьма важными и признавая необходимость удостове-

риться, в какой степени оные справедливы, я предписываю Вашему Высокоблагородию отправиться в Тульскую губернию и сделать надлежащее дознание по сему предмету при содействии местных чиновников, о назначении которых предлагаю обратиться к Начальнику губернии Генерал-лейтенанту Дарагану, предъявив прилагаемое мое отношение за № 1595 и доложив ему словесно о поручении, на Вас возлагаемом по окончании же сего дознания, если по оному откроется что-нибудь противозаконное, передать виновных в распоряжение Полиции и довести о том до сведения подлежащего Начальника губернии для производства формального следствия, при котором поручаю Вам находиться со стороны Корпуса Жандармов.

О последующем я буду ожидать донесения Вашего Высокоблагородия.

*Генерал-Адъютант Князь Долгоруков
Верно: Колл. Секретарь В. Покровский*

Когда поздний вечер наконец растворился, отцарствовал, отшуршал, а на смену неумолимо приблизилась полночь с прохладой и росой; когда птицы отшумели, укладываясь на покой, и теперь уже спали и только случайный стон какой-нибудь из них напоминал, что это вокруг все же живое царство; или внезапно последний обезумевший соловей начинал свои неуместные в июле трели, но тоже испуганно смолкал; когда даже волки, сытые и потому полные благородства, отсиживались неизвестно где,— вот тогда в невозможной тишине, в перевозданном безмолвии, вдруг слышались далекие бубенцы, которые все приближались, приближались, сливаясь в чудный хор меди и серебра, и на слабо освещенной молодым месяцем дороге показалась почтовая тройка. Она вынырнула из-за поворота, вздымая то ли пыль, то ли клубы ночного тумана, призрачная, меняющая формы, плоская, словно детский рисунок, влекомая странным чудовищем со множеством ног, никем не понукаемым, не погоняемым. За нею следом появилась вторая, за второй — третья, и все они понеслись дальше, оставив за спиной уснувшую, разморенную июлем Тулу.

Кто находился в этом странном поезде и находился ли кто, различить было невозможно, пока наконец, верстах уже в двух от Ясной Поляны, первая тройка не остановилась. Остальные тотчас остановились тоже, и из первой кареты сошел на пыльный тракт маленький человек и отер худенькую шею кружевным платком. Он был в белом мундире и так узок в плечах, что эполеты казались крыльями. Лицо жандармского полковника Дурново разглядеть было трудно, однако длинные усы и большие грустные глаза угадывались весьма.

— Разомните ножки, господа,— сказал он приятным густым баритоном и засмеялся.

И тотчас из всех карет полезли, запрыгали, начали выкарабкиваться какие-то неведомые фигуры; в призрачном полночном свете нельзя было установить их числа, ибо они удваивались, утраивались, учетверялись, их было множество, и становилось все больше, и уже перевалило за сотню.

Полковник приложил палец к губам, и все слетелись к нему, словно железные пылинки к магниту.

Высоченный, костлявый и франтоватый, становой пристав Кобеляцкий обычно в таких случаях пригибался к самой земле, чтобы не пропустить ни одного слова, сказанного полковником, затем распрямлялся, подобно колодезному журавлю, и отходил на негнущихся ногах, благоговейно кивая головой. И на этот раз он изогнулся в три погибели, с вниманием вглядываясь в лицо маленького полковника, почти касаясь его носом. Но способность запоминать услышанное была в нем, видимо, значительно слабее горячего желания быть полезным, ибо едва он распрямлялся и отходил прочь, как тотчас тайные страсти начинали бушевать в нем, и он застывал на месте, прислонившись к чему-либо, видя перед собой только столик, только под зеленым сукном, на котором, зловеще улыбаясь, замерла дама червей, и попутно мечтая о серебряной сабле, полученной из рук наследника-цесаревича.

Крапивенский исправник Карасев был толст, поклядист и ленив, но сейчас находился в раздражении, потому что двое суток как был поднят с постели распоряжением губернатора и носился с маленьким полковником по Туле, а теперь трясся на почтовых и должен был поминутно выскакивать из кареты, бежать, выслушивать при-

казания, повторяя после каждого слова: «Так точно, вашескородие...»

И другие жандармы, и понятые, и прочие толклись вокруг Дурново, как мотыльки у огня, и перебирали ногами в вечном танце алчущих милостей.

И только один Михаил Иванович стоял чуть поодаль, с ужасом вглядываясь в сизый полночный мрак, где ему мерещились по обе стороны от дороги смутные очертания двух дубов, одного старого, а другого молодого, и особенно этот молодой терзал его душу, напоминая, как именно на нем, на его верхушке, тонкой, как рука ребенка, он прощался с жизнью в трескучую февральскую ночь. Тогда судьба была к нему, однако, милостива и не отдала его в волчьи лапы, так неужто теперь все рухнет, неужто отсрочка, которую он выбил в Петербурге и Москве, только отсрочка, а не вечный отныне праздник?

— Господа,— сказал маленький полковник,— дело предстоит нам нешуточное...— И по-суворовски поднял над головой руку в белой перчатке.— Усердия не жалеть, живота не щадить! Враг хитер, да мы хитрее. Чтобы ни один колокольчик не звенел. Ворвемся внезапно. Шипову разведать подъезды. Подать сигнал. Все по местам!

Через несколько минут зловещий поезд двинулся в путь. Колокольчики молчали.

Михаил Иванович сидел во второй карете рядом со станowym приставом Кобеляцким и крапивенским исправником Карасевым.

— Какой сигнал подать? — спросил Михаил Иванович.

— Петухом крикните,— шепотом сказал Кобеляцкий и спросил: — Как же вас угораздило впутаться в это предприятие? Вы что, действительно родственник их сиятельства?

— Ах, мон шер,— сказал Шипов тоже шепотом,— о каком сиятельстве вы рассуждаете? То есть вы, конечно, о князе, а ежели о графе Льве Николаевиче, то я тут и сказать вам ничего не могу, как меня все считают родственником, ровно у меня это на лице написано... Да рази ж я за него держусь? Вот он с крестьянскими ребятами нынче на кумысе прохлаждается. Я их сам, шерше ля фам, провожал, ручкой махал, а теперь, стало быть, вот... Мне это теперь пуще вострого ножа, но я их величеству

присягал, а как же... Теперь я вроде бы их слуга... А вы, может, подумаете, что я ради себя пекусь?

— Чей слуга? — не понял пристав.

— Да их же, — пояснил Шипов.

— Ну, поехали, — засмеялся Карасев. — Чего это вы все объясняете? Сейчас прибудем, велит ухи из ершей сварить. У них в пруду ершей несметное число...

— Ерши в пруду не живут, — сказал Кобеляцкий. — А хотел бы я поглядеть, как граф дом свой содержит. У него, наверное, уж ежели вистуют, так уж вистуют... А вы что же это, любезный, родственника своего выдаете? Срам какой...

— Я присягу давал, — сказал Михаил Иванович. — Я ведь вам и говорю, как мне это ровно нож вострый, но уж коли я присягал, так куды ж теперь?

— Ну вот, поехали, — рассердился Карасев, — все объясняет и объясняет... Граф известно какой человек: затаился, гостей не жалует. Что-то там такое сочиняет. Я к нему, бывало, заезжал, так чтобы в комнаты ихние зайти, этого не случилось, не приглашали... А ерши у них живут.

«Мне бы, дураку, от кареты тогда не отказываться, — подумал Михаил Иванович, вспоминая Московскую дорогу и свой безумный марш. — Может, пил бы сейчас с графом кумыс али еще чего...»

— Караси — да, — сказал Кобеляцкий, — а ерши там не водятся. Да почему он вас стал бы приглашать? Что вы за птица?

— Ну, поехали, — обиделся Карасев, — птица... Я исправник, а не птица.

— А он граф.

— Вот сейчас в усадьбе-то и поглядим, какой он, граф...

Мягкая, расслабляющая рука коснулась Шипова, и ему не захотелось больше ни разговаривать, ни печалиться. После арестантских хором ночь казалась раем, сиденье в карете радовало, горькие мысли почти не посещали, лишь едва ощутимая тревога прорастала где-то в глубине: как оно там сложится, первое свидание с Ясной?

Внезапно карета снова остановилась.

— Ну, пора, — сказал Кобеляцкий и подтолкнул Шипова: — Бери след, любезный. Шерш!

Михаил Иванович вывалился из кареты. Как и было решено, он занял место во главе поезда и затрусил по дороге. Кареты тронулись за ним. Бежать было легко, воздух был чист и прохладен, листья на деревьях не шевелились.

Куда бежит человек? Навстречу счастью или несчастью? Где же Ясная — свет очей, вместилище радостей и печалей? А что там? Чего ему там? Ждут его там али так сам он бежит? Ах ты господи, да граф же там, Лев Николаевич, а как же!.. Ну ладно, граф... А чего граф? Чего ему от графа надо? Али должен он ему чего? Чистый треньен... Куды ж бежать?..

В темноте ничего не было видно. Как ни старался Михаил Иванович разглядеть хоть какой-нибудь намек на близкую усадьбу, кроме силуэтов деревьев да смутной ленты дороги, ничего не было видно.

А надо было съездить в Ясную! Надо было поглядеть, как там в ней, чего, кто там в ней... Ну, куды бежать?..

За его спиной послышалось частое дыхание, приближающиеся шаги, и длинноногий пристав Кобеляцкий, нагнав его в два прыжка, побежал с ним рядом.

Кобеляцкий. Ну, и долго вы думаете так бежать?

Шипов. А чего? Али я, лямур-тужур, плохо бегу?

Кобеляцкий. Вы куда бежите?

Шипов. Известно, в Ясную... Как их высокоблагородие велели...

Кобеляцкий. А где Ясная?

Шипов. А эвон она...

Кобеляцкий. Где? Где? Не вижу...

Шипов. Эвон...

Кобеляцкий. Вы же пробежали мимо поворота!

Шипов. Виноват... Что же это я?..

Кобеляцкий. Так я и должен с вами тут носиться!

Они развернулись и затрусили обратно. У поворота на усадьбу темнели кареты. Фыркали лошади. Белая перчатка полковника Дурново поманила из оконца.

— Вы мне всю диспозицию путаете! — прошипел полковник. — Я же сказал подать сигнал... (Кобеляцкому.) Распорядитесь, чтобы все приготовили оружие...

Шипов уже трусил по аллее усадьбы. Столетние великаны тянули к нему свои ветви. Слева, видимо, на пруду, разорялась лягушка с тоской и безысходностью. По-

степенно мрак слегка поредел, словно какой-то сказочный, неуловимый свет пал с неба. Дорога была пустынна.

Как хорошо, что она пустынна и тиха и нету ни охраны, ни засады! Как славно спит усадьба в июльскую ночь, не внимая осторожным шагам секретного агента. Да полноте, секретный ли агент? А может, это мышка серенькая трусит рысцой по столетней аллее, трюх-трюх-трюх, вытягивая шейку, втягивая ноздрями влажный аромат затаившегося недалекого пруда? А ведь воистину это мышка серенькая здесь, на земле графа Толстого, почти родственника и благодетеля. А ведь вполне можно было раньше бывать у него неоднократно, кофей пить, беседовать о том о сем, мало ли о чем... Вон Гирос, итальянец чертов, грек, прощелыга, Амадеюшка, он-то ведь ездил... Али вздор это все? Консومه? Трюх-трюх-трюх... А могло быть и так, что граф и впрямь расщедрился бы и так запросто: «Пожили бы у меня, Михаил Иванович. Пяточки-то небось болят бегамши...» — «Что вы, ваше сиятельство, господь с вами, как я могу вас стеснять?» — «Помилуйте, это ли стеснение? Да я буду рад видеть вас ежедневно. Кто вы, я вас не спрашиваю. Живите, да и все тут». — «Премного вам благодарны. Мне ведь лямур-ту-жур, немного надо, а пяточки и впрямь болят, набегался я». — «Вот и славно, вот и хорошо... Я вам и процент с доходов выделю. Живите себе. Мне не жалко...» Тут можно будет сразу тот прежний костюм из коричневого альпага откупить, панталоны цвета беж... трюх-трюх-трюх... Вечером можно по аллейке этой самой плечо к плечу...

Михаил Иванович и сам не заметил, как перешел с рысцы на медленный шаг. Медленно так, прогуливаясь, двигался, окруженный столетними великанами, чуть склонившись в правую сторону, где будто бы вышагивал рядом с ним граф, и так они шли, покуда не показался из-за деревьев приземистый дом, пока кто-то не прикоснулся к его плечу...

Михаил Иванович обернулся — становой пристав Кобеляцкий тяжело дышал за его спиной.

— Ну что? — спросил он. — Что?

— Хорошо, — сказал Шипов, возвращаясь с небес.

— Чего же вы сигнал-то не подаете? Кричите же!

— Эй! — робко крикнул Михаил Иванович.

— Петухом, петухом! — потребовал Кобеляцкий.

«Батюшки, а ведь и впрямь петухом надо», — подумал

Шипов, и набрал воздуха в грудь, и дунул... Получился странный, хриплый вскрик, а больше ничего.

— Да что это вы, будто боров! Петухом надо...

Кобеляцкий вытянул шею, приподнялся на носки, и резкий крик молодого драчливого петуха прорезал ночную тишину, и при этом становой пристав поддал локтями себе под бока, подобно утреннему кочету, не знающему возражений в своем курятнике. И тут же не таясь из тьмы с грохотом вырвались почтовые тройки и покатали на барский двор.

Сердце Шипова пронзила острая боль, едва они, развернувшись и вздымая прохладную пыль, остановились у крыльца дома. Тонкая игла впиалась в самое сердце, но отчего — было не понять. Она кольнула лишь один раз, и тотчас боль прошла.

Пышное воинство посыпалось из карет, уже не пытаясь соблюдать осторожность. Сначала темный двухэтажный дом был безмолвен и глух, затем заколебался свет в одном из окон, за дверью послышались торопливые шаги.

Полковник Дурново в призрачном свете возможного утра простер ручку в белой перчатке. Речь его была кратка.

— Господа, пусть каждый исполнит свой долг. Действовать без промедления.

Часть жандармов немедленно устремилась во тьму, к флигелю, остальные во главе с полковником подступили к дверям.

Со странным чувством глядел Михаил Иванович на дверь графского дома. Так вот он какой, этот дом, не раз помянутый и описанный. А Амадеюшка-то врал, будто четырехэтажный! Врал, каналья длинноногая... Ну-ка, ну-ка, каков он взаправду-то? Ему почудилось, что он здесь уже бывал, у этой самой двери, и граф сам выходил к нему навстречу, и сейчас он откроет дверь и выйдет, хотя ведь он на кумыс уехал... А эта нестройная толпа случайных людей, жаждущих ворваться в чужие покои, да чего это они все? Али других забот мало? Спали бы... Так нет же, им надобно службу исполнять, в дверь эту врываться, памятуя о донесениях. А чего он, Шипов, там писал? Чего, чего? Чего он там, аншанте, выдумывал? Зачем, зачем? Куды ж вы в чужой дом-то, люди. Этот вот, лопаухий, кусточек сапогом сломал и стоит на нем.

— Сойди с куста! — зашипел Михаил Иванович на жандарма.

— Виноват, — сказал жандарм, но не пошевелился.

В этот момент распахнулась дверь, и снова игла кольнула в самое сердце.

Молодая девушка в чем-то белом до пят стояла на пороге со свечой. Брови ее были высоко вскинуты, глаза широко раскрыты, с губ готов был сорваться крик ужаса при виде несметного полчища во главе с маленьким, худощавым, решительным полковником.

Дурново, отстранив девушку, первым направился в дом. Остальные с грохотом повалили следом.

Михаил Иванович за ними не торопился и стоял перед девушкой с чувством вины. Он снял котелок и изысканно поклонился:

— Здравствуй, Маруся.

Грустный его тон и учтивые манеры привели девушку в чувство, хотя ужас продолжал блуждать в ее глазах, и рот оставался полуоткрытым, и во всем ее облике сквозило недоумение ребенка, разбуженного среди ночи чужими людьми.

— Ты не бойся, — сказал он. — Эвон ты как дрожишь-то вся... Граф-то не вернулся?

— Нет, — сказала она с трудом.

— Слава богу, пушай он там гуляет. Ты не бойся. Я тебя в обиду не дам. Иди спи, Маруся...

— Меня Дуняшей зовут, — сказала она, совсем успокаиваясь. — А чего вам надобно? Чего вас столько понаехало?

— Иди спать, иди, Дуняша, касаточка, мы не злодеи какие-нибудь, мы власть, — сказал он нетвердо, жалея Дуняшу, себя, эту мирную усадьбу. — Иди, иди, я тебя в обиду не дам.

Из дому женский голос кликнул Дуняшу, и она исчезла. Шипов вошел тоже.

В доме уже во множестве горели свечи, слышались голоса, хлопали двери, скрипели половицы под сапогами, двигалась мебель, словно дом готовился к большому переезду.

Михаил Иванович подумал, что усадьба хороша, просторна, хотя и поменьше, чем у князя. В прихожей на грубой вешалке висел белый картуз и рядом суковатая палка с загнутым концом. Тянуло свежим дымком (види-

мо, растапливали печь), палеными перьями и еще чем-то. По деревянной лестнице, придерживая саблю, сбежал длинноногий пристав Кобеляцкий, бледный, с горящим взглядом.

— Где вы там? — крикнул Шипову. — Вас ищут!

Михаил Иванович, не шибко спеша, поднялся по лестнице и пошел на голоса. В проходной комнатке лопоухий жандарм вывалил из сундука пухлые альбомы и позеленевшие подсвечники; книги с распахнутыми страницами лежали там и сям в беспорядке, подобно убитым птицам. Жандарм уронил подсвечник, и глухой бронзовый звон разнесся по дому, и опять игла на мгновение впилась Шипову в сердце.

— Ты чего это, прощелыга, раскидался! — крикнул он жандарму. — Вот я тебе...

— Виноват, — сказал жандарм, но подсвечника не поднял.

В большой комнате за овальным столом сидел полковник Дурново, торопливо листая множество книг и тетрадей, сваленных на столе в большую кучу. Маленькая рука в белой перчатке порхала перед его носом, дирижируя какому-то невидимому оркестру, глаза вспыхивали из-под густых ресниц, две маленькие ножки в новых сапогах, не достигая пола, болтались в воздухе и терлись одна о другую. Бледная старушка в ночном чепце, прижимая к глазам платок, полулежала на диване. Возле нее сидела плачущая Дуняша. Вокруг сновали жандармы. Сонные понятия сидели кто где. Становой пристав Кобеляцкий шарил в шкафу, стоя на коленях.

Д у н я ш а. Дозвольте выйти, дяденька...

К о б е л я ц к и й. Я ведь тебя учил: их высокоблагородие господин полковник, а не дяденька.

Д у н я ш а. Пустите к их сиятельству, у них же дети...

Д у р н о в о. Мне очень неприятно, но графиня должна явиться тоже. (Кобеляцкому.) Пригласите ее сиятельство... Сожалею.

Ш и п о в. Вот он я.

Д у р н о в о (Карасеву). Что это мне подсовывают какие-то романы и письма! Где типография?

К о б е л я ц к и й (возвращается). Графиня сейчас выйдут.

Д у р н о в о. Где этот Шипов? Где типография?

Ш и п о в. Вот он я.

Дурново. Где это вас носит? Где же типография? Не вижу.

Шипов (безразлично). Тама...

Дурново. Где это тама?

Шипов. Эвон...

Дурново. Что за эвон? Вы не кивайте на все стороны, а ведите меня...

Михаил Иванович усмехнулся в душе и медленно пошел вокруг стола. Полковник и становой двинулись следом. Они спустились по лестнице, обошли прихожую, раздражаясь от запахов, идущих из кухни, снова взошли по лестнице, прошли через залу, мимо плачущей Дуняши и старушки в ночном чепце, зашли в темную комнату, крикнули принести свечи. Наконец их принесли, и все озарилось: кровать, комод, два кресла, столик на кривых ножках.

Дурново. Здесь?

Шипов. Кажись, здесь.

Кобеляцкий. Ваше высокоблагородие, я вот о чем думаю: а не злая ли шутка все это? Ну где здесь?.. Конечно, граф человек вредящий, от него можно всего ждать, но уж типография...

Дурново (с досадой). Что вы мне со своими сомнениями... (Шипову.) Ну где же? Где?..

Шипов. Была вроде бы здесь.

Кобеляцкий. Странно.

Шипов. Может, перенесли?

Дурново. Позвольте! Вы же доносили, что в подвале...

Шипов. И верно...

Дурново. Какой вздор! (Жандарму.) Отправляйтесь и переверните все подвалы. Чтобы у меня была типография вот здесь! — и полковник показал свою маленькую ладонь.

— А после этого можно и вистик устроить, — сказал пристав Кобеляцкий.

Жандарм как угорелый бросился исполнять приказание. Михаил Иванович увидел, как его, Шипова, в наручниках увозят из Ясной Поляны.

В это время в залу вошла графиня Мария Николаевна, еще молодая, невысокая, несколько располневшая, с крупным ртом и пронзительными глазами.

— Господин полковник, — сказала она решительно, —

поверьте, что брат найдет способ наказать вас. Вы ворвались в чужой мирный дом и ведете себя здесь как завоеватель. Я напишу письмо государю.

— Ваше сиятельство,— нахмурился полковник,— прошу вас посидеть на диване, пока мы не закончим обыск.— Он жестом пригласил к столу Кобеляцкого, Карасева и Шипова.— Я не виноват, что здесь занимались недозволенной деятельностью. Я выполняю свой долг.

К о б е л я ц к и й. Ваше сиятельство, Мария Николаевна, да будет вам, ей-богу... Все обойдется.

П о л к о в н и к. Вы, господин пристав, большой добряк. Вы не должны быть снисходительным к заговорщикам!

М а р и я Н и к о л а е в н а. Это я заговорщица?! Вы просто безумны, вот и все. Вы оскорбляете меня, весь дом и вообще все вокруг...

При этих словах графиня Мария Николаевна с гневом отворотилась. Дуняша исчезла. Михаил Иванович глядел исподтишка на Марию Николаевну с восхищением и тревогой (*Куды Матрене-то!..*), знакомая игла прошила сердце.

Т е т у ш к а (*Марии Николаевне*). Я все-таки в толк не возьму, чего им надобно, Маша. Вы узнайте, чего им надобно. Чего им надобно от Леона и ото всех нас...

П о л к о в н и к (*Кобеляцкому*). Попросите их не переговариваться.

К о б е л я ц к и й. Татьяна Александровна, Мария Николаевна, их высокоблагородие не считает возможным...

М а р и я Н и к о л а е в н а. О чем вы спрашиваете? Вы разве не видите, что это переодетые разбойники?

Т е т у ш к а. Когда я услышала, что кареты въезжают, я решила, что это Леон... А оказывается...

М а р и я Н и к о л а е в н а. Это грабеж, и они за это ответят.

Ш и п о в (*Карасеву*). Когда я жил на доходы с этого имения...

К а р а с е в. Ну, поехали... Граф что, делился с вами?

Ш и п о в. А как же.

К а р а с е в. Это на него не похоже...

В это время ввалились жандармы и доложили, что типографии нигде нет.

Т е т у ш к а. Господа, может, вы позволите нам с Машенькой удалиться?

«Эх Марья Николаевна, Машенька,— подумал Шипов,— казните меня, голубушка! Да кабы я знал!.. Весь дом переверотили, разбойники! А какой дом был...» — и он туманным взором оглядел залу, подвергшуюся нападению.

Полковник несколько поостыл или взял себя в руки.

— Ну,— сказал он Шипову тихо,— где же ваша типография?

— Лямур...— сказал Михаил Иванович.

— В каком смысле?

— Аншанте совсем... Может, в пруду утопили...

— Это может быть, ваше высокоблагородие,— сказал Карасев.— У них пруд большой-с. Вполне.

— А подвалы? — спросил полковник.— Как же с подвалами будем?

— Дозвольте, я гляну,— предложил Шипов.— Я мигом.

— Ну ладно,— согласился Дурново.— Гляньте, гляньте...

— А после можно и повистовать,— сказал Кобеляцкий.

Михаил Иванович увидел, как его в наручниках увозят из Ясной Поляны, ринулся прочь из залы, скатился с лестницы и оказался на дворе. Не теряя времени, он забежал за ближайšie кусты и упал в прохладную траву. Утро занялось вовсю. Пели птицы. Солнце готово было выкатиться из-за деревьев, чувствовалось, что оно краснеет, набухает, наливается; слышно было, как приходят в себя травинки после глухой ночи, как берутся за дело кузнечики, мухи, жуки, шурша, гудя, звеня и потрескивая в чистом воздухе, наслаждаясь своей свободой, не завидуя людям, копошащимся в чужом доме, в духоте, при свечах, с бесовскими ужимками и ухищрениями, переполненными коварными замыслами и любовью подавлять других.

Он лежал в траве. Над ним медленно проплывали розовые утренние облака. Граф Лев Николаевич Толстой в серой дорожной рубахе сидел на траве рядом. Грубая палка с загнутым концом лежала у него на коленях.

— А я, ваше сиятельство, к вам бечь собрался,— сказал Шипов.— Дай, думаю, добегу, где граф кумыс пьет, расскажу, что да как... Я все рассуждаю, в ножки бы упасть, прощения у вас просить, да ведь вы не простите...

— Отчего же нет? — засмеялся граф и погладил Михаила Ивановича по голове. — Чудно мне, ей-богу. Разве ты виноват?

— Не, не виноват, — откликнулся Михаил Иванович с благодарностью. — Рази ж это вина? Вы меня, ваше сиятельство, хоть на вилы подденьте, а по-другому я не мог, пушай хоть совсем мезальянс полный, а по-другому не мог.

— Конечно, конечно, — согласился граф.

— Ежели б я господину полковнику Шеншину не докладывал, что у вас тут типография, они бы мне денег не слали. А куды ж без них? За квартиру вдове этой дай, Гиросу, прощелыге, дай, Матрене послать надо? Надо. Опять же сюртук из альпага, выпить-закусить, того-сего-десятого...

Граф тяжело вздохнул и провел по соломенному хохолку Шипова.

— А они там небось все ищут, — сказал он.

— Ищут, каналы... Все переверотили. Нынче на пруд пойдут, там искать будут.

— А чего ищут-то?

— Типографию, ваше сиятельство, чего же еще.

— А, — опять вздохнул граф, — карасей распугают.

— А ведь не я бы, ваше сиятельство, а другой кто, так еще похуже было бы, такое аншанте написал бы, не приведи господь! Как они там желают, так мы и стараимся...

— Что-нибудь нашли? — спросил граф шепотом и вдруг запел:

...Зачем тебе алмазы и клятвы все мои?
В полку небесном ждут меня.
Господь с тобой, не спи...

Шипов раскрыл глаза. Перед ним сидела торговка пирожками с обрюзгшим лицом и розовыми губами.

— Тсссс! — зашипела она. — Нашли чего?

— Нет, — сказал Шипов, не удивляясь. — А граф-то где?

— На кумысе... Слава богу, что не нашли... А вы-то, батюшка, чего спите? Искать надо...

Михаил Иванович глянул сквозь кусты. Двор перед крыльцом весь был уставлен каретами, подводами. Фыркали лошади. Толпились мужики, бабы, переговарива-

лись вполголоса. Гул стоял вокруг, и уже не стало слышно ни птиц, ни кузнечиков.

— Неужто найдут? — спросила торговка пытливо.

— Не, — ответил Михаил Иванович равнодушно, — нечего находить.

— Слава богу, — обрадовалась торговка и погрозила секретному агенту пальцем. — Уууу, плутище, погоди у меня!

Михаил Иванович поднялся и юркнул в дом. Дуняша, в голубом платье, в мочках ушей красные ниточки, встретила ему.

— Здравствуй, Дуняша, — сказал он, — барыни-то все мучаются?

— Мария Николаевна спят, — сказала Дуняша, — а тетенька ихние рядом сидят.

— А эти-то?

— А эти на пруд собрались искать там чего-то, а после захмелели и спать легли.

— Так ничего и не нашли? — спросил Шипов.

— Не, не нашли... А чего они ищут? Чего вы ищете? Барыню обидели, тетеньку ихнюю.

— А ты не пужайся, я тебя в обиду не дам, — сказал Михаил Иванович. — Пущай они ищут, а ты не пужайся... Вон ты какая вся ладная...

— А я и не боюсь, — засмеялась Дуняша, польщенная его словами. — Чего мне бояться?

Мелькнули красные ниточки в мочках ушей. Голубой мотылек улетел. Полный благоговения и тихой радости, Шипов бесшумно поднялся по деревянной лестнице в залу.

Восемь хмурых молодых людей сидели на диване и в креслах. Лопухий жандарм стоял в дверях на карауле.

«Студенты, — догадался Михаил Иванович, — учителя...»

— Отчего же мало? — спросил он жандарма.

— Все, какие были, ваше благородие, — отвечивал лопухий.

«А ведь действительно, — подумал Шипов, — откуда им больше-то взяться?»

Учителя оглядели секретного агента без интереса, лишь у одного глаза загорелись, и Шипов тотчас его узнал. Тогда, в трактире Евдокимова, в полночном пред-

ставлении, которое он устраивал в честь будущих своих удач, было не до разглядывания, студент как студент, а теперь он сидел в кресле как на ладони, весь был на виду. Сухощавое, загорелое его лицо с насмешливыми глазами Шипову понравилось, и он улыбнулся собственным воспоминаниям с гордостью за самого себя, за прежнего, а студент сказал:

— И я вас узнал тоже... Вот видите, как люди могут повстречаться.

А там Потап этот, сукин сын, грозил табуретом, лез в драку, пока тяжелая рука Михаила Ивановича не успокоила его.

— Вы, можно сказать, наш заступник. Помните? — сказал студент и подмигнул товарищам. — Это тот, из трактира...

А что ж, когда хозяйский пес, дрожа от невежества, от хозяйской близости, готов разодрать глотку смирному человеку, можно пса и поучить.

— Завсегда готов людям помочь, — сказал Шипов любезно. — Этот пес Потапка, половой этот... да как же, помню, — и засмеялся, — у меня рука тяжелая, не дай бог.

— Ну ладно, — сказал другой студент, — чего же нас здесь держат?

Ах ты господи, значит, представление продолжается? И Михаил Иванович, устроив себе отсрочку, может даже чью-то судьбу решать, покуда полковник и становой спят? А как же... Значит, серый сюртук и грязная манишка — это пока еще маячит перед благородными молодыми учителями как знак правосудия и власти? Ваше сиятельство, Мария Николаевна, в душу загляните мою!

Давешняя иголочка легонько так уколола в сердце. Все теперь глядели на него не отрываясь. За спиной слабо шевельнулись крылья. Он поднял над головой руку, зеленые глаза его, совсем было потухшие, вдруг вспыхнули.

— Ах, господа, — сказал он, — может, бог меня послал вам в утешение. Лямур?.. Что скажете?

Они сидели все так же угрюмо, и выходка Михаила Ивановича не тронула их. Тогда он крикнул жандарму:

— А ты чего встал? Иди поспи на травке. Без тебя обойдемся...

Жандарм не удивился, не воспротивился. Качнулся в дверях и исчез.

— Ну,— обратился секретный агент к учителям,— и вы косточки разомните... Чего вам здесь сидеть-то? Никакого резону...

Через минуту в зале никого не было. Шипов примостился на диване и тут же сладко зевнул.

Его разбудил пристав Кобеляцкий. Радостно улыбаясь, он сообщил, что все пошли на пруд, ждут его.

— Последняя надежда,— сказал Кобеляцкий.— Ни в доме, ни во флигеле, ни в сараях ничего нет... Прекрасный пикник. Теперь последняя надежда.

Михаил Иванович усмехнулся и теперь уже явственно увидел, как его в наручниках увозят из Ясной Поляны. Ваше сиятельство, Мария Николаевна, простите дурака...

У пруда собрались уже все. Был полдень. Солнце пекло невыносимо. Мужики и бабы из окрестных деревень собрались, как на ярмарку. Полковник Дурново сидел на взгорке в плетеном кресле под тенью молодой липы. Фуражку он держал в руке, маленькое его лицо пылало, тонкая шея тянулась из воротника, готовая выскочить из него и мчаться туда, где два жандарма, закатав панталоны, готовились с бреднем зайти в воду. Здесь же, неподалеку от полковника, расположилась прямо на траве знакомая торговка с розовыми губами. Становой пристав Кобеляцкий стоял у самой воды, вглядываясь из-под ладони в самую середину пруда, словно там, на мутном его дне, надеялся различить очертания злополучного типографского станка. Учителя стояли группой, о чем-то беседуя.

Гомон вокруг стоял отчаянный, так что все птицы улетели поближе к лесу. Все ждали сигнала.

— Господин исправник,— сказал Дурново Карасеву,— если они найдут станок, сразу берите учителей... Почему вы решили заводить именно в этом месте?

— Вы велели, вашескородие. Берег удобный.

— Ах, да... Ну, так вот,— полковник улыбался, но в глазах гуляло сомнение,— сейчас и начнем. Начнем?

— Пожалуй,— согласился исправник.

— Эй, понятые,— закричал Дурново,— ступайте к воде, к воде...

Группа понятых подступила к самой воде.

— Вода холодная? — спросил полковник.

— Теплая, — хором откликнулись жандармы.

Полковник. Итак, начнем... Где господин Шипов?

Шипов. Вот он я.

Полковник. Смотрите хорошенько. Вы, надеюсь, понимаете, что от успеха предприятия зависит и ваша собственная судьба?

Шипов. А как же...

Полковник. Сейчас начнем... Не может быть, чтобы нам не повезло.

Кобеляцкий. Ваше высокоблагородие, пора заводить.

Полковник (Шипову). Кстати, вы настаиваете, что станки в пруду?

Шипов. А как же.

Полковник. Прекрасно. Итак... (Кобеляцкому.) Господин пристав, что это вы там разглядываете? Вы думаете, сквозь воду видно? (Карасеву.) Где остальные жандармы?

Карасев. На чердаке заканчивают, вашескородие... Пора заводить, вашескородие.

Полковник. Не может быть, чтобы мы не нашли. Не может быть, чтобы мы не нашли... Все на местах? Слушай команду!

Тут лица у всех напряглись. Стало тихо.

Полковник, бледнея, крикнул: — Заводи!

Жандармы с бреднем вошли в воду.

Полковник (Шипову). А вы уверены, что в пруду? Уверены?.. Вы что, голову мне морочите? Отвечайте...

Шипов. Тама, тама, где ж им еще-то быть?

Полковник. Стой! (Карасеву.) Погодите... Почему все-таки мы ищем именно в этом месте? Почему?

Карасев. Да вы же сами изволили распорядиться.

Полковник. Да, я сам. Потому что здесь топить всего удобнее. Ну ладно, с богом! Заводи!

Жандармы двинулись в глубину.

Михаил Иванович усмехнулся невесело, покачал головой и увидел, как он, еще молодой и красивый, в розовой рубашке и новых сапогах, легко летит к берегу озера, где в синей воде топчутся два толстоногих рыбака, выбирая из бредня скользкую пятнистую форель. Рыбу запекает на углях в тесте княжеский повар, укладывает ее на блюдо, украшает луком, укропом, лимонными доль-

ками, устанавливает блюдо на поднос, и Мишка Шипов летит обратно к поляне, где раскинулся княжеский пикник. Затем господа уходят в лес беседовать и аукаться, а Мишка сливает остатки вина, и пьет, и ест запеченную остывшую рыбу...

И вот теперь, подобно тем прекрасным рыбакам, два жандарма вошли в зеленую воду пруда по шейку и остановились, налаживая бредень.

— Давай веди! — крикнул полковник. — Да скорее же... Пошел!

Жандармы двинулись к берегу. Они шли сначала легко, но внезапно приостановились, а затем потянули что-то тяжелое. Толпа на берегу загудела сперва тихо, потом все громче и громче, пока наконец не взорвалась ревом, и под этот рев два жандарма с испуганными лицами выволокли из воды половину прогнившего, покрытого темной слизью тележного колеса.

И снова наступила тишина, и в этой тишине одиноко тоненько и захлёб засмеялась торговка и крикнула:

— А ну, кому пирожки горячие?

Все глядели на Дурново. Он утирал пот со лба.

Полковник. Господин исправник, велите этой бабе уйти! Прогоните ее... (Кобеляцкому.) А вы не хнычьте... Снова заведем. С одного раза ничего не бывает. (Шипову.) Ну, где же ваш чертов станок?

Шипов (равнодушно). Где ж ему быть? Воды-то много...

Полковник. Вот именно, много... Проклятая баба! Как противно смеялась! Как противно, как подло...

Кобеляцкий. Ваше высокоблагородие, поведем еще раз?

Полковник. Еще раз? Еще не один раз, любезный. До тех пор, пока не увидим облик удачи!..

Кобеляцкий. Сущая правда... А после можно и повистовать. Я пойду переговорю с графиней.

Полковник. Уж эти дамы... Опять начнутся разговоры... Вы им объясните, что, не будь приказа свыше, разве я бы их беспокоил? Объясните... Впрочем, им не объяснишь. (Жандармам.) Эй вы, ежели снова потянете колесо или оглоблю, пеняйте на себя! Отойдите правее, вот так.

Дуняша. У нас тут и нет ничего такого.

Полковник. Ах, нет? А ну-ка, погляди мне в глаза... Гляди, гляди...

Дуняша. Да я и так гляжу...

Жандармы зашли в глубину и остановились.

— Внимание,— скомандовал полковник,— пошел!

Жандармы повели бредень.

Полковник. Стой!.. Попалось что-нибудь? Зацепили? А ну-ка, пощупайте... Да не ногой, руками, руками... Есть?.. Нет?..

Шипов. Надо бы две лодки и сеть. Может, они на самой середине лежат. Может, их с лодки скидывали.

Полковник. Вы говорите, их с лодки скидывали?

Шипов. А кто ж их знает, могли и с лодки.

Полковник. Нет, вы мне точно говорите: скинули или нет?

Шипов. Скинули, а как же...

Полковник (*Карасеву*). Исправник, дайте две лодки и сеть, живо... (*Жандармам*). Ну, чего стали?.. Давай!..

Жандармы вынесли бредень. Он был пуст.

Толпа гудела. Торговка взвизгивала. Полковник Дурново прикрыл лицо фуражкой. Михаил Иванович ходил по берегу, не зная, плакать ему или смеяться.

Через полчаса две лодки скользили по пруду, таща за собой сеть, ныряли в пруд мальчишки; жандармы, посинев от холода, тянули бредень, выгребая из него коряги, гнилые листья да сонных карасей.

Вода в пруду потемнела, волновалась, выплескивалась. Шипову казалось, что это в нем бушуют бури, какая-то неясная печаль вперемежку с тревогой давила грудь, стояла комом в горле. Сквозь листву деревьев белели стены барского дома, вывернутого наизнанку, выпотрошенного, как рождественский гусь, и графиня Мария Николаевна пребывала в одной из разгромленных комнат, ломая, должно быть, руки от обиды.

Михаил Иванович уселся на траву недалеко от полковника, сжимая ладонями горячую голову. Солнце пошло на убыль, тени начали удлиняться. Мужики и бабы тоненькой цепочкой потянулись от пруда, исчезли учителя... Торговка поднялась с примятой травы, подошла к полковнику Дурново и остановилась у него за спиной.

— Господин полковник,— сказала она.— вы просчитались.

— Да, да,— сказал полковник грустно, не поворачивая головы,— я чувствую... Не я это придумал, однако...

— А ведь вы могли использовать опыт местных жандармов,— сказала торговка.— А вы не использовали... Уезжайте, полковник, от позора...

— Мне не велели ни с кем советоваться,— сказал полковник и обернулся. Лицо его исказилось.— Ты это чего?! Это ты несешь тут всякий вздор?

— Господь с вами, батюшка,— засмеялась старуха, растягивая розовые губы.— Я стою себе и стою...— и пошла прочь от пруда.

Шипову старуха показалась знакомой, и он вздрогнул.

— Пошла прочь! — крикнул Дурново, но розовогубая торговка была уже далеко. Она мелькала за кустами, за деревьями, высоко поднимая лоток с пирожками, а Михаил Иванович закрыл глаза и увидел, как его в наручниках увозят из Ясной Поляны.

На пруду теперь уже почти никого не осталось, только полковник Дурново, да Шипов, да два жандарма в неподвижных лодках, да два с бреднем в руках, посиневшие от холода.

Наступила пора прощания. Разбойников никто не провожал. Только Дуняша стояла на пороге в голубом платице, с красными нитками в мочках ушей.

Экипажи были уже готовы.

— Любезная,— сказал Дурново Дуняше,— покличька графиню.

— Они не придут,— сказала Дуняша, глядя мимо полковника,— они заняты...

— Так надо, так надо,— сказал полковник.— Ну, позови...

Дуняша исчезла. Все молча ждали. Наконец появилась Мария Николаевна.

— Ваше сиятельство,— Дурново приблизился к ней и снял фуражку,— я глубоко сожалею о случившемся...

— Вы пригласили меня только для этого? — перебила его Мария Николаевна.

— Нет, нет и нет,— заторопился полковник,— я должен обрадовать вас, графиня: вы и ваш дом вне подозрений. Мы не нашли ничего предосудительного... Позвольте...

Мария Николаевна пожала плечами и ушла в дом.
Все молчали.

Полковник мрачно шагнул к Шипову.

— Ну, прошу,— и указал на карету.

— Мерси,— сказал Михаил Иванович и взобрался на сиденье... Два жандарма уселись по бокам.

Через минуту поезд тронулся, и Ясная Поляна исчезла из виду.

Последнее, что увидел Михаил Иванович, когда они проезжали уже через Тулу, была дорогая коляска, влекомая караковым жеребцом. В коляске сидела Дарья Сергеевна, Дася, в темно-вишневом дорогом платье, в такого же цвета шляпе, прижавшись к громадному жандармскому полковнику со знакомыми чертами лица.

На полковнике был белый летний мундир. Розовые губы блаженно улыбались.

14

СЕКРЕТНО

Шефу Жандармов и Главному Начальнику III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, Господину Генерал-Адъютанту и Кавалеру Князю Долгорукову I-му

Корпуса Жандармов

Полковника Дурново

РАПОРТ

Во исполнение секретного предписания Вашего Сиятельства я немедленно отправился в г. Москву, где я явился Г. Московскому Военному Генерал-Губернатору для получения от него указаний тех лиц, к которым я мог бы обратиться для получения дальнейших по предписанию Вашего Сиятельства сведений. Генерал-Адъютант Тучков указал мне на чиновника особых поручений Подполковника Шеншина и частного пристава городской части Шляхтина. От первого я не получил никаких сведений, а второй объяснил мне, что Граф Толстой, проживая в Москве, имел постоянные сношения со студентами, замешанными во всякие злонамеренные издания. Зная при этом, что Граф Толстой сам много пишет, и полагая, что

он, может быть, сам был редактором студенческих сочинений, частный пристав приказал следить за ним Михаилу Шипову как в Москве, так и по приезде его в его имение в Тульской губернии.

После сего отправился я в г. Тулу, где и вручил отношение Вашего Сиятельства Господину Исправляющему должность Начальника Тульской губернии. Сейчас же была отправлена эстафета к Исправнику и Становому Крапивенского уезда о прибытии в г. Тулу, чтобы ехать вместе со мной в имение Графа Толстого Ясные-Поляны...

По прибытии в село Ясные-Поляны оказалось, что у Графа Толстого проживают в имении 9 молодых людей, все имеющие виды на жительство. Все они занимаются обучением грамотности в школах.

Приступив затем к осмотру всех бумаг, ничего предосудительного не оказалось. В доме Графа Толстого, устроенном весьма просто, по осмотре его не оказалось ни потайных дверей, ни потайных лестниц, литографных камней и станков тоже не оказалось. С посторонними Граф Толстой держит себя очень гордо и вообще восставил против себя всех помещиков...

Обращение его с крестьянами чрезвычайно просто, а с мальчишками, учащимися в школах, даже дружеское.

По прибытии моем в Москву я все обстоятельства этого дела передал словесно Г. Московскому Военному Генерал-Губернатору и получил приказание отправить Михаила Шипова к Приставу городской части Г. Шляхтину.

Полковник Дурново

*Его Величеству Государю Императору
Александру II*

Ваше Величество!

6-го Июля Жандармский Штаб-Офицер в сопровождении земских властей приехал во время моего отсутствия в мое имение. В доме моем жили во время вакации мои гости, студенты, сельские учителя мирового участка, которым я управлял, моя тетка и сестра моя. Жандармский офицер объявил учителям, что они арестованы, по-

требовал их вещи и бумаги. Обыск продолжался два дня; обысканы были: школа, подвалы и кладовые. Ничего подозрительного, по словам жандармского офицера, не было найдено.

Кроме оскорбления, нанесенного моим гостям, найдено было нужным нанести то же оскорбление мне, моей сестре и моей тетке. Жандармский офицер пошел обыскивать мой кабинет, в то время спальню моей сестры. На вопрос о том, на каком основании он поступает таким образом, жандармский офицер объявил словесно, что он действует по Высочайшему повелению. Присутствие сопровождавших жандармских солдат и чиновников подтверждали его слова. Чиновники явились в спальню сестры, не оставили ни одной переписки, ни одного дневника непрочитанными и, уезжая, объявили моим гостям и семейству, что они свободны и что ничего подозрительного не было найдено. Следовательно, они были наши судьи и от них зависело обвинить нас подозрительными и несвободными...

Я считаю недостойным уверять Ваше Величество в незаслуженности нанесенного мне оскорбления. Все мое прошедшее, мои связи, моя открытая для всех деятельность по службе и народному образованию и, наконец, журнал, в котором выражены все мои задушевные убеждения, могли бы без употребления мер, разрушающих счастье и спокойствие людей, доказать каждому интересующемуся мною, что я не мог быть заговорщиком, составителем прокламаций, убийцей или поджигателем. Кроме оскорбления, подозрения в преступлении, кроме посрамления во мнении общества и того чувства вечной угрозы, под которой я принужден жить и действовать, посещение это совсем уронило меня во мнении народа, которым я дорожил, которого заслуживал годами и которое мне было необходимо по избранной мною деятельности — основанию народных школ.

По свойственному человеку чувству, я ищу, кого бы обвинить во всем случившемся со мною. Себя я не могу обвинять: я чувствую себя более правым, чем когда бы то ни было; ложного доносчика я не знаю; чиновников, судивших и оскорблявших меня, я тоже не могу обвинять: они повторяли несколько раз, что это делается не по их воле, а по Высочайшему повелению.

Для того, чтобы быть всегда столь же правым в от-

ношении моего Правительства и особы Вашего Величества, я не могу и не хочу этому верить. Я думаю, что не может быть волею Вашего Величества, чтобы безвинные были наказываемы и чтобы правые постоянно жили под страхом оскорбления и наказания.

Для того, чтобы знать, кого упрекать во всем случившемся со мною, я решаюсь обратиться к Вашему Величеству. Я прошу только о том, чтобы с имени Вашего Величества была снята возможность укоризны в несправедливости и чтобы были ежели не наказаны, то обличены виновные в злоупотреблении этого имени.

Вашего Величества верноподданный

Граф Лев Толстой

*(Из письма князя Долгорукова — начальнику
Тульской губернии Драгану П. М.)*

...Государь Император изволил получить от помещика Тульской губернии Графа Толстого всеподданнейшее письмо относительно обыска в Июле месяце, произведенного в имении его «Ясная Поляна».

Мера эта была вынуждена разными неблагоприятными сведениями на счет лиц, у него проживающих, близких его с ними сношений и других обстоятельств, возбудивших сомнение, однако Его Величеству благоугодно, чтобы помянутая мера не имела собственно для Графа Толстого никаких последствий.

Уведомляя Ваше Превосходительство о такой Высочайшей воле, к надлежащему исполнению и представляя Вам сообщить оную Графу Толстому при личном с ним свидании, прошу Вас вместе с тем передать Графу, что если бы он во время пребывания Полковника Дурново в «Ясной Поляне» находился там лично, то он, вероятно, убедился бы, что Штаб-Офицеры Корпуса Жандармов при всей затруднительности возлагаемых на них поручений стараются исполнить оные с тою осторожностью, которая должна составлять неременное условие их звания.

Примите, Милостивый Государь...

● ЭПИЛОГ

Над Москвой пылало августовское закатное солнце.

Во дворе Суцевской полицейской части вокруг крытой повозки толпились солдаты.

Конвойный офицер еще раз оглядел опасного государственного преступника, которого ему предстояло везти в далекую Сибирь. Это был невысокий человек в арестантской шинели, длинной, до пят, с цепями на руках и ногах. Острый, хищный носик его был слегка вздернут, маленькие глаза посверкивали из-под бровей, тонкие губы насмешливо сжаты, пышные бакенбарды казались красными от закатного солнца и празднично сверкали. Он медленно осмотрел свой конвой и удовлетворенно кивнул, будто обрадовался, что вот, мол, честь какая, сколько народу собралось...

«Эх,— тоскливо подумал конвойный офицер,— какие муки мне предстоят, какая дорога дальняя, а все из-за кого! Чтоб ты сгинул, проклятый мошенник!..»

Конвойный офицер был высок ростом, тощ, большенос и черен. Он приблизился к арестанту и тронул его за плечо, но тут же отпрянул, испуганный душераздирающим воплем.

Арестант. Амадеюшка! Да как же это ты? Вот сетребьен... Ну, брат, а я-то думал — тебя волки съели...
(Радостно плачет.) А это ты...

Офицер. Ладно, не дури, стой смирно...

Арестант. Амадеюшка, господин Гирос... Ай не признали? Ваше благородие, ты меня не признал, а ведь это я, пуркуа...

Офицер. Какой Гирос? Какие волки?.. Чего прикидываешься?

Арестант. Да нечто я не вижу? Грек, итальянец... Дал бы я тебе денег, да все у Левушки остались... Помнишь Левушку, ваше благородие?

Офицер. Не придуривайся, тебе говорят... Пора вроде...

Арестант (*сникнув*). Теперь куды ж?

Офицер. Теперь в Сибирь, на каторгу.

Арестант. Значит, мне одному платить?

Офицер. А кому же еще?

Арестант. Амадеюшка, али я тебе добра не хотел?

Офицер. Эй, трогай! Пошли... Чтоб ты сгинул, проклятый мошенник!..

И тут же арестантская шинель медленно сползла с плеч преступника, и все увидели, что на нем клетчатые панталоны цвета беж и сюртук из коричневого альпага, обшитый по бортам коричневою же шелковой тесьмой.

Каторжник слегка пошевелил руками, переступил едва заметно и, цепи, словно устав под собственной тяжестью, легко соскользнули на землю.

— Постой! — тоненьким голоском, полным отчаяния, закричал офицер. — погоди! — И закрыл лицо руками...

— Вот теперь хорошо, — сказал преступник. — Мерси... — И сложа на груди руки, вытянулся весь, застыл на мгновение и вдруг начал медленно подниматься в воздух, все выше, выше и полетел легко и свободно, не меняя торжественной позы, с едва заметной благостной улыбкой на устах, озаренный пламенем заката, все выше, выше, пока не превратился в маленькую красную точку и не исчез совсем в сумеречном небе.

Сентябрь 1969 — июнь 1970

Дубулты

● ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПОЭТ ПРИХОДИТ В ПРОЗУ

С каждым годом и с каждым новым творением Булата Окуджавы мы все больше привыкаем мыслить об этом писателе как о прозаике. Но не забываем и, мне кажется, никогда не забудем, что в свое время узнали и полюбили его как поэта.

Помню его эстрадные выступления, его песни под гитару, которые поначалу записывались на ленты любительских магнитофонов, а затем выпускались Всесоюзной фирмой грампластинок. Именно эта устная, что ли, поэзия, традиции которой зародились в незапамятные времена, именно она принесла Б. Окуджаве первую широкую популярность. После чего и сборники его стихов нельзя было отыскать на прилавке, и новые публикации поэта в периодике быстро отыскивались читателями среди множества других стихотворных подборок. Стихи того периода его творческой биографии были различны по значимости. Не все замечали и учитывали это различие, закономерное и неизбежное в процессе развития любого поэтического таланта.

Но, главное, замечал и ощущал его сам поэт. «В ту пору я писал песни,— вспомнит он спустя годы.— Некоторые из них получались удачно...» Обратите внимание: «некоторые»! Так никогда не скажет автор, которому все без исключения его создания представляются равно безупречными. Так никогда не подумает и не скажет человек, не наделенный значительным поэтическим талантом. Ибо талант немислим без чувства меры и вкуса, а стало быть, не лишен и чувства взыскательности к своему нелегкому труду. Если же талант вдруг почему-либо лишится самовзыскательности, он не сможет существовать, он погибнет.

В песнях Б. Окуджавы, в его стихах наличествовало главное — признаки самобытного поэтического дарования. Свое дарование поэт не оставил за порогом, а принес с собой, когда вошел в монументальное здание художественной прозы.

Многие поэты рано или поздно приходят в прозу. Придя же в прозу, поэт непременно привносит в нее свое ощущение ритма фразы и звучания слов, свое образное мировосприятие, одушевление всего и вся. Вот, например, фрагмент из «Похождений Шипова» Б. Окуджавы: «Солнце давно зашло. Сумерки густели. Впереди было поле, поле, поле... Но не проехали они и пяти верст, как длинноногая февральская темень настигла их, ухватила и поволокла». Или из его же «Путешествия дилетантов»: старый рояль в доме Мятлева — «некое трехногое, теплое, вздрагивающее от прикосновения, кричащее от боли, ликующее, ухающее, свистящее, то яростно неукротимое, то вдруг покладистое, как старая собака...»; сей рояль — «чудовище», которое «скалит в улыбке громадную многозубую пасть». Вчитайтесь и вслушайтесь в эту прозу, написанную поэтом!

Впрочем, еще Белинский и другие наши критики XIX века говорили о Поэзии как о всей литературе художественной, полагая, что к столь высокому понятию могут быть равно причислены и стихотворения и романы...

Современный философ-иезуит Бруннер утверждает, будто «история не дает никаких средств для определения будущего». Позволю себе не согласиться с таким тезисом. Убежден и неоднократно писал об этом, что наша так называемая ретроспективная проза, то есть проза о былом, создается не «из детского любопытства», как говаривал Остап Бендер. Не как дополнение к школьным программам и не как популярное изложение достижений исторической науки. И тем более — не как развлекательное чтение. В обращении наших писателей к исторической теме я усматриваю не стремление уйти от решения задач своего времени, а — наоборот — стремление помочь скорейшему и правильному их решению. Во имя грядущего. Потому что, как справедливо заметил однажды Б. Окуджава, «чем лучше знаешь свое прошлое, тем легче представить свое будущее».

Небезразличие к нынешнему дню общества и к перспективам его развития в сочетании с личным увлечением историей и склонностью неторопливо осмысливать минувшие события — таковы основные импульсы, побудившие Б. Окуджаву приступить к созданию ряда произведений о прошлом. В 1969 году в журнале «Дружба народов» появляется новое произведение Б. Окуджавы — «Бедный Авросимов». Его книжный вариант — «Глоток свободы», роман о Павле Песте-

ле — выходит в 1971 году в популярной серии Политиздата «Пламенные революционеры».

Тема декабристов волновала многих художников. В их числе оказался и Б. Окуджава. Им была даже предпринята попытка создать пьесу, однако сам автор счел ее в конечном счете слабой. Но к теме не охладел. Замыслив роман о Пестеле и знакомясь со стенограммами допросов декабристов, Б. Окуджава обратил внимание на неграмотность записей. И представил себе некоего молодого писателя, добросовестного, достаточно наивного и недостаточно грамотного. Представил себе, каково могло быть восприятие дела декабристов таким писателем, какое влияние могли оказать личности допрашиваемых на его душу. Так зародился образ Авросимова, бедного «господина Вани». Образ этот настолько увлек писателя, что даже в известной мере оттеснил с первого плана самого Пестеля.

В этом не было злого авторского умысла, не было какой-либо недооценки образа Пестеля. Так произошло не то чтобы само собой, но — как бы независимо от первоначальных авторских планов. Подобные случаи, когда художник не мешает (и правильно поступает!) естественному проявлению натур героев, которым дал жизнь, в истории литературы нередки и достаточно известны. Именно так, вопреки ожиданиям Пушкина, вышла замуж Татьяна Ларина. В силу той же закономерности во второй книге трилогии К. Симонова стал первоплановым героем, потеснив Синцова, генерал Серпилин. По аналогичной причине главным героем романа Б. Окуджавы о Пестеле стал «бедный Авросимов». И дело тут не в том, кому из героев уделено больше строк. В конце концов, было бы вполне правомерно показать Пестеля через восприятие того же Авросимова. Автор, похоже, так и поступил. Что же произошло в результате? Попробуем неторопливо разобраться.

Пестель — не просто известнейшая историческая личность, один из наиболее выдающихся лидеров революционного движения в России XIX века. Он, помимо всего прочего, интереснейшая, весьма многогранная человеческая натура, объект для писательского исследования чрезвычайно заманчивый. Достаточно познакомиться со славной биографией волевого и мужественного молодого командира, достаточно прочитать его «Русскую правду», чтобы ощутить блеск интеллектуального и духовного богатства этой незаурядной личности. Военное начальство, характеризуя полковника Пестеля, отмечало, что он всюду будет на своем месте — в роли разведчика или дипломата, во главе армии либо на посту министра. Пушкин так отзывался о Пестеле после встречи с ним: «Умный человек во всем смысле этого слова... Один из самых оригинальных умов, которых я знаю».

Показана ли в романе Б. Окуджавы упомянутая Пушкиным сила и оригинальность ума Пестеля? Показана. Но — лишь отчасти. Преимущественно — в некоторых политических высказываниях героя: о единоличном правлении и деспотии, о зависимости благоденствия народов от их правительств... Но о более полном и глубоком раскрытии образа говорить в данном случае затруднительно. Почему так произошло? Быть может, все дело в том, что — в отличие от большинства своих литературных коллег по тематике (Вл. Гусев, Н. Эйдельман и др.) — Б. Окуджава показывает Пестеля не в период подготовки к восстанию и не в разгаре событий, а в канун казни, хотя и не сломленного, но угнетенного горечью поражения? И отсюда — несколько недостаточная освещенность образа Пестеля по сравнению с всепроникающим просвечиванием натуры того же Авросимова?

Видимо, прежде чем судить об относительной полноте раскрытия характеров двух героев одного произведения, нужно ответить на немаловажный вопрос: кто из этих двух героев главный, а кто второстепенный. Какую задачу ставил перед собой Б. Окуджава — исследовать образ Пестеля через восприятие его бедным писарем или же, наоборот, рассмотреть образ Авросимова в свете влияния на него личности декабриста? Судя по всему, в процессе работы над задуманным романом о Пестеле начала превалировать вторая задача. И Б. Окуджава не стал отказываться от ее решения.

В свое время я не учел всех этих обстоятельств, когда впервые говорил о Пестеле и Авросимове. Испытывая нетерпеливое желание найти в нашей прозе по возможности всеобъемлющее художественное воплощение образа весьма небезразличной мне исторической личности, я недооценил авторского стремления решить несколько иную задачу и решить ее по-своему. Я сетовал, что бедный «господин Ваня», освещенный всеми «юпитерами» писательского мастерства и таланта, решительно заслоняет, отодвигая в угол, нахохленную фигуру вожака южных декабристов¹. Впоследствии, знакомясь с новыми работами Б. Окуджавы, с образами Шипова и Мятлева, я убедился, что был не прав. Ибо каждый художник, в конце концов, берется изображать тех либо иных героев в соответствии с конкретным складом своего характера и темперамента, дарования и мировосприятия. Так, в одном из своих интервью Б. Окуджава признал свое пристрастие к традиционному в русской литературе живописанию так называемых «маленьких» людей, хотя оговорился при этом, что специально такой задачи перед собой не ставил. Но вот, как бы там ни было, а такой «маленький» человек стал главным ге-

¹ Б. Хотимский. «Герой и время». М., «Знание», 1976.

роем произведения, задуманного поначалу как роман о человеке далеко не «маленьком»...

Наивный молодой провинциал Авросимов на первых порах новой своей службы в столице искренне верил, что декабристы, показания которых он добросовестно и неграмотно записывал, суть немыслимые злодеи. Но представление это, внушенное писарю вышестоящими господами, никак не совмещалось в душе Авросимова с тем, что приходилось ему видеть и слышать. Не совмещалось и не уживалось с тем неожиданным впечатлением, которое производила на девственную эту душу личность допрашиваемого полковника Пестеля. Бедный «господин Ваня» не в силах был выдержать буквально взрывавших его неискушенную натуру противоречий, не смог участвовать далее в нечистом деле, ибо оказался несправимо чистым нравственно. Последнее обстоятельство получает затем еще одно подтверждение в новом романе Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов», где в одном из эпизодов вновь появляется Иван Авросимов — на сей раз уже немолодой чудаковатый помещик, кое-чему научившийся, а чего-то так и не уразумевший, казалось бы рехнувшийся бесповоротно, такой же неграмотный, но — и это главное! — по-прежнему не способный быть участником какого бы то ни было осознанного им злодеяния...

С образом Авросимова в творчестве Б. Окуджавы начинает постоянно звучать один и тот же варьирующийся лейтмотив: особый авторский интерес к «маленькой» личности, лишенной каких бы то ни было злодейских черт, однако вынужденной социально несправедливыми обстоятельствами участвовать в больших злодеяниях — не ведая, что творит...

Таков по-своему и Михаил Иванович Шипов — герой произведения Б. Окуджавы «Похождения Шипова, или Старинный водевиль», впервые опубликованного на страницах журнала «Дружба народов» в конце 1971 года, а в 1975 году вышедшего отдельной книжкой.

Был в биографии Льва Толстого такой эпизод. Еще нестарый, но уже известный писатель открыл у себя в Ясной Поляне школу для крестьянских детей. Жандармы, как говорится, не прошли мимо. Для слежки за Толстым был направлен специальный агент. О последнем, а заодно и о прочих обстоятельствах этой гнусной жандармской акции решил поведать современному читателю Б. Окуджава.

Итак, некто Шипов, бывший лакей шефа жандармов князя Долгорукова, сыщик при московской полиции, талантливый спец по вылавливанию мелких карманников, избран властями как наиболее подходящая кандидатура для «деликатного» дела — высслживания

графа Толстого и якобы обосновавшихся под его крылом крамольных студентов...

С самого начала повествования Шипов вроде бы предельно ясен. Этаким ничтожненький человек с примитивными потребностями: любыми правдами и неправдами получить побольше денег, чтобы насладиться комфортом, выпивкой и закуской, женской лаской и — далеко не в последнюю очередь — чувством собственной значимости и причастности к сильным мира сего. Ради удовлетворения таковых своих потребностей герой наш, отнюдь не злобный по натуре, оказывается способным на самое отвратительное злодеяние. «Когда нам чего нужно, — откровенно размышляет он, — мы и сокрушить, и убить можем». Таким герой, похоже, и останется. Ничто в его натуре, пожалуй, не переменится. Разве только поддастся — в пределах своих возможностей — незримому влиянию благородной природы преследуемого им великого человека (вспомним, что и писарь Авросимов не мог противостоять влиянию личности допрашиваемого при нем Пестеля, а в «Путешествии дилетантов», кстати, аналогичное влияние со стороны Мятлева испытает преследующий его жандарм).

Узрев наконец плачевный результат неправедных трудов своих, потрясенный бессмысленным разгромом Ясной Поляны, Шипов ощутит в себе нечто новое, непривычное. Нечто вроде раскаянья измаявшегося грешника, когда возобладают в нем и проявятся наконец не худшие стороны души. Ведь и злодей способен страдать. С той лишь разницей, что — заслуженно. И весь вопрос в том, очистится ли он своим страданием, перестанет ли приносить незаслуженные страдания другим.

В финале этого весьма озорного произведения наш герой сложит ручки на груди и вознесется в недостижимые выси... Как понимать такой финал? Некоторые критики уже отметили, что «Похождения Шипова» можно рассматривать как в известной мере пародию на «Жития» святых. Однако, думается, символика и внешние эффекты здесь прежде всего подчеркивают значимость тех метаморфоз, которые рано или поздно неизбежны в судьбе героя.

Любопытны неотвязно сопровождающие Шипова образы филера-пьяницы Гираса, изобретательного полковника Муратова, добрячки Матрены, высших полицейских чинов... Все они так или иначе вертятся каждый по своей орбите вокруг Шипова, как электроны вокруг атомного ядра, разве что — при более сложном распределении отрицательных и положительных зарядов. И вся эта система вращается вокруг принципиально иной системы — Толстого и его спутников. Временами пересекаясь, эти две системы никогда не сойдутся: они — несовместимы.

Чуждый какой-либо однозначности в своем отношении к большинству героев, Б. Окуджава относится к Шипову, я бы сказал, даже с некоторым сочувствием, которое передается и читателю. И когда частный пристав думает о Шипове: «но и что-то человеческое в нем все-таки», — разве читатель не разделяет этой мысли?

Как же тут быть, как понять автора? С одной стороны, он побуждает нас возмущаться гнусным преследованием великого человека, затеянным мелкими людишками в угоду своим примитивным корыстным интересам. А с другой стороны, пробуждает в наших душах естественное сочувствие к одному из основных исполнителей упомянутой гнусности... Вот тут-то и собака зарыта! В том-то и дело, что речь идет об исполнителе. А о закоперщиках и вдохновителях — разговор особый.

Любопытны в этом смысле размышления московского обер-полицеймейстера графа Крейца о господах из Третьего отделения: «Они имеют обыкновение входить в раж, когда представляется возможность схватить одного-другого злоумышленника или даже невинного, лишь бы доказать свою деятельность». Эта характернейшая черта церберов самодержавия в закономерном сочетании с трусостью иерархической верхушки, более всего опасющейся потерять свои незаслуженные привилегии, — все это факторы, определяющие беззакония, подобные нашествию жандармов на Ясную Поляну.

Что же касается неблагоприятной роли Шипова, то мы имеем здесь дело с еще одним примером парадоксального явления: злодеяние творит человек не злой. Разве не заманчиво для художника живописать это явление? Тем более что в данном случае политические мотивы достаточно изучены и общеизвестны. Писатель же исследует нравственные, психологические, душевные факторы, определяющие то либо иное действие героев произведения.

Избранная автором лишь на первый взгляд необычная, а в общем-то весьма традиционная форма повествования о похождениях Шипова наилучшим образом способствует воплощению писательского замысла. В частности, здесь более чем уместны элементы водевиля, с его занимательной интригой, парадоксальностью ситуаций и неожиданной развязкой. Как известно, русский водевиль XIX века отличался сочувственным отношением к «маленькому» человеку и всяческим высмеиванием привилегированных социальных слоев. Обращение к традициям старинного водевиля позволило Б. Окуджаве тонко высмеять нравственное банкротство тех, кто натравливал шиповых и гиросов на лучших, благороднейших представителей народа, являющихся истинной национальной гордостью России и внесших свой неоценимый вклад в общечеловеческий прогресс.

Документальные и эпистолярные фрагменты в «Похождениях

Шипова» — также правомерный и оправданный художественный прием, а не дань литературной моде, как это может на первый взгляд показаться. В продуманно приведенных документах и посланиях очень наглядно противопоставлены два параллельных во времени явления: исполненная бескорыстных и гуманных стремлений жизнь Толстого и антигуманная корыстная суeta преследующих его царских ищеек. Вряд ли пространные авторские комментарии прозвучали бы в данном случае убедительнее.

А всевозможные наваждения, условности и переходы за грань реального — не просто и не только дань традициям Гоголя, Щедрина и Булгакова, но — опять же — уместный и оправдывающий себя прием. Ведь действительно все происходящее напоминает кошмарный сон — от сцены в трактире и до погрома усадьбы. Писатель как бы подчеркивает всю фальшь, всю несуразность и несерьезность описываемой жандармской затеи. С оговоркой, что вряд ли какое бы то ни было злодеяние можно считать несерьезным...

Мне уже приходилось писать о романе Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов», который был опубликован журналом «Дружба народов» (1976, 1978 гг.), однако не включен автором в настоящий сборник. Вместе с тем, коль скоро ведется речь о творчестве Окуджавы-прозаика, не хотелось бы уклоняться от разговора об этом новом и, на мой взгляд, наиболее значительном его произведении, об этом своеобразном и заметном явлении современной нашей прозы.

Главными героями современных произведений о былом являются личности с весьма различным душевным складом, с далеко не сходными характерами и темпераментами. Все эти герои по деяниям своим делятся на три основные категории. Есть тут злодеи, причиняющие другим незаслуженные душевные и физические страдания. Есть, соответственно, и незаслуженно страдающие. Но доминируют, я бы сказал, Рыцари Справедливости, желающие, дерзающие и умеющие защитить незаслуженно страдающих от злодеев. Прирожденные вожаки, они, естественно, чаще встречаются в историко-революционной литературе, например — в повестях серии «Пламенные революционеры». Вместе с тем главным героем произведения о былом может стать и такой участник событий, который — по характеру своему — более склонен и способен идти за ведущими, нежели вести за собой других. Ведь если вовсе не будет «ведомых», кого поведет «ведущий»? К таким «ведомым» можно отнести, в частности, главного героя романа Владислава Глинки «История унтера Иванова», русского офицера Ельцова из романа Камила Икрамова «Пехотный капитан» и ряд других героев нашей ретроспективной прозы. Которая, надо заметить, не обходит своим вниманием и таких героев не

нашего времени, кои не только никого не ведут за собой, но и сами ни за кем не идут, хотя и не остаются в стороне от событий. Подобно киплингговскому коту, эти предпочитают «гулять сами по себе». В числе подобных героев привлекает внимание благородный борец-одиночка Дата Туташхиа из одноименного романа Чабуа Амирэджиби. И совершенно по-иному «гуляет сам по себе» главный герой нового романа Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов» князь Мятлев, историческим прототипом которого был выбран князь Сергей Васильевич Трубецкой — боевой товарищ Лермонтова, один из свидетелей трагической гибели поэта.

Если читать это сложное произведение бегло, между делом, на эскалаторе метро или, скажем, поглядывая попутно на телеэкран, то, конечно же, поначалу может возникнуть недоуменный вопрос: зачем это, дескать, автор так долго и замысловато расписывает сомнительные похождения и бесплодные умничания какого-то бесхребетного и чуть ли не развратного князя Мятлева? Подобные суждения мне, увы, не раз приходилось слышать от некоторых читателей, которые так и не заметили второпях, что лишь повторяют мнение нных враждебных Мятлеву персонажей произведения и чуть ли не дословно цитируют приведенные в романе анонимные письма, характеризующие князя прежде всего как этакого тунеядца-растителя.

И в самом-то деле, поглядите-ка, что творит наш герой с первых же глав романа! Служить, видите ли, не желает — ни по военному, ни по штатскому ведомству. (Забудем, что он уже служил в армии, сражался и был ранен. Не станем вспоминать и крылатого «Служить бы рад, прислуживаться тошно...») Предостаточно нашаливший еще в молодые лета, он никак не угомонится и добивается близости с целой вереницей очаровательных женщин. Не успев наставить рога добродушнейшему и доверчивому барону Фредериксу и скомпрометировать баронессу Анету, наш зловещий сатир переключается на переходившую из рук в руки чахоточную Александрина и, судя по всему, доводит ее до самоубийства. Затем сравнительно скоро утешается с графиней Румянцевой и женится на ней (уже ожидающей ребенка!) лишь под сильнейшим нажимом извне. После подозрительно скорой смерти графини неугомонный вдовец похищает у почтенного скототорговца господина Ладимировского его юную супругу Лавинию, разбивая сердце первого и разрушая судьбу последней. Мало того, он даже и увезти-то ее толком не сумел, в дороге пьянствует, не уберегает похищенную от опасного заболевания и, в конце концов, изловленный молодцами-жандармами, попадает на скамью подсудимых... Да при всем при том еще умудряется предаваться праздным разглагольствованиям на всевозмож-

ные темы! Недаром же одна из роковых жертв князя замечает, «что у него глаза мудреца и улыбка прелюбодея»...

Вот как может быть воспринят и понят роман при торопливом прочтении. Но все дело в том, что такие произведения нельзя читать второпях!

Так кто же он, главный герой романа «Путешествие дилетантов»? Мудрец? Прелюбодей? Или, быть может, просто еще один «лишний человек» в отечественной литературе — после Онегина и Печорина, после известных героев Некрасова, Тургенева, Герцена?..

Предположить, что сердобольный романист вдруг пожалел читателя, утомленного напряженными ритмами «века нынешнего», и вознамерился развлечь его описаниями адюльтеров «века минувшего»? Но мы знаем автора как художника серьезного, мыслящего, вщущего — и такое предположение было бы, мягко говоря, чересчур субъективным.

Что же касается еще одного «лишнего человека», пытающегося втиснуться в тесный ряд соответствующих героев российской классики... На первый взгляд, для такой трактовки романа могут отыскаться некоторые основания. Князь Мятлев — представитель того самого поколения, для которого характерны были «лишние люди». Поколения, на которое так «печально глядел» Лермонтов. К тому же, в характере, в поведении, в рассуждениях князя Мятлева нетрудно при желании отыскать черты, принадлежавшие «лишним людям» XIX века. И все-таки...

Припомним-ка весьма точную характеристику, которую дал еще Пушкин тем своим современникам, кои и были, надо полагать, первыми «лишними людьми»: «Равнодушие к жизни и ее наслаждениям... преждевременная старость души... сделались отличительными чертами молодежи XIX века». И если — с большой натяжкой! — можно еще допустить, что Мятлеву некоторым образом присущи были симптомы «преждевременной старости души», то уж никак нельзя инкриминировать ему какое бы то ни было «равнодушие к жизни и ее наслаждениям». Не будем забывать, что каждое поколение — при свойственных его представителям общих, характерных чертах — все же не так уж однородно и состоит из самых различных индивидуальностей. Одно другого не исключает, можно проследить общее, но не игнорируя при этом и отличительного. Да, Мятлев относится к поколению, изобиловавшему «лишними людьми». Да, у него есть некоторые черты, характерные для этого поколения и, в частности, для «лишних людей». Но это еще вовсе не означает, что Мятлев по всем своим признакам подходит под определение «лишний человек».

В упоминавшемся выше интервью «Литературной газете» сам

автор — правда, с некоторой оговоркой — отнес этого своего героя все к той же категории «маленьких» людей, вроде Авросимова и Шипова: «А третью вещь пишу не о «маленьком» человеке, а о представителе русской аристократии, но, думаю, по сути они все одинаковы. Он тоже «маленький» человек». Здесь уместно сказать об одной достаточно четко проявившейся тенденции в творчестве Б. Окуджавы-прозаика: стремление осветить судьбу и характер «маленького» человека на фоне судьбы и характера личности более значительной в истории — будь то Пестель, Толстой или Лермонтов...

Но вернемся, однако, к нашему герою. Хотя, по свидетельству автора, фамилия его выбрана «первая попавшаяся», — выбор этот не представляется мне таким уж случайным. Я имею в виду даже не то, что Б. Окуджава безусловно помнил о существовании в истории русской литературы поэта Ивана Мятлева. Здесь — быть может, и подсознательно — автор поддался воздействию другого фактора: в самом звучании выбранной фамилии словно бы ощущается натура героя — не столько мятежная, сколько мятущаяся, смятенная. В романе не только показывается, но и впрямую отмечается «вечное и неизлечимое смятение Мятлева» (подчеркнуто мною. — Б. Х.). Откуда оно? Врожденная черта малодушного характера? Да нет же! Прежде, в сражениях на Кавказе, молодой Мятлев отнюдь не был ни малодушным, ни «смятенным». Да и в финале своей неудавшейся затеи с похищением Лавинии, находясь уже под стражей и следствием, он вовсе не малодушен, когда принимает всю вину на одного себя.

Что-то надломило эту душу. Но что? Разгром декабристов? Гибель Лермонтова?.. В романе есть обильная пища для предположений, но нет того готового ответа, которые принято помещать в конце школьных задачник и которые, как известно, не обязательны в произведениях литературы художественной.

Так или иначе, а ясно одно: натура героя еще не сломлена, но уже надломлена. В этом нельзя его винить, можно лишь сочувствовать. И в этом трагедия тех, кому он искренне стремится протянуть руку помощи. Стремление, кстати, весьма характерное для Мятлева и в чем-то роднящее его с бессмертным идадьго. И уж никак не характерное для «лишних людей». Таков неоднозначный характер нашего героя. Еще не раздробленное «стекло», но и не выкованный «булат», хотя «тяжкий млат» уже нанес не один свой удар...

Да, князь поначалу не в силах был отказать себе в удовольствиях, не имеющих ничего общего с «равнодушием к жизни и ее наслаждениям». Но в то же время и в конечном счете он — просветленный истинной любовью — готов отказать себе во всем, даже в самой жизни, только бы выволить из беды Лавинию, под влиянием

которой проявляются лучшие качества его души. И не просто проявляются, но также оказывают известное воздействие на других людей.

Да, он знает свои слабости и желал бы от них избавиться, он клянет себя и «беспомощно барахтается», не имея достаточно сил, чтобы противостоять злу. Он не бросит перчатку самодержавию как таковому, не пойдет по пути декабристов, память о которых, вне сомнений, дорога ему. Но — при всем неравенстве сил — он все же не страшится вступить в единоборство с августейшей особой, чтобы вырвать из всемогущих царских рук бедную Лавинию, чтобы не допустить еще одной жертвы. В конечном счете он терпит поражение. Потому что не умеет бороться профессионально (отсюда и название романа — «Путешествие дилетантов»). И слишком несоизмеримы возможности противоборствующих сторон. Но сама по себе дерзновенная попытка героя поступить по велению совести и доброго чувства, спору нет, заслуживает уважения и одобрения — как живой укор бездушному и безнравственному прагматизму.

Нравственным антиподом и антагонистом главного героя выведен в романе Николай I — этот ханжа-растлитель. Некоторых читателей, насколько мне известно, смущают вставные главы, где сей образчик деспота вдруг предстает в облике этакого доброго дедушки-семьянина. Но нельзя же не замечать, что в конце концов автор с достаточной убедительностью показывает зловещую роль самодержца в судьбе бедных героев, в их незаслуженных страданиях. Нельзя не замечать, что с первых и до последних страниц романа четко и недвусмысленно проявлено принципиальное авторское отношение к личности царя и его деяниям, ко всему «воздуху империи», к выпестованному царем «шпионам по любительству», ко всему российскому самодержавию с его «смесью необразованности с самоуверенностью». Это отношение достаточно определенно проявилось, в частности, в преисполненном горячей публицистической страстности монологе о «микробе холопства». В этом смысле роман «Путешествие дилетантов» является продолжением и развитием темы, затронутой в «Бедном Авросимове» и в «Похождениях Шипова».

Вспомним, кстати, что в «Севастопольской страде» тоже изображен был стареющий Николай I, тоже — в семейном кругу. Но у С. Н. Сергеева-Ценского за зловещим обликом жестокого самодержца проглядывает недужный старик, а у Б. Окуджавы — наоборот — за недужным стариком угадывается зловещая фигура жестокого самодержца. Аналогичный прием был, между прочим, применен недавно Владиславом Бахревским при изображении другого не менее мрачного представителя той же династии — Александра III — в истори-

ческой повести «Морозовская стачка», где царь также показан через призму его семейных привязанностей и «человеческих слабостей». Конечно, куда как страшен злодей с физиономией Медузы Горгоны. Но разве не страшнее, не опаснее во сто крат злодей, когда предстанет он под располагающей человекообразной личиной?

Без вставных глав о Николае I было бы утеряно многое чрезвычайно важное для лучшего понимания авторского замысла, для более верного понимания героя. Вот уж поистине «из песни слова не выкинешь»! Так, например, без первой вставной главы остались бы не осмысленными в полной мере исчезновение многострадальной Александрины, метаморфозы «господина ван Шонховена», их значение в судьбе Мятлева.

Обаятельный «господин ван Шонховен», то бишь неподражаемая Лавиния, с ее трогательными мистификациями и независимыми суждениями, этот маленький, но такой яркий лучик света, отчаянно не желающий гаснуть в окружающем его темном царстве,— на мой взгляд, один из прекраснейших женских образов в нашей литературе, серьезное творческое достижение Б. Окуджавы. Трудно даже представить себе роман «Путешествие дилетантов» без этого образа...

Не только в широкой читательской аудитории, но и в узкой профессиональной среде мне не раз доводилось слышать упреки в адрес стиля нового романа и всей ретроспективной прозы Б. Окуджавы. Одни упрекали автора в излишней модернизации, другие — наоборот — в чрезмерной стилизации, архаичности. Думается, главное все же — в соответствии общего настроения речи и мышления героев, в соответствии их взглядов и поступков тому либо иному историческому отрезку времени и авторскому замыслу. Лично мне, не скрою, импонируют стилистические особенности прозы Б. Окуджавы. Быть может, сказывается некоторая субъективная ностальгия по тому сформировавшемуся еще в XIX веке русскому литературному языку, который — я убежден — вполне способен ужиться с эпохой НТР, обогащая ее эстетически и нравственно, не модернизируясь ни в урбанистический сленг, ни в псевдонародную архаику, естественно вписываясь в прогрессирующее стилевое разнообразие нашей прозы.

Когда я говорил выше о связи нашей прозы о былом с решением задач современности и заботой о грядущем, я имел в виду прежде всего нравственно-воспитательную функцию советской литературы. Не лобовые назидания, не указующий авторский перст. Ведь роман или повесть — не «Наставление по стрелковому делу», где точно предписано, которой рукой — правой или левой — что и как делать в

каждом конкретном случае. Речь идет о воздействии на разум и душу читателя специфическими средствами литературы художественной. Разумеется, при условии, что принципиальная позиция самого художника, его равнодушие к проблемам жизни общества так или иначе проявятся с достаточной четкостью. Это — неперемное обстоятельство, без которого не может быть и речи о самобытном литературном явлении. В стихотворных и прозаических произведениях Б. Окуджавы авторская позиция проявлена четко и недвусмысленно. Так же, как и в его непосредственных высказываниях, одно из которых мне особенно импонирует: «Нельзя строить свое благополучие на неблагополучии других».

Вряд ли требуют дополнительного разъяснения и комментирования широко известные заключительные строки из его «Сентиментального марша»:

«Но если вдруг когда-нибудь
мне уберечься не удастся,
какое новое сражение
ни покачнуло б шар земной,
я все равно паду на той,
на той далекой, на гражданской
и комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной».

Вот оно — символизированное кредо художника — в воспетом им незабываемом образе легендарных комиссаров-шлемоносцев. Именно здесь — исток характеристики поколения, о котором этот писатель очень верно сказал: «Служение общественным интересам было для нас более потребностью, чем обязанностью». На таких нравственных и социальных принципах зиждется творчество Булата Окуджавы — поэта, пришедшего в нашу прозу.

Борис ХОТИМСКИЙ.

● СОДЕРЖАНИЕ

БЕДНЫЙ АВРОСИМОВ. Роман	5
ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА, ИЛИ СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ. Повесть	275
ПОЭТ ПРИХОДИТ В ПРОЗУ. <i>Послесловие</i> Б. Хотимского	493

Булат ОКУДЖАВА

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1979, 512 стр. с илл.

Редактор приложений Е. Мовчан

Оформление «Библиотеки» А. Гаранина

Редактор И. Юшкова

Художественный редактор И. Смирнов

Технический редактор В. Новикова

Корректор Л. Сухоставская



A09977. Сдано в набор 13/XII-78 г. Подписано в печать 25/IV-79 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага печ. № 1. Печ. л. 16,00. Усл. печ. л. 26,88.
Уч.-изд. л. 27,06. Зак. 249. Тираж 220 000 экз.
Цена 2 руб.



Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц ордена Ленина типографии «Красный проле-
тарий», Москва, Краснопролетарская, 16, на Киевской книжной
фабрике республиканского производственного объединения «Поли-
графкнига» Госкомиздата УССР, ул. Воровского, 24.

**В 1979 году
издается 15 книг
библиотеки**

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Адамович, Я. Брыль и В. Колесник —
Я из огненной деревни... Перевод с белорусского.

Ч. Айтматов — Ранние журавли. Повести.

Ч. Амирэджиби — Дата Туташхиа. Роман.
Перевод с грузинского.

Ю. Бондарев — Берег. Роман. Повесть.

В. Быков — Дожить до рассвета. Повести.

А. Бэл — Голос зовущего. Романы. Перевод с латышского.

С. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман.
Книга 2-я.

Р. Ивановчук — Возвращение. Роман. Новеллы. Перевод с украинского.

А. Кекильбаев — Баллады забытых лет.
Роман. Повести. Перевод с казахского.

Ю. Нагибин — Царскосельское утро. Повести. Рассказы.

Б. Окуджава — Избранная проза.

М. Симашко — Маздак. Повести Черных и Красных Песков.

Ю. Трифонов — Другая жизнь. Повести. Рассказы.

Б. Шинкуба — Последний из ушедших.
Роман. Перевод с абхазского.

Л. Якименко — И вечная, как мир... Роман. Повесть.

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Лев Аннинский
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Валерий Гейдеко
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Георгий Ломидзе
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Борис Панкин
Александр Руденко-Десняк
Иниа Сергеева
Константин Симонов
Юрий Суровцев
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камиль Яшен**